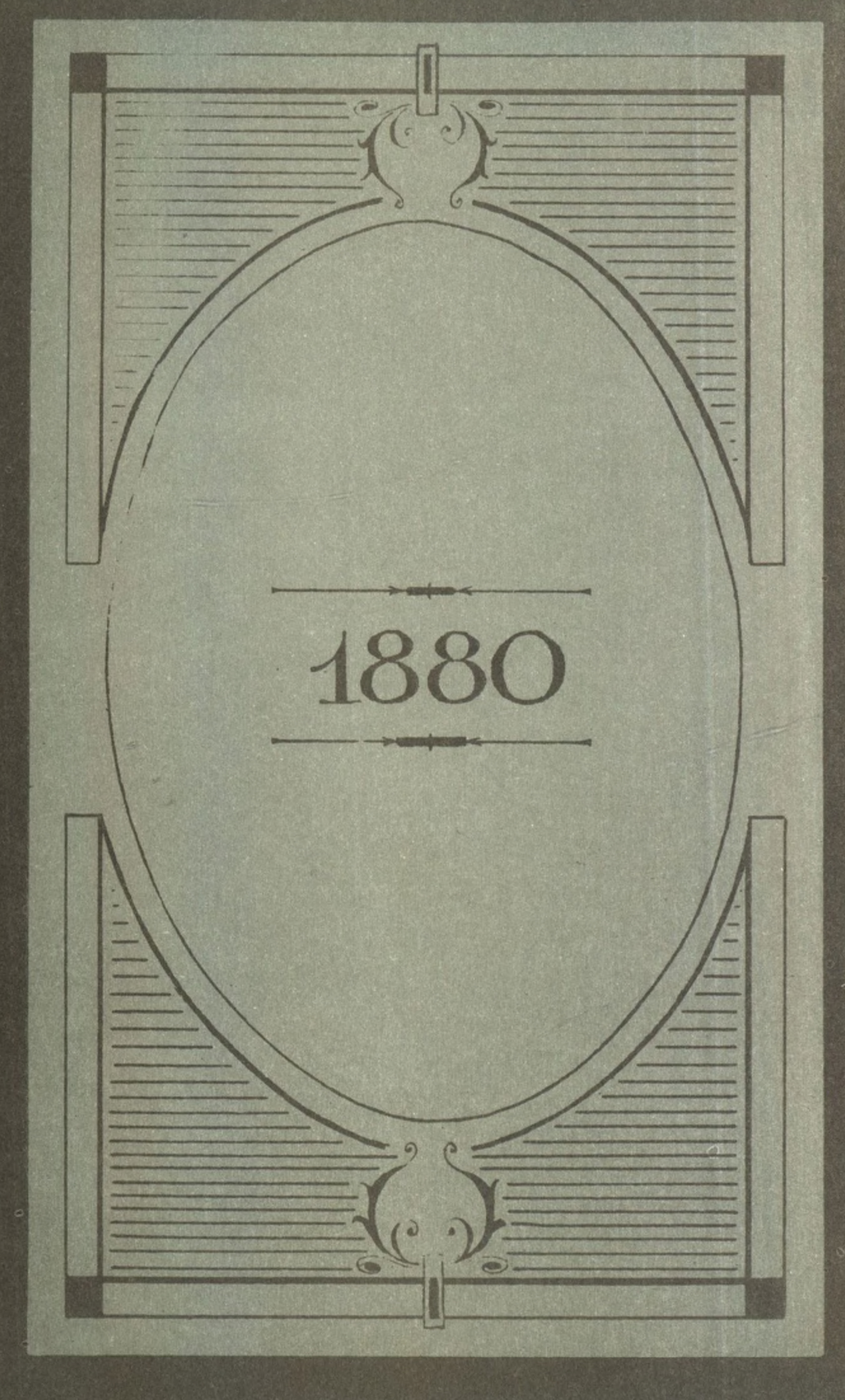
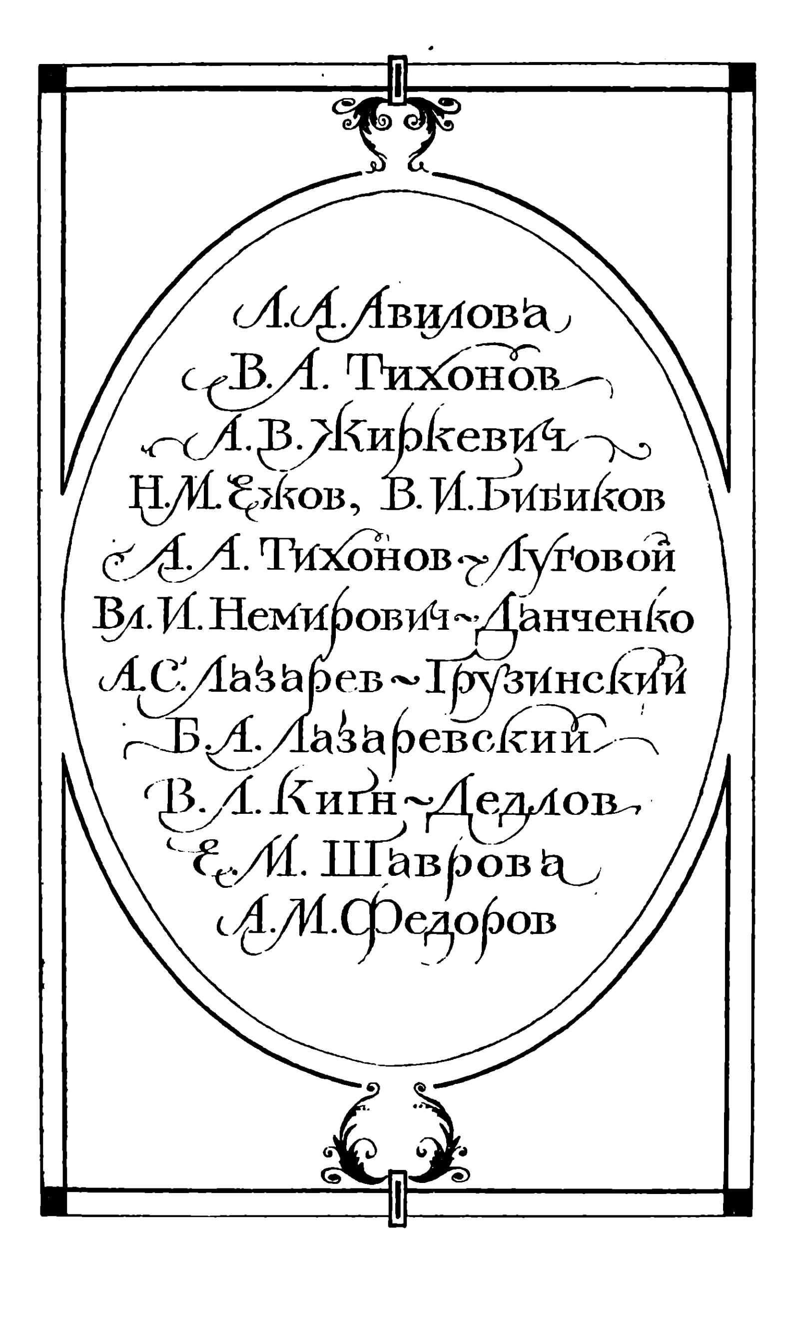
ПИСАТЕЛИ ЧЕХОВСКОЙ ПОРЫ


1880


1890

ПИСАТЕЛИ ЧЕХОВСКОЙ ПОРЫ




Л. А. Авилова
В. А. Тихонов
А. В. Жиркевич
Н. М. Ежов, В. И. Бибиков
А. А. Тихонов-Луговой
Вл. И. Немирович-Данченко
А. С. Лазарев-Грузинский
Б. А. Лазаревский
В. Л. Кигн-Дедлов
Е. М. Шаврова
А. М. Федоров

ПИСАТЕЛИ ЧЕХОВСКОЙ ПОРЫ



ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ПИСАТЕЛЕЙ 80—90-х ГОДОВ
В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

Р1
П34

Составление и комментарии
С. В. БУКЧИНА

Оформление художника
Ю. АЛЕКСЕЕВОЙ

П $\frac{4702010100-111}{028(01)-82}$ 38-82



ШВЕЙЦАР

I

Трель электрического звонка раздалась в швейцарской. Еще раз, еще и еще.

Иван приподнялся на постели и стал было протирать глаза. Но, не успев проснуться, он вдруг опять повалился на подушку и заснул.

Звонок снова трещит, назойливо, продолжительно.

Иван вскочил, ощупью нашел на столике спички и дрожащей рукой зажег лампочку.

Звонок трещит.

Иван сунул ноги в опорыши, надел свою швейцарскую ливрею, взял лампочку и, поднявшись по ступенькам, отворил дверь из своей конуры на лестницу. Свет лампы, блеснув сквозь зеркальные стекла наружных дверей на улицу, остановил неугомонный звонок.

Ежась от холода, Иван нехотя пошел к дверям, по дороге поставил на стол лампочку и вынул из кармана дверной ключ.

Холодный, сырой ветер, с дождем и снегом, ворвался с улицы, как только Иван отворил дверь, а вслед за ветром ворвался целый поток ругательств.

— Черти! Лешие! Никогда этих проклятых швейцаров не добудишься! — ругался вошедший телеграфист, отряхивая с себя толстый слой мокрого снега.

— Ноги-то обтер бы,— как-то нехотя сказал Иван, искоса взглянув на грязные следы, оставленные на полу телеграфистом.

— Еще чего не прикажете ли? Пол не подтереть ли? Лежебоки проклятые! Целый час звонишь — не дозвонишься; стой тут на ветру да на дожде, пока он нежиться изволит,— продолжал ворчать телеграфист, отирая о полы мокрые руки и доставая из сумки телеграмму.— Из Царицына, конторе Пфирзига, на, держи, распишись.

Иван молча взял телеграмму и стал искать в столе карандаш.

— Погонять бы вашего брата по такой погоде, так узнал бы кузькину мать,— не унимался телеграфист, развалясь на стуле у стола.— Добрые люди говорят, в эку-то погоду хороший хозяин собаки на улицу не выгонит, а у нас не спрашивают: ночь-полночь, дождь ли, снег ли — знай, лупи куда велят.

Иван подал ему расписку.

— Часы-то что ж не выставил? — сказал телеграфист, взглянув на расписку; вынув из кармана серебряную луковицу, он добавил: — Пиши, один час восемнадцать минут пополуночи.

Иван написал и выдвинул ящик стола, чтобы бросить в него карандаш. Телеграфист увидал в ящике папиросы.

— Дай-ка курнуть,— обратился он к Ивану таким спокойным, приятельским тоном, как будто и не думал за минуту пред этим ругаться.

Иван нахмурился, однако достал из ящика папиросу. Телеграфист закурил ее от лампочки и затянулся, оставаясь сидеть.

— Ну, уходи, чего расселся-то,— сказал Иван.

— Да дай отдохнуть-то, черт ты этакий,— опять обозлился телеграфист,— дай обогреться!

— А мне стоять да мерзнуть? — сурово заворчал Иван.— Проваливай!

— Не пойду. Что, взял?

— Убирайся, говорят тебе, не то в шею вытолкаю.

— Это ты-то? А ну-ка, попробуй!

И ражий телеграфист с усмешкой презрительным взглядом смерил с головы до ног долговязого, но худого, чахоточного Ивана. Спор, очевидно, был неравный.

— Я, смотри, городового позову,— пригрозил Иван.

— Городового? Поди-ка, поищи его! Найдешь теперь городового, как же!

— Не то сейчас дворника от ворот кликну.

— Тю-тю твой дворник! — усмехнулся телеграфист, выпуская дым колечком.— Нет его у ворот! Поди, поди

к нему в дворницкую-то, побуди его; он тебе, чай, спасибо скажет! А я тем временем пообогреюсь да вот папироску докурю. Только долго-то не мешкай: мне тоже караулить-то твою швейцарскую некогда, надо будет назад бежать.

И телеграфист уставился на Ивана насмешливым взглядом.

— Ну, так черт с тобой! Торчи тут всю ночь! — с досадой сказал Иван.

Он взял лампочку, запер двери на улицу и, не глядя на телеграфиста, удалился в свою каморку. Огонь лампочки блеснул еще раз сквозь матовое круглое стекло двери и погас.

Телеграфист спокойно докуривал папиросу.

Чрез несколько минут он постучал кулаком в дверь к Ивану.

— Эй, швейцар, отопри! слышь!

Иван, дрожа от холода и досады, лежал на постели, не сняв ливреи, и, конечно, не думал засыпать, но не откликнулся на зов телеграфиста. Он только невольно раскашлялся, и его глухой кашель как бы вторил ударам кулака в дверь.

«Постой тут, постучи, собака,— думал Иван.— Экий народец — безбожник... право, безбожник...»

Досада душила Ивана.

Телеграфист забарабанил в дверь обоими кулаками так сильно, что гул пронесся по лестнице. Делать было нечего — нужно было встать. И Иван опять зажег лампочку и пошел отпирать.

— Что во сне видел? — спросил его телеграфист.

Иван молча отпирал ему дверь.

— Ну, прощай, брат, спасибо за табачок,— сказал телеграфист, уходя.

— Креста на тебе нет,— сурово произнес Иван и захлопнул за ним дверь.

«Ах ты, жизнь, жизнь,— рассуждал он сам с собой, опять лежа на кровати и кутаясь в одеяло,— хуже каторги, право хуже. Там хоть день работают, да ночь спят, а тут ни одной минуты... Вот оно и хваленое швейцарское житье! Господи, хошь бы уж один конец, что ли,— помереть бы!.. Прости мои прегрешения, господи!»

Невольно начинает приходить ему в голову прошлое; вспоминается все, и худое, и хорошее. Вспоминается деревня... вечерки... сенокос... потом набор, вой бабы... а там Дунай, Шипка, госпиталь, опять деревня... полюбовник...

пред всей деревней, можно сказать, осрамила... за грехи, должно быть... Уехал сюда... Без малого шесть лет младшим дворником... дрова в пятый этаж... невмоготу стало... Почитай, два года без места... обносился весь... Опять дрова... Попал, наконец, «на покой» — в лежебоки, в швейцары...

Трр-трр-трр!.. Проклятый звонок!

Иван медленно приподнялся, опять зажег лампу, опять надел ливрею и пошел отпирать двери.

— Конторе Пфирзига, из Либавы, из Ельца, из Царицына две,— говорил угрюмый старик-телеграфист, бросая на стол одну за другой телеграммы.

Иван молча расписался в получении и молча проводил телеграфиста.

«А куда деваться-то? Где лучше-то? — раздумывал опять Иван, лежа в своей каморке.— Вот хоть бы их взять. Вон старик, а поди бегай ночью-то по слякоти».

На этот раз спокойно исполненная обязанность и пришедшее на ум соображение, что ведь Пфирзиг платит ему за прием телеграмм шесть рублей в месяц, подействовали на Ивана успокоительно, и он скоро заснул.

Снится ему, что он перед праздником обметает каменный сводчатый потолок своей каморки,— он давно об этом думал, потому что на серой масляной краске, в которую выкрашены потолок и стены, накопилось уже довольно и копоти, и пыли,— и вдруг он видит, что отсыревшая под краской штукатурка начинает осыпаться, а за ней вываливается камень, другой, еще, и, наконец, весь свод с страшным грохотом обрушивается на него. Один из камней ударяет его в голову, и от боли Иван просыпается. Он продолжает чувствовать эту боль в затылке, в висках, он не может оторвать головы от подушки, а грохот падающих кирпичей становится все громче, ужаснее...

— Швейцар, да отопрете ли вы наконец! — слышит он сквозь двери чей-то недовольный голос, сопровождаемый резким ударом каблука в дверь.

Иван вскакивает, торопливо зажигает лампу, одевается.

— Помилосердуйте, швейцар,— встречает его упреком молодой человек, квартирант, провожающий со свечой в руках своих гостей,— вы спите так, что вас пушками не разбудишь, а тут дамы целый час в швейцарской ждать должны.

Швейцар извиняется и плетется отпирать двери.

— Боже мой, какая ужасная погода! — восклицает одна из дам, молодая изящная блондинка.— Как мы поедем, maman?

Она останавливается у открытых дверей и не решается выйти на улицу.

— Какая досада, не взяли зонтика, а у тебя и платка на голову нет,— нерешительно произносит старушка.

— Кто же мог предвидеть, что погода так скоро переменится. Впрочем, что ж — до дому недалеко.

— Это мы все сейчас же устроим,— вмешивается молодой человек.— Швейцар, поднимитесь к нам и скажите нашей Аннушке, чтоб она дала вам мой большой зонтик, мой плед и спросила бы у мамаши теплый платок для Елены Семеновны, покрыть голову. Скорее!

— А есть ли еще извозчики? — спрашивает, спохватившись, старушка.

— Не беспокойтесь,— отвечает молодой человек,— я посылал Аннушку, и извозчик уже ждет. Впрочем, можно убедиться. Швейцар, погодите: подите сначала взгляните, тут ли извозчик.

Иван, уже поднявшийся несколько ступенек по лестнице, спускается назад и выходит на улицу.

— Извозчик ждет,— докладывает он, возвращаясь.

— Ну, идите же скорей наверх. Смотрите не забудьте: *мой* зонтик, плед и платок.

Иван поднимается в пятый этаж. Каждая ступенька отзывается в его больной голове ударом молота, а ступенек — сто.

Молодой человек и дамы продолжают начатый разговор.

— Итак, Николай Николаевич, в мае мы ждем вас в Венеции, а если не захватите, то в начале июня в Лозанне.

— Непременно, непременно. За Венецию не ручаюсь, едва ли успею вырваться отсюда, а с июня и до осени я ваш неизменный спутник.

— Ну, какой вы нехороший,— надув губки, говорит блондинка,— а я хотела с вами в гондоле кататься.

Молодой человек виновато улыбается.

— Я постараюсь, постараюсь; но, вы знаете, это не от меня зависит, а от моей службы. Зато мысленно я буду сопровождать вас в Венеции на каждом шагу. Кстати, когда будете осматривать там старинные тюрьмы, то посмотрите на дверях тюрьмы Марино Фальери [1], уцелели ли мои инициалы, написанные карандашом.

— Вам так понравилось это помещение, что вы начертали на нем свой герб,— усмехнулась блондинка.

— Ах, Елена Семеновна, какое это ужасное помещение! Боже мой, боже мой! Это просто каменный мешок. Знаете, там так тесно, что если лечь, то даже вытянуться нельзя как следует. И совсем, совсем темно! И люди проводили там по нескольку лет, иногда целую жизнь! Ужасно! Какие были варварские времена! Вы непременно, непременно посмотрите.

Зонтик, плед и платок принесены.

— Il faut lui donner quelque chose *,— говорит старуха, беря от швейцара зонтик и опуская руку в карман.

— Non, non,— противится молодой человек,— c'est mon affaire, je m'en charge **.

Он помогает блондинке закутать голову пуховым платком и провожает дам до дверей, от которых потом быстро отскакивает, боясь простудиться. Швейцар усаживает дам на извозчика и покрывает им ноги пледом. А молодой человек, уже начиная подниматься по лестнице, вдруг вспоминает, что он хотел дать quelque chose *** швейцару. Он приостанавливается. «Не спускаться же из-за этого?.. Du reste, ces gens-là ont leurs appointements» ****,— решает он и легко вбегает к себе в пятый этаж.

Иван не успевает добрести до дверей своей конуры, как раздается треск звонка, и надо снова идти отпирать.

С досадой узнает Иван сквозь стекла наружных дверей знакомую фигуру жильца третьего этажа. Это барин хороший, обстоятельный и всегда, когда возвращается ночью и будит швейцара, дает ему двугривенный; но у него свои правила: если во время его прихода в швейцарской был огонь и, следовательно, швейцар не спал,— он двугривенного не дает. Стоило Ивану одной минутой ранее успеть спуститься с лампой в свою конуру,— пришедший жилец не увидал бы огня, и двугривенный был бы в руках Ивана. Теперь же этот господин, зная, что не он разбудил швейцара, опускает приготовленный уже двугривенный назад в карман и спокойно поднимается к себе, пока швейцар светит ему снизу лампочкой.

---

* Надо ему дать что-нибудь *(фр.)*.

** Нет, нет... это мое дело, я возьму на себя *(фр.)*.

*** что-нибудь *(фр.)*.

**** В конце концов, этим людям платят *(фр.)*.

Иван снова на своей убогой постели; ему холодно, он корчится, мечется, прикладывает руку к больной голове; ему тошно, кашель душит его, мысли путаются. Он чувствует, что вместе с кашлем идет из груди что-то теплое. Это кровь. Он уже знает это и равнодушно отплевывается. Но усталость берет свое, и он начинает забываться, как вдруг — его точно ножом по уху резнуло — опять проклятый звонок.

Глухой стон вырывается из груди швейцара, но делать нечего; он поднимается, зажигает лампу, надевает ливрею и тащится к дверям. Подойдя, он сквозь зеркальные стекла не видит никого на улице, и горькая догадка закрадывается ему в голову. Однако он отпирает дверь и выглядывает на улицу. Ни души!

Да, это был только какой-нибудь озорник, какой-нибудь подкутивший молодец, шедший мимо и ради шутки ткнувший пуговку звонка. Иван уже испытал это: с тех пор, как он служил на этом месте, это в пятый раз. С печальной покорностью своей доле запирает он двери и медленно тащится назад к своей постели.

Но теперь сон уже прошел. Лихорадка осиливает изможденное тело, холодный пот выступает на лбу и на груди, приступы кашля то и дело заставляют Ивана приподниматься на постели. Он чувствует, что ему больше не уснуть, и, соскучившись лежать в темноте, зажигает лампу; этот огонь уже на весь день, потому что в его каморке нет окна, а матовое стекло в дверях пропускает слишком мало света.

Стрелки дешевых стенных часов, висящих пред кроватью, показывают шесть. Потускневший медный маятник однообразно раскачивается из стороны в сторону, чуть слышно чикая в глухом, замкнутом пространстве свода. Уже более двух лет, как этот маятник на этом самом месте качается пред глазами Ивана все с тем же однообразным почикиванием. Иван бессознательно следит и теперь за этим качанием и предается невеселым размышлениям.

«Плохо мое дело,— думает он.— Полечиться бы надо, да когда?.. Уйди на неделю — и место потеряешь, а там когда еще найдешь... А ничего не поделаешь, надоть будет... Только бы вот Пасху отбыть как-нибудь... Перемогчись надо... Теперича вот на Пасху соберу с жильцов...»

И Иван стал пересчитывать в уме, сколько соберется у него праздничных подачек, присчитывал их к тому, что у него уже было скоплено раньше, и соображал, что ему

достанет этих денег, чтобы прожить лето на отдыхе, в деревне, а потом приискивать новое место, если не уцелеет за ним старое.

Он продолжал раздумывать, когда опять раздалась трель звонка: это городовой вызвал швейцара, сорвал на нем свое неудовольствие за то, что не мог дозвониться дворника, и велел передать «старшему» «от имени частного пристава», чтобы сию же минуту панели и улица были очищены от снега.

Иван пошел отыскивать старшего дворника.

Николай Дементьич, «старший», только что вернулся из булочной, куда он неизменно каждое утро ходил самолично, не доверяя никому разнообразный выбор своих любимых булок. Он сел было за самовар, когда Иван пришел его «потревожить» и передать ему полицейское распоряжение.

— Ладно,— нехотя ответил «старший»,— вот ребята наносят дрова, так пойдут и улицу чистить. А ты бы, толковый парень, взял сам покуда метлу, да и посмел хоть немного слякоть-то с панели.

— Это не моя обязанность. А как мне сегодня еще и нездоровится, так и не могу,— возразил Иван.

«Старший» искоса, сурово взглянул на него. Сам здоровяк, не любил Николай Дементьич больных людей и давно придирался к швейцару.

— Вам все нездоровится,— сердито промычал он.— Эка дело трудное — панель подмести. Небось, не околеешь.

— Вы не лайтесь, я и сам ответить могу. А панель мести сегодня не стану.

— «Не стану»,— передразнивал «старший».— А я вот хозяину про вашу лень-то скажу. Тунеядцы, одно слово — тунеядцы!

— Сказывайте. Я свое дело и без вас знаю,— ответил ему Иван и вышел озлобленный, дрожа от волнения.

Проходя мимо дворницкой кухни, он зашел туда, взял в жестяной чайник кипятку и, вернувшись в свою каморку, затопил печку и сел пить чай. Это его несколько согрело и успокоило.

II

Начался обычный день. Хлопали наружные двери, Иван выскакивал из своей каморки в швейцарскую, бежал отворять и затворять, вытягиваясь в струнку пред бо-

лее важными посетителями или уходящими квартирантами. Пришел почтальон и сдал Ивану письма и газеты. Один за другим пришли в контору Пфирзига конторщики — их было более дюжины,— прошел артиллерийский капитан, прошел, уходя на службу, «статский генерал» из третьего этажа, прошла массажистка к баронессе в бельэтаж, принесли картонки с шляпками и перчатками к «троюродной сестре» какого-то банкира, никогда не называвшего своей фамилии,— прошло еще несколько человек. Потом поток обычных прохожих этой лестницы на некоторое время приостановился, все затихло, и только на каменном полу швейцарской осталась широкая полоса грязных следов, натоптанных прошедшими.

Иван взял швабру и попробовал смести грязь; но это мало помогло: грязь только еще более размазалась, и он пошел за домовой судомойкой.

Дряхлая, тщедушная, выжившая из ума старушонка исполняла обязанности поломойки, судомойки и прачки при дворницкой этого дома. Бог знает, когда и кем она была возведена в это звание. Это случилось как-то само собой. Наняла она угол в подвале рядом с дворницкой, прописали ее паспорт «до места», искала она года два «этого самого места», и никто не хотел брать убогую развалину; а если где и брали, то через три-четыре дня отсылали за негодностью. А жить чем-нибудь нужно — нельзя не жить. Приходилось работать, где случится, поденно. Угодила она как-то своей глупостью старшему дворнику, и так как дом был большой, то ей стали поручать разную случайную работу и иногда платили, иногда нет. Постепенно сделавшись в этом доме своим человеком и утомившись безуспешным исканием места, старуха примирилась со своим неопределенным положением и привыкла к нему, как привыкает к дому и дворовому люду дворняга-пес, случайно подобранный на улице. Глупая, безобидная Софрониха походя принимала от всех и пинки, и подачки.

— Софрониха,— крикнул Иван, увидав ее проходящей из прачечной в дворницкую,— иди скорей ко мне в швейцарскую пол подтереть.

— Ишь ты, подишь ты! Наследили, знать, больно? Приду сейчас.

Чрез несколько минут она уже была в швейцарской и усердно терла каменный пол, выжимая потом над ведром грязную тряпку с тем сосредоточенным видом, какой бывает за работой у всякого мастерового, любящего свое

дело. По окончании мытья Иван предложил ей зайти к нему распить оставшийся еще в чайнике полуостывший чай.

— Ну, вот спасибо, молодец,— поблагодарила Софрониха,— иди, готовь угощенье, гостья сейчас явится.

Она унесла грязное ведро, вымыла руки и, вернувшись, торжественно уселась в каморке у Ивана за чай.

— Как поживаете, Иван Митрич? — начала она тоном гостьи, наливая на блюдечко чаю.

— Плохо, Софрониха. Кашель больно одолевает; лихорадка вот тоже. С самой масленицы вот маюсь.

— А ты бы снадобья какого принял.

— Да что снадобье!.. Начинал было, да бросил. Толку-то нет. Ходил я осенью к доктору — так, говорит, весной беспременно поезжай в деревню, а не то не будет тебе здесь излеченья. Уехать-то, говорю,— места боюсь у хозяина лишиться; потом, говорю, не скоро найдешь...

— Это все от бога, кому как уж назначено,— вставила свое замечание Софрониха.— Другому так вдруг сразу десять местов выходит...

— ...а он, доктор-то, говорит, что не уедешь — так не только у хозяина, а, пожалуй, и вовсе на этом свете место потеряешь.

— Ну вот,— утвердительно сказала, кивнув головой, старушонка,— это истинно правда.

Иван налил ей еще чашку чаю.

— В деревню к себе поедешь? — спросила Софрониха.

— Нет... далече туда...

— Нешто. Куда же?

— Хочу поехать тут вот близ Спирова. Кум там живет: тоже из солдат он. В Туречине вместе были. Потом здесь он жил по две зимы извозчиком, а жена в судомойках жила. Да выгоды, вишь, нет, так уехали домой и теперь в деревне живут. К ним поеду.

— Так. А твоя-то деревня где же?

— За Костромой.

— А поди-ка я больно знаю, где Кострома.

— Кострома... это за Рыбинским.

— Ну, за Рыбацким, так за Рыбацким. Пущай ее там и будет, где стоит. Отселя, значит, не видать, так и не увидишь.

Софрониха с равнодушным видом потянула в себя с блюдечка чай.

— Ты сама-то откуда? — спросил Иван.

— Режицкая.

— Это где же?

— Недалече от Пскова.

— Знаю Псков. Проезжали мимо, как на войну шли. Что ж у тебя там — сродственники?

— Нету. Бобылка я, вот вся тут.

— Пей, пей чаю-то еще! Чего ты чашку-то опрокидываешь! — угощал Иван.

— Разве еще чашечку,— церемонно ответила Софрониха.

— Пей, пей!

— А что же дома у тебя, семья, поди-ка, есть? — спросила Софрониха, принимая от Ивана налитую чашку.

— Нет. Померли родители-то. Брат был моложе меня — тоже два года назад помер.

— И жены нет?

— Жена-то... есть... да лучше бы ее вовсе не было.

— Что ж — разве негодящая?

— Негодящая,— сурово ответил Иван.

Софрониха не стала расспрашивать и только подумала про себя: «Солдатка, стало быть».

— Ушел бы и вовсе жить в деревню,— заговорил Иван, немного помолчав,— да к чему я там теперь приспособлюсь-то? Деревенская работа тяжелая, без силы-то работать несподручно. А даром кормить нигде не станут: тоже урожаи в нашей стороне ноне, слышь, плохи, кормов мало, лишний-то рот не больно нужен...— Иван закашлялся и отплюнул густо окрашенную кровью мокроту.— Только вот и осталось мне, что здесь по швейцарским мыкаться.

— Нешто: место твое хорошее,— как-то глупо буркнула Софрониха.

— Много ты понимаешь — хорошее! — рассердился Иван.— Ты вот день-то наработаешься, ночь без задних ног спишь. А мне ни днем, ни ночью спать не положено. Днем по хозяйскому положению не дозволяется, а ночью то и дело вскакивай, отпирай да запирай.

— Вот с женой-то бы вместе жить, как вон суседский швейцар живет,— и ладно бы. Ино дело ты бы отдохнуть мог, а она бы за тебя подежурила. А то никого-то у тебя нету, как я погляжу, болезный ты мой. И жалко же мне тебя, и-и-их-их-их!.. Ты ведь не смотри, что я глупая. Уж больно я к чужой-то беде чувствительна. Своего-то горя

натерпелась, рукой на него махнула, а чужое-то еще чувствуешь...

Старуха подыскивала, что бы такое сказать утешительное. Вдруг ей пришла мысль.

— Ты знаешь что? — быстро сказала она,— ину ночку ты ежели больно занеможешь — скажи, я у тебя лягу вот тут, да и покараулю, и отопру, чтоб тебе не вставать.

Иван задумчиво посмотрел на нее.

— Нет, это невозможно,— ответил он, подумав,— перво-наперво, тут все просмеют нас с тобой; второе — вдруг хозяину скажут. Невозможно!

— Ну, как знаешь. Твое дело. Только вижу я, что недужен-то ты больно. А мне что делается! Я как старый горшок: везде потрескался — почитай, одни черепки остались,— да веревочками перевязан, так и держится.

Она попробовала рассмеяться, но смех вышел какой-то невеселый.

— Ну, а я пойду,— сказала она, вставая.— Спасибо за угощенье. А надо что будет, позови опять. Да ты больно-то не тужи — плюнь-ка на все.

— И то,— как-то апатично ответил Иван.

После возбуждения от рассказа он начинал чувствовать усиливающуюся боль в груди и в голове и, проводив Софрониху, попробовал прилечь. Но в лежачем положении голова от прилива крови заболела еще сильнее какой-то невероятной, адской болью, а вырвавшийся вдруг из груди кашель заставил его опять приподняться и сесть на кровати. Со слезами на глазах он кашлял долго, упорно, стискивая руками то грудь, то голову.

В это время хлопнула наружная дверь, и громкий, резкий голос донесся с лестницы до слуха Ивана:

— Швейцар!

Он узнал этот оклик — это был голос хозяина.

Иван утер слезившиеся глаза и, надев ливрейную фуражку, выскочил в швейцарскую.

— Отчего тебя никогда у дверей нет? — закричал на него хозяин.

— Я здесь-с; на минуту только отлучился в свою...

— На минуту! Который раз уж я не застаю тебя здесь. Ты разве за то жалованье получаешь, чтобы торчать в своей конуре? Ты должен быть у дверей и следить за всеми входящими и выходящими. Ты, кажется, пьян? — закончил он свой выговор, окинув испытующим взглядом

оторопевшего Ивана и всматриваясь в его раскрасневшееся лицо.

— Никак нет, ваше высокородие! Голова сегодня немного болит,— ответил Иван.

— Значит, вчера был пьян, а сегодня опохмеляешься. Смотри ты у меня!.. Сам Пфирзиг в конторе? — спросил хозяин, смягчив тон.

Иван замялся.

— Кажется, не уходил-с. Надо быть, в конторе.

— Кажется! А ты должен знать, скотина!

И хозяин сердитыми шагами пошел в контору Пфирзига.

Иван остался ждать его возвращения у входных дверей.

Хозяин жил в этом же доме по другой лестнице и иногда заходил по делам в контору Пфирзига, причем всякий раз, по несчастной случайности, Ивану не удавалось попасться ему на глаза у дверей.

Иван пошагал по швейцарской, посидел у стола, посмотрел на улицу — и тоска его взяла. Невольно приходило ему в голову сознание и своей беспомощности, и своего бесполезного занятия. «Другие люди хоть тяжело живут, да, по крайней мере, у настоящего дела,— думал он, шагая по швейцарской,— а ты ни дела не делай, ни от дела не бегай... Ну, зачем я тут торчу?..» «А голова опять болит,— продолжал он думать несколько минут спустя.— Чудно как это вышло: испугался давеча хозяина, и как будто вдруг легче стало. Кажись, умирать будешь, а прикажут хорошенько — так и подождешь. Прикрикни, например, на тебя хозяин или, бывало, в полку, ротный — уж как ни будь болен, сразу легче станет... А теперь вот опять разломило всего. Строгости, значит, настоящей на самого себя нет... Думаешь — вот оно и болит...»

Иван подошел к наружным дверям и взглянул на улицу.

Ночную вьюгу сменил теплый, ясный день. Мартовское солнце грело по-весеннему. Тротуары успели уже обсохнуть. Дворники скалывали лед и сгребали его в кучи. Из водосточных труб текла вода от таявшего на крышах снега. Иногда вдруг с страшным шумом спускался по этим трубам намерзший в них за зиму лед: теперь, под влиянием теплых солнечных лучей, он обтаивал, и из труб на тротуар выскакивали огромные круглые ледышки, то скатываясь на мостовую, то тут же рассыпаясь на мелкие куски.

Иван вышел за дверь на панель. На него пахнуло сырым, весенним воздухом, и, не замечая его миазмов, Иван вдыхал его полною грудью.

Среди улицы, местами, где лед еще был не сколот, образовались канавки и ручейки. Иван смотрел на эти ручейки, и ему как-то вдруг жаль стало этого скалываемого льда. Сегодня его сколют, сметут, завтра мостовая подмерзнет, подсохнет, и город из зимнего сразу перейдет на летнее положение... И не будет весны; не будет этого постепенного таяния снегов, как бывало у них в деревне; не увидит он этой черной, талой земли, ежедневно понемногу выползающей из-под снежного покрова и дающей какое-то особенное, приятное испарение; не увидит он на обнаженных от снега бугорках пробивающейся свежей травки; не услышит он этих журчащих с горы к реке весенних ручейков, которые он так любил в своей деревне, когда был еще мальчонкой. Он пускал, бывало, по ним сделанные из щепки кораблики и с радостным детским визгом и хохотом бежал под горку, догоняя уносимую ручейком щепку. А здесь ни весны, ни лета, ни зелени не видишь. Кругом только один камень и камень, то холодный, то раскаленный... И голова болит сегодня, как никогда... и слабость какая-то особенная...

В дверях соседнего дома показывается толстый швейцар с длинными бакенбардами и внушительным выражением лица. Иван почтительно ему кланяется. Тот снисходительно отвечает на поклон и, отвернувшись, начинает смотреть как будто на небо.

Этот швейцар — предмет зависти всех окрестных швейцаров. Дом, где он служит, занят высокопоставленным князем. Княжескому швейцару перепадают на праздниках, а иногда и в другое время, такие подачки, каких другим швейцарам и во сне не снилось. У этого швейцара изрядный капиталец и два каменных домика на Петербургской стороне. Он ездит на бега и на скачки, играет на тотализаторе. В этих случаях он оставляет вместо себя дежурить одного из младших дворников. Импровизированный «вице-швейцар» начинает исполнение своей роли с того, что нанимает для «самого» — для «настоящего» швейцара — лихача к Семеновскому плацу или Балтийскому вокзалу и подсаживает швейцара, смотря по сезону, в сани или на дрожки, когда тот, в енотовой шубе или в новеньком летнем пальто, выходит из той же самой двери, которую он в обычное время, одетый в швейцарскую лив-

рею, почтительно распахивает пред «крупными» и «мелкими» посетителями, получая от них «на чай» от двугривенного до 25 рублей включительно. Этот швейцар — недостижимый идеал для Ивана, и Иван, невольно забыв на время свое горькое положение, любуется на его мясистый, гладко стриженный затылок.

— Ты опять, скотина этакая, зеваешь и не отворяешь дверей,— прерывает его сосредоточенное внимание домохозяин, выходя на подъезд.

Иван виновато снимает фуражку и не знает, что ответить.

— После Пасхи ты получишь расчет,— сердито говорит хозяин,— мне такого болвана швейцара, который ни разу не отворил мне дверей, не нужно.

И, прежде чем Иван успел сказать что-нибудь, хозяин пошел к другому подъезду своего дома. Иван провожает его глазами, надевает фуражку и как-то бессознательно оглядывается вокруг... Княжеский швейцар безучастно смотрит на него, как смотрят на проходящего мимо незнакомого человека...

Иван сконфуженно потоптался на месте и удалился в свою швейцарскую.

Какой-то туман стоял у него в голове. Боль то усиливалась, то, дойдя до высшей степени, как будто совсем пропадала — доводила человека, так сказать, до бесчувствия, то снова проявлялась, и в глазах у Ивана мутилось, ему делалось тошно.

«Расчет... после Пасхи... Только бы Пасху-то протянуть... Господи, вот жизнь-то... за что?.. Ну, и слава богу... все равно... уеду, а осенью подыщу...»

Иван идет к себе в каморку, тяжело опускается на кровать — и спустя несколько минут засыпает тяжелым болезненным сном.

Его разбудил младший дворник, чтобы позвать его взять из дворовой кухни свою долю артельного обеда. Иван едва-едва мог подняться с кровати и понять, в чем дело. Однако он встал, пошел за дворником и принес себе гороху, хлеба и гречневой каши с постным маслом. Но есть он не мог и долго сидел пред столом, не будучи в состоянии собраться с мыслями и сообразить — что же ему теперь делать. Наконец он составил обед к стенке и прикрыл его полотенцем, так и не дотронувшись ни до чего.

К вечеру, перед тем как запирать двери, ему стало еще хуже. А тут как раз позвал его квартирант из первого

этажа, сунул ему в руку гривенник и дал отнести письмо в почтовый ящик, бывший на углу улицы, дома за три от их дома. Иван долго вертел это письмо в руках, не решаясь двинуться к выходным дверям. Он хотел передать это поручение Софронихе, но идти отыскивать ее в доме, где было три двора, представлялось таким же трудом, как и дойти до почтового ящика; отдать дворнику — пожалуй, не отнесет, затеряет, и после он же, Иван, пред жильцом в ответе будет; а жилец-то хороший.

Еле волоча ноги, Иван поплелся к почтовому ящику.

А ночью он опять должен был четырнадцать раз отпереть и запереть двери; в том числе было восемь телеграмм Пфирзигу.

На другое утро «старший», явившись с обычным докладом к хозяину, сообщил ему, что швейцар Иван захворал, не встает и его нужно отправить в больницу и что пока, временно, в швейцарскую поставлен один из дворников, а затем, если угодно, у него уже есть на примете другой швейцар, хороший и «из себя очень даже видный». Хозяин велел ему прислать нового кандидата, Ивану же сделал расчет и поручил старшему передать ему паспорт и деньги и похлопотать — если нужно, то через участок,— чтобы Ивана немедленно приняли в больницу.

III

К полудню Иван уже лежал в Обуховской больнице, и фельдшер вывесил над его койкой дощечку с надписью: Phthisis *.

Первые дни Ивану понравилось в больнице. Большие палаты производили на него, после его каморки, благоприятное впечатление. Сознание возможности оставаться спокойным было тоже приятной новостью, хотя привычка просыпаться и вскакивать ночью брала и здесь свое, и Иван то и дело бредил звонками и поднимался с постели, возбуждая неудовольствие сиделок. Успокоительное лечение и некоторый уход оживили Ивана. Но если лекарства устранили острую форму заболевания, предупредили, быть может, тиф, то они нисколько не помешали Ивану «таять, как свечка». Больничный воздух только усиливал общую слабость тела, кровохаркание и кашель не давали покоя.

---

* туберкулез *(лат.)*.

В эту неделю Иван так исхудал, что фельдшер не счел нужным скрывать от него безнадежность его положения.

«Надо умирать — все равно один конец»,— решил Иван и пожелал исповедаться и приобщиться.

Уже после ухода священника он вспомнил, что при поступлении в больницу им были переданы в больничную контору деньги, около 200 рублей, накопленные за двухлетнюю службу швейцаром. Куда же девать их в случае смерти?.. «Никого у меня нет, кроме жены,— думает Иван,— а ей — не стоит она этого... Отдать в церковь?.. А жену обидеть... Ведь кабы в ладах-то с женой жили — ей бы эти деньги, прямое дело. Теперь не отдать ей — значит, как бы в наказанье... А ладно ли это? Мне жену осудить, лишить наследья, деньги в церковь, а бог-от, может, давно простил ей... жертва-то моя и неугодна будет богу-то... ведь не от усердья выйдет жертва-то, а от злобы».

И Иван решил завещать свои деньги жене, ища в этом умиротворения и прощения за все прошлое.

При помощи сиделки и доктора он написал духовное завещание. Потом ему вздумалось написать письмо жене, проститься, дать наставление; но мысли путались, силы его оставляли. «Да и к чему письмо,— подумал он наконец,— бог все лучше устроит по-своему». Письмо осталось ненаписанным, и с этих пор Иван лежал в постоянном ожидании смерти.

Страстная неделя была на исходе, и Иван горячо желал умереть в первый день Пасхи, «в светлое Христово воскресенье», вполне убежденный, что смерть в этот день будет не смертью, а переходом, вместе с воскресшим Христом, в жизнь вечную. Он твердо помнил слышанное им от набожных людей, что «те, кто умирают в этот день, не будут, вместе с прочими, дожидаться второго пришествия Христова, а прямо с одра смертного души их понесутся, вместе с ангелами, к небу, славя имя господне».

Последние дни страстной недели Иван ни с кем и не разговаривал.

Со сложенными, как у покойника, крест-накрест руками лежал он на своей койке, когда раздался первый удар колокола к пасхальной заутрене. Иван перекрестился и произнес:

— Прими, господи, душу раба твоего Ивана,— и снова скрестил руки на груди.

Закрыв глаза, он ждал смерти.

Он два дня перед этим ничего не ел и был так слаб,

что переход к бесчувственному состоянию казался ему незаметным.

Но вот, после некоторого затишья, грянули мощные раскаты колоколов, а по палате, тут и там, раздался шепот: «Христос воскресе!»

И Иван, потрясенный в своем полубессознательном состоянии, слабым голосом повторил: «Христос воскресе!»

И вдруг точно какое-то светлое облако подхватило его... куда-то понесло... слышится пение... и опять вдруг все потемнело — мертвая тишина...

Когда Иван очнулся, больничная палата имела праздничный вид. Больные собирались в кучки и делились куличами и пасхами, красными яйцами. У большей части коек сидели пришедшие к больным родные.

Ивану не верилось, что он жив,— ведь он чувствовал, как начинал умирать, как умер, и... неужели это был только сон?..

Он закрыл глаза, но и с закрытыми глазами он явственно различает знакомые голоса разговаривающих больных и сиделок.

Он опять открывает глаза, осматривается, и горькое сознание овладевает им: он не умер, он остался жив, не удостоился, не сподобился...

Удрученный этой мыслью, Иван не сразу отвечает «воистину воскресе!» сиделке, подошедшей к нему со словами «Христос воскресе!».

Но несколько часов крепкого сна, от которого он только что проснулся, подкрепили его. Он чувствует себя бодрее, охотно разговляется пасхой и куличом, пьет чай. Ему только не хочется говорить с больными: он занят теперь мыслью — чем же он настолько прогневал бога, что не удостоился умереть, как желал? Он припоминает свои грехи, припоминает двоих проколотых штыком турок, припоминает, что он забыл сказать на исповеди, как утащил раз в походе четверку подвернувшегося под руку офицерского табаку, когда ни купить, ни достать его было негде, а курить смерть хотелось,— все припоминает... Но потом он переходит к мысли, что самое желание смерти, быть может, было слишком дерзко; что оно, быть может, даже грешно — «господь лучше знает, когда за кем по душу послать»; что ведь «надо сподобиться такой-то смерти, а он господа прогневал тем, что пожелал ее».

И, сокрушаясь, он повторял: «Господи, прости и помилуй мя! Христос воскресе! Воистину воскресе!»

Покорный судьбе, он решил ждать смерти «по воле божией».

Но грустно провел бы он этот первый день Пасхи, в сознании полного одиночества, в печальной, незлобивой зависти к тем, кто в этот день был окружен родными, знакомыми, если б не догадалась навестить его Софрониха.

Убогая старушонка была, как и Иван, одинока среди людей, с которыми жила. Но она помнила ласку, помнила и тяжесть одиночества и пришла теперь похристосоваться с Иваном.

Троекратным поцелуем облобызались эти два скелета: один — изможденный болезнью и горем, другой — старостью и нуждой. И жизнь, живая душа, засветилась в их глазах, когда старуха подала Ивану красное яичко и кусок кулича.

— Спасибо, Софроновна, спасибо, родимая,— шептал Иван.— Вот лежу да думаю: никого-то у меня нет... ан ты и пришла, бог-от тебя и послал.

— Поди-ка, богу до Софронихи дело есть! Сама пришла.

— Не греши. Без воли божией волос не упадет с головы человека — вот что сказано в святых-то книгах.

Софрониха глупо уставилась на Ивана, не смея возражать.

— Ну, и восковой же ты стал,— сказала она,— совсем как есть прозрачный. Худо, верно, кормят-то?

Иван, с трудом переводя дыхание, начал рассказывать ей о больничных порядках, о себе, о близости своей смерти.

Старуха смотрела на его исхудалое лицо, ввалившиеся почерневшие глаза, сухие запекшиеся губы, и ей становилось и страшно, и жалко его, хотя она уже и сама давно освоилась с мыслью о смерти. Понимая смерть просто, она не находила нужным утешать Ивана надеждой, что он поправится, а поддакивала ему, когда он, ссылаясь на слова доктора и фельдшера, говорил ей, что «сегодня не умер — так завтра умрет, не завтра — так на неделе».

У обыкновенно слезливой Софронихи даже слез не нашлось на этот раз — до того спокойно и просто говорил с ней Иван о близости конца. С деловым видом приняла она от него три рубля, чтоб отслужить по нем в сороковой день панихиду, и обещала зайти справиться в следу-

ющее воскресенье, когда именно он «умер». Она так и сказала:

— А в то воскресенье я зайду и спрошу здесь, в какое число ты *умер*-то, чтоб, значит, знать, когда сороковой-то минет. Скажут, чай?

— Скажут.

— То-то. Ты насчет этого попроси до смерти-то еще кого следует, не позабудь.

— Ладно.

— А раньше воскресенья-то мне не зайти, знаешь-то, не вырваться будет. Далече, вишь, больно. Тоже хоть и не на службе я у нашего Николая Дементьича, а потрафлять надо. А он на всю Пасху меня, слышь, на хозяйскую кухню судомойкой да караульщицей поставил. Вишь, прислугу ихнюю отпущать на балаганы будут, а я чтобы, значит, безвыходно у них сидела. Только и отпросилась сегодня тебя проведать. А то умрет, говорю, человек — и не увижусь; а тоже ты иногда и чайком Софрониху-то поил.

Старуха рассказала ему кой-какие новости дворницкой и очень одобрила внешний вид нового швейцара.

Наступила минута расставанья.

— Ну, прощай, голубчик Иван Митрич, прости, если в чем согрешила пред тобой,— сказала Софрониха, кланяясь ему земным поклоном.

— Бог простит, Софроновна. Ты меня прости, ежели в чем грешен пред тобой.

— Никаких обид от тебя не видела, родимый. Прощай, батюшка.

И снова троекратным поцелуем расцеловались эти два скелета, провожая друг друга: один уходил в могилу, другой — в недра нищеты.

— Не забудь же панихиду-то,— сказал Иван.

— И, что ты, кормилец! Деньги взяла, да коли забуду!..

— Ну... вот... прощай, бабушка... Не увидимся больше...

— Уж где увидеться!.. Прощай, милый. Ну, помирай себе с богом. Дай бог тебе царство небесное.

И Софроновна перекрестилась, взглянув вверх, и затем еще раз, низко, в пояс, поклонилась больному с последними словами:

— Прощай, голубчик.

— Прощай, Софроновна, спасибо, родная,— произнес

Иван, ласковым взглядом провожая заковылявшую между больничными койками старуху.

И потом, закрыв глаза, он долго еще повторял про себя:

«Царство небесное... царство небесное...»

До поздней осени провалялся Иван в Обуховской больнице между жизнью и смертью. К осени ему стало настолько лучше, что оставлять его дольше в больнице не хотели,— как чахоточный, он мог протянуть в этом положении еще не один год,— и он должен был выписаться. Зиму, до самой масленицы, он все хлопотал получить место церковного сторожа, сделавшись чрезвычайно набожным. Но места не находилось, а между тем значительная часть сбережений, которые он завещал было пред смертью своей жене, оказалась теперь прожитою, частью в больнице, частью на квартире, и нужно было подумать, чем жить в ближайшем будущем. Хотел было он пойти в монахи, да ему рассказали, что и в монастырь без денег да больному попасть трудно.

И он снова ищет места швейцара.



В. А. Тихонов

ВЕСНОЮ

I

Леонид Иваныч Кудряшев проснулся поздно. В комнате было и жарко, и душно, а из-за белых коленкоровых занавесок кое-где пробивались лучи солнца, и золотистая пыль клубилась и плавала в них. Шея Леонида Иваныча была влажна от пота, и во всем теле чувствовалась какая-то лень и приятная истома.

Первая мысль, которая пришла ему в голову,— это что сегодня воскресенье и, стало быть, на службу идти не надо; затем он сообразил, что хорошо бы открыть окно в сад, недурно было бы и выкупаться сходить, да, вероятно, вода еще очень холодна, по крайней мере, кроме кузнеца Елисея, никто в городе купаться не начинал. А все-таки — «очень хорошо!».

Голова свежа, на душе светло и покойно, и здоровое, молодое тело так сладко разнежилось... Чудесно!

— Но окно-то открыть тем не менее следует! — И Кудряшев, потянувшись еще раза два, надел туфли, подошел к окну и, подняв занавеску, распахнул раму.— Фу! Как славно!

Целая волна свежего воздуха так и хлынула на него из сада. По распустившимся кустам сирени суетливо копошились воробьи, бестолково чирикая во все свое маленькое горлышко. Со двора доносился веселый крик петуха. Над окном, под крышей, меланхолично ворковали голуби. Воздух такой чистый, прозрачный; молодая, еще маслянистая листва ярко блестит на солнце, сад почти весь уже зазе-

ленел, только старые липы кое-где стоят голыми. Над цветами жужжит пчела; мухи мелькают серыми точками...

Кудряшев присел на подоконник и, ничего не думая, принялся глядеть в сад. Начало чьего-то стихотворения вспомнилось ему вдруг, и он продекламировал:

Я открыл глаза... хоть, право, я не знаю —
Наяву то было или в сновиденье,—
Но кругом сверкало все улыбкой мая,
Но из кущ зеленых раздавалось пенье...

Счастливая улыбка появилась при этом на его молодом и красивом лице. Потом он повернул голову в комнату и, все не переставая улыбаться, оглядел ее давно знакомые стены с дешевенькими гравюрами, свою железную кровать со скомканной постелью, этажерку с книгами, ветхий письменный столик, всегда так тщательно им прибранный. На столе белелась какая-то записка. Кудряшев и по ней скользнул глазами. Потом вдруг соскочил с подоконника, торопливо подошел к столу, взял эту записку в руки, прочитал ее, и сердце у него болезненно заныло, улыбка сбежала с лица, и ее заменило какое-то удивленное и испуганное выражение.

— Ах, да... ведь вот... как же я и забыл совсем...— растерянно пробормотал он и еще раз, уже вслух, прочитал содержание записки: — «Петербург, Надеждинская, восемьдесят три, Николаю Ивановичу Кудряшеву. Поздравь меня — женюсь, счастлив. Подробности письмом. Леонид».

Это была телеграмма, заготовленная им вчера вечером для отсылки его старшему брату в Петербург. За поздним временем она была не отправлена и осталась на письменном столе.

— Как же это я забыл?.. Гм... Вот удивительно!.. Эдакое забыл...— несвязно рассуждал Кудряшев, опускаясь в кресло перед столом.

И вдруг ему сделалось невыносимо скучно. Он теперь ясно вспомнил все, что произошло вчера вечером, и в душе у него, как черви, закопошились разные мысли, вопросы, сомнения. Ему стало жаль и себя, и этого светлого весеннего дня, который как будто померк уже немного, и своей холостой обстановки, которой он так еще недавно и часто тяготился, и тяготился так же беспричинно, как теперь жалел ее. А главное — ему было страшно! Страшно перед неизвестным будущим, перед новой предстоящей жизнью. Каждый раз, когда ему приходилось менять квар-

тиру, он всегда с сожалением расставался со старой, как бы дрянна и неудобна она ни была, и с чувством безотчетного страха въезжал в новую — незнакомую еще ему. Да, а тут ведь не квартира, тут нечто более серьезное — так как же не оробеть, как же не испугаться перед грядущим? Да и вообще, следовало ли делать этот шаг?.. Хорошо ли он поступил? Не поторопился ли он? Ведь он еще так, в сущности, молод. Что ему? — всего двадцать четвертый год! И почему это раньше он представлялся себе таким стариком, таким уже пожившим человеком? Конечно, если бы у него была мать или сестра, он не испытывал бы такого одиночества, такого неудержимого влечения к домашнему очагу, к семейной жизни... А то их всего только двое — брат да он. Брат служит в Петербурге; его судьба занесла на службу сюда, в этот глухой городишко. И всегда-то он один или в холостой, беспутной компании таких же бобылей, как и он. Сердце измаялось, тут уж всякому исходу обрадуешься. Да, но ведь это всю жизнь на карту ставить!.. Ведь это навсегда! Впрочем, почему же и навсегда? Ну, не понравимся, не сойдемся характерами — и разойтись можно! Что его может удержать?..

— Фу! Что это я за свинство думаю! — спохватился вдруг Кудряшев, отирая рукой запотевший лоб.— Эдакие подлости в голову лезут! Разве время уже рассуждать об этом, когда все произошло... все свершилось...

В дверь кто-то постучался.

— Кто там? — окликнул Кудряшев.

— Встали, что ли?

— А, это ты, Федосья... Сейчас, погоди — оденусь только!

И, накинув на себя старое летнее пальто, он отпер дверь и впустил в комнату кухарку, державшую в руках глиняный таз и медный рукомойник.

— С праздником! — поздоровалась она, добродушно улыбаясь и устанавливая на табуретке принадлежности умыванья.

— Спасибо! — уныло отозвался Леонид Иваныч.

— Умываться-то будете? Да вы что это словно невеселы? Али не выспались?

— Нет, ничего... выспался, кажется...— неопределенно отозвался он, засучивая рукава и принимаясь умываться.

— А наша барышня и по сей час еще спит. Заглянула я это к ней в комнату — разметалась вся, так и пышет. Ну уж и невесту подцепили вы, Леонид Иваныч!

— А что?

— Да одно слово — крупитчатая... Что твоя репа — ядреная... Хошь какому енаралу так впору...

Холодная колодезная вода приятно освежала разгоревшееся лицо и шею Леонида Ивановича, а наивные речи Федосьи щекотали его самолюбие и успокоительно действовали на приунывшую было душу.

— Да, уж барышня, говорить нечего, пава как есть... Теперича какие у нее плечи, да я таких и не видывала, белая — что твой сахар, али бо — ножки...

«Да, плечи у Вареньки действительно хороши»,— вспоминал уже со значительно повеселевшим видом Кудряшев, вытираясь расшитым полотенцем и с удовольствием посматривая в маленькое зеркальце на свое раскрасневшееся и мужественное лицо. «Вообще фигура у нее очень пластична, да и лицо... Что же, собственно говоря, и лицо ведь довольно миловидно...»

— Да, Леонид Иваныч, талан вам, и говорить нечего,— не унималась между тем Федосья.— Вот теперь у вас домик свой будет, хозяйство... а то что так-то бобылем мыкаться... Мы уж вас теперь не как жильца, а как хозяина почитать станем...

Последние слова кухарки напомнили Кудряшеву, что сегодня как раз срок платить Серафиме Васильевне за комнату и за стол. Деньги, положим, у него были, но в таком ограниченном количестве, что за уплатой следуемых двадцати пяти рублей осталось бы всего-навсего рублей шестнадцать, не больше,— это было крайне неприятно... Впрочем, утешал он себя, Серафима Васильевна теперь уж, вероятно, от всякой платы откажется, хотя предложить, конечно, следует, но не возьмет же она денег за стол и квартиру со своего будущего зятя. А все-таки это очень досадно, что он так подвел себя, в самую-то нужную минуту и без копейки. Ну, да это все вздор, не в этом дело!..

— Ах, да чуть было не забыла! — спохватилась вдруг Федосья, собиравшаяся уже вынести таз.— Письмо ваше сегодня утром доставила...

— Какое письмо?

— Как какое? Да что вчера вечером дали — к Илье-то Марковичу. Али забыли? Ишь ты, счастье-то всю память отшибло!

— Ах, да! — вспомнил Кудряшев.— Ну, что же он?

— Сказали, что зайдут беспременно... Так и скажи, го-

ворит, беспременно, что зайду. Чай-то пить сегодня у господ, поди, будете?

— Да, да... там...

— То-то, не все по-холостому в своей комнатке! — улыбнулась Федосья и вышла из комнаты.

Оставшись один, Кудряшев подошел к окну и снова задумался.

«И на кой черт я написал вчера Каулину?! — размышлял он.— Да еще к себе зайти просил! Разве он поймет все это? Ему, конечно, и странно, и дико покажется при его-то воззрениях на жизнь... А что такое вчера Серафима Васильевна про дом говорила? Заложен, кажется? Кажется, что заложен... Впрочем, вчера не до этого было. Да, в сущности говоря, не все ли равно, ну, заложен — эка беда! Он получает жалованье — выплатит мало-помалу, и тогда... Да, и тогда навсегда, на всю жизнь уже здесь — в этом Пусто-Озерном переулке, в этом тесном ветхом домишке, по уши в мелких уездных дрязгах и сплетнях, в этой тине, в этом болоте!.. И прощайте навек радужные молодые грезы, университетские мечты, планы, предположения... Все прощай,— сам добровольно подстрижет он свои крылья и заживо замуравит себя в могилу!..»

И Леониду Ивановичу стало опять невыносимо грустно, опять какой-то червяк засосал у него под сердцем. Он смотрел в сад, а там, как назло, все так ликовало, кипело такою полною, такою радостною жизнью, и слезы начали подступать у него к горлу.

«Эх, в сущности говоря, какой все это вздор! Ну, к чему создавать себе всевозможные формы, условные отношения, бессмысленные обязанности? Не лучше ли жить совсем так просто, как вон этот воробей?..» — рассуждал Кудряшев, глядя на хохлатого и задорного воробья, бойко прыгавшего по засоренной дорожке и одним глазом поглядывавшего на открытое окно, а другим зорко выслеживая себе какую-нибудь добычу.

А, ведь это он в гнездо потащил! — сообразил вдруг Леонид Иваныч, увидав, как занимавший его воробей, подхватив какую-то соломинку, умчался в голубую даль весеннего неба.— Стало быть, формы-то и обязанности и у воробья существуют. Так в чем же дело-то? В чем же дело? Отчего же ему-то, Кудряшеву, так больно и грустно? Отчего же он так уныл и печален?»

— Леонид Иваныч, вы одеты? — раздался голос за дверью.

— Одет, Серафима Васильевна! — отозвался Кудряшев.

— Так идите чай пить. Варенька уже встала.

Кудряшевым вдруг овладела какая-то робость — он не знал, как он теперь встретится со своей невестой, как они будут держать себя друг с другом. До вчерашнего дня он так смело и уверенно являлся к ним в столовую, так развязно здоровался и так весело начинал о чем-нибудь беседу, а сегодня... Но делать было нечего, и он, оправив слегка перед зеркалом свою прическу, вышел из комнаты.

— А они неужели совершенно спокойны? — задал он себе вопрос, проходя по маленькому коридорчику.

II

В столовой за чайным столом, сервированным на этот раз более тщательно, чем обыкновенно, сидела Серафима Васильевна и наливала чай. В зубах у нее была неизменная папироска, а смятый чепчик на голове торчал так же криво, как и всегда. Леонид Иваныч подошел к ней и довольно торопливо поцеловал протянутую ему руку. Это ему приходилось делать всего во второй раз: вчера, когда он получил согласие на брак с Варенькой, и вот сегодня. Вчера ему показалось, что рука Серафимы Васильевны пахнет чем-то неприятным — не то луком, не то дрянным табаком. Сегодня этого запаху не замечалось, но тем не менее в голове у него мелькнуло, что неужели ему каждый день придется целовать эту руку.

— Bonjour! * Варенька сейчас выйдет! — процедила Серафима Васильевна на его приветствие.

Леонид Иваныч занял свой стул.

— Ну, как спали? — обратилась к нему хозяйка.— Что во сне видели?

— Ничего, благодарю вас, спал хорошо, а во сне, кажется, ничего не видал...— сконфуженно ответил Леонид Иваныч.

— Будто?! — не без лукавства улыбнулась Серафима Васильевна и потом, помолчав немного, заговорила вдруг каким-то сентиментальным, вообще так мало присущим ей голосом: — Ах, я просто еще в себя прийти не могу! Все это произошло так быстро, так неожиданно... Ну, мог-

* Здравствуйте! *(фр.)*

ла ли я ожидать?.. Ведь вы поймите, Леонид Иваныч,— она одна у меня, единственная моя отрада и утешение!.. И потом, вы знаете наши дела!.. Мой муж пропадает бог знает где, мы не видим от него никакой поддержки, а, напротив, только одни неприятности... Я — женщина, воспитанная совсем не в этой сфере, и мне так трудно, так тяжело, и вдруг теперь — Варенька!.. Вы уж не обижайте ее, любите, берегите вы мне мою крошку, а то я... я просто уж и не знаю — я, кажется, не переживу, если она будет так же несчастна, как и ее бедная мать!..— Глаза Серафимы Васильевны, с мольбою устремленные на Кудряшева, при последних словах сделались даже влажны.

— Да полноте... ну что вы, Серафима Васильевна!.. Неужели вы сомневаетесь? — растерянно лепетал молодой человек, упорно глядя себе в стакан.

— Ах, Леонид Иваныч, я знаю, все так говорят сначала, а потом...— хотела было продолжать его будущая теща, но в это время дверь из соседней комнаты отворилась, и в комнату вошла сама Варенька.

Леонид Иваныч приподнялся с места и сделал шаг к ней навстречу. Варенька улыбнулась, кокетливо опустила глаза и протянула ему руку, которую тот почтительно поцеловал.

— Да что уж!.. уж поцелуйтесь как следует! Чего там! — разрешила Серафима Васильевна, с умилением посматривая на эту сцену.

Варенька довольно смело подставила свою пухлую щеку. Целуя ее, Леонид Иваныч заметил, что пудра возле уха плохо стерта, а у подбородка разглядел два маленьких красных прыщика.

Когда они снова заняли свои места возле чайного стола, наступило неловкое молчание. Жених чувствовал себя совсем потерянным под маслеными и не то ласкающими, не то скорбящими взглядами Серафимы Васильевны. Барышня же, очевидно, ждала, чтобы он заговорил первым.

— Варя, а у тебя под мышкой-то, кажется, опять лопнуло! — нарушила наконец молчание сама мамаша.

— Разве лопнуло? Ах да! А я и не заметила...— довольно равнодушно отозвалась дочь, прощупывая рукой лопнувшее место.

Замолчали опять.

Варенька так аппетитно жевала булку с маслом и запивала большими глотками чая, что даже вздыхала от удовольствия. Леонид Иваныч сидел понуро и только из-

редка, прихлебывая из остывшего стакана, бросал короткие взгляды на свою невесту. Серафима Васильевна так и застыла со своей не то скорбящей, не то умиленной физиономией.

«Отчего это у нее кончик носа всегда так лоснится? — думал про себя Кудряшев, поглядывая на маленький и круглый носик своей невесты,— и потом вот еще около бровей краснота какая-то».

— Ох-хо-хо! — вздохнула среди общего молчания Серафима Васильевна,— и жаркий же сегодня день будет, совсем лето!

Никто не отозвался.

Кончили чай. Серафима Васильевна принялась перемывать посуду и укладывать ложечки в шкатулку.

— Ну, уж пойдите, пойдите — поворкуйте! Вижу, что вам неймется! — обратилась она к молодым людям, когда они, по обычаю, поблагодарили ее.

— Хотите в сад? — предложил Леонид Иваныч.

— Нет, пойдемте лучше в вашу комнату, я там больше люблю сидеть.

— Да я не знаю, прибрано ли еще там,— сконфузился он.

— Прибрано, прибрано! — заявила вошедшая за самоваром Федосья.

— Ты меня любишь? — обратилась Варенька к Леониду Иванычу, когда они очутились вдвоем в его комнате.

— Ах, боже мой, конечно люблю! Что спрашиваешь! — стараясь быть нежным, отозвался тот.— Еще как люблю-то, больше всего на свете!

— Милый! Я тебя тоже! — И руки девушки потянулись к его шее, давая ему возможность разглядеть, что под мышкой у нее действительно лопнуло; но тем не менее Леонид Иваныч обнял свою невесту за талию, прижал к себе и начал целовать...

— И всегда будешь любить? — шептала она, прижимаясь к нему.

— Всегда!

— Милый!..

Кудряшев опустился на кресло перед столом, посадил ее к себе на колени и снова принялся целовать.

— Постой,— остановила его вдруг Варенька,— это что у тебя за записочка лежит?

— Ах, это! Это — телеграмма брату. Вот прочти.

«Поздравь меня, женюсь — счастлив. Подробности письмом»,— прочитала она.

— Так ты действительно счастлив?

— О да! Я тебе и выразить не могу, как счастлив! — с деланным пафосом проговорил Леонид Иваныч и снова принялся целовать свою невесту; та совсем разомлела...

— Да можно, что ли, войти-то к тебе? — раздался громкий голос за дверью.

— Боже мой! Кто это? — встрепенулась Варенька.

— Это! Это!.. Сейчас! Погоди! Постой! Это — Каулин! — заметался Кудряшев.— Погоди, Илья Маркович, сейчас! — крикнул он, подбегая к двери.

— Ах, боже мой, я не хочу с ним встречаться!..— шептала она.

— Так как же быть-то? Хочешь, я выйду к нему и уведу в сад?

— Нет, не надо... я сама... я в окно вылезу!..

— Так постой, я тебе помогу!..

— Не надо! Не надо! Я сама!

Красивые, полные икры Вареньки быстро мелькнули на подоконнике, и вслед за тем она грузно выпрыгнула в сад.

— Ну, входи теперь! — несколько растерянно проговорил Леонид Иваныч, отпирая дверь и впуская своего приятеля.

— Здравствуй! — буркнул приземистый и бородатый Каулин, неуклюже вваливаясь в комнату.

Кудряшев ждал, что он спросит — почему была заперта дверь, но тот не спросил.

— А я к тебе на минутку.

— Почему же это на минутку?

— Почему на минутку-то? Да у меня, видишь ли, сегодня у самого гости. Хозяйка испекла мне пирог, ну, я и пригласил двух-трех дружочков... Тебя хотел звать, да ты письмо это прислал... Что такое случилось? Зачем я тебе понадобился? — проговорил Каулин, усаживаясь в кресло и принимаясь крутить папироску.

— В чем дело? — переспросил Леонид Иваныч, зашагав взад и вперед по комнате и нервно ероша волоса.— Дело, брат, важное!.. Очень важное! Такое дело... а ты ведь знаешь, что у меня ни одного приятеля, кроме тебя, здесь нет, посоветоваться не с кем, поговорить... впрочем, советоваться уж об этом деле нечего... а по душе поговорить, конечно...

— Ах, черт!.. Ты извини, пожалуйста: я совершенно нечаянно прочитал! — перебил его вдруг Каулин, отбрасывая рукой валявшуюся на столе телеграмму.— Право, нечаянно,— подвернулась под глаза, а я, по своей глупой привычке...

— Не беда, братец мой! — остановил его Кудряшев.— Прочитал — и отлично! Об этом-то я именно и хотел с тобой поговорить. Теперь видишь, в чем дело?

— Вижу! — глухо отозвался Каулин.— На ком же?

— На Вареньке!

— На Ва-рень-ке?!

— Да, на Вареньке! Что ж тебя так это удивляет?

— Нет, ничего... но, знаешь, право... я этого никак не мог ожидать... положительно не мог!

— Почему же не мог?

Каулин как-то весь вдруг съежился, сгорбился и усиленно задымил своей папиросой.

— Почему же не мог? — повторил Леонид Иваныч.

— Да знаешь... после всех тех разговоров... после разных толков, которые...

— Сплетни! — горячо перебил его Кудряшев...— Сплетни, Илья Маркович! Сплетни!!

— Конечно... может быть, и сплетни, но... ведь ты и сам повторял их и даже... кажется, даже верил им... Да, наконец, и... Как хочешь, а дыму без огня не бывает! — последнюю фразу Каулин проговорил совсем тихо, упорно глядя куда-то в сторону.

— Вздор! Положительный вздор! Да, наконец, если бы и так, если бы все это была и сущая правда, то нам-то что за дело?

Илья Маркович с полным недоумением поднял глаза на остановившегося перед ним Кудряшева.

— Да-с! Повторяю: какое нам-то до этого дело? — горячился тот, размахивая руками.— А мы-то что такое? Агнцы непорочные, что ли? Отчего это мы так требовательны к ним, а сами себе позволяем черт знает что? Почему?!

— Да все это так... конечно... да только сплетен-то больно много, то есть я хочу сказать, что... ну, добро бы — так, один кто-нибудь... а то ведь, братец мой, тут целая коллекция... — нерешительно начал гость.

— Все это вздор и вздор! Она мне сама во всем призналась! — опять перебил его хозяин.— Было одно только увлечение, и то... и то она положительно ни в чем тут не

виновата!.. А это подлые досужие языки — это ваши уездные кумушки: они рады очернить всех и каждого!.. Конечно, жить мы здесь не будем, а уедем куда-нибудь подальше... в Петербург даже, может быть...

Последнее решение пришло ему в голову только сейчас, раньше он и не предполагал, что ему придется выехать из N, и он даже как будто обрадовался этому решению.

— Да что же тебя побудило-то вдруг на женитьбу? — полюбопытствовал Каулин.

— Ах, многое, милый друг, очень многое! Во-первых, мне давно уже надоела эта собачья холостая жизнь, хочется домашнего очага, в норму войти хочется, понимаешь?

— Понимаю! Желание похвальное! Ну-с, а дальше?

— А дальше... Что же тебе еще дальше? Разве мало этого?

— Для того, чтобы *пожелать* жениться — совершенно достаточно, но чтобы... Почему же ты именно на Вареньке остановился?

Кудряшев молчал.

— Видишь ли, голубчик,— продолжал Каулин, не дождавшись ответа,— читал я где-то, уж теперь и не помню где, что жениться таким образом, как ты женишься, так же глупо, как бросаться в реку для того только, чтобы утолить жажду...

— Это очень цинично, Илья Маркович, и нисколько...— начал было Кудряшев, но, махнув рукой, отошел к окну и задумался. Каулин смотрел на него грустными и ласковыми глазами. Наступило довольно продолжительное молчание.

— Эх, Ленечка, Ленечка! — начал первый Каулин, поднимаясь с места и медленно подходя к своему приятелю.— Брось ты все это, право брось! Пойдем-ка лучше ко мне, поедим пирожка, да выпьем водочки, да подумаем, как бы поприличнее выйти из этого дурацкого положения.

— Нет, тут думать нечего — дело сделано! — тихо и не оборачиваясь проговорил Кудряшев.

— Да полно, милый, ничего еще не сделано! — продолжал Каулин, ласково трепля его по плечу.— Лучше маленькая неприятность теперь, чем всю жизнь потом мучиться...

— Да с чего ты взял... зачем ты это вздумал меня отговаривать? Во-первых, я не такой человек...

— Ну какой ты еще человек? Мальчик еще ты, а не человек!

— Ну, хотя бы и так, хотя бы и мальчик, но, во-первых, я никогда не отступаю от своего слова, а во-вторых, я даже напротив... я очень рад, очень счастлив, что женюсь на Варваре Гавриловне.

— Ну, в таком случае, конечно, и говорить нечего! Тогда незачем было и за мной присылать! — почти холодно проговорил Илья Маркович.— Ну так до свиданья, мне и домой пора: поди, собрались уж там... Может, и ты надумаешь — заходи.

— Не знаю, может быть!

И приятели довольно сухо пожали друг другу руки.

Оставшись один, Кудряшев все еще продолжал стоять перед открытым в сад окном.

«Итак, дело сделано! — размышлял он.— Я, конечно, должен жениться и женюсь!..» А все-таки как это неожиданно произошло... Думал ли он еще не так давно, что эта Варенька — эта несколько неряшливая и вульгарная барышня — станет его женой? Давно ли еще он сам повторял разные анекдоты насчет ее слабого сердечка! Конечно, это все вздор — теперь он вполне убедился, что она далеко не такая, как болтают про нее. Она сама и так искренно, так просто во всем созналась и покаялась... Да, в ней положительно есть душа... конечно, это не так легко разглядеть под грубоватой оболочкой, но он воспитает ее, он пробудит в ней все, что только есть в ней хорошего!.. Музыке будет учиться — в Петербурге это вполне доступно. А он так любит музыку... Когда третьего дня она играла ему на своих старепьких фортепьянах давно забытую миром «Молитву девы» [1], так он чуть не расплакался... Сколько воспоминаний: мама покойница любила эту тихую и незамысловатую пьеску... Бывало, отец уедет куда-то, в доме ни души, только он да мама; заберутся они в неосвещенную гостиную, он весь с ножками вскарабкается на старенький диван и дремлет под эти кроткие звуки... В комнате совсем темно, но ему сквозь сон кажется, что он ясно видит свою маму, грустную, задумчивую, милую...

А потом не стало и мамы, а вскоре за ней и отца похоронили. Его увез к себе старший брат в Петербург, и началась эта холостая бесприютная жизнь... Что ж, Варенька добрая девушка, вульгарна немножко, но все это сгладится — это уж его дело... Да зато как она любит его! Как

безгранично будет предана ему — она оценит его доброту, его снисходительность... Вчера вечером она у него даже руку поцеловать хотела... Милая!.. А сколько огня, сколько страсти!.. Нет, что тут задумываться, когда он чувствует, что теперь уже жить без нее не может! Некрасива — да зато фигура-то какая, а красота лица — вещь чрезвычайно условная... Он как-то неопределенно улыбнулся и повернул голову, словно надеясь сейчас же увидать свою невесту...

Дверь скрипнула и притворилась.

— Можно к вам войти? — тихо спросила Серафима Васильевна, просовывая голову.

— Пожалуйста, пожалуйста!

— А я к вам, голубчик, с просьбой: не можете ли вы мне деньжонок дать — сегодня, видите ли, первое число — так просто сил нет: так и тянут со всех сторон.

— Ах... с удовольствием... сию минуту,— заторопился Леонид Иваныч, бросаясь к письменному столу.

— Вот-с, извольте!..— конфузясь, подал он ей следуемые с него за квартиру двадцать пять рублей.

— А что, еще рубликов десяток не найдется у вас? — нерешительно спросила та, свертывая бумажку.

— Еще... есть, то есть вероятно есть... да, вот... вот еще десять... если вам нужно, я могу завтра достать: я вперед под жалованье возьму...— окончательно уж сконфузился Кудряшев.

— Нет, мерси, хватит пока. Вы уж извините, что я так, ну, да думаю — свой человек...— И Серафима Васильевна наклонилась и очень нежно поцеловала его в макушку.

— Маменька! Это черт знает что! Да где вы? — раздался в коридоре визгливый и злой голос Вареньки.— Эта Федосья, дьявол, опять мне юбки подпалила.

— Что вы лаетесь-то? — огрызалась где-то Федосья.

— Чертовка ты, вот что! Чертовка! Чертовка! Чертовка! — визжала Варенька.

— От чертовки слышу! — разошлась и кухарка...

Серафима Васильевна бросилась на выручку...

Кудряшев болезненно сморщился, опустил голову на руку и тупо посмотрел на стол.

— Однако что же я? Надо же телеграмму-то отправить, что она тут валяется! — вслух проговорил он и принялся считать слова телеграммы — оказалось тринадцать.

— Экое число-то скверное! Что бы такое сократить? Гм. «Поздравь меня — женюсь, счастлив...» Ну, женюсь, так уж, стало быть, и счастлив! — решил он, и слово «счастлив» было зачеркнуто.

НЕ ПАРА

— У нас сегодня гость будет! — объявил Константин Васильевич Калинин, здороваясь с женой.

— Кто? — без особенного любопытства спросила та.

— Кто? Гм. Субъект, к сожалению, тебе не особенно приятный, хотя я, с своей стороны, положительно не понимаю...— начал было, заминаясь, муж, но Наталья Николаевна перебила его.

— Короедов, конечно? Ну, так что ж, мне это безразлично, я могу и не выходить.

— Он у нас будет обедать.

— Обедать!.. Да, вот это другое дело. Это действительно неприятно, и не потому, что Короедов именно, а...

— Знаю, знаю...— остановил ее Калинин,— я уже распорядился — сейчас от Смурова принесут кое-что.

Наталья Николаевна укоризненно взглянула на своего красивого и щеголеватого мужа.

— А я думала, что ты сегодня кроватку купишь: Коле совсем спать не в чем,— тихо проговорила она и вышла из комнаты.

Оставшись один, Калинин сердито посмотрел ей вслед и с досадой швырнул только что снятые перчатки.

— Вот тут и извольте свою судьбу устраивать! — почти вслух проворчал он, направляясь к себе в кабинет.

— Ну, как... кто объяснит ей, что подобный педантизм может быть гибельнее всякой беспорядочности? Это какая-то упрямая, тупоголовая прямолинейность, от которой самые логические заключения как от стены горох отскакивают! — рассуждал он через минуту, шагая взад и вперед по легкому пушистому ковру.— Видите, у Смурова вина и закусок купил — так это разорение. Коле кроватку купить надо! А на что ее купишь, если в доме вина и закусок не будет? И ведь чем всегда найдет упрекнуть — детьми! Как будто он не отец им, будто он мало любит их. Да для кого же и живет-то он, и знается-то с разными Короедовыми, как не для них! А вот сама-то она что для них сделала? Родила, выкормила да следит теперь,

чтобы они не озябли,— вот и все! Это всякая наемная мамка или нянька может сделать. Не велика заслуга. Нет, ты, матушка, себя-то принеси-ка им в жертву, а потом уж и хвастайся!

Почувствовав, что он достаточно обозлился, Калинин отправился отыскивать жену, чтобы в глаза высказать ей то, что накипело у него на сердце.

Наталья Николаевна была в столовой и занималась разборкой корзины, принесенной от Смурова.

— Это что же, все к сегодняшнему обеду подавать? — обратилась она к вошедшему мужу, указывая рукой на расставленные по столу бутылки, банки, свертки и проч.

— Да, к сегодняшнему обеду! — раздражительно подтвердил Константин Васильевич.

— Должно быть, Короедов для тебя действительно очень дорог, если ты накупил такую пропасть всяких деликатесов.

— Да, дорог! И не для меня одного, а и для тебя, и для всей нашей семьи должен быть дорог.

Наталья Николаевна подняла свои большие, задумчивые глаза и удивленно посмотрела на Калинина.

— Да, вот это тебя удивляет! Потому, что ты дальше носа видеть ничего не хочешь! — горячо заговорил тот, порывисто жестикулируя руками.— Да! Ты вся ушла в свой мелкий эгоизм! Ты вся для себя!.. «И для детей»,— скажешь ты мне — вздор скажешь! Именно не для детей, а для себя одной. Если бы ты о них думала, то не стала бы фыркать и разыгрывать царевну Несмеяну. Ты вот все думаешь о сокращении расходов, но знай, что с ними неизбежно и доходы сокращаются. Мы уж и без того дошли до такого предела, что дальше и идти некуда.

— Мы не нищие! — остановила его Наталья Николаевна, продолжая заниматься своим делом.

— А все благодаря кому? Благодаря тебе! — продолжал горячиться Калинин, не обратив внимания на замечание жены.— Да, благодаря тебе! Ты вносишь в наш дом какой-то мещанский, скопидомнический элемент! Благодаря твоим настояниям я согласился переехать на эту квартиру! Ты уговорила меня уволить Степана и довольствоваться одной горничной. Ты и детей хочешь воспитать в этой мещанской убогой атмосфере.

— Я хочу их приучить к тому, что у них есть и на что они могут рассчитывать! — спокойно проговорила молодая женщина.

— А я-то что же? Я-то разве ни при чем?! — еще более раздражаясь, закричал муж.— И что ты мне все своим приданым глаза тычешь!

— Нисколько я моим приданым...

— Нет, тычешь! Нет, тычешь! Я даже скажу тебе больше,— ты разорила меня своими тридцатью тысячами. Да! Ты отняла у меня веру в себя. Я стал робок! Я стал нерешителен! Я обленился даже, зная, что у нас есть основной фонд! Тридцать тысяч! Скажите пожалуйста, какой громадный капитал! Да я втрое, вчетверо больше мог бы заработать!..

— Ну, и зарабатывай! Кто тебе мешает?

— Ты! Ты мешаешь! Для того чтобы работать, мне прежде всего нужна вера в себя! Мне размах нужен! А ты что делаешь? Села на свой капитал да стрижешь купончики.

— Ну, уж детских денег я ни за что не трону, не для того их дедушка положил! — твердо, хотя и очень тихим голосом проговорила Наталья Николаевна.

— Да и не нужно мне твоих денег! С чего ты взяла! Можешь быть уверена, что я и не прикоснусь к ним.

— Так чего же тебе нужно?

— Мне нужно, чтобы ты не мешала мне. Мне нужно, чтобы в моем доме рассчитывали не на одни только проценты с дедушкина капитала, а и на меня самого, на мою голову, на мои способности. Вот что мне нужно! Я должен, я, и никто другой, кормить и воспитывать мою семью. Слышишь ты! Я! Я!

— Господи! Да кто же тебе мешает? — всплеснула руками Наталья Николаевна.

— Ты, повторяю тебе, ты!

— Да чем же?

— Как чем? А вот сейчас... вот сегодня: мне нужно было пригласить и угостить делового человека, человека необходимого, хорошие отношения с которым для нас клад! А как ты встретила это известие? Ты зафыркала, как овца! Ты с немым укором указываешь мне на эти закуски и бутылки и при этом вздыхаешь, что у Коли нет удобной кровати. Да знаешь ли, каких ты этим результатов можешь достигнуть? А? Ты обезличишь меня и в конце концов пошлешь в Галерную гавань ловить плывущие дрова! Вот до чего ты можешь довести нас.

— Ну полно! Зачем так преувеличивать. Ну, извини меня — я не буду вмешиваться в твои дела.

— Не будешь вмешиваться! Ха, ха, ха! — иронически захохотал Константин Васильевич,— не будешь вмешиваться! И только? И только?

— Да чего же тебе еще?

— А помочь мужу — это не твое дело? А поддержать его в тяжелые минуты неудач и неприятностей — это не твое дело? Облегчить ему его работу, разделить с ним заботы его — на это тебя нет?!

— Да чем же я могу помочь тебе? — почти умоляюще проговорила жена, устремляя на него горький и недоумевающий взгляд.

— Чем? Чем? Сама, конечно, ты нигде и никогда не догадаешься! — укоризненно закачал головой Константин Васильевич.— Нет, Наталья Николаевна, не жена ты мне, не друг, а враг! Да, враг, лютый враг! — И, бросив этот последний упрек, он быстро вышел из столовой, сильно хлопнув дверью.

Возвратясь к себе в кабинет и успокоившись немного, Калинин сообразил, что он погорячился не вовремя, именно — не вовремя. Положим, Наталья Николаевна добра, она, конечно, не рассердится и не придаст особенного значения его словам, но этого мало: теперь ему трудно будет приступить к тому щекотливому объяснению, которое предстоит ему сегодня с женой. Когда он пять минут тому назад сказал ей, что ему детских денег не нужно, он сказал неправду, денег-то ему, положим, и не нужно, но зато необходимо поручительство на сумму, равную почти всему дедушкину капиталу. Короедов предложил ему прекрасную аферу, сулившую в будущем всякие блага, но без поручительства жены и доброго расположения самого Короедова сделать было ничего невозможно, и он, возвращаясь сегодня домой, соображал, как бы получше умаслить и уговорить жену помочь ему в этом заманчивом деле. И вдруг, вместо нежных и мягких подходов, сочиненных им дорогой, наговорил ей кучу резкостей и даже дерзостей. Как ни добра, как ни снисходительна его жена, но все-таки и с ней нельзя безнаказанно говорить таким образом. А главное — тон взят не тот, вот что скверно; теперь переход труден, а до обеда-то осталось каких-нибудь два часа, Короедов же может приехать и раньше.

— Скверно, черт возьми! — почти вслух проговорил он, останавливаясь у письменного стола и закуривая сигару.— Скверно!

Нет, не пара она ему, совсем не пара: другая бы сразу, с полслова, с намека поняла, что нужно делать, а этой и в три года не вобьешь. Как растолкуешь ей, например, что некоторая снисходительность к какому-нибудь Короедову не есть еще осквернение домашнего очага. И притом она почему-то совсем перестала верить ему. В последнее время это особенно ясно заметно. Смотрит в глаза и не верит. И ведь любит его, несомненно любит, хотя, конечно, уже далеко не так, как любила в первые годы их супружества, когда она с благоговейной жадностью ловила его речи, когда каждое слово его было для нее законом... Отчего же это она вдруг изверилась в нем? Разве он когда-нибудь лгал ей? Нет, все это оттого, что она слишком прямолинейна и ни в чем не допускает каких-либо уступок. Кто говорит, все это может быть и прекрасно, но жить так нельзя, особенно когда на руках дети и нужно думать об их будущности.

«Однако что же это! уж четверть пятого! — удивился Калинин, взглянув на часы, стоявшие на камине.— Этак, того и гляди, Короедов пожалует. Ведь если это сегодня не удастся, может и совсем не удаться!» — И он быстрыми и решительными шагами пошел опять к жене.

В столовой ее уже не было. Там молоденькая и хорошенькая горничная Таня суетливо накрывала на стол.

— Барыня, кажется, в детскую прошли,— сообщила она.

Калинин направился в детскую. Насколько хорошо или, по крайней мере, прилично были убраны передние, казовые комнаты, настолько в остальных бросалось в глаза какое-то странное, совершенно неожиданное убожество. Детская, впрочем, еще была получше других. Наталья Николаевна настойчиво отвоевала эту большую и светлую комнату для детей, предпочтя самой приютиться в узенькой и полутемной каморке, служившей ей и рабочей и спальной (сам Константин Васильевич спал в кабинете). Но зато обстановка детской была до крайности мизерна. Мебель стояла там старая, поломанная, да и той не хватало для самых существенных потребностей. Например, младший сын Коля спал просто в корзиночке, снятой со старой Лизиной колясочки. Нянька Давыдовна покоила свои старые кости на истрепанном донельзя матрасике. Детское белье, не поместившись в крошечном, убогом комодике, большею частью лежало в сундуке.

Константин Васильевич застал жену кормящей маленького Колю манной кашкой. Увидав отца, ребенок бойко затараторил:

— Па-па-па-па! Ка-ха! Ка-ха! — и протянул к нему ручонки.

Калинин подошел и потрепал сына по пухлой и румяной щечке. Тот сейчас же воспользовался отцовским пальцем и вместе с кашей потащил его в рот.

— Сколько у него зубов? — обратился Калинин к жене.

— Одиннадцать! — не без гордости ответила та и любовно посмотрела на своего мальчугана.

— Ого! Мы делаем успехи! А мне, Наташа, нужно с тобой поговорить.

Наталья Николаевна вопросительно подняла глаза на мужа.

— Нет, не здесь... Когда ты освободишься, приди ко мне.

— Хорошо! Да, впрочем, я сейчас свободна.— И, передав осторожно сына Давыдовне, она пошла вслед за мужем.

В ее тесной спаленке они остановились, и Калинин уселся в низенькое кресло в позе человека, собирающегося много и долго говорить.

— Видишь ли что, Наташа,— начал он ласково, но как будто несколько обиженным тоном.— Мне бы хотелось раз и навсегда выяснить установившиеся между нами за последнее время отношения. Я замечаю, что ты стала относиться ко мне как-то недоверчиво и недружелюбно.

— Недружелюбно? Нет! — поправила его жена.

— А недоверчиво — значит, да?

Наталья Николаевна молчала.

— Ну, да, конечно, конечно! А за что? Чем я заслужил подобную недоверчивость с твоей стороны? А? Чем? Ну, скажи! — настаивал Калинин.

— Не будем лучше касаться этого вопроса — он слишком сложен,— тихо проговорила она.

— Нет, отчего же? Отчего не выяснить и сложные недоразумения? Хуже, если они застареют.

— Подумай хорошенько, Костя, сам,— может быть, ты и натолкнешься на ответ.

— Ничего я не хочу думать! Ты должна мне сказать! Разве я обманывал тебя когда-нибудь? Скажи, разве обманывал?

— Ты себя обманывал, это все равно.

— Да, действительно, если мы будем говорить так туманно, то трудно договориться до чего-нибудь.

— Так бросим лучше... Скажи, что тебе от меня нужно?

Константин Васильевич замялся, он положительно не знал теперь, как приступить к щекотливому объяснению... Наталья Николаевна молча ждала.

— Видишь ли, Наташа,— начал он после небольшого молчания,— я уж сказал тебе, что у нас обедает сегодня Короедов. Ну, да, я сам знаю, что он человек неприятный, тяжелый, невоспитанный человек, что он позволяет себе в разговоре иногда и много лишнего, но он человек в настоящую минуту крайне нужный нам. Я, видишь ли, затеял одно дело... дело, которое сразу изменит наше материальное положение. Без Короедова дело это сделать нельзя: от него все зависит, потому хорошие отношения с ним... Боже мой! да разве я требую от тебя чего-нибудь особенного! — вдруг загорячился опять Константин Васильевич, заметя, что какая-то тень пробежала по лицу его жены.— Да ничуть! Ну, будь только с ним поласковее, не принимай близко к сердцу разные его шуточки и словечки, не смотри на него такой букой. Ну, что за беда, если он лишний раз поцелует у тебя руку? Разве убудет тебя от этого? Сделай это ради детей, ради их будущности... Ведь, право, дедушкины тридцать тысяч далеко не такой капитал...

— Послушай, Костя,— перебила его жена, с грустной улыбкой глядя ему в глаза,— ты вот все о детях толкуешь... да нет, постой — отвечу тебе на это твоими же словами! — И Наталья Николаевна торопливо обернулась к своему рабочему столику, отперла ящик и, порывшись в нем несколько секунд, вынула оттуда голубоватый листок почтовой бумаги.— Вот это одно из твоих писем,— это еще когда у нас была одна Лиза,— вот посмотри, это ты писал мне тогда из Москвы — это по поводу абонемента в оперу. Вот видишь эти строки: «Я бы считал преступлением заглушать в моей жене чувство изящного, уж по одному тому, что этим самым я заглушил бы его и в моей дочери...» — прочла Наталья Николаевна.— Это ты писал о чувстве изящного, а разве чувство нравственности не менее важно? — тихо проговорила она.

— Ну что ж? Ну что же... разве я отказываюсь от своих слов и разве я думал когда-нибудь посягать на твою нравственность? Я не понимаю, как ты могла растолковать

так мои слова! Положительно не понимаю,— немного растерянно заговорил Калинин.

— А о чем ты меня сейчас просил?

— Как о чем? Это о Короедове-то?

— Да!

— Что же такого — разве уж это так безнравственно быть несколько полюбезнее с нужным нам человеком?

— Ты просил меня, то есть по крайней мере так могла я понять твои слова, ты желал бы, чтобы я немного пококетничала с ним?

— Ну, хотя бы и так!

Наталья Николаевна горько улыбнулась.

— Во имя нашей дочери я не могу себе позволить этого! — не без иронии ответила она после небольшого молчания.

— Ну что ж делать! Что ж делать! Ты слишком чиста, чтоб понять меня,— хлопая себя рукой по колену, пробормотал Константин Васильевич.

— Нет, Костя, вовсе я не слишком чиста, хотя ты совершенно напрасно глумишься над этим,— не чистота моя не позволяет делать этого...

В передней в это время прэдребезжал звонок. И муж, и жена вздрогнули и переглянулись друг с другом.

— Короедов? — тихо проговорила Наталья Николаевна.

— Вероятно, он! — ответил Калинин, поднимаясь с кресла.— Послушай, Наташа,— быстро заговорил он,— еще один вопрос: согласишься ты поручиться за меня в одном деле и представить в обеспечение тысяч двадцать?..

— Из детских денег?

— Ну... да...

— Ни за что! — твердо ответила молодая женщина, отрицательно качая головой.

— Ни за что? — переспросил муж.

— Ни под каким видом.

Калинин махнул рукой и пошел в гостиную.

— Мир сему дому! — прохрипел громким басом необъятных размеров мужчина лет сорока пяти, с большой окладистой черной бородой и коротко остриженной круглой головой, вваливаясь из передней навстречу Константину Васильевичу.

— Матвей Саввич! Здравствуйте! — несколько конфузясь приветствовал его хозяин, пожимая его пухлую мохнатую руку.

— Ну, батенька, и живете же вы! — пыхтя и отдуваясь, продолжал толстяк, осматривая комнату маленькими свиными, но зоркими глазками.

— А что, высоко?

— Да высоконько-таки! Уф! Насилу взобрался... с полудороги вернуться хотел. Ну-с, а сама барыня где? Дома? — бесцеремонно вдруг спросил он, грузно опускаясь на широкое кресло около дивана.

Калинина несколько передернуло.

— Да, жена дома... вероятно, с обедом хлопочет! — неохотно ответил он.

— Дело! Соловья баснями кормить не следует! Ну-с, почтеннейший, а как наши дела?

— Это вы насчет поручительства?

— Да-с.

— Да еще не знаю — я еще не успел хорошенько переговорить с женой.

— Напрасно.

— То есть я начинал... ну, она, конечно, как женщина, опасается еще и...

— Гм! Опасается! Плохо, стало быть, вразумляли. Ну, да я сам примусь — авось-ко она меня лучше послушает, чем своего благоверного. Однако, тово: если вы меня ждали к обеду, то я приехал!

— Ах, да, сейчас! Сейчас! Я спрошу... вероятно, готово,— сконфузился Калинин и быстро вышел из комнаты.

Оставшись один, Короедов меланхолично замурлыкал какой-то мотив, постукивая жирными пальцами по столу, и принялся внимательно осматривать обстановку гостиной. Через минуту вернулся Калинин.

— Готово! Пойдемте обедать! — объявил он.

— Чудесно! — одобрил гость, кряхтя и сопя поднимаясь с кресла.

— А сама? — еще раз спросил он.

— В столовой.

— «Привет тебе, приют родимый! И нимфе здешних мест привет!» [1] — запел Короедов, вступая в столовую и первым протягивая руку Наталье Николаевне. Та хотя и неохотно, но протянула свою. Короедов, не сгибаясь, поднес ее к своим губам и намеревался было поцеловать. Наталья Николаевна очень энергично выдернула свою руку у него под самым носом. Короедов в душе страшно обозлился, но не подал виду. Калинин, занятый осмотром стола с закусками, не видал этой сцены.

— Матвей Саввич, милости просим водочки,— обратился он к гостю. Тот повернулся к нему и окинул глазами расставленные закуски.

— Добре! — крякнул он и взял большую рюмку.

— За здоровье прекрасной, хотя и неприветливой хозяйки,— проговорил он и залпом выпил водку. Калинин сконфуженно улыбнулся, Наталья Николаевна сделала вид, что не слыхала его слов.

Перепробовав почти все закуски, жадно набивая ими рот и громко чавкая, Короедов занял наконец свое место за обеденным столом.

Суп прошел в полном молчании, все сосредоточенно ели и смотрели в свои тарелки. Затем Короедов сам протянул руку к мадере и налил себе довольно объемистый стаканчик.

— Так как же, сударыня, вы наше дело не одобряете? — обратился он после этого к Наталье Николаевне.

— Какое дело? — не поняла та.

— Как какое? — удивился в свою очередь Короедов.— Да разве же вам супруг не объяснил?

— Да, да,— быстро вмешался вдруг Калинин,— я говорил ей, но не успел еще хорошенько посвятить в подробности.

— Не успели? Ну, что ж, тогда я посвящу! Видите ли, в чем дело, прелестнейшая Наталья Николаевна,— начал гость, аппетитно прихлебывая мадеру и бесцеремонно поглядывая на хозяйку.— Дело это довольно сложное и в то же время для супруга вашего весьма прибыльное...— И Короедов принялся не торопясь и очень обстоятельно объяснять ей самую суть предполагаемой аферы.

Наталья Николаевна слушала как будто и внимательно, но с видом человека, у которого уже давно готов обдуманный ответ. Калинин молчал.

Короедов говорил долго. Съели рыбу, была подана дичь, а он еще все продолжал говорить, добираясь уже и до деталей, и до мелких подробностей.

— Так вот-с, на основании всего вышеизложенного нам и нужно ваше вмешательство и, так сказать, порука своим капиталом! — заключил он наконец, наливая себе привычным жестом стакан вина.— Что же вы мне на это скажете? — переспросил он, видя, что Наталья Николаевна не отвечает.

— Что я вам скажу? — спокойно заговорила она, приподнимая голову и смело глядя ему в глаза.— Во-первых,

скажу: несмотря на всю обстоятельность ваших объяснений, многое для меня, как для женщины непрактической, осталось непонятным, а во-вторых, я вижу, что вы глубоко убеждены в неоспоримой выгодности вашего предприятия, и удивляюсь только, почему вы сами не внесете нужного обеспечения? Вы человек, как говорят, очень богатый, и двадцать тысяч для вас, вероятно, ничего не значат...

Короедов, выслушав эту тираду, злобно сверкнул на нее глазами и насупился.

— Во-первых, Наталья Николаевна, в чужом кармане считать... неудобно! — глухо заговорил он.— А во-вторых, дело это я делаю не для себя, а для вас и потому надеюсь, что вы, а не я должны вложить в него капитал.

— Для нас? Во имя чего же? — сделала удивленное лицо Наталья Николаевна.

— Во имя чего-с? Ха, ха, ха! Во имя чего-с? — начал было Короедов и вдруг почему-то замолк.

Калинин сидел как на иголках и как-то особенно внимательно ел бисквиты со сливками.

— Да, во имя чего? — настойчиво повторила Наталья Николаевна.

— Хе, хе, хе! — нехорошо захихикал Короедов.— Да так, блажь вот пришла помочь вам, вот и все!

— Очень благодарны вам за эту блажь, но воспользоваться ей мы не намерены,— я, по крайней мере.

— Тем хуже для вас! — буркнул Короедов и посмотрел на Константина Васильевича: ты, дескать, что же молчишь?

Но Калинину сделалось вдруг чрезвычайно неловко: нахальный гость и угнетал и раздражал его; в словах жены и в ответе Короедова он услыхал что-то такое, что прежде ему не приходило на мысль. Не зная, как выйти из своего скверного положения, он стал растерянно улыбаться. Прошло несколько секунд тяжелого, напряженного молчания.

— Ну, да что тут!.. бросим этот разговор... ну его! — пробормотал он наконец.

— Как бросим?! Как ну его?! — грубо проговорил Короедов.

— Да так и бросим! — уж более решительно повторил Константин Васильевич.— Вот пейте-ко лучше кофе... Ликерцу вот не хотите ли?

Наталья Николаевна слегка побледнела. Короедов усиленно засопел.

— То есть что же это такое? — раздраженно проговорил он, впиваясь глазами в хозяина.

— Это бенедиктин, а это вот коннор,— отвечал тот, как будто не поняв вопроса и продолжая улыбаться.

— Да я вас не об этом спрашиваю! Зачем же было огород городить, когда в результате вы ни с того ни с сего решаете все бросить? Вот о чем я спрашиваю вас!

— Я, Матвей Саввич, не ни с того и ни с сего решаю это.

— Как? Значит, вы вполне разделяете мнение вашей почтенной супруги?

— Да-с, вполне разделяю и даже скажу вам еще больше...— начал было Калинин слегка задрожавшим голосом и вдруг сразу оборвался.

— Ну-с, что же вы еще больше-то скажете? — нахально приставал Короедов.

— Наташа, выйди отсюда! — едва сдерживаясь, проговорил Калинин.

Наталья Николаевна поднялась со стула и умоляюще посмотрела на мужа.

— Выйди, говорю, Наташа, и не волнуйся...— повторил он как будто спокойнее.

— Ну-с? Я жду! — с вызывающим видом выговорил Короедов, когда та вышла из столовой.

— А вы чего ждете? — глухо спросил его Калинин.

— Как чего? Ваших объяснений!

— Моих объяснений,— о, они будут непродолжительны! Вы допили ваш кофе?

— Ну-с — допил-с!

— Ну так теперь прощайте!

— То есть как это? — запыхтел Короедов, поднимаясь с места.

— Ну да, да, да! Не заставляйте меня еще раз повторить это! — нервно проговорил Калинин, комкая салфетку.

— Так вот оно что! Что же это — ревность, что ли? А? Не опоздали ли, сеньор?

— Вон! — прошипел, совсем бледнея, Калинин.— Вон, иначе я тебе глотку перерву!

— А! Вот как! Ну хорошо! Ну хорошо! Погоди же! — захрипел Короедов, бросаясь в переднюю и торопливо схватывая свое пальто.— Хорошо же! Погоди! Я тебя,

голубчик, заставлю поплясать! — продолжал он бормотать.

Калинин, бледный как полотно, прислонился к косяку двери и лихорадочно дрожал.

— Вон! — визгливо крикнул он еще раз. Короедов опрометью бросился на лестницу.

Испуганная и трепещущая Наталья Николаевна вбежала в переднюю.

— Костя! Костя! Успокойся! Что с тобой? — обратилась она к мужу, схватив его руку. Тот посмотрел на нее каким-то тупым, ничего не соображающим взглядом.

— Да Костя же! Голубчик! Ну успокойся! — шептала она, трепля его за плечо.

— Ничего... Ничего... Оставь меня...— тихо проговорил он, приходя в себя.— Ничего, это пройдет...

— Поди ты скорее к себе в кабинет, ляг! — настаивала жена.

— Хорошо! Хорошо! Только оставь меня... Я сейчас успокоюсь...— И Константин Васильевич, пошатываясь, пошел в кабинет; Наталья Николаевна последовала за ним.

— Да оставь же ты меня! — раздраженно крикнул он ей, опускаясь на широкую оттоманку.— Уйди!..

Наталья Николаевна нерешительно вышла из кабинета.

— Фу! Как это возмутительно! — простонал Калинин через минуту, хватаясь руками за голову.— Теперь все пропало! Все рухнуло! Проклятые нервы! И потом, зачем он столько пил за обедом? Теперь Короедов одними векселями его задушит... Этот не помилует! Ужасно! А все из-за нее!.. Конечно, из-за нее. Нет, не такая бы ему жена нужна была! Нет, не пара она ему! Совсем не пара! — И Константин Васильевич почти злобно уставился на большой портрет Натальи Николаевны, стоявший на его письменном столе



Вл. И. Немирович-Данченко

С ДИПЛОМОМ!

I

Анну Тимофеевну приехали проводить три-четыре товарки по институту и обе барышни Ставроковские. Она была взволнована. Ей хотелось горячо поблагодарить новых друзей, но удерживала боязнь употребить какое-нибудь неловкое «нелитературное» выражение. У нее уже вошло в привычку сдерживать свои порывы и произносить только фразы строго обдуманные. Она и не подозревала, что эта манера, которую Ставроковские называли «тактом», еще больше привлекала к ней образованных девушек.

На дебаркадере Николаевского вокзала было тихо. Пассажирский поезд почти весь состоял из вагонов третьего класса. Один — микст [1], выкрашенный наполовину в синюю, наполовину в коричневую краску, один — специально второго класса, весь коричневый, все же остальные — длинные ярко-зеленые, с маленькими окошечками.

Из всех пассажирских поездов Николаевской дороги это — самый тихий. Поэтому Ставроковские и рекомендовали его Анне Тимофеевне.

— Едет все народ неторопливый, собирается не спеша! — говорила ей вчера младшая Ставроковская.— Не кричит, не предъявляет никаких требований...

По платформе редко раздаются шаги. Артельщиков почти нет. Не видать и никаких мундиров или вообще лиц, имеющих начальствующий вид. Только там, далеко впереди, около багажного вагона, мелькает красный околыш

«помощника». Кондукторы спокойно стоят у вагонов. Беспрерывное шипение паровоза да изредка чьи-то голоса гулко раздаются в разреженном утреннем воздухе.

Когда раздалась мелкая дробь второго звонка, небольшая компания задвигалась. Анну Тимофеевну осыпали всевозможными пожеланиями. Она крепко перецеловалась со всеми.

— Не забывайте же нас,— сказала старшая Ставроковская.— Напишите обо всем, как уладите ваши дела, как устроитесь.

— Что вы, Надежда Ивановна! Я вашу ласку до гроба не забуду. Вы человека подняли во мне.

— Напишите непременно,— прибавила младшая.— Кто знает? Может быть, еще увидимся.

— Все подробно отпишу.

Прощание с товарками было несколько проще, но, пожалуй, еще горячее.

— Спасибо вам за все,— говорила Анна Тимофеевна каждой.

— Дай вам бог всяких благополучий!

— Вы счастливая! Уезжаете на родину,— сказала одна.

— Мне с вами так хорошо было,— ответила Анна Тимофеевна,— что, кажется, век бы не расставалась!

Из-за окошечка она ласково кивала своим друзьям и старалась крепко запомнить их лица. Те стояли перед вагоном, и так как разговаривать было нельзя, то испытывали чувство неловкости.

Наконец, раздался третий звонок, обер-кондуктор и паровоз обменялись своими свистками, и поезд двинулся. Когда он вышел из-под навеса и перед глазами Анны Тимофеевны вдруг светло раскинулось широкое пространство, наполненное высокими зданиями,— она прошептала:

— Прощай, Петербург! Должно, уж никогда не увидимся.

Темная боковая стена какого-то высокого дома долго еще мелькала перед глазами. По ней снизу доверху тянулись грязноватые полосы труб. Появлялись и исчезали длинные фабричные строения. Там и сям повисли в воздухе широкие ленты дыма. Несмотря на ясное, солнечное утро, городская даль была окутана легким туманом. Кое-где выскакивал из него блестящий шпиц. На ближайших церквах дрожали золоченые купола. Панорама города иногда вдруг пряталась за цепью товарных вагонов и

только мелькала между ними. Тогда перед глазами Анны Тимофеевны проскакивали какие-то большие буквы и цифры, которых она не умела разбирать. Но скоро вагоны исчезали, и снова покойно расстилалась городская ширь.

Анна Тимофеевна долго стояла у окна. Ей хотелось навсегда запомнить все, что она увидит. Она знала, что никогда не вернется сюда. Хотелось высмотреть то «у взморья», где она прожила почти два года, но туман скрывал от нее даль, да и не умела она ориентироваться. Оставалось следить за попадавшимися по пути одноэтажными бревенчатыми строениями, имевшими вид не то больницы, не то богадельни, за фабриками с рядом небольших домов на фабричном дворе, огороженном деревянным забором, за кладбищами, ютившимися в небольших и еще не особенно тенистых, но высоких рощицах.

А город все уменьшался и все круче заворачивал влево.

Поезд как будто остановился раза два еще до первой станции. Анна Тимофеевна запомнила, что ее зовут «Колпино». Почему-то название первой станции нередко упоминалось во время разговоров в Петербурге,— чуть ли не чаще, чем даже Москва, которая в Петербурге считается провинцией.

Было начало июня, и пассажирский поезд исполнял все функции дачных поездов. Он не пропустил ни одной платформы.

Дачи выглядывали из зелени, одноэтажные с мезонинами, незатейливой архитектуры. От них к платформам вились дороги. Дневная сутолока заметно начиналась повсюду. По дорогам мелькали телеги, по линии то и дело попадались рабочие...

Пора было устроиться, и Анна Тимофеевна огляделась. Она сидела на самой крайней скамейке. Длинный вагон третьего класса был наполовину пустой, и скамейка вся целиком была предоставлена в ее распоряжение. Анна Тимофеевна подумала, что это, может быть, хорошее предзнаменование. Она суеверно считала, что если везет, так уж во всем, и по мелочам можно догадаться, «на какой линии ее счастье».

Перед нею сидел старик лет шестидесяти, «купеческого облика»,— мысленно определила она. Небольшой, худощавый, с седой круглой бородкой, в картузе, низко надвинутом на глаза, он сидел опираясь на палку. Рядом с

ним — сын или внук, франтовато одетый в купеческий кафтан. У него было немножко скучающее, немножко сконфуженное лицо.

Анна Тимофеевна взглянула под свою скамейку — на месте ли ее чемодан, небольшой, старый, но из отличной черной кожи и прекрасной работы. В углу на скамейке лежал ее узел, тоже затянутый кожей и ремнями. Оттуда выглядывала подушка в пестрой, совсем простецкой наволочке. Багаж ее довершала корзина, очевидно с провизией.

Она попыталась уже во второй раз спустить окно. В первый раз она хотела открыть его еще на дебаркадере. Окно не поддавалось.

— Пётра! Помоги им! — приказал старик молодому.

Тот галантно сорвался с места и после небольших усилий спустил окно.

— Пожалуйте-с,— проговорил он и отошел на свое место.

— Благодарю вас. А я еще в Петербурге старалась, да так и не смогла открыть.

Она высунулась в окно, но ее скоро потянуло на разговор. Она ощущала то доброе настроение, когда хочется говорить много и когда все люди кажутся симпатичными. Старик предупредил ее:

— Чемоданчик, видимое дело, по случаю купили?

Он мотнул головой под ее скамейку.

— Какой? Этот? Нет. Свой.

— Дорого дали? Заграничной работы. Хорошая вещь.

— Не знаю. Это, видите ли, барина одного... Там далеко, на юге.

— Так-с.

Он, прищурившись, посмотрел на Анну Тимофеевну и, по-видимому, соображал, «из каких она будет».

Вряд ли ему удалось решить это. Анне Тимофеевне было на вид лет за тридцать. Бодрое напряженное состояние делало ее несколько моложе. Но меньше тридцати ей не могло быть. Одета не то чтобы очень просто, но и не по-барски. В шляпе. Едет в третьем классе, а чемодан богатый, хотя и старинный. Решил бы старик, что это горничная «больших господ», но он видел, кто ее провожал и как она с ними целовалась и руки им пожимала.

— Далеко едете? — спросил он.

— Далеко. В Полтавскую губернию.

Она говорила медленно, точно стараясь выговаривать слова особенно чисто, но южный акцент был слишком резок, чтобы его не заметить. И «губернию» она произнесла с тем *г*, которое свойственно малороссам и которого не существует в русской азбуке.

— И сами оттуда,— сказал он полувопросом.

— Да. А что? Слышно?

— Слыхать.

— Вот не могу отделаться. А уж как стараюсь,— сказала она с улыбкой.— Да и, знаете ли, здесь, в Петербурге, еще не так, а вот с московскими так вовсе вразрез моя речь.

— Нешто московские иначе говорят, чем у нас?

— Разница. Например, вы как говорите? «Первый»?

— Первый,— повторил старик.

— Ну, вот. А московские — «перьвый». Или еще слово — кровь. И в Петербурге и у нас говорят «кров», а в Москве чисто: кровь.

— Это вернее, что ли?

— Вернее.

— И пишется через мягкую ерь,— вставил молодой.

Анна Тимофеевна вспомнила, что речь о южном говоре шла с год назад у Ставроковских, когда она была там в первый раз, и тогда ей самой подобные замечания были внове. Теперь ей стало приятно, что она не забыла: так хотелось крепко сохранить в памяти все, что она видела и слышала за эти два года...

— Выходит, надо и перь... Как вы сказали?

— Перьвый?

— Так тоже правильнее?

Молодой с любопытством, но исподтишка ждал ответа соседки. Сам он не мог припомнить, есть здесь «мягкая ерь» или нет.

— Нет, теперь уж правильнее по-нашему — «первый».

Молодой чуть кивнул головой: я, дескать, так и знал. Старик повернул к нему голову:

— Тут, стало быть, без ери пишется?

— Видимое дело,— ответил тот.

«Лавочники» — подумала о них Анна Тимофеевна.

— А вы что же, торговлей занимаетесь? — спросила она.

— Торгуем,— ответил старик.— Лесная торговля у нас.

— И далеко едете?

— Тут сейчас и сойдем. Дельце тут есть. А вы, стало быть... за Москву?

— Ох, мне долго ехать. И за Москвой-то еще тысячу верст.

— О!

— Да.

— В Москве, стало быть, отдыхать будете?

— Нет, не до отдыха мне. Тороплюсь.

Она чуть не прибавила «дети у меня там», но удержалась. Старик, наверное, спросил бы: «Стало быть, замужем?», и ей пришлось бы или солгать, или посвящать его в свою жизнь. Краска выступила на ее лице, она беспокойно подвинулась, но бодрая мысль снова овладела ею: скоро конец этому!

— К месту, что ли, спешите? Чем изволите заниматься?

— Фельдшерица я. Только что окончила экзамены на фельдшерицу-акушерку.

Старик посмотрел как-то подозрительно.

— Это, стало быть... повитуха, что ли?

— Да, и повитуха. Ученая повитуха, если хотите.— Она рассмеялась. Ей вдруг стало весело.

— Так-с. А эти, что провожали вас, в том же роде, к примеру, будут?

— Некоторые. А две из них... Может быть, заметили,— тут стояли полевее?

— Приметил.

— Да. Это дочери одного генерала, штатского. Ставроковский — не слыхали?

— Не приходилось.

— Одна — женщина-врач, старшая. Понимаете?

— Понимаем. По медицинской части.

— Да. Со всеми правами доктора. Очень образованная девушка. А другая сестра заведует городской библиотекой. Тоже ученая.

— Какая же им охота?

Анна Тимофеевна переспросила его и наклонилась, чтобы лучше слышать.

— Ведь вы, кажись, сказали,— генеральские дочки, мол?

— Да. И дом свой у отца ихнего, и состояние имеет.

— Ну, вот-с. Стало быть, зачем же барышням по ученой части? Или в законе счастья не было?

— Это что такое — в законе?

— То есть по части законного брака. Я и говорю, какой же резон? Ну, которая девушка из нужды или так... родителей поддержать. Это понять можно, отчего не понять. И даже, в случае чего, похвально. А ежели у них дом свой и при капитале, так... и выходит, не к чему.

Старик говорил медленно, часто запинаясь и подбирая слова. Его маленькие глаза строго смотрели из-под широкого козырька фуражки.

Анна Тимофеевна с трудом понимала его. Он упорно отказывался возвышать голос, а колеса шумно тарахтели по связкам рельс.

— Так в этом же худого ничего нет! — сказала она и вдруг почувствовала, как у нее к горлу подступило раздражение. Даже не сразу поняла, откуда оно, это ощущение.

— Кто говорит! Худого нет, а... лишнее. К чему?

Анна Тимофеевна откинулась.

— Вот странный взгляд! Я думала, что в Петербурге никто уж так не смотрит.

Тот, по-видимому, не понял ее, но смотрел на нее уже с явным недружелюбием. Раздражение все сильнее овладевало Анной Тимофеевной, так что она едва сдерживалась.

— Если бы я услыхала такое...— ей хотелось сказать «невежество»,— такое понятие у нас в глуши — не удивилась бы. А тут!..— Она пожала одним плечом и повернулась к окну.

— Старики все так рассуждают,— заметил Петр.

— Ты куда? — грозно окликнул его старик.

Тот равнодушно отвел взгляд на потолок.

— Не́ к чему это, выходит, не́ к чему,— пробормотал старик и смолк.

Анна Тимофеевна подумала о старшей Ставроковской. Будь та на ее месте — сумела бы ответить, а она не находит слов. Только сердце у нее сильно бьется, и как-то особенно неприятно бьется, точно дурное предчувствие охватило ее. «Лучше помолчу»,— подумала она.

Скоро ее соседи вышли, и она осталась одна. Где-то в конце вагона кричал грудной ребенок. А через одну скамейку тянулась спокойная беседа двух голосов. Слышались слова «протест», «вексель»...

Неудовлетворенное чувство не покидало Анну Тимофеевну. На душе было смутно, мысли путались. То вспоминались ей оборванные фразы, слышанные в Петербурге от товарок, от профессоров, от Ставроковских. То вдруг

охватывало желание помечтать, как она приедет домой, как встретится с детьми. Но не могла она сосредоточиться ни на воспоминаниях о пережитых двух годах, ни на ожидании предстоящих встреч.

«Должно быть, не выспалась,— подумала она,— оттого и голова такая тяжелая».

Она расстегнула ремни узла. Движения у нее были решительные, энергичные. Пухлые пальцы широких рук распоряжались быстро и ловко.

Кроме подушки, в узле было теплое пальто с барашковым воротником и два мягких шерстяных платка. Сначала она повесила пальто, потом подумала, что его могут украсть, и разложила вдоль скамейки. Платки положила под голову. Сняла с себя летнее пальто и, свернувши его, тоже положила под подушку. Шляпу повесила.

Анна Тимофеевна прилегла и попробовала заснуть, но ей не спалось. Все последние дни оставили в ней такое глубокое впечатление, что казалось — она еще не совсем пережила их. Воспоминание о них наполняло ее душу гордостью, какой она не испытывала никогда в жизни. Да, она твердо помнит, что никогда так сознательно не ощущала в себе человеческого достоинства. Меньше двух лет провела она в Петербурге, приехала сюда полуграмотная, едва умела читать и писать, с множеством орфографических ошибок. И вот она едет домой с дипломом на городскую фельдшерицу. Она блестяще сдала экзамены, пройдя в два года то, что другие проходят в три. Из тридцати с лишком ее товарок только четверым удалось сделать то же. Да и те не слыхали от профессоров так много комплиментов, как она. Ее захвалили публично. У нее и сейчас радостно сжимается сердце!..

II

Она помнит себя еще девчонкой Анюткой в маленькой малороссийской деревне дворов в восемьдесят. Их хата и сейчас стоит на краю деревни, одним окошечком прямо против большой барской усадьбы. Это было лет двадцать пять назад. Фигура отца едва мелькает в ее воспоминаниях — маленькая, худощавая, с нерасчесанной копной черных волос, такой же всклоченной бородкой, с больными, всегда воспаленными и гноившимися глазами. У него была болезнь, от которой никто не мог вылечить:

ресницы росли внутрь, под веки. Доктор давал какую-то примочку, от которой ему сначала становилось легче, а потом еще хуже.

Фигура отца представляется ей не иначе как на крылечке, где он жался в углу, чтобы не мешать входившим и выходившим из хаты. Он сидел всегда точно свернувшись в маленький комочек, облокотившись о колени и закрыв лицо обеими руками. Он уже почти ничего не видел и не мог работать. Мать постоянно грызла его и в минуты наибольшего раздражения говаривала:

— Ишь, смерть тебе не бере!..

Только когда веяли хлеб, то его ставили около веялки крутить рукоятку, но от пыли он чувствовал себя потом еще хуже.

А во дворе работа кипела. Ввозили арбы хлеба, складывали его в красивые стоги, со звездой наверху, потом молотили катком, работали день и ночь...

Анютку с восьми лет уже начали отдавать «в няньки». Сначала в какую-то еврейскую семью. Она даже не может хорошенько припомнить, где это было. Во всяком случае, верст за двадцать от их деревни. Она должна была таскать на руках какого-то хотя и не тяжелого, но противного ребенка, и она ненавидела его, втихомолку часто даже била. Но били и ее не реже, иногда за оплошность, а иногда и без всякой причины. Жили там грязно, гораздо хуже, чем у нее дома. Кормили невкусно и впроголодь.

На лето ее взяли домой. Здесь работы оказалось нисколько не меньше, но Анютке было веселее. Она охотно вскакивала «до солнца», выгоняла овец к тому месту, откуда слышалась свирель чабана; сыпала зерна курам и уткам, а когда зерна не было, то просто гнала их подальше от дома, чтобы они сами отыскивали себе пищу; убирала хату, носила топливо, зажигала печь, варила даже борщ или картофель, бегала за водой к колодцу, куда один раз полетела совсем, так что ее едва вытащили и едва привели в чувство; нянчила своего братишку. Зато вечерком она бегала с другими девчонками по улице, а в свободный час, когда все в доме, пообедавши, заваливались отдохнуть, Анютка забиралась в крохотный вишневый садок, укладывала спящего братишку в корыто под тенью деревца, а сама вскарабкивалась на загату * и наблюдала оттуда, что делается в «панской» усадьбе.

---

* изгородь *(укр.)*.

Там в это время тоже обедали. Анютка видела, как дивчата, то одна, то другая, перебегали по солнцу из дома во флигель, где помещалась кухня, а возвращались оттуда с большой белой миской или с блюдом... Она знала этих дивчат — из ее же деревни были. Но они всегда так чисто одевались! Старая барыня была, говорят, строгая, но добрая. Анютка слышала от кого-то, что у дивчат в сундуках копилось отличное приданое. И деньги они получали. Не то что Анютка, которую отдавали в няньки только за харчи да за одежу. Когда «панские дивчата» появлялись зачем-нибудь на деревне, Анютка бросала все дела и выбегала на улицу «подивиться» на широкие ленты, вплетенные в их косы. И ее грызли чувства удивления и зависти.

Даже с загаты, за полтораста сажен, Анютка старалась рассмотреть, как одеты дивчата. Но те проходили быстро. Анютка ждала их возвращения, а пока наблюдала, как собирались около кухни три страшных черных собаки, как они иногда входили во флигель, как с визгом выбегали оттуда, как кухарка Прихитчиха, с вечно подоткнутым платьем, выливала тут же около кухни помои, как собаки бросались к ним, рассчитывая найти там что-нибудь съедобное...

А за усадьбой тянулся длинный темный сад, воздух перед ним дрожал, как будто там волновались какие-то блестки.

Братишка начинал орать. Солнце вышло из-за дерева, и его лучи упали прямо на лицо мальчишки. Приходилось покидать загату и спешить к обязанностям няньки.

Во второй раз Анютку отдали к немцам. Здесь ей было несравненно лучше, чем у евреев. И били ее мало, и кормили хорошо. Зато работать заставляли больше. Но и здесь она с чувством горечи вспоминала о своей родной хате, которая всегда казалась ей окутанною солнцем и летним зноем. В длинные зимние вечера чаще всего вспоминала она день под Ивана Купала [2]. Он оставил в ней особенно сильное впечатление.

Это было уже под вечер. Паны вышли за деревню погулять. Много их было, или ей от удивления показалось, что их так много. Дивчата с мальчишками собирались прыгать через огонь, и каждый нес свою долю соломы. На Анютке был венок из мальвы. Когда она с любопытством глядела на панов, старая барыня обратила на нее внимание, подозвала ее к себе и спросила, чья она. Анют-

ка отвечала «батькина». Те чего-то расхохотались. Что еще говорили, она не помнит или не поняла, но одна фраза плотно засела у нее в памяти.

— Ах, какая хорошенькая девочка! — сказала старая барыня.— Тебя бы, дурочку, умыть да принарядить, ты была бы красавица!

С этих пор Анютка всегда старательно умывалась несколько раз на день, терла себе мылом и руки и щеки, за что часто получала пинки и от своих и от немцев.

Она прожила у немцев два года и немножко научилась говорить «по-ихнему». Когда вернулась домой, ее отдали в школу, в деревню за полторы версты. Училась она нехотя, однако курс кончила. Учитель называл ее способной, но лентяйкой и часто трепал ее за уши.

Кончив школу, она в продолжение четырех лет вела вольную жизнь дивчины. Хозяйство у них было бедное, отец к этому времени совсем ослеп, мать начала хворать ногами. Работниками были ее старший брат, жена его да она. Брат Василий был очень «жадный до земли» и снимал в аренду где только мог. Душевого надела у них оставалось семь с половиной десятин. Был еще брат Самсон, но тот рано ушел из дому и поступил где-то в школу агрономов. О нем в то время Анютка едва помнила. К каждому августу Василий брал то в одном месте четыре десятины в товариществе, то в другом, верст за пятнадцать, еще десятин восемь. И всюду надо было поспевать. В неурожайный год было скверно, а в урожайный и еще хуже. Приходилось убирать пятнадцать — двадцать десятин, разбросанных в разных местах. Бывало, конца нет уборке. Возят-возят, молотят-молотят, а хлеб все лежит на поле в копицах. Того и гляди, переменится погода, хлеб и вовсе пропадет. А тут надо коноплю мочить, картофель копать, за огородом следить, за бахчой цеглы * лежат, с весны приготовленные,— думали хату перестраивать... Об найме рабочих и думать нечего. Рабочих нет, да и денег нет. А хоть бы и были деньги — у Василия не много вытянешь. На платье взять — так и то две недели надо ругаться так, что соседи слышат.

Сама она себе хозяйка, Анютка, а ничего у нее нет. Начиная с конца июня работает, не разгибая спины, недосыпая и недоедая. С невесткой то и дело грызется. Только и отведет душу, что в субботу, когда всю ночь прогу-

---

* кирпичи *(укр.)*.

ляет с другими дивчатами или с парнями около млина *. Тогда в хоровых песнях ее голос, бывало, раздается звончее других, ее смех заразительнее, усталость как рукой снимет и парни наперебой льнут к ней.

Зимой легче. Пойдут вечерницы. Весело по крайней мере. А впереди грозный призрак — замужество. Воли не будет, работа удвоится, пойдут дети, и через три-четыре года, в двадцать лет — она старуха. Хорошо еще, что Василию не расчет выдавать ее замуж...

Ей пошел восемнадцатый год. Управляющий панской усадьбы позвал дивчат с деревни чистить дорожки сада — работа знакомая. Анютка любила ее, в особенности в мае, когда сад полон жизни, пения птиц...

На зов посланного из усадьбы шел кто хотел. Платили двадцать копеек в день. Собиралась гурьба дивчин в пятнадцать. Бабам уж не полагалось идти с ними. Дивчата чистили дорожки — на это в усадьбе им раздавали такие «скобочки»,— шутили, болтали и целый день распевали.

Анютка входила сюда постоянно с душевным замиранием. Даже не скрывала этого от подруг. Она часто заглядывалась на окна усадьбы и, казалось, хотела воображением проникнуть внутрь ее. А если кто из панов подходил «подивиться» на работу дивчат, она, нимало не конфузясь, оглядывала всякого с ног до головы.

Это было семнадцать лет тому назад.

Анна Тимофеевна не может припомнить подробностей, как она очутилась в услужении на хуторе у Александра Георгиевича Вилейкина. Помнит только, что в первый раз она увидела его именно во время чистки сада. У него было такое лицо, «мабуть кисленького богато поив»,— тогда же определила она своим подругам, на что те громко расхохотались. Его брезгливая, недовольная гримаса особенно осталась у нее в памяти. Но было в нем и что-то привлекательное. Какой-то задумчивый налет на глазах, молодое лицо с темноватой бородкой...

Александр Георгиевич был сын той старой барыни, которая первая сказала Анютке об ее красоте. Барыня умерла несколько лет назад, а в усадьбе хозяйничала ее сестра, тетка Александра Георгиевича, вдова, лет сорока пяти. До того Вилейкин жил в Москве, а с этих пор решил поселиться на своем хуторе и хозяйничать.

Помнит Анна Тимофеевна первое время своей новой

---

* мельницы *(укр.)*.

службы. Она страшно робела. Все боялась, что не так подаст кушанье, нехорошо вычистит сапоги, дурно приготовит постель. Командовала ею жена приказчика Попелюхина, женщина лет под пятьдесят. До появления Александра Георгиевича дом занимала семья приказчика. Теперь он выстроил для нее другой, попроще, лимпачевый[3]. Мебель к себе частью привез из Москвы, частью перетащил из большой усадьбы. Из Москвы же он привез громадный шкаф с книгами. Анюта тогда должна была вытереть каждую книгу тряпкой. Она сразу заметила, что Александр Георгиевич особенно ценил из своей обстановки этот шкаф.

Когда наступила зима, Анюта уже немного свыклась с своей работой и могла присмотреться к тем, кто ее окружал.

Сам Александр Георгиевич — Анюту не сразу приучили называть его барином — сначала взялся за дело горячо. Целые вечера беседовал с приказчиком, учился... смешно ей тогда было — учился тому, что так всем известно: когда косить, когда молотить, когда сеять,— словом, он ничего не понимал в самом простом крестьянском хозяйстве. Но, кажется, скоро понял.

Любил он съездить на охоту за дрофой, а позже и за зайцем и даже за лисицей. Сколько ни присматривалась Анюта — охота, по-видимому, была самым любимым занятием барина. Книжек он что-то мало читал. Только после обеда, и то через четверть часа засыпал. Часто он уезжал в усадьбу к тетке. Усадьба была в семи верстах. Иногда за ним присылали — это значило, что там собрались гости. Раза два до зимы наехали гости и к нему. Пробыли несколько часов, пили чай, ели арбузы и посмеивались над ним. Одна барышня, Марья Васильевна, все звала его в Москву. «Бросьте,— говорила,— эту затею». Марья Васильевна была с отцом. Фамилия — Шпалковские.

Анна Тимофеевна не понимала, о какой затее говорила светская барышня.

Марья Васильевна обратила тогда внимание и на нее. Сказала что-то по-французски и расхохоталась...

Приказчиком был у барина Григорий Гаврилович Попелюхин, лет пятидесяти пяти, небольшой, но сильный, коренастый старик. Все, что от его фигуры осталось в памяти у Анны Тимофеевны,— это ноги в виде двух скобок, кривые. Однако это не мешало ему ходить очень быстро.

Анюта скоро заприметила, чуть ли не прежде всего, что Попелюхин собирался хозяйничать по-прежнему, забрать в руки барина и только в глаза льстил ему. Попелюхин с барином за самоваром и он же у себя дома — были два разных человека. Анюте стало жаль барина, и она надеялась, что когда-нибудь выдаст приказчика с головой.

Жена Попелюхина тоже считала себя хозяйкой на хуторе и распоряжалась всем решительно как своим достоянием. Ключи от кладовой были у нее. Она покупала поросят, откармливала их панским добром, а продавала в свою пользу. То же проделывала она и с птицей.

Детвора росла у них как и обыкновенная крестьянская, несмотря на достаток. Бегала босая, никто за ней не следил. Точно чуяли Попелюхины, что приходил конец их царствованию, и торопились позаботиться о черном дне.

У приказчика была только одна прислуга — кухарка. В доме же барина, кроме Анюты, была тоже кухарка, ее помощница, кучер и мужик. Кучер, молодой парень «из русских», с первых же дней начал ловить Анюту, хватать ее при всякой встрече, но она раз закатила ему затрещину...

Полное сближение между Александром Георгиевичем и Анютой произошло быстро и для нее почти неожиданно. Даже за неделю ей и в голову не приходила возможность этой близости. Она тогда вся была поглощена усовершенствованием себя в качестве слуги.

Но, несмотря на такую внезапную перемену в отношениях между ним и Анной Тимофеевной, она и теперь, спустя семнадцать лет, не может упрекнуть себя в безнравственности. Это был такой горячий, охвативший их обоих любовный пыл, что даже долго спустя он ей казался сном.

Она уже замечала, что он заглядывается на нее, но не придавала его взглядам значения — так далека была она от мысли обратиться в любовницу барина. Но после одного короткого разговора ей стало ясно, на что он ее увлекает. Сначала ей стало стыдно. Однако у нее почти не хватило времени размышлять. В то же время Александр Георгиевич решал трудный вопрос. Видимое дело, он серьезно обдумывал предстоявшую связь. Но он так искренно увлекался Анютой, притом же связь с простой девушкой казалась ему до такой степени «в тоне» его новой жизни, что, обдумывая, он только торопил развязку.

Они сошлись как пламенные любовники. Рассуждать они начали уже после.

Попелюхин уезжал в это время в город. Жена сообщила ему об этой новости, когда он еще стоял в шубе в передней, весь занесенный снегом.

Анне Тимофеевне трудно и лень припоминать все, что последовало вслед за тем. В особенности противно вспоминать приказчика с его женой. Те, по-видимому, растерялись и круто переменили свое отношение к «Анютке». Какие-то советы, подходы, зазывания — все это тогда только пугало ее. Она не думала о будущем и уж меньше всего о том, чтобы иметь на барина влияние. Она продолжала свое дело точно в бреду, но ей не хотелось бы приходить в себя.

Самое счастливое время наступало для нее вечером, после ужина, когда она оставалась с Александром Георгиевичем одна во всем доме и когда они знали, что им никто не помешает. Сколько тут было хохота, поцелуев, ласк! Он принимался учить ее. С выхода из школы она не прочла ни одной книжки и все перезабыла. Эти уроки не приносили ей почти никакой пользы, но они так часто прерывались поцелуями!

Александр Георгиевич привязывался сильнее с каждым днем. Он сам никак не ожидал, что эта простая крестьянская девушка обнаружит так много огня, красивых порывов...

Ему было уже под тридцать. Бездельная жизнь в Москве научила его искать интереса только среди женщин. Он мог насчитать в своем прошлом с десяток истрепавших его связей, но ни одна не отуманивала его головы. Кроме разве первой. Он считался знатоком-женолюбом среди своих приятелей, но относился к женщинам только цинично. И вдруг на него пахнуло такой свежестью, такой нетронутой чистотой!

Рассказы о себе, о том, как он износился душой и как потянуло его к простой деревенской жизни, доставляли ему удовольствие. А Анюта с жадностью слушала его, стараясь понять хоть что-нибудь.

Незаметно для себя и без всякого плана Анюта начала занимать в доме положение. Уже через месяц он сам настоял, чтобы она наняла девчонку, которая бы исполняла часть ее работ. Попелюхины постепенно отодвигались.

Невозмутимое счастие продолжалось месяца четыре.

III

Была распутица. Выезжать куда-нибудь можно было только по очень важному делу. Грязь так липла к колесам, что на третьей версте лошади останавливались.

И вдруг в такую дорогу на хутор приехала сама Варвара Дмитриевна, тетка Александра Георгиевича. Это было так неожиданно и так странно, что Александр Георгиевич даже испугался. Но Варвара Дмитриевна успокоила его, сказала, что ничего нет важного, а просто приехала посмотреть, как он живет.

За чаем она внимательно оглядела Анюту, которая скромно прислуживала, и, конечно, заметила, что та в «таком положении».

Она долго беседовала наедине с племянником, сначала тихо, потом все громче, наконец, их беседа перешла в явную ссору. В результате она поднялась и уехала, почти не простившись с племянником. Александр Георгиевич был страшно возбужден. Анюта взволновалась за него, спросила, что случилось, но он не сказал ей. Приставать с допросом она не посмела.

Только долго спустя поняла она, в чем было дело. Оказалось, что тетка барина приехала с двумя требованиями: во-первых, и прежде всего, прогнать ее, Анюту, а во-вторых, ввести вновь в управление хозяйством жену приказчика. А Александр Георгиевич не сумел категорически оградить себя от вмешательства тетки в его жизнь. Он волновался, сердился, но настоящей храбрости мужчины в нем не было.

В продолжение многих лет Анюта не могла понять, по какому праву тетка барина могла предъявлять к нему какие бы то ни было требования. Хутор с землей около семисот десятин принадлежали ему. Правда, они достались ему от матери, а не от отца, но тем не менее он был единственным владельцем. Чем же Варвара Дмитриевна приобрела какую-то странную власть над племянником?

И ничем другим не могла объяснить Анюта, как страшной бесхарактерностью молодого папа. Он воспитывался и жил в Москве в доме тетки, вместе с ним воспитывались у нее же его две сестры, тогда уже барышни, и Варвара Дмитриевна приобрела такое влияние над ними, какому позавидовала бы и родная мать. Оказалось, кроме того, что по завещанию матери Вилейкина ему, Александру Гео-

гиевичу, был отказан хутор с землей, а его сестрам — усадьба, при которой было не более трехсот десятин земли, с тем, однако, чтобы до выхода замуж сестры пользовались от брата «всяческим содействием». Наконец, Варвара Дмитриевна была когда-то очень богата и все свои средства убила на племянников и племянниц. Теперь у нее оставались только какие-то крохи, но и те она собиралась выбросить на жизнь в Москве, чтобы получше «пристроить» племянниц.

Обе сестры — и Варвара Дмитриевна, и мать Александра Георгиевича — вышли замуж несчастливо. Муж Варвары Дмитриевны застрелился после какой-то истории в полку, а Вилейкин страдал наследственным алкоголизмом, отчего жена и спряталась с ним в деревню, предоставив воспитание детей своей сестре.

И вот Варвара Дмитриевна не переставала смотреть на Александра Георгиевича как на мальчика, которого «надо водить на помочах», как он выражался в азарте.

Так или иначе, между теткой и племянником произошла крупная ссора, грозившая полным разрывом.

Это была первая история, омрачившая счастье Анюты. Жена приказчика, госпожа Попелюхина, призвала ее к себе и начала уговаривать уйти от Александра Георгиевича. Барин, мол, ссорится из-за тебя с родными; на твою душу падет грех, а за будущего ребенка не беспокойся: барин его обеспечит.

Но Анюта не поддалась. Вся в слезах она обратилась с расспросами к барину. Тот вспылил еще пуще и заявил приказчику, что он может искать себе место, а ключи велел передать Анюте. Однако приказание не сразу было исполнено. Появился еще брат Анюты, Василий. Между ними произошла сцена — почище, чем между теткой и племянником.

Брат потребовал возвращения Анюты домой, грозил ей наказанием в волости, проклятием. От угроз переходил к ласкам и обещаниям тихой жизни. Анюта поняла, что «там, в усадьбе», брату Василию пообещали хорошую плату за такое дело, и наотрез отказалась следовать за братом. Сцена кончилась тем, что Василий ударил сестру, а Александр Георгиевич велел Василия вытолкать.

Словом, завязалась жестокая борьба. Но хотя победа оказалась, по-видимому, и на стороне Александра Георгиевича, тем не менее нельзя было сказать, что он добился ее своей энергией. Он ездил мириться с теткой и, как рас-

сказывала Попелюхина, «на коленях вымаливал право жить с своей милкой».

Ключи остались за женой приказчика. История стихла, но прежде того Анюта должна была еще съездить с братом Василием к Варваре Дмитриевне и повиниться перед нею. В чем — она не понимала, но на этом настаивал и Александр Георгиевич.

Этой унизительной сцены, разыгранной Варварой Дмитриевной как ловкой комедианткой, Анна Тимофеевна не забудет «по гроб своей жизни». Во-первых, ее заставили прождать барыню часа два. За это время ее осматривала вся прислуга в усадьбе. Нашлись, конечно, и добряки, принявшие в ней участие, но эта жалость к ней только усиливала тяжесть положения.

Потом Анюту позвали в дом. Она вошла вместе с братом Василием. Варвара Дмитриевна называла ее «потаскушкой», заставляла Василия читать ей какие-то нотации и несколько раз подчеркнула, что готова терпеть ее в доме племянника, если она «не зазнается», но что если она «только подумает» женить на себе мальчика, то она, Варвара Дмитриевна, найдет против нее «управу» и сживет ее со света. Затем заставила ее два раза стать перед нею на колени и дала поцеловать свою руку.

Василий довез свою сестру до хутора почти в обморочном состоянии. Он сам был как в воду опущенный и всю дорогу оправдывался своей бедностью и панской силой.

С этого дня он жестоко запил и, как работник, испортился навсегда.

Александр Георгиевич ждал Анюту «білый, як крейда» *,— это она запомнила. Но когда он подошел к ней, она оттолкнула его и ушла в свою комнату. Две недели она не только не входила к барину, но когда ей говорили, что барин сам просится к ней, то она резко кричала: «Нехай ему біс, не хочу его бачить!» Это было скандально, но Александр Георгиевич терпел. Попелюхина один раз попробовала войти к Анюте с целью подействовать на нее словом убеждения, но та при первом звуке ее голоса схватила со стола стакан, который и разлетелся вдребезги об стену. Одно время побаивались за ее мозг.

За это время одиноких дум Анюта стала другим человеком. Брата Василия она возненавидела больше всех. Но она уже не испытывала и к барину прежней любви. Она

---

* Как стена. *(Примеч. Вл. И. Немировича-Данченко.)*

смотрела на него теперь как на свою неотъемлемую собственность, но без увлечения его личностью. В ее глазах он остался барином по положению — и только. В этом смысле она еще могла относиться к нему с некоторым почтением. Личность же его она бесповоротно определила мелкою, ничтожною. Ей казалось чудовищным, что человек после таких зимних вечеров, какие они пережили, довел ее до унизительной сцены у Варвары Дмитриевны.

Тем не менее уходить она не желала. До истории с теткой Александра Георгиевича она ни разу не задумывалась о замужестве, теперь же эта мысль кремнем засела ей в голову. А отмстить когда-нибудь Варваре Дмитриевне стало ее заветной мечтой. Уйти же вовсе — значило бы сдаться окончательно. Скорее она руки па себя наложит.

Мало-помалу она успокоилась и вернулась к своим обязанностям. Александр Георгиевич при первой встрече попросил у нее прощения, обещал никогда не покидать ее и утешал тем, что Варвара Дмитриевна уедет на зиму в Москву.

Уже после первого ребенка положение Анюты стало прочнее. Когда сыну минуло десять месяцев и Анюта передала его няньке, Попелюхины были наконец удалены. Анюта добилась-таки ключей от всего хозяйства. Новый приказчик уже называл ее Анной Тимофеевной. В тот же год Александр Георгиевич был выбран мировым судьей. Круг его уездных знакомых расширялся. Его часто навещали соседи. Анюта ласково принимала их, угощала хорошими обедами, вкусными наливками. И гости барина спустя год-другой звали ее Анной Тимофеевной. Скоро более частые посетители начали подавать ей руку. Но она не увлекалась и продолжала держать себя на положении «экономки».

Из всевозможных посещений одно оставило в ней глубокий след.

Как-то летом приехали Шпалковские — отец с дочерью, той самой Марьей Васильевной, которая чуть ли не первая предсказала Александру Георгиевичу сближение с Анютой.

Девушка была уже в годах и поблекла. Анюта перед нею казалась пышной красавицей. Александр Георгиевич был смущен приездом Марьи Васильевны. Анюта заметила и начала внимательно следить за ними.

На этот раз Марья Васильевна делала вид, что вовсе не замечает «экономки», а Александр Георгиевич как-то обидно «заважничал» перед Анютой, точно нарочно все отдавал приказания, когда она и без его требований аккуратно исполняла свое дело. Это раздражало в ней ревнивое чувство. Она и без того не очень-то уважала его, а тут он показался ей совсем мальчишкой.

Старик Шпалковский пошёл с приказчиком на ток, а Александр Георгиевич с Марьей Васильевной уселись в кабинете около книжного шкафа и заговорили о разных «ученых вещах». Говорили они много и горячо, но Анна Тимофеевна не верила в искренность этой беседы. Ей казалось, что барышня просто «ловит» жениха. Она находила нужным несколько раз заходить в кабинет. Ревнивое чувство росло. Когда Шпалковские уезжали, Анна Тимофеевна слышала, что Александр Георгиевич обещал барышне скоро приехать, чтобы поговорить о какой-то книге. По отъезде гостей Анюта закатила ему ревнивую сцену. Тут она в первый раз услыхала от него такую резкую фразу:

— Неужели ты думаешь, что я век буду довольствоваться такой необразованной дурой, как ты?

Она вспыхнула и сказала, что образование тут ни при чем, а что барышня просто «засиделась» и хочет женить его на себе.

— Может быть! И все-таки она читает и думает. Она мыслящее существо, а ты просто самка!

Слова «мыслящее существо» были незнакомы Анюте, но она отлично поняла их смысл.

Странный, однако, результат получился от этой сцены. Анна Тимофеевна не только заглушила в себе ревность, но даже ощутила чувство зависти к той барышне. Словно что-то новое ворвалось в ее душу и обнаружило в ней какой-то важный пробел. Она сознательно стремилась занять в жизни Александра Георгиевича первенствующее место и делала для этого все, что могла. Аккуратно хозяйничала, берегла его добро, кормила его прекрасно и на убой, устраивала ему покой, заботилась, чтобы он много спал и много ел. Теперь ей вдруг стало ясно, что всего этого еще недостаточно, что в его душе есть еще какой-то уголок, чуждый ей, и что ей никогда не завладеть этим уголком, что в продолжение всей жизни будут являться вот такие, как эта засидевшаяся барышня, и хотя на час, да отнимать Александра Георгиевича у нее. И с этим бы еще можно было

примириться, но горе в том, что после такого часа она, Анюта, теряет, по-видимому, всякое обаяние в его глазах. Он называет ее необразованной дурой и самкой!

Анна Тимофеевна заставила себя посмотреть на него немножко с другой стороны и вспомнила образ того молодого человека, которого видела в первый раз, когда, босоногая, чистила дорожки сада. Сама она с тех пор несомненно стала лучше. Не только одевается в ситцевые и шерстяные платья, но и понимает гораздо больше. А он, наоборот, как будто помельчал. Правда, он — мировой судья, но все-таки весь он какой-то не такой «пан», каким казался прежде. Все это произошло уже пять лет спустя после их сближения, а между тем мысль о необразованности впервые больно задела Анну Тимофеевну.

Совершенно обратное действие произвела эта сцена на Александра Георгиевича. Анюта ждала, что вот-вот он прикажет запрячь лошадей и поедет к Шпалковским, и еще скорее, чем предполагал, чтобы «экономка» почувствовала, как он дорожит беседами с умной и образованной барышней. А между тем он точно и забыл про бывших у него гостей. Прошли дни, недели и месяцы, а Александр Георгиевич и не вспомнил о них. По-видимому, обругав Анюту, он излил всю жажду встречи с интеллигентной девушкой.

Прошел еще год. Варвара Дмитриевна возвратилась из Москвы в усадьбу. Обе племянницы приехали вместе с нею. Одной было уже под тридцать, другой за двадцать пять. Все ресурсы были израсходованы. Ясно стало, что тетка и сестры «садились на шею» Александру Георгиевичу.

Первая встреча между Варварой Дмитриевной и Анной Тимофеевной произошла спустя, по крайней мере, полгода после приезда. За это время Анна Тимофеевна успела оказать старой барыне несколько знаков внимания. Она посылала в усадьбу отличного масла, квасу, разных овощей и всего, что находилось на хуторе лучшего. При этом она учила послов, как и с какими словами следовало передавать. Старуха была смягчена, и когда появилась на хуторе, то назвала Анюту Анной Тимофеевной и говорила ей «вы». Когда же они остались наедине, Варвара Дмитриевна сказала:

— Я вами довольна. Вы хорошо себя держите. Alexandre, конечно, не оставит вашего сына и даст ему приличное

образование, если бы даже он и женился теперь на какой-нибудь из соседних дворянок.

Анна Тимофеевна закусила губу и промолчала. Варвара Дмитриевна заметила, какое впечатление сделали ее слова на «экономку», и прибавила:

— Да, ему пора жениться. Я об этом похлопочу.

И затем, как ни в чем не бывало, перевела разговор на хозяйственные вопросы.

Вражда между этими двумя женщинами обещала быть глухой, но беспрерывной. Александр Георгиевич занял между ними довольно комическое положение, но так как о женитьбе его на Анне Тимофеевне не могло быть и речи, то до поры до времени не ожидалось и никаких тисков, в которых бы застряла его тощая фигурка.

В первое время после приезда Варвары Дмитриевны Анна Тимофеевна относилась тревожно ко всякому экипажу, даже к простой бричке, подъезжавшей к хутору. Ей все казалось, что вот-вот начнется «сватание» Александра Георгиевича и ей наконец придется вступать в отчаянную борьбу с врагом. Она находилась в постоянно напряженном состоянии и решила без боя не уступать. Она не могла себе отчетливо представить, какие меры примет она, но знала, что не остановится ни перед чем. Если она не ушла от него добровольно «тогда», то теперь это было бы уже просто глупостью.

А он становился все бесхарактернее. Стоило ему съездить в усадьбу к сестрам и тетке, как он возвращался другим человеком. Ходил по комнате каким-то «петухом», важничал, «ломал из себя барина». Через день-два он снова становился ласков к Анне Тимофеевне, на третий сам посмеивался над «женским монастырем», как он называл теперь усадьбу, говорил, что там чересчур пахнет деревянным маслом и нигде он не зевает так много, как там. Неделя-другая проходили мирно. Но поедет он навестить своих — и снова в нем проснется страх за то, что Анна Тимофеевна прибирает его к рукам, лишает его самостоятельности. Иногда по возвращении «оттуда» он начинал заигрывать с дворовыми дивчатами, стараясь показать Анне Тимофеевне, что не связан с нею никакими узами.

Анна Тимофеевна поняла, что «там» его всегда «наускивают» против нее. Вот-вот женят. Но страх ее прошел внезапно.

Приехал другой брат ее — Самсон. Никогда еще ни один человек не возбуждал в ней столько симпатий. Она

не видела его с детства и, конечно, не признала сразу. Вошел к ней какой-то красивый, славный, высокий, с добрыми синими глазами, совсем белокурый, в купеческой поддевке и больших сапогах, снял шапку, тряхнул волосами и сказал:

— Не признаешь? Али зазналась, сестрица? Не хочешь брата приласкать?

А у самого все лицо так и смеется.

Кинулась она к нему на шею, конечно, заплакала и тут же подумала: осудит или нет?

Но он не осудил, обошелся с сестрой ласково, подал ей платок шерстяной «в гостинец» и долго с нею пробеседовал за самоварчиком. Он вовсе не был похож на мужиков из ее деревни. Прежде всего, говорил не так, как они, а почти без всякого акцента. В разговоре употреблял много книжных выражений. О себе он рассказал, что служит огородником и садовником в большом «княжеском» поместье, получает шестьсот рублей в год, присматривается к хозяйству и метит в старшие приказчики по имению, а имение у князя — около восьми тысяч десятин. Сюда он приехал, чтоб справить свои бумаги в волости. Ругал мужиков, говорил:

— Без ведра водки не обойдется дело, хоша и совсем чистое. И что за напасть эта мужицкая доля! Веришь ли, сестра? Гляжу я на себя и думаю: вот образовался, человеком стал. А поглядел на наших деревенских: ни его солдатчина, али бо школа,— как был ничего-незнайкой, так и помрет.

Анну Тимофеевну попросил он рассказать про себя все не спеша.

— Ты не торопись, а так меня познакомь, как будто бы я у тебя в душе сидел.

Она и рада была выложить перед ним все свои мечты и горести.

Он выслушал ее внимательно и сказал:

— Думаешь, барин женится на какой-нибудь барышне? Не-ет! Не туда дело клонится. Женитьба его — это только чтоб тебя попугать. Я так понимаю, что тетка эта самая очень даже довольна твоей судьбой. Дитятко неразумное! Как же ты это сама не видишь? Видимое дело, ежели бы твой-то задумал жениться на какой-нибудь барышне, так это и тетке, и сестрам его — зарез. Они теперь на его счет пользуются, он их кормилец, а женись он — законная-то жена все в руки заберет. А такая, как ты, без

претензий, самая для них подходящая. А попугать тебя — это они считают не лишним. Эх ты, простота!

И в самом деле, как такая совершенно простая логика не приходила ей в голову!

— А хозяин-то твой, должно, из мокрых птиц, как я подумаю.

— Бесхарактерный он, это правда.

— Видимое дело! Ну, да ничего! Обойдется, бог даст. Придет время — и в законный вступит с тобой, а не будет этого — ну, что делать! Все же лучше, нежели чем бросила бы его, да с детьми.

Так полюбился Анне Тимофеевне брат Самсон, что и не отпустила бы его. Ей даже пришла в голову мысль устроить его приказчиком у Александра Георгиевича. Но Самсон отверг.

— Вот это уж не гоже. Этак бы на меня пальцами показывали. Через сестру, мол, вылез. Да и корысть не велика.

На прощание он сказал ей:

— А главное, сестра, совесть свою соблюдай. И поучайся всему, что ни услышишь хорошего. Ежели у тебя сидит в мыслях стать его законной, так ты приготовь себя. Что и за жена, коли она душой все та же судомойка! К этому делу надо подходить со старанием да с совестью.

С тем он и уехал, оставив ей свой адрес.

Когда Варвара Дмитриевна приехала на хутор, Анна Тимофеевна, чтоб «поддеть» ее, улучила минуту и сказала:

— Что же, барыня, нашли вы невесту Александру Георгиевичу? Пора бы. Ему уж тридцать пятый годок пошел.

Риск был страшный, и присутствие духа требовалось огромное. Но зато, в случае победы, Анна Тимофеевна должна была оказаться в сильном выигрыше.

Варвара Дмитриевна не предвидела никаких подходов и невозмутимо заметила:

— Есть тут у меня кое-кто на примете, да все недостойные.

Еще маленькое усилие — и Анна Тимофеевна смело выговорила:

— Да-с. Только не опоздать бы вам.

Та подняла на нее испуганный и вместе строгий взгляд.

— Вы, може, думаете — я про себя? Нет. А заметила я, что Александр Георгиевич часто стал ездить к Шпалковским. Чуть что не каждый день. И от той барышни все

записочки получаются. Вот я и подумала: як же це без вас обойдется?

Анна Тимофеевна даже не рассчитывала на такой эффект: Варвара Дмитриевна побледнела, вскочила с места, оглянулась, взяла ее за рукав, приблизила к себе и засыпала вопросами: «Как? когда? отчего ж я этого не знала?»

Анна Тимофеевна решила еще немного продолжить свою выдумку.

— Но о чем же вы думаете? Ведь если он женится на той девушке, он вас прогонит? — шептала Варвара Дмитриевна.

— Что ж, и сама уйду. Не буду дожидаться, пока прогонят.

Анна Тимофеевна вышла и оставила Варвару Дмитриевну в страшном волнении, а сама расхохоталась, чуть в ладоши не захлопала от удовольствия, что барыня выдала себя.

Через полчаса ее позвали.

— Ты что тут наврала? — спросил ее Александр Георгиевич.

Варвара Дмитриевна с нетерпением ждала ответа. Она еще не знала наверное, кто лжет: экономка или племянник, который клянется, что не видал Шпалковских два года.

— А что?

— Откуда ты взяла, что я езжу каждый день к Шпалковским? — Александр Георгиевич решительно ничего не понимал.

— Извините, Александр Георгиевич.

А сама улыбается.

Старуха поняла ее выходку, вспыхнула от гнева и стыда, но не сказала ни слова.

— Да с чего ж ты выдумала? — приставал Александр Георгиевич.

Но Анюта словно воды в рот набрала. Улыбается, а молчит.

— Laissez-là *,— сказала Варвара Дмитриевна.

— Черт! Ничего не понимаю,— произнес Александр Георгиевич. Он даже зажмурился и мотнул головой, словно стараясь привести в порядок разметавшиеся мозги,— до того ему непонятны были волнение тетки и улыбка Анюты.

---

* Оставьте ее *(фр.)*.

Анна Тимофеевна почувствовала в душе победу: эта старая «гордячка» вдруг вся очутилась в ее руках.

— Варвара Дмитриевна! Какого вам варенья к чаю приготовить? — сказала она, точно несколько ослабляя вожжи, чтоб еще сильнее дать понять свою силу.

С этих пор она перестала называть ее «барыней». С этих же пор и вражда между этими двумя женщинами как бы стихла. Жизнь всех действующих лиц потекла обычной деревенской колеей. Как-то незаметно одна из сестер Александра Георгиевича вышла замуж за местного доктора. Брату пришлось раскошелиться на свадьбу и на приданое, а компания противников Анны Тимофеевны увеличилась еще одним членом — доктором.

Лет пять тому назад Александр Георгиевич простудился на охоте и сильно заболел. Анна Тимофеевна потеряла голову, ухаживая за ним. Его родные около двух недель жили на хуторе, боясь оставить больного и... еще с одной целью. Анна Тимофеевна должна была хлопотать, чтобы всем было покойно и сытно.

В это время горничной в доме была молодая женщина из той же деревни — Настасья, не жившая с мужем. Анна Тимофеевна любила ее за расторопность и сообразительность. Глядя на Настасью, она вспоминала, как сама когда-то заботилась о том, чтобы аккуратно исполнять все, что нужно.

Труднее всего и несноснее было справляться с капризными требованиями сестры Александра Георгиевича, оставшейся в девицах. Та явно придиралась к хозяйству на хуторе. То того нет, то другого подай... Анна Тимофеевна терпела и только раз ругнула гостей у себя в комнате. Кроме Настасьи, там никого не было. Та подошла и шепотком сказала:

— А я вже знаю, чего вони тутучки днюють и ночують.

Анна Тимофеевна с удивлением посмотрела на нее. Та начала пространно, но быстро рассказывать, как она подслушала гостей, когда те расспрашивали доктора — выздоровеет ли Александр Георгиевич, как доктор пожимал плечами и отвечал, что не знает, и как, наконец, они «хлопотали подивиться на якую-то бумажку» в письменном столе или в комоде.

Очевидно, родственники интересовались завещанием и боялись, чтоб умирающий не отказал своего имущества сожительнице и ее незаконным детям (у них был уже и второй сын).

Анна Тимофеевна хорошо знала, что никакого завещания нет, и тут только впервые подумала о своей участи в случае смерти Александра Георгиевича. Насчет добросердечия его родных она не заблуждалась: они выгонят ее без копейки.

Эта мысль отравила ее душевное равновесие. Как ни старалась она подняться выше материальных соображений, будущее нет-нет и всплывает пред нею грозным призраком. И когда кризис миновал, Александр Георгиевич начал поправляться,— она чувствовала, что в ее отношения к нему ворвалось что-то постороннее, «поганое», как она определяла мысленно свою новую тревогу, произнося это слово на *о* и с малорусским *г*.

Зять-доктор посоветовал Александру Георгиевичу переехать для поправления здоровья в усадьбу, а на лето непременно поехать в Крым. Тот послушно исполнял все, что ему предписывалось. Анна Тимофеевна осталась одна на несколько месяцев. Александр Георгиевич поехал в Крым с сестрой-девушкой.

Это были самые тяжелые месяцы раздумья. Анне Тимофеевне минуло уже двадцать восемь лет. Как-никак она прожила с Александром Георгиевичем одиннадцать лет. У них двое детей. Неужели же он не примет никаких мер к обеспечению если не ее, то хоть сыновей?

Не похоже было, чтоб он крепко привязался к ней. Несмотря на то, что она, как сама чувствовала, стала гораздо развитее, умнее, даже начитаннее,— она все-таки прочла с его помощью Пушкина и Толстого,— несмотря на то, что в ней от прежней «деревенщины» почти не осталось и следа,— Александр Георгиевич, по-видимому, нисколько не ценил в ней этого духовного роста. Она не хотела обманываться, ясно видела, что жители усадьбы если не вовсе перетягивают его на свою сторону, то сильно задерживают их более плотное сближение. Но что же она может сделать еще? Интриговать, наушничать, настраивать его против родных, пускать в ход всю женскую хитрость, относиться с большей страстностью к нему в минуты полного сближения? Все это ей становилось противнее с каждым днем. Ей хотелось более чистых приемов для того, чтобы привязать его к себе.

Раздумывая о своем положении, она писала энергичные письма брату Самсону и Александру Георгиевичу. Писала полуграмотно, но искренно и сама чувствовала, как

эта переписка поднимает ее дух, делает ее серьезнее и выше.

Александр Георгиевич отвечал ей короткими, холодными, ничего не значащими записками. Анна Тимофеевна всегда видела за его строками сестрицу.

Самсон же, напротив, написал ей два длинных письма, оба заканчивая фразой: «А главное, соблюдай свою совесть».

Александр Георгиевич возвратился поздоровевшим, но апатичным и ленивым. Должность свою он бросил и занимался только хозяйством. Но и в этом занятии не видно было ни малейшего проявления энергии. Обрабатывал землю так, как обрабатывали ее и мужики, сеял то, что сеяли люди, что подскажет приказчик. Даже убирал хлеб без помощи тех машин, которые завел в начале своей деревенской жизни. По-видимому, ему лень было даже подумать: а не вытащить ли из сарая паровую молотилку, за которую было заплачено около шести тысяч и которая только немного испортилась? И молотили у него простыми крестьянскими катками, и веяли обыкновенными сорокарублевыми веялками, сфабрикованными местным мастером. Он опускался с каждым месяцем, почти ничего не читал, валялся с папироской на тахте по целым дням и любил только поболтать о том о сем с приказчиком или с соседями.

Рядом с ним Анна Тимофеевна казалась сотканной из энергии и изобретательности. Всеми силами старалась она ободрить его то веселым тоном, то возбуждением соревнования, рассказывая о каком-нибудь более деятельном помещике, то чуть не насильно отправляя его в степь, на охоту, или на ток, где тянулась вялая работа. Ничего не помогало. Из него бесповоротно вырабатывался тип землевладельца, лишенного каких-либо стремлений. «Авось» и «как люди, так и я» — единственные заповеди, которых он придерживался.

В конце концов он даже начал иронизировать над ее горячностью, посмеивался, если она рискнет произнести какое-нибудь вычитанное словечко. Стоило ей на один шаг выступить из границ той пошлости, в которую погрязло его существование, как он улыбался и непременно отвечал:

— Ого! Скажите пожалуйста!

Ее энергия начинала давить его. В нем развился антипатичный дух противоречий. Что бы она ни посоветовала,

он поступал наоборот. Всякое ее стремление он старался охладить или насмешкой, или равнодушием, часто даже утрированным.

В усадьбу он уезжал теперь часто и иногда оставался там по целым неделям. Анну Тимофеевну интересовало, что его может привлекать туда.

— Как ты мне надоела! — отвечал он.— Никто не липнет ко мне, как ты,— вот мне и лучше там. Никто не лезет ко мне со своими советами: сделай то да займись этим. Живут себе люди, как все, и не горячатся без толку.

— Скажи, пожалуйста,— заметил он ей однажды,— чего ты заважничала? Право, посмотреть на тебя со стороны — подумаешь, бог весть что за птица. А на самом деле что ты из себя представляешь? Ведь без меня мочила бы теперь коноплю да белила бы хаты, была бы простой бабой. Ты, кажется, забыла, откуда ты родом...

Вот Анна Тимофеевна и взлелеяла мечту...

В продолжение целого года она скрывала ее от Александра Георгиевича, но потихоньку готовилась к осуществлению ее. Как только он уезжал из дома, она рылась в его шкафе с запыленными книгами, отыскивая такие, которые могли бы хоть немного подготовить ее. В то же время перебирала все получаемые газеты, надеясь и там найти указания.

Как-то воспользовалась случаем и расспросила доктора...

Выждав удобный час, она заговорила, наконец, и с Александром Георгиевичем. Она сообщила ему, что хочет ехать в Петербург, готовиться на фельдшерицу, и попросила у него скромной поддержки.

Она ожидала взрыва хохота, но Александр Георгиевич был так удивлен, что даже не имел времени посмеяться над ней. И потом вдруг на него пахнуло чем-то далеким-далеким, временами студенчества. Ему стало как-то стыдно.

— Что ж, если ты, как говоришь, хорошо обдумала,— поезжай. Я тебе не помеха. Рассчитывай на мою поддержку.

Больше он ничего не сказал, но Анна Тимофеевна заметила, что он точно сконфузился. Весь этот день он был задумчив, часто вздыхал, несколько раз упомянул, кстати и некстати, о том, что ему уже сорок два года, что его жизнь прошла. Как-то внезапно заметил, что, если бы он

не заехал в эту глушь, он сделал бы себе хорошую карьеру, жил бы в столице.

Анна Тимофеевна поняла, что ее мечта всколыхнула в его душе осадки молодости. Ей стало жаль его, но в то же время она почувствовала прилив гордости, и взлелеянная мысль показалась ей еще заманчивее.

Она уже не хотела объяснять свою главную цель — иметь на всякий случай кусок хлеба. Пусть понимает как хочет.

Весть о том, что Анна Тимофеевна собирается в Петербург «на курсы», разнеслась между соседями очень быстро и не вызвала ни одного сочувственного слова. Кто погрубее, говорил: «Вот дура-то!» — или: «С ума сошла». Кто помягче: «Чего это ей вздумалось».

В усадьбе, напротив, «поощрили» ее. Когда Александр Георгиевич съездил туда и вернулся на хутор, Анна Тимофеевна зорко посмотрела ему в глаза. Она знала, что он уже сообщил «там» новость, и ждала, в каком тоне он будет держать себя с нею. Она уже привыкла к тому, что каждый раз, когда он уезжал к тетке и сестре, то возвращался «напичканный» их мыслями.

На этот раз ему было ловко с нею, он был любезен и внимателен. Очевидно, затея Анны Тимофеевны встретила в усадьбе сочувствие. Но Александр Георгиевич, по простоте душевной, принял «поощрение» тетки и сестры за чистую монету и радостно сообщил об этом Анне Тимофеевне.

Она задумалась, но ненадолго. Ей надоело отыскивать истинные мотивы поступков его родни. Ей предстояло так много приятных хлопот. Все лето она посвятила сначала переписке с Петербургом, потом приготовлениям ко вступительному экзамену, к отъезду. Написала брату Самсону. Тот прислал ей письмо к «князю», его патрону, проживающему постоянно в Петербурге, которое, впрочем, не понадобилось. Самсон был у него уже старшим приказчиком и пользовался его фавором.

Детей и все хозяйство Анна Тимофеевна поручила своей любимице Настасье и учила ее, как ухаживать за Александром Георгиевичем.

Что касается его самого, то несколько дней еще он был задумчивее обыкновенного и относился к Анне Тимофеевне с особенной теплотой и вниманием. Но потом точно сразу махнул рукой на все и потянул по-прежнему свое безобидное существование.

IV

«Как мало прожито, как много пережито!» [4] — вспомнился Анне Тимофеевне стих поэта, любимого молодежью, слышанный ею на одном из литературных вечеров.

И это она — Анютка, босоногая девчонка, нянька еврейского грязного мальчишки? Это та самая Анютка едет теперь, «притулившись» на деревянной скамейке вагона третьего класса? Это ей выданы похвальный лист и книга Жука [5], которые лежат там под скамейкой на дне чемодана? Неужели это она взбиралась на загату и следила за тем, как в панской усадьбе кухарка с подоткнутым платьем выгоняла из кухни собак?

Лицо Анны Тимофеевны, еще красивое, хотя и слишком бледное, с крупными глазами и длинными черными ресницами,— расплывается в самодовольную улыбку, и вся она так же самодовольно вытягивается на скамейке, заложив руки под голову. Она смотрит перед собой на узкие ясеневые доски потолка, покрытые копотью, прислушивается к крику грудного ребенка в дальнем углу вагона, теплый ветерок врывается в окно и окутывает ее голову, кто-то входит и выходит, хлопая дверьми,— все замечает она, но ее воображение еще захвачено жизнью в Петербурге.

Ей повезло. Еще подъезжая к Петербургу, два года назад, выглянула она из окна вагона на усеянное звездами небо и на одной из них остановила свой взгляд. «Нехай та зірочка посвіте мене» *,— подумала она по-малорусски и решила, что выбрала себе «счастье».

И «зірочка» светила ей. Она сразу сошлась с двумя товарками — обе не моложе двадцати пяти лет — и поселилась с ними в одной большой комнате. Хозяйка оказалась симпатичной старушкой и взялась кормить их. Жизнь обходилась Анне Тимофеевне дешево, но ей и нельзя было тратить много. Все ее ресурсы были в двадцати пяти рублях в месяц, которые положил ей Александр Георгиевич.

Первый год прошел исключительно в занятиях. Она работала до изнеможения. Ничего другого, кроме работы, она не хотела и знать. Каждой свободной минутой она пользовалась или для того, чтобы повторить выученное, или продумать все, что она услыхала за утро, или прочесть что-нибудь для пополнения скудной грамоты. Ее товарки то и дело звали ее проехаться в центр Петербурга или по-

---

* Пускай эта звездочка посветит мне *(укр.)*.

бегать недалеко от дома, но она упрямо отказывалась от всяких развлечений. Она бы бранила себя за бесплодно пролетевший час.

Было у нее еще одно дело, побочное,— исправление акцента. И этим делом она занималась с таким же рвением, позволяя смеяться над собой товаркам, а чаще всего прибегая за уроками к хозяйке квартиры.

На лето одна из товарок, что была помоложе, уехала к себе на родину. Жить стало бы немножко дороже, если бы хозяйка не сбавила плату. Вместе же с другой подругой Анна Тимофеевна все лето проработала при Обуховской больнице, жадно присматриваясь и прислушиваясь ко всему, что могло оказать ей пользу.

Прошло больше года, а Анна Тимофеевна и понятия не имела о настоящем Петербурге. До нее только долетали какие-то звуки. Шумный огромный город после небольшого степного хутора казался ей чем-то неземным, наполненным нечеловеческими существами. Она даже как будто побаивалась вглядеться в него. Точно он мог проглотить ее и она не успела бы осуществить свою мечту.

Хозяйка, одинокая женщина, любила поговорить с нею, так как Анна Тимофеевна искренно удивлялась всему, что слышала.

Но ко второму зимнему сезону она уже освоилась со своим пребыванием в столице и дала себя увезти несколько раз то в театр, то на вечеринки, устраиваемые в складчину. И на Петербург немножко посмотрела, причем ахала на каждом шагу. Не понимала громадных зданий, умилялась перед соборами, долго не могла постичь, как одна лошадь может везти большой экипаж, где сидит более сорока душ, и т. д.

Одно время она начала было увлекаться жизнью, чуть-чуть праздною, но тут произошло обстоятельство, вовремя остановившее ее. Та же ее товарка, что уезжала на лето, влюбилась в одного из посетителей их вечеринок и бросила институт. Анне Тимофеевне страшно не понравилось это, и она с усиленной энергией вернулась к своей работе, точно желая замолить чей-то грех перед поруганной святыней.

Со Ставроковскими она познакомилась случайно, на литературном вечере в пользу недостаточных студентов. Ее представил один из профессоров:

— Вот рекомендую: субъект с замечательными способностями и с необыкновенным рвением.

Обе сестры сразу обласкали ее и взяли с нее слово, что она навестит их.

Это было уже на святках. Анна Тимофеевна с чистым сердцем могла отдохнуть. А побывавши раз у Ставроковских, она была до такой степени взволнована их дружеским приемом, что стала ездить к ним каждое воскресенье.

Кто-то сказал про Ставроковских, что эти девушки «не от мира сего», и Анна Тимофеевна поняла это выражение. Она еще не встречала людей таких незлобивых и таких отзывчивых на чужую боль. Личной жизни для них, повидимому, вовсе не существовало. Не было такого бедствия, на которое не отозвались бы первыми Ставроковские, и если они встречали женщину или девушку, одушевленную стремлением к самостоятельности, то первые пригревали ее лаской и советом.

Этой любовью и незлобивостью отличалась вся семья Ставроковских, состоявшая, кроме отца и матери, из двух взрослых братьев — доктора и студента — и четырех сестер, из которых две еще учились в гимназии. Но Анна Тимофеевна понимала, что весь свет и вся теплота этой любви исходят от двух старших барышень. Отец — бывший крупный чиновник, теперь на покое — казался человеком суховатым, но едва ли не половиною его доходов дочери распоряжались по-своему...

В этом доме лучшая сторона души Анны Тимофеевны окончательно окрепла.

Нечего и говорить, что уже после второго посещения все здесь знали ее прошлое. Она рассказала свою жизнь, что только помнила,— доверчиво, с убеждением, что ее не осудят. Эта исповедь шла негромко в небольшой комнатке второй Ставроковской после обеда, когда старик пошел отдохнуть, девочки ушли гулять, а братьев не было дома.

После исповеди Анна Тимофеевна услыхала от самой Ставроковской:

— Вот что я вам скажу, милая моя. Ваша затея симпатична. Вы умно задумали оберечь себя от будущего. Но не увлекайтесь. Помните, главное — что у вас есть дети, а у детей — отец.

Последнее она старалась подчеркнуть выразительным поднятием бровей.

Это была маленькая, довольно полная женщина, всегда одетая в черное платье, отлично облегавшее ее сохранившуюся фигурку, с бледным, необыкновенно чистым лицом

и гладко причесанными, с пробором в середине серебрившимися волосами.

Дочери в ответ на ее слова зашумели.

— Конечно, конечно,— заговорили они вместе.— Дети и их отец все-таки прежде всего, но личность, мама, личность свою она должна беречь от всяких оскорблений.

— Я же и говорю...

Анна Тимофеевна больше чутьем понимала, что эти образованные девушки называли личностью...

Скоро она сблизилась с Ставроковскими больше, чем другие, которых, как и ее, ласкала эта семья. Ее письма к Александру Георгиевичу были полны этими именами. Она не могла сдержать желания похвалиться такими друзьями.

Писала она на хутор аккуратно два раза в месяц. Ответы же к ней всегда начинались словами: «Извини, моя милая, что так долго не писал тебе». Они были кратки и сообщали только о здоровье детей и о том, что Настасья отлично ухаживает за ними.

Но Анне Тимофеевне было не до любовных излияний. Она и не попрекала Александра Георгиевича за редкие письма...

Уже в феврале ей предложили взять по окончании курсов казенное место в Петербурге. Отказ ее удивил старшего ординатора больницы. При встрече он с недоумением спросил ее, как она может отказываться от такого места. Она объяснила, что у нее есть семья на юге.

Чем ближе подходил конец ее занятиям, тем горячее жгло ее желание вернуться домой. Незаметно для нее самой в ней окрепло убеждение, что теперь Александр Георгиевич женится на ней. Все, что пришлось ей пережить за пятнадцать лет тяжелого, отодвинулось, а все ярче вспоминались искренние, счастливые дни. Не только Александр Георгиевич, но и все окружавшие его казались ей издали гораздо лучше, чем там, на месте. Даже о Варваре Дмитриевне она думала уже миролюбиво. Ей представлялось, что между ними должно наступить полное примирение, что тетка Александра Георгиевича слишком устарела для того, чтобы кичиться дворянским гонором, и она, Анна Тимофеевна, сумеет теперь понравиться ей.

У нее вошло в привычку перед сном в постели думать о далекой родине. Весь день она посвящала занятиям и беседам, и только в постели, помолившись, безраздельно отдавалась воспоминаниям и мечтам, неразрывно связанным с детьми, с Александром Георгиевичем и с хозяйством

на хуторе. В последнее время этот промежуточный период между рабочим днем и сном становился все длиннее. Она дошла до того, что не могла заснуть по полтора и по два часа. Ожидание встречи поднимало ее нервы, сон бежал от нее.

Но все эти думы подвели ее в конце концов к совершенно неожиданному результату. Она так освоилась с мыслью о замужестве, что и не заметила, как главная цель ее приезда в Петербург вовсе отодвинулась. Точно она и учиться-то задумала лишь для того, чтобы приготовить себя для роли законной жены Вилейкина, а вовсе не с целью быть готовой ко всяким катастрофам.

Часто ее охватывало такое ощущение, словно она надорвалась. Тогда не только мысль, но и все тело ее требовало покоя, а его она не могла себе представить иначе, как на хуторе, с Александром Георгиевичем и с детьми. И в это время утомленное воображение рассказывало ей теплые, сердечные сказки о том, как она будет женой Александра Георгиевича, как он будет хлопотать о признании за их детьми законных прав и как все, до его тетки включительно, будут ласкать ее, сажать вместе с собой за стол и расспрашивать о петербургских диковинках.

Ее друзья Ставроковские заметили это и выразили неудовольствие. Но их мать втихомолку объяснила, что ведь Анне Тимофеевне не восемнадцать лет, что не может же она в свои тридцать три года увлечься науками и медициной до того, чтобы забыть привычки пятнадцати лет.

Охватывали Анну Тимофеевну и мрачные мысли. Раз она даже среди ночи проснулась с холодным ужасом в душе. Она увидела во сне, что Александр Георгиевич в ее отсутствие женился, переехал в усадьбу, а детей отправил с Настасьей в Петербург. Она проснулась, когда дети стояли около ее кровати, плакали и будили ее.

В эти минуты она ощущала в груди чувство тупого отчаяния, безнадежности. Сама себе казалась жалкой, ей вдруг представлялось, что она все перезабыла, что она не в состоянии сделать ни одной перевязки, не знает ни одного названия лекарств. Тогда она готова была сорваться с места, бросить все и полететь туда, на хутор, просить там у всех за что-то прощения, только бы они не выгоняли ее, дали ей теплый угол. А за окном, как нарочно, ревела вьюга, тянулись нескончаемые холода, каких она там, на

хуторе, не знавала, и ей до безумия хотелось южного солнца, летнего степного зноя.

Но приближались часы занятий, Анна Тимофеевна с усилием отгоняла мрачные образы, забывалась в работе. А там снова прислушивалась к сладким сказкам, которые шептало ей воображение...

Поезд убегал от Петербурга. Вместе с ним начинали бледнеть и картины столичной жизни. Сначала они уступили место набегавшим путевым впечатлениям. На станциях Анна Тимофеевна робко смешивалась с небольшой толпой, выходившей из двух вагонов второго и первого класса. Тратила она очень мало. У нее был запас провизии на три дня, поэтому она позволяла себе только тарелку горячего в продолжение суток. Чай заваривала она у себя в вагоне, и если против нее на скамейке кто-нибудь сидел, то угощала за те небольшие любезности, которые ей оказывали: подержать чайник, вылить за окно воду и т. д.

Мимо ее окон часто, чуть ли не каждые полчаса, пролетали встречные поезда, и она удивлялась, кому нужно такое сильное движение. Обо всем, чего не понимала, она расспрашивала соседей. Те охотно объясняли ей.

Но в этот день она еще не могла совсем отрешиться от впечатлений пребывания в Петербурге. Зато на другое утро Анна Тимофеевна как-то сразу почувствовала себя ближе к родным местам.

За окном вагона картины были уже не те. Попадавшиеся по пути деревни казались ей беднее и скромнее. Люди, толкавшиеся на платформах и входившие в вагон, были другого типа, грубее. И одеты они были проще, не так чисто. Народа в вагоне становилось больше. В нем чаще встречалась простая сермяга с котомкой за плечами.

В Москве ей надо было ждать часа четыре. Ей хотелось хоть взглянуть на Москву. Она расспросила, как бы это сделать, не заблудившись в большом городе. Ей толковали, называли какие-то улицы, ворота. Все это она перезабыла. Однако решила издержать рубль на извозчика и съездить хоть в Кремль.

В Москве было гораздо жарче, чем в Петербурге. Город ей показался странным — до такой степени он мало походил на чистый и стройный Петербург. Улицы не широкие, кривые, не мощеные так, как там. Простого, рабочего люда так много, сколько ей не приходилось видеть за все два года пребывания в Петербурге.

И Кремль не произвел на нее никакого впечатления. Правда, здесь было гораздо светлее и вся картина была веселее, чем широкий и мрачный вид на Петропавловскую крепость, к которой присмотрелся ее глаз, но не было ничего грандиозного, ничего поражающего. И неспокойно ей было. Каждые десять минут она посматривала на часы, боясь, что поезд уйдет без нее или что пропадут ее вещи, отданные сторожу на хранение.

От Москвы ей пришлось ехать еще часов тридцать с лишком. Дорога с постоянными пересадками начала утомлять ее. Анна Тимофеевна равнодушно следила за мелькавшими панорамами. Каждые полчаса или сорок минут она слышала надоевший уже протяжный гул паровоза. Потом поезд замедлял ход, потом раздавался свисток «обера». Анна Тимофеевна смотрела из окна, как он соскакивал еще на ходу и давал новый свисток, после которого поезд останавливался, как в то же время раздавалась мелкая дробь звонка, как на платформе показывался красный околыш, передававший «оберу» листок желтой бумаги. Тут же недалеко стоял жандарм. За окном станции бросалась в глаза всегда какая-то золотушная фигура телеграфиста, склонившегося к аппарату. Из соседних вагонов выбегало несколько рабочих к большой кадке с водой и с кружкой на цепи, стоявшей около маленькой лавочки, где продавались квас, вобла, печеные яйца и сухой хлеб. Новая дробь звонка, новые свистки, и поезд медленно отодвигался. Можно было рассмотреть за чугунной решеткой садик начальника станции с красивым цветником. За садиком, подальше вглубь — казармы рабочих. Поезд прибавлял ходу, и через минуту тянулись новые поля, леса и деревеньки, а по линии — все те же маленькие каменные домики путевых сторожей и те же телеграфные столбы, то выскакивавшие наверх, то вдруг нырявшие в какие-то овраги.

Но вот показались первые хаты-мазанки. У Анны Тимофеевны дрогнуло в груди. Они еще попадаются как исключения среди бревенчатых русских изб, но уже предвещают близость Малороссии. Леса становятся реже. Поезд уже не въезжает в лесную чащу, как это было на севере, степь ширится и кажется гораздо менее населенной. И солнце припекает больше, чем там, и небо синее, и облака кудластее. В вагоне среди говора пассажиров прорывается *о*.

К Харькову волнение Анны Тимофеевны растет. Петербург забыт совсем. Она вся находится в напряженном состоянии. Еще несколько часов езды — и она дома. Пятьдесят верст на лошадях не пугают ее.

Последний протяжный свисток паровоза. Вещи Анны Тимофеевны аккуратно сложены на скамейке. Сама она, одетая, стоит перед окном и тихо молится. О чем — сама бы не сумела сказать.

Поезд замедлил ход. Мимо окна тихо прополз зеленый фонарь на высоком шесте. Под ним мелькнула темная фигура стрелочника с выставленной вперед ногой. Колеса вагонов застучали по передаточным рельсам и потом почти бесшумно пошли к станции. Вот и станция тихо двигается навстречу. Из окон падает свет на платформу, где виднеется несколько фигур. Станция проходит мимо. Анна Тимофеевна внимательно вглядывается, ищет знакомых лиц...

Она не извещала Александра Георгиевича о дне своего приезда. Для того чтобы он выслал на станцию лошадей, надо было рассчитать день выезда из Петербурга недели за три. Почтовая станция в сорока верстах от хутора, и Александр Георгиевич посылает за почтой раз в неделю. Анна Тимофеевна написала только, что сдает экзамены прекрасно. Последние известия о детях она имела еще в начале мая.

Ей скоро удалось нанять бричку. Ночь была тихая, теплая и звездная. К утру она должна быть дома. Лицо у нее горело от дороги и от усталости, но сна не было. И разговаривать много с возчиком она не хотела. Беседа развлекла бы его, а это отразилось бы на скорости езды. Когда они отъехали от станции верст пять, она расспросила только о надеждах на урожай. Возчик жаловался, что дождей весной не было, что и теперь стоит засуха и что, «мабуть, усе погорит».

Ехали в одну упряжку, мелкой рысцой, верст по семь в час. Только на полпути поили, останавливались в одной деревне. Анна Тимофеевна вглядывалась на разбросанные чуть-чуть белевшие хаты. По деревням было тихо. Лишь кое-где встревоженная звуком колес собака пролает, не поднимаясь с места, медленно, словно завывая.

Становилось светлее. Постепенно вырисовывались очертания спины и головы возчика, его бурая свитка. Скоро можно было уже разглядеть хлеба по дороге, низкорослые, не обещавшие обильного урожая. Небо посерело. Звезды

одна за другой начали исчезать. Налево на горизонте протянулась светлая полоска. Из-под ног лошадей поднималась пыль.

Когда проезжали через новую деревню, то уже было светло. Из хат выходили закутанные бабы и гнали перед собой коров. Но солнце еще не всходило. Светлая полоса палево расширялась, к правой стороне небо постепенно было темнее. Спустя некоторое время Анна Тимофеевна взглянула наверх и увидела там только одну блестящую звездочку в той стороне, где должно было взойти солнце. Восток золотился все выше и шире, но звездочка не желала гаснуть, словно собиралась вступить в единоборство с самим солнцем. Анна Тимофеевна с любопытством наблюдала за ней: как долго выдержит она борьбу с ним? Оно уже посылало вперед свои лучи. От горизонта потянулись две-три полосы. Какое-то облачко, растянувшееся в сторонке, окаймилось красноватым отблеском. Само оно из сизого превратилось в голубоватое, а потом приняло от солнца его золотистый цвет. А звездочка упрямо отказывалась тонуть в этом нахлынувшем море света.

«Не борись, зірочка,— подумала с улыбкой Анна Тимофеевна,— все равно не выдержать тебе!»

И точно, звезда начала бледнеть, словно переживая предсмертную агонию, и когда из-за горизонта выглянула верхняя часть красного диска и по земле побежали от него огненные змейки, звездочка тихо погасла, а красный диск начал свое быстрое, победное шествие...

Было уже часов семь, когда Анна Тимофеевна увидела длинный сад и белевший перед ним дом усадьбы Варвары Дмитриевны. Дорога шла прямо на него, но Анна Тимофеевна указала возчику налево, на курган, за которым прятался хутор. Скоро они поднялись на гору, и хутор был как на ладони.

Первое, на что уставилась Анна Тимофеевна,— дом, точно она боялась не найти его на месте. Он был небольшой, красный, из жженого кирпича, с железной крышей зеленого цвета. Белые ставни окон были закрыты. Перед домом небольшой палисадник. Дальше стоял дом приказчика, лимпачевый, с соломенной крышей. Еще три-четыре строения, из которых только одно было каменное, высокий шест колодца — и вот весь хутор. Недалеко стоял длинный стог соломы, в полуверсте от хутора, по «низам», темнели три стога старого сена, а еще дальше — длинное низенькое строение, куда загонялись на зиму овцы.

Анна Тимофеевна не отрывала глаз от хутора, прикрывая их от солнца ладонью. Ей хотелось заметить там какое-нибудь движение. Но хутор точно вымер. Только за версту она увидала женскую фигуру, спускавшую в колодезь ведро...

V

Несколько собак бросились к бричке с шумным лаем. Анна Тимофеевна крикнула «Неро! Неро!» — так звали самую большую и красивую из них,— но лай заглушал ее голос. Не успела она слезть, как из дома выбежала Настасья. Анна Тимофеевна приготовилась уже встретить ее веселой улыбкой, но та вдруг вскрикнула и убежала.

С другой стороны к бричке приближалась от колодца кухарка Марья, за нею медленно двигался кучер, все тот же, что был и семнадцать лет назад.

Прежняя хозяйка расцеловалась с Марьей, подала руку кучеру и пошла на крыльцо. Оттуда ей навстречу уже бежал Саша, ее старший сын, гимназист. Александр Георгиевич писал ей, что он уже перешел в четвертый класс гимназии.

Анна Тимофеевна обняла его и расплакалась. В передней стоял ларь, покрытый истрепанным ковром,— она не выдержала и опустилась на него, не выпуская из объятий сына.

— Ах, милый! Как вырос! И какой красавец!

Она целовала его в глаза, в волосы. Тот конфузливо поддавался.

В дверях показался и другой ее сын — Володя, лет пяти. Этот смотрел на мать исподлобья и жался к углу. В руке у него был кусок сдобного хлеба — «папушника».

— Володя! Детка! Иди же к матери,— крикнула ему Анна Тимофеевна.

Но мальчик попятился назад, а когда она схватила его на руки и начала покрывать поцелуями, то он заплакал. Саша расхохотался.

— Он вас не узнал! — произнес он, стараясь говорить басом и показать матери, какой он уже большой.

— Ты меня не узнал? Ну, что же ты плачешь? Ведь я твоя мама, твоя добрая мама. Я тебе гостинца привезла, игрушек, каких хороших!

«Гостинец» подействовал на него сильнее, чем «мама». Он сразу перестал плакать и спросил:

— А где гостинец?

— Там, в чемодане. Сейчас чемодан принесут, мы его откроем и достанем оттуда гостинцы и Саше, и Володе.

Он совсем просиял и сейчас же, совершенно неожиданно, сообщил:

— А у нас четыре котенка... новых!..

Наконец вышла и Настасья. Не поднимаясь с места, Анна Тимофеевна поцеловалась с ней и произнесла:

— Спасибо тебе за них!

Настасья была довольно рослая баба с широким лицом, вздернутым носом, круглыми серыми глазами, смотревшими всегда с удивлением, с крупным, некрасивым, но чувственным ртом и, как у всех хохлушек,— с прекрасными белыми зубами.

Она стала к стенке и начала смотреть приехавшей куда-то в пояс.

— А Александр Георгиевич дома?

— Папа еще спит,— ответил Саша.

— Ни! Уже проснулись,— сказала Настасья и, отвернувшись, высморкалась в передник платья.

Анна Тимофеевна прошла в свою комнату, поручив Настасье внести вещи и накормить возчика. Комната в два окна выходила в крытую галерею на двор. В ней стояла кроватка Володи. Саша спал в кабинете. Все оставалось нетронутым. Постель была чистая, очевидно, недавно прибранная. У стены — комод, покрытый вязаной скатертью. На комоде зеркальце. Между окнами овальный стол. У окон по стулу. Ставни у одного окна совсем были закрыты со стороны галереи, а у другого — наполовину.

Анна Тимофеевна наскоро сняла свое летнее пальто и шляпу, только стерла с лица пыль, посмотрелась в зеркало, чуть поправила прическу и пошла к Александру Георгиевичу через кабинет. Мимоходом она заметила, что в кабинете много пыли и стол, очевидно, давно не убирался. На нем были свалены газеты, табак, кое-какие книги. Тут же лежал молоток, куски ваты, стоял недопитый стакан чаю.

Галерея выходила во двор, а окна кабинета, гостиной и спальной — на степь.

Анна Тимофеевна вошла в спальню, большую комнату в два окна. Ставни были закрыты, но свет врывался отчасти из кабинета, отчасти в щели ставен. Кровать Александра Георгиевича стояла посреди комнаты, придвинутая

к степе только одной узкой стороной. Около кровати — столик со свечой, стул с брошенным на нем платьем. За кроватью — умывальник, комод и т. д.

Александр Георгиевич лежал еще в постели, закинув руки за голову. На нем была цветная сорочка.

— Здравствуйте, Александр Георгиевич! — Голос у Анны Тимофеевны дрогнул.

— Здравствуй, здравствуй,— услыхала она знакомый звук.

Она приблизилась, секунду постояла перед ним, потом не выдержала и, разрыдавшись, упала к нему на грудь.

— Ну, полно, полно! С чего это ты вздумала? Точно над покойником плачешь.

Анна Тимофеевна сдержалась и отошла.

— Как ты доехала, расскажи!

Она чувствовала, что он повернулся в ее сторону. В то же время мелькнула мысль, что он не о том спрашивает. Она не сразу ответила, попробовала сначала успокоиться, потом открыла окно внутрь и толкнула ставню, а окно снова закрыла. Затем приблизилась, еще раз посмотрела на Александра Георгиевича,— он хмурился от солнца,— подняла к себе его руку, поцеловала ее и села тут же на кровати, не выпуская руки.

— Как-никак, а доехала,— ответила она наконец.— Все кончила. Все экзамены сдала великолепно. И на сельскую, и на городскую сдала... Да только очень соскучилась,— тихо кончила она и почувствовала, что глаза ее опять наполнились слезами.

— Ну, что ж, молодец! Право, молодец! Честь тебе и слава! — произнес Александр Георгиевич таким тоном, как будто ему стоило больших усилий проговорить эти слова. При этом он поглядел на окно и насильно зевнул.

Анна Тимофеевна никак не могла настроить себя на тот тон, в каком ей представлялась эта встреча оттуда, из Петербурга. Сказать было много-много чего, а между тем приходили в голову только мелочи, путевые впечатления. Фразу за фразой она точно нанизывала, говорила обрывисто, перескакивая с одного предмета на другой. То спрашивала, как ему жилось,— он ответил:

— Да ничего! Как всегда.

То благодарила его за Сашу, как он вырос, похорошел...

— Как на вас стал похож.

В то же время думала, что в этой благодарности проскользнуло что-то лакейское, и рассердилась на себя.

Желая поправиться, быстро вернулась к своему петербургскому успеху. Пока не дошла до Ставроковских, трудно ей было говорить. Здесь же она точно попала на свой любимый конек и заговорила быстро-быстро. Она не жалела ни красок, ни восклицательных знаков в характеристике этой семьи и в увлечении не заметила, как на лице Александра Георгиевича заметалась ироническая и недобрая улыбка.

А она схватила эту тему для разговора, так как ни в чем другом не могла бы выразить все те новые мысли, какие накопились у нее за время пребывания в Петербурге.

Александр Георгиевич начинал испытывать приступ раздражения. Анна Тимофеевна «действовала ему на нервы», как он определил про себя это впечатление. Ее увлечение Ставроковскими, «какими-нибудь старыми девами, курсистками или психопатками», казалось ему и смешным и антипатичным. Сама Анна Тимофеевна с этим полурусским, полумалороссийским говором, со стремлением говорить «книжно» была ему неприятна. Даже голос ее начинал уже действовать на него так, точно кто-то над его головой царапает по стене ногтями. «Все — фальшивое и напускное»,— подумал он.

Если бы Анна Тимофеевна вовремя заметила, в каком страшном диссонансе находились их настроения, она, конечно, почувствовала бы себя больно оскорбленной. Но качества Ставроковских, отношение к ней профессоров, энергия, с которой она проработала около двух лет,— все это она находила несомненно интересным,— могла ли ей прийти в голову мысль, что она надоедает?..

— Ну, однако, мне надо одеваться,— перебил ее Александр Георгиевич.

— Извините,— произнесла она и пересела на стул к окну. Вставая, она бросила взгляд на Александра Георгиевича и немного смутилась. Такого выражения она еще не видала на его лице. Оно было прямо злое.

Александру Георгиевичу было уже за сорок пять. Темные волосы принимали пепельный оттенок. Они были длинны, и он их забрасывал наверх, прикрывая порядочную лысину. Лоб был высокий, тоже полысевший. На нем было много мелких морщин. Около глаз тоже шли морщины веером. Глаза маленькие, карие, без блеска. Только нос и красивые линии губ сохраняли красоту. Бородка, тоже с сильной проседью, была запущена. Цвет лица — грязновато-бледный, с загаром.

В эту минуту ноздри у него вздрагивали и рот перекосило.

— Вы нездоровы? — спросила Анна Тимофеевна.

— Нет. Отчего ты думаешь? Я совершенно здоров.

Он отбросил одеяло и начал одеваться. Анна Тимофеевна отвернулась к окну. Она не могла объяснить себе, что такое больно укололо ее сейчас, отчего у нее как-то жжет в самой середине груди.

Александр Георгиевич пошел в угол комнаты умываться, а Анна Тимофеевна продолжала допытывать себя. Чувство неудовлетворения все сильнее подступало к горлу. Теперь она заметила, что все время говорила одна, что он ее ни о чем не спрашивал, ни о чем. На все ее рассказы отвечал только каким-то носовым звуком, что-то вроде «хм!». Он как будто уже услыхал от нее все. А у нее между тем было такое чувство, как будто она не сказала еще ничего. По крайней мере, чего-то не выходило. Вспомнила она и то, что он, в сущности, даже и не поцеловал ее при встрече. Кажется, только слегка приложился к ее волосам, когда она расплакалась у него на груди. И только? Да, и только.

Ей нужно было бы выйти, еще раз поцеловать детей, самой умыться с дороги, переодеться. В то же время ей не хотелось уходить с таким стесненным сердцем.

— Настасья! — крикнул Александр Георгиевич.

Настасья точно ждала за дверями. Странно как-то показалось ее быстрое появление. Она вошла с вычищенными сапогами.

— Чай готов?

— Готов, барин.

Тон у Настасьи какой-то странный, льстивый, слишком услужливый...

Анна Тимофеевна невольно повернулась, взглянула на свою бывшую любимицу, и вдруг чудовищная мысль, как молния, ожгла ее. По каким-то совершенно неуловимым признакам, доступным только женскому чутью, когда одна без слов понимает другую, Анне Тимофеевне внезапно пришло в голову, что между Александром Георгиевичем и Настасьей — страшная близость.

На миг она замерла, сама почувствовала, что биение сердца приостановилось и она перестала дышать.

В это время Настасья успела взять со стула платье Александра Георгиевича и выйти.

Анна Тимофеевна посмотрела ей вслед, передохнула и рассердилась на самое себя. Это — глупая ревность, и больше ничего. Женщина в ней заговорила.

Александр Георгиевич причесывался перед большим зеркалом, висевшим над комодом.

— Так, значит, недаром побывала в столице? А? Молодец, молодец!

Анна Тимофеевна ухватилась за его слова, чтоб успокоить себя. Ей ужасно захотелось сказать: все я делала для вас, для вас одного; и ночей не спала, и ума-разума набиралась — все для вас. Но опять точно что-то сковало ей язык.

— Как Варвара Дмитриевна поживает? — вдруг спросила она.

— Тетя? Да ничего! Все слава богу. Живем тихо, не по-вашему, не по-столичному. Мы — народ тихий, без стремлений, без претензий. Живем — на бога надеемся, в него одного и верим.

Это было уже слишком. Глаза Анны Тимофеевны опять начали наполняться слезами.

— Что это вы, Александр Георгиевич? — заговорила она,— какие это шутки?

Он засмеялся.

— Что ж, разве не правда? Ведь там, у вас в Петербурге, дни бегут быстро. Их считают. Каждый день, каждый час считают, как бы он не убежал без каких-нибудь впечатлений. Ну, а мы тут и месяцы-то забываем, а не то что числа. Вот косить скоро пора — это мы помним, потому что пора... А там июнь это или уж июль — это нам все равно. Да.

Анна Тимофеевна почувствовала, что вот-вот разрыдается. Не было никаких сомнений, что он смеется над нею, и не с добрым сердцем смеется, что еще можно было бы извинить, а с какой-то дурной мыслью. Она с минуту помолчала. Заговорить боялась — расплачется. Александр Георгиевич повернулся к ней, расчесывая бороду.

— Что же, не так разве? У вас в Петербурге ведь иначе, чем у нас? А?

И опять смех.

Анна Тимофеевна вдруг встала и вышла из комнаты.

В гостиной она столкнулась с Настасьей. Та несла вычищенное платье. Анна Тимофеевна дрожала от приступа слез, но успела внимательно посмотреть на Настасью. Та быстро отвела глаза и сделала вид, что торопится испол-

нить свою обязанность. Ужасное предположение начинало подтверждаться, а вместе с тем разом исчезло и слезливое настроение.

— Эге! Вот оно что! — почти громко проговорила Анна Тимофеевна, медленно выходя на галерею.

Через окно галереи она заметила кухарку. Та точно ждала ее, широко и ласково улыбнулась и пошла к ней навстречу. Но странный звук сзади отвлек Анну Тимофеевну. Ей показалось, что Настасья плотно притворила дверь. Не успев даже ответить улыбкой кухарке, Анна Тимофеевна решительно повернула назад. Войдя в гостиную, она убедилась, что дверь в спальную действительно притворена. Множество мелких соображений пронеслось в ее голове. Узнать все сейчас же! Подслушать? Гадко? Но она имеет право? Не стоит. Все равно она сейчас же все поймет.

Она решительно подошла к двери и распахнула ее. Настасья, как кошка, отскочила от Александра Георгиевича и смущенно принялась за уборку постели. Анна Тимофеевна успела заметить и веселое лицо Александра Георгиевича, которое сразу стало настолько испуганным, что он даже не нашелся, как Настасья, укрыться за каким-нибудь занятием. Он завязывал шнурок с кисточками на вороте сатинетовой сорочки и замер с неоконченным жестом.

Анна Тимофеевна побледнела, но почувствовала не боль, не страдание, а неудержимое желание расхохотаться.

— Что тебе? — как-то глупо спросил Александр Георгиевич.

— А? Мне? — переспросила Анна Тимофеевна и дала волю смеху, который тут же перешел в истерику.

Она успела еще крикнуть в сторону Настасьи:

— Вон! Вон из дома! Сию минуту!

И оттолкнула подбежавшего Александра Георгиевича. Потом она забылась.

VI

Болезненное состояние продолжалось недолго, не более получаса. Анна Тимофеевна пришла в себя в своей комнате на кровати. Около нее стояла кухарка Марья.

Анна Тимофеевна ощущала тяжесть на душе, точно ей на грудь положили камень. Она сейчас же вспомнила, что не отдохнула ни после экзаменов, ни после утомительной

дороги, что, сидя в спальной Александра Георгиевича, хотела заплакать и не плакала. И на кого-то обижалась за то, что ей не дали ни отдохнуть, ни поплакать, а ей так сильно хотелось и того и другого!

Марья увидела, что она пришла в себя, и подошла к ней со стаканом воды.

— Нет, не хочу. Присядь-ка около меня.

Марья была женщина тонкого ума. Александр Георгиевич не раз шутя называл ее дипломатом. Она умела видеть события издалека, ловко прислуживаться и сохранить свое достоинство.

— Як же вы нас палякали! * И с чего це вы? Чи ви наморились добре?

— Устала? Да, устала,— слабо ответила Анна Тимофеевна.

— Да як же и не наморитьсяl Глядишь, скількі верстов проіхали. Барин казали, мабудь тысяч десять.

Она качала головой и смотрела в потолок.

— Кабы мені стількі,— іхала бы собі, іхала бы, та й по дорози и умерла бы. Так бы и не доіхала бы до міста **.

— Постой, Марья. Брось ты свои фокусы. Говори мне прямо,— давно у них это началось? — Анна Тимофеевна качнула головой в сторону панских комнат.

— Що «началось»? — спросила та, как бы не догадываясь.

— Ах, Марья! Ведь ты понимаешь, про что я спрашиваю: как тебе не грех мучить меня?

Марья пригнулась к ней и тихо переспросила:

— Це ви за ту подлюку?

— Ну, да же.

— А-а, хай ей біс! — пропела она.— Що ж вона вас беспокое? Прогоне барин зараз, ото и всэ!

Но глаза Марьи говорили другое. Она сейчас же прибавила полушепотом и наставительно:

— Казала я вам, не кідайте дому, не бросайте хозяйства.

Ничего подобного она никогда не говорила, но была убеждена, что предупреждала. Затем она начала пространно рассказывать, что, как только Анна Тимофеевна уехала, Настасья сразу переменила «обращение». В тот же

---

* напугали. *(Примеч. Вл. И. Немировича-Данченко.)*

** Если бы мне столько — ехала бы себе, ехала, да по дороге и умерла бы. Так бы и не доехала до города (искаж. *укр.*).

день «хвалилась» на кухне, что Анна Тимофеевна уехала совсем, никогда не вернется, и детей бросила. А что если и вернется, то барин прогонит ее. Марья будто бы сердилась, выходила из себя и даже поругалась с Настасьей. А та будто бы тут же сказала, что скоро сама станет хозяйкой. Марья будто бы попрекнула ее мужем, а Настасья крикнула, что мужа она и знать не хочет.

Из всего ее рассказа, наполовину вымышленного, Анна Тимофеевна поняла одно,— что Александр Георгиевич изменил ей очень скоро после ее отъезда. Но всю вину она сваливала на Настасью, «змею подколодную», сумевшую когда-то забраться к ней в сердце.

К обеду Анна Тимофеевна чувствовала себя уже совсем бодро, умылась, переоделась и привела в порядок все свои вещи. Настасья не показывалась, а Александр Георгиевич уехал, вероятно, в усадьбу. Он не возвратился и к ночи. Она имела много свободного времени, чтобы обдумать свое положение. О Настасье она уже не думала. Ревности она не испытывала, а все-таки потребует, чтобы Александр Георгиевич уволил эту «ехидну». С этой стороны она была спокойна. Но измена Александра Георгиевича была гораздо глубже. Анна Тимофеевна припомнила его поведение во время встречи и убедилась в том, что он совершенно охладел к ней, нисколько не был рад ее приезду, даже насмехался над нею. Это посерьезнее его новой связи. Почему он так зло смеялся над нею? — вот вопрос, который она никак не могла разрешить. Неужели она стала хуже, чем прежде? Она так сильно поработала над собой, стала так неузнаваемо «интеллигентнее» в сравнении с прежним — и все это возбуждает в нем только насмешку? Но ведь он даже и не всмотрелся в нее. Она готовилась к встрече с ним как к самому главному экзамену — а он даже не поинтересовался внимательно расспросить ее. Правда, он несколько раз повторил «молодец», но лучше бы он совсем молчал, до того неприятен и обиден был этот звук.

Если он был против ее поездки в Петербург «в принципе» — Анна Тимофеевна подумала именно этими словами,— так зачем же он не сказал ей этого раньше? Нет, она отлично помнит, что ее план произвел на него сильное впечатление, даже тронул его.

Или там, в усадьбе, приготовили его в этом духе? Обрадовались ее отъезду, чтобы окончательно разорвать эту связь? Стало быть, нужно бороться заново, начинать все

сначала? Но ведь ей уж не под силу. Ей уже не двадцать и не двадцать пять лет. Ей хочется, наконец, покоя и самостоятельности.

Сделала ли она ошибку? Не лучше ли было остаться, не думать ни о каких лекциях, ни о каком самостоятельном труде?

Тогда почему же ее стремления так горячо поддерживались в Петербурге? И кем поддерживались? Людьми, конечно, более достойными уважения, чем все, кто только окружал ее здесь, на хуторе.

Так или иначе, надо объясниться, надо дождаться Александра Георгиевича и столковаться, чего он от нее ждет.

На другое утро произошло маленькое столкновение с Настасьей. Дипломат-кухарка была в большом затруднении, у кого спросить насчет обеда, кто будет хозяйничать в доме. Но Настасью она увидела первою. Та имела важный и солидный вид и сама начала заказывать обед.

— Сготовь суп с зеленью,— сказала она.

— Та мабудь надо суп с зеленью,— уклончиво приняла Марья, как бы инициатива супа принадлежала ей самой.

— А после того отвари горох.

— И гороха я вже набрала.

— И котлеты зруби.

Можно было и приступить к приготовлению обеда, но надо было устроиться и с другой хозяйкой. Марья пошла к Анне Тимофеевне и предложила ей обед из супа с зеленью, гороха и котлет, как единственное, что можно было сделать при данном состоянии огорода.

— Хорошо,— ответила Анна Тимофеевна.— Принеси мне ключи от кладовой. Я сама посмотрю.

Марья снова была поставлена в неловкое положение. Идти к Настасье за ключами не представлялось приятным. Она ответила «зараз», ушла в кухню и сделала вид, что забыла про ключи. Но Анна Тимофеевна вышла на крыльцо и позвала ее.

— Что же ты ключи не даешь?

— А я и запомнила! За̀раз, за̀раз.

— Ключи у мене,— послышался голос с галереи.

— Ну, так и подай,— строго приказала Анна Тимофеевна.

Настасья мыла салат.

— Барин приедут, воны и распорядятся по-своему.

Вспомнилась Анне Тимофеевне хорошенькая деревен-

ская брань, не выдержала она и пустила ее Настасье. Та что-то отвечала, но Анна Тимофеевна не слушала.

Наконец, Александр Георгиевич вернулся. Настасья немедленно прошла за ним, и Анна Тимофеевна услыхала, как она плакала и просила, чтоб он поскорее прогнал «прежнюю хозяйку». Тот ее успокаивал.

Саша обедал с отцом. До отъезда в Петербург Анна Тимофеевна обедала с детьми отдельно у себя в комнате. При Володе была десятилетняя «нянька».

— Мама! Вы не с нами будете обедать? — спросил Саша и густо покраснел.

— Нет, милый. Мне еще и не хочется. Я закусила,— сконфуженно ответила Анна Тимофеевна.— Мне вот надо твое белье пересмотреть.

Она начала рыться в комоде.

После обеда Саша пришел в комнату матери.

— Ты бы пошел погулять, Саша.— Ей хотелось пройти к Александру Георгиевичу.

— Жарко, мама.

— Что за жарко. Поди, милый.

Он нехотя ушел. Мать видела, что сын ждет какой-то катастрофы и, кажется, хотел присутствовать при ней.

Анна Тимофеевна вошла в кабинет. Александр Георгиевич лежал на диване и курил.

— Можно с вами поговорить? — начала она.

Он улыбнулся.

— Отчего же? Милости просим.

Анна Тимофеевна вся дрогнула от этой улыбки. Она вернулась в гостиную, заперла там дверь на ключ и снова вошла.

— Ого! Какие предосторожности! — расхохотался Александр Георгиевич.

— Я с вами пятнадцать лет прожила, не хочу, чтобы всякая дрянь подслушивала нас.

Она страшно волновалась, но употребляла все усилия, чтобы держать себя в руках. До слез она решила ни за что не допускать себя.

— Ну-с, что же прикажете? — Он повернулся на диване, одну руку забросил под голову, на подушку, а другую, с папиросой в камышовом мундштуке, положил вдоль ноги.

— Это позвольте мне вас спросить,— сказала Анна Тимофеевна, прислонившись к письменному столу и упираясь в его край ладонями. Она смотрела на Александра Ге-

оргиевича исподлобья, но в упор.— Это я хочу спросить вас,— в какое положение вам угодно поставить меня?

— Прежде всего, душа моя, мне угодно, чтоб ты выражалась попросту, без затей и без литературных оборотов. Я этого не выношу. Это меня бесит, наконец. Будь тем, что ты есть: простой деревенской бабой, хоть и с фельдшерским дипломом. Поняла? Ну вот. А теперь можешь говорить.

Кровь прилила к лицу Анны Тимофеевны. Она почувствовала, что зарделась до корней волос. Ей вдруг стало ясно, что она ему страшно антипатична. Она не сразу нашлась ответить.

— Ну-с, что же? Или уж ты разучилась говорить почеловечески?

Из множества вопросов, которые пронеслись в ее голове, она ухватилась за один:

— Я не понимаю, за что... за что вы так вдруг возненавидели меня? Право же, будто я два года вела распутную жизнь и вот вы теперь наказываете меня.

— А почем я знаю, какую ты там жизнь вела? Писала же ты мне, что одна из твоих подруг сбилась с пути. Я тоже, матушка, знаю столичную жизнь. Сам немало куролесил в Москве и в Петербурге.

Это уже было кровным оскорблением.

— Александр Георгиевич! Не грешите, по крайней мере,— сказала она, сдерживая слезы и отходя от стола в противоположный угол кабинета.

— Не знаю, не знаю. Я грешить не хочу. А только и ручаться ни за что не могу.

Анна Тимофеевна заломила руки и прошептала:

— Ах, боже мой! Вот еще новости-то!

— Ты не думай, что я тебя допытываю. По совести, мне все равно. Да и не скажешь. Но что это очень возможно — ты меня не разуверишь. В столице разврат на каждом шагу. Катались в компании, он пожал ногу, за ужином выпили лишнего, а там и готово!

Анна Тимофеевна с мольбой посмотрела на него.

— Голубчик, Александр Георгиевич! Да что с вами? С чего вы? Да я, кажется, ни одной минутки не утаила от вас, каждый час описывала. Когда мне было глупости думать? До того ли? Да и с чего мне? Господи! Я-то надеялась, я-то рассчитывала, как вернусь сюда,— и вот!..

— Я не уверяю, я ничего не уверяю. Повторяю, мне все равно. Я только говорю на тот случай, если в самом

деле что-нибудь подобное было. Чтобы ты не считала меня за дурака, которого легко обмануть. А в сущности, мне совершенно все равно.

— Не ваши эти мысли, понимаю я. Самим бы вам никогда не пришла в голову такая мерзость про меня. А нажурчали вам в уши. Настроили против меня, воспользовались, что меня нет.

Он как-то лукаво, совсем по-стариковски прищурил один глаз.

— Кто же это?

— Да хоть бы эта дрянь Настасья. Или это вы по себе судите? Хороши, нечего сказать.— Она развела руками.— Может, я еще и до Петербурга не доехала, как вы уже все забыли. Вот теперь вам и хочется оправдать себя. Так это довольно гнусно — употреблять такой прием.

— «Употреблять такой прием» — вишь, как научилась! — Он повернулся на спину и затянулся дымом.

— И этого я никак не пойму. Словно я наношу вам оскорбление, если порядочно выражаюсь.

— «Наношу оскорбление»! — как-то промычал он.

— Господи! Да что же это! Ради бога, объясните мне, за что вы возненавидели меня?

— Я? Нисколько.

— Однако как же мне понимать ваше обращение со мной? Голубчик, Александр Георгиевич. Ведь у меня голова точно в тумане. Мало того, что вы же передо мной виноваты, с дрянью с этой связались... А я еще так верила ей... Вы же издеваетесь надо мной. За что же? За что? Ради бога!

— А я никак не могу понять, чего ты, собственно, волнуешься? Ты чего хочешь? Скажи, чего?

Анна Тимофеевна поняла его вопрос по-своему и начала:

— Прежде всего, чтобы этой гадины сегодня же не было на хуторе. Я с ней не могу жить в одном доме.

— Постой, постой. Я тебя не о том спрашиваю. Это ты уже не о себе говоришь, а обо мне. А ты мне скажи про себя, чего ты хочешь. Ну, захотела ты чему-то там учиться — я тебя не удерживал. Ну, слава богу, научилась и образовалась,— теперь что же ты думаешь с собой делать? Какие у тебя планы? Я не понимаю. Рассказываешь, что тебе предлагали место — отказалась, приехала сюда. Ну? Зачем?

— Как зачем? Зачем я приехала?

Она оторопела.

— Ну, да, я понимаю. Тут и вещи твои, и сын твой Володя...

— А Саша?

— Ну, об этом после. Я спрашиваю, какие у тебя планы насчет будущего. Для чего же нибудь ты ездила учиться. Или только прокатиться в Петербург захотелось на мой счет?

Анна Тимофеевна похолодела от испуга и недоумевала, откуда в нем такая твердость, такая решительность.

— Что же, скажешь ты мне?

Она, бледная, опустилась на первый стул, закрыла лицо руками и тихо произнесла:

— Нет, ничего я вам не скажу.

Он с каким-то азартом приподнялся.

— А! Не скажешь? Почему же? Это очень любопытно. Почему ты не скажешь? Потому что тебе нечего сказать. А?

— Не скажу, потому что если вы это спрашиваете, так мне надо...— Она прервала себя, быстро встала и перешла к окну, точно в движении искала поддержки.

— Ну, ну? Говори.

— Я говорю, если до того дошло, что вы меня спрашиваете, зачем я приехала и какие у меня планы, если дошло до этого, так мне что ж остается?.. Либо повалиться перед вами на колени, либо плюнуть на все, взять своих детей и уйти куда глаза глядят.

— Ого! Вот ты чему научилась в Петербурге? Ну, что ж! Плюнь и уходи — плакать никто не станет. Прожили без тебя два года, проживем, даст бог, и всю жизнь.

— Я уже поняла, что вам только того и нужно. Оттого и спрашиваю — откуда это, за что?

— Однако ты непонятлива. Ты уехала, оставила нас, захотела учиться — как я должен был думать об этом? Что ты кончишь свое учение и начнешь работать «на пользу ближнего», хе! Ну, я и махнул на тебя рукой. Это так ясно. Всякий на моем месте поступил бы так же.

— А от того, что я с вами прожила пятнадцать лет, у вас на душе ничего не осталось?

— Ну, это опять литература пошла! У меня остался мальчик и останется.

— Саша?

— Да, Саша. Можешь распоряжаться своей судьбой как знаешь и брать с собой Володю, а его воспитаю я.

— Александр Георгиевич! Миленький! Ведь это уже бог знает какие шутки.— Она приблизилась к дивану.

— Убирайся вон! С чего ты выдумала, что я шучу? — крикнул он, встал и начал сбрасывать папиросу в пепельницу на письменном столе.

— Александр Георгиевич! Голубчик! Да что вы надумали? Миленький! Опомнитесь.

Он вдруг повернулся к ней и резко произнес:

— Ежели ты захотела быть фельдшерицей, так и ступай в фельдшерицы. А то важности-то набралась, а на даровые хлеба лезешь. Это меня возмущает, и я этого не потерплю. Вот тебе и весь сказ. Я тебя не гоню, пока ты найдешь себе место. Но только прошу скорее. И насчет Саши я не спорю,— вдруг заговорил он высокой фистулой,— я скандалов не люблю. Предлагаю тебе оставить его со мной, потому что ты не в состоянии будешь дать ему такое воспитание, как я. Вот и все. А не захочешь — сделай милость, бери и его.

Анна Тимофеевна стояла перед ним, мертвенно бледная, с синими кругами вокруг глаз, сложивши обе ладони, прижав их к углу рта и покачивая головой.

— Миленький, миленький! Александр Георгиевич!..— шептала она, пока он говорил.

— Ну вот, я тебе все сказал. И чтоб никаких разговоров больше не было.

Он снова повалился на диван. Она не двигалась с места и не меняла позы, только взгляд широко раскрытых глаз перевела на пол около ножки письменного стола. И головой продолжала покачивать.

Александр Георгиевич подождал с минуту, потом поднял голову и посмотрел на нее.

— Ну, что ж ты так стоишь? Хочешь что-нибудь сказать? Говори. Только, по-моему, я прав. Захотелось тебе самостоятельности — так уж ты и будь самостоятельна. А меня оставь. Я от этих образованных женщин всю жизнь бегал. Оттого и холостяком остался. Мне нужна хозяйка, здоровая женщина, мать своих детей, а не образованная дама. Если бы я хотел найти такую, я бы нашел не здесь, в глуши, и уж, конечно, почище тебя.

Анна Тимофеевна сдвинула брови, силясь понять его.

— Значит, я... хуже сделала? Чем, значит, я лучше, тем для себя хуже?

— Да, по-твоему лучше и как те... твои Ставроковские рассуждают. Ну, а по-моему — хуже. Не взыщи.

Он вздохнул и самодовольно крякнул, плотнее прижавшись к спинке дивана, словно окончательно убедился в справедливости своих воззрений.

— Выучила там с десяток литературных оборотов,— прибавил он,— да на профессоров посмотрела и думает, что «образованная» стала!

Анна Тимофеевна была подавлена. Ей начинало казаться, что он прав и что она сама устроила свою погибель. Она перевела глаза на книжный шкаф и вдруг вспомнила давно забытую Марью Васильевну Шпалковскую. В ту же минуту она испытала такое чувство, точно ей хотелось увидеть ее и в чем-то извиниться, попросить за что-то прощения.

Мысль, что Александр Георгиевич прав, все плотнее укладывалась в ее душе. И поправить ничем нельзя. Говорить больше не о чем. Рассказывать ему, на что она надеялась, когда мечтала перед сном в Петербурге,— стыдно было. Раскаиваться? — В чем же? Обещать? — Что?

Сейчас она уйдет. За дверью гостиной, наверное, столкнется с Настасьей. Та прочтет на ее лице свою победу. Эта тварь — ее соперница! Анна Тимофеевна посмотрела на голову Александра Георгиевича, лежавшую на подушке. Лоснившаяся маковка выглядывала из-за пепельных волос. И этот поседевший человек завел себе любовницу? На глазах взрослого сына? По-видимому, ему нисколько не стыдно! Что он сейчас говорил про хозяйку, про «здоровую женщину»? Ох, прав ли он? Если она находит, что он прав,— почему же в ее душе нет-нет и промелькнет брезгливое чувство к его новой связи и даже ко всему, что он говорил? Когда думаешь, что человек прав, то невольно проникаешься уважением к нему. Отчего же она не чувствует уважения? Да и как его уважать? В сущности, он почти смешон. Вот она сейчас уйдет, явится та. Он и с нею поведет серьезную беседу? С той глупой бабой? А потом поедет в усадьбу, там будет раскрывать свою душу перед старухой теткой и злой, завистливой сестрицей — тридцатипятилетней девой? И так прошла вся его жизнь среди бабьего нытья и бабьих интриг. Такого можно уважать? Такой может быть прав?

И еще новая мысль заползла в душу Анны Тимофеевны. Она вспомнила беседы со Ставроковскими о ненавистниках женской самостоятельности. Тогда ей и в голову не могло прийти, что Александр Георгиевич один из них. Неужели же это так? Это было бы ужасно, потому что в

таком случае между ними никогда не наступит примирение. Он всегда будет требовать, чтоб она «обратилась в Настасью».

Кажется, он преспокойно заснул? Слышится ровное дыхание спящего.

Анна Тимофеевна взглянула: спит. Она улыбнулась, покачала головой и тихонько вышла.

Она не ошиблась. Проходя в свою комнату, она столкнулась с Настасьей, но той не удалось прочесть на ее лице свою победу.

VII

Анна Тимофеевна шла с сыном по берегу извилистой степной речки. Тут тянулась тропинка, проложенная мужиками, когда они ловили раков или рыб. Иногда тропинка быстро вскидывалась наверх, а вдоль берега из самой реки поднимался густой камыш. Из-под ног отскакивали и шлепались в воду лягушки.

Становилось прохладнее, жара спадала. Легче было дышать. Солнце было уже на закате.

Анна Тимофеевна нарочно выпила чай раньше времени и напоила сына, а когда начали ставить самовар для Александра Георгиевича, она позвала Сашу погулять с нею. Тот охотно согласился.

Она расспрашивала его о гимназии, об учителях, о товарищах, о той немецкой семье, где Александр Георгиевич поместил его. Саша рассказывал много и бойко. Видно, что гимназическая среда увлекала его больше всего. Он еще находился под впечатлением экзаменов и откровенно рассказывал матери все фокусы, к каким он с товарищами прибегал для того, чтобы «надувать» учителей.

— Разве это хорошо, Сашечка?

Он быстро соглашался, что нехорошо, но сваливал вину на самих учителей, которые заставляли выучивать «ужасно» много. Он постоянно употреблял это наречие, говорил — «ужасно красиво», «ужасно весело».

Ему приятно было идти с матерью и чувствовать себя большим. А Анна Тимофеевна гордилась тем, что прекрасно понимает его и что науки, о которых он говорит, не совсем пустые звуки для нее.

Нет-нет и вспомнит она, что на хуторе «та дрянь», может быть, вьется теперь змеей около Александра Георгиевича, но это ее не раздражает. Вот это спокойное ощуще-

ние гордости, которое она испытывает теперь, дороже всего. Его нельзя продать ни за какую плату.

Они присели на небольшом холме. Речка здесь делала широкий плес. По ту сторону был обрыв и около него маленький островок. Над ним носилась и беспокойно кричала чайка. Ее крик, напоминавший детский плач, трогал Анну Тимофеевну.

— Чего это она так волнуется, Саша?

— А верно, около ее гнезда какая-нибудь опасность,— авторитетно объяснил он.— Может быть, змея. Вот посмотрите, сейчас слетятся другие чайки на помощь этой.

Действительно, через несколько минут послышался другой такой же крик, потом третий... Все они начали кружиться над островком, то вдруг спускаясь, точно стараясь ударить кого-то крылом, то снова взлетая. Скоро они стихли. А на этом берегу в кустах терна перекликались маленькие птички.

Саша сказал, что это овсянки.

Тихое настроение природы еще более укрепляло спокойное состояние Анны Тимофеевны.

Ей надо было поговорить с Сашей, но она решила отложить эту страшную беседу до тех пор, пока сама не почувствует достаточно твердости. Она все еще боялась, что настоящее ее состояние — временное.

— Как здесь хорошо! Правда, Сашечка?

— Ужасно хорошо! Я часто прихожу сюда рыбу удить. Вон там! — Он протянул палец полевее.— Только рыбу надо удить попозже. Лучше всего ночью. И теперь еще нельзя, теперь много молодых рыбок. А вот в июле можно.

— Давай приходить сюда каждый день.

— Давайте. В прошлом году я тут с папой два раза удил рыбу.

Они возвратились на хутор к ужину. Саша опять спросил:

— Вы не будете с нами ужинать?

И опять покраснел.

Анна Тимофеевна отговорилась тем, что ей надо писать письма.

В этих письмах она хотела найти подкрепление своей твердости. Она писала до поздней ночи три письма: одно — старшей Ставроковской, другое — брату Самсону и третье — старшему ординатору той больницы, при которой она работала.

И Ставроковской, и брату Самсону она рассказала все,

что встретила у себя дома. Не скрыла ни одной подробности. За этими письмами она всплакнула. Самсону она не писала давно, поэтому ее письмо вышло очень длинным. Пришлось рассказывать еще об успешном окончании занятий. Сюда же она приложила и пролежавшее у нее два года письмо к его патрону, князю.

У Ставроковской и у профессора она просила поискать для нее место, но, если возможно, на юге, недалеко от сына, с которым она хотела видеться как можно чаще. Брать его с собой она не могла. Положим, что Александр Георгиевич пообещает платить за него в гимназию и той семье, где он живет. Но у нее очень мало веры в его обещания. Пройдет год-другой — и он, чего доброго, прекратит всякую материальную поддержку. Подвергать таким опасностям мальчика ради личного самолюбия она не желала. Она поняла, что такое образование, как оно должно возвышать человека, и мечтала, чтоб из Саши вышел не такой полуграмотный, как она сама.

Самсону она писала: «Вот если бы мне поселиться где-нибудь возле тебя! И от Саши было бы недалеко».

Она легла спать поздно. Письма на время ободрили ее. Но привычка взяла верх. Не успела она улечься, как вся ее будущая трудовая жизнь забылась, а воображением опять овладела мечта жить тут, на хуторе, где она провела столько лет, пережила столько и счастья и горя, бок о бок с человеком, к которому так привязалась. Сил нет побороть эту мечту! Неужели же и в будущем ей предстоят такие ночи? Неужели никогда не забыть ей этого дома? Она «сохранит свою личность от оскорблений»,— вспомнилось ей выражение одной из Ставроковских,— она останется гордою. Но отчего же это чувство гордости не может победить привязанности, привычки? Куда девалось это бодрое настроение, когда она всего полчаса назад писала письма? Ну, вот войди сейчас Александр Георгиевич и скажи: «Помиримся, Анюта! Я по-прежнему твой. Брось планы, которым ты посвятила три года. Живи здесь по-прежнему!» И она не возразит ни одним словом, молча поцелует его руку, порвет те три письма, что лежат на столе, и сочтет себя счастливою!

Это гадко. Она готова сознаться, что это унизительно, но в такие часы она не в силах бороться с чем-то, глубоко засевшим в ее душе.

И все это «сказки». Он не войдет и не предложит ей прежней жизни,— даже прежней холопской жизни. Он

преспокойно спит, быть может, утомленный от грубых ласк Настасьи, на какие Анна Тимофеевна уже не способна! И ей придется навек проститься с мечтой, взлелеянной в продолжение длинных зимних ночей Петербурга! Да она и сейчас уже прощается с нею. Она не замечает, что крупные капли слез катятся по ее щекам и смачивают подушку.

Прошло часа два после того, как она легла. Кругом тихо. Не слышно даже лая собак. Иногда ей чудится в тишине чей-то вздох,— может быть, ее собственный показался ей чужим. А сна все нет. Несколько минут назад она присела на постели. Ей вдруг показалось, что если она сейчас пройдет к нему в спальню, упадет перед его кроватью на колени, начнет целовать его руки, то он прижмет ее к себе, и все пойдет «по-старому». Лицо у нее горело. Эта мысль казалась ей осуществимой. Но что-то удерживало ее,— страх ли пережить новые унижения или боязнь разбудить других...

Из птичьего загона раздался крик петуха. Ему ответил другой... Спустя некоторое время Анна Тимофеевна услыхала, как заскрипела дверь кухни. Очевидно, Марья уже поднялась. Прошло еще с час, начали раздаваться звуки деревенского утра... И в доме послышались шаги, хлопнула выходная дверь...

Анна Тимофеевна встала, так и не заснувши ни на минуту. Но, вставши, она не знала, что ей делать, за что приняться. У нее не оказывалось никакой работы в этом доме. Стало быть, пока она не уедет отсюда, ей придется есть чужие хлеба совершенно даром. Эта мысль задела ее самолюбие. Она распечатала письмо к Ставроковской и прибавила: «Только, ради создателя, поскорее. Мучение сознавать, что живешь дармоедкой!»

Но это было лишнее. Часов в шесть она увидела, что во дворе запряжена бричка.

— Для кого это? — спросила она Володину няньку.

Та объяснила ей, что уезжает Настасья.

Анна Тимофеевна вспыхнула,— так сильно забилось у нее сердце от этого известия. Неужели же Александр Георгиевич одумался? Неужели вчера с его стороны была только капризная вспышка?

Но десятилетняя нянька разочаровала ее. Она объяснила, что Настасья уезжает только до тех пор, пока останется в доме Анна Тимофеевна, а что потом она сейчас же вернется.

Анна Тимофеевна выждала, пока Настасья уехала, и пошла в кабинет.

Александр Георгиевич в халате сидел за письменным столом и вычислял какие-то цифры на клочке бумаги.

— А, это ты! — сказал он.— Ну! Я сделал все, что можно требовать от порядочного человека. Садись, пожалуйста.

Он указал ей на стул около письменного стола. Анна Тимофеевна не сразу села. Он отбросил карандаш, придвинул к себе ящик с табаком и закрутил папиросу.

— Да, все, что только можно требовать от порядочного человека. Во-первых, как ты решила: оставляешь Сашу или нет? Я тебе советую не упорствовать и не разыгрывать из себя угнетенную мать, у которой отнимают сына. Надеюсь, что ему будет со мной лучше, чем у тебя.

— Пускай останется,— заставила себя выговорить Анна Тимофеевна. При этом она поправила воротничок, как бы показывая, что голос ее дрогнул не от волнения, а от каких-то внешних причин.

Но звук был, вероятно, очень тяжелый. Александр Георгиевич бросил на нее взгляд и прибавил гораздо мягче:

— Ты пойми, что я не отнимаю его у тебя. Ты можешь видеться с ним. Летом можешь приезжать погостить, или он к тебе приедет. Я же не деспот, не изувер, каким ты, конечно, описала меня вчера своим друзьям.

Ага! Вот откуда ветер дует. Он боится дурной молвы.

— Я, Александр Георгиевич, не считаю вас за изувера. Как я думала о вас семнадцать лет кряду, так и...

Она не кончила. Ей очень трудно было говорить. Она даже начала сбиваться на малороссийский жаргон.

— Да надеюсь. Что ж! Я не могу. Не могу я. Что хочешь, а не могу! Тебе дорога твоя самостоятельность, а мне моя свобода.

«Кто же собирается отнять у вас свободу?» — хотела она спросить, но слова решительно отказывались слетать у нее с языка.

— И вот... Да! Итак, Саша остается со мной. Я займусь им. Для Володи я откладываю три тысячи рублей. Три тысячи рублей,— повторил он, подумав, что она не расслышала и оттого не благодарит его.— Да. Эти три тысячи рублей останутся неприкосновенны до его совершеннолетия, а пока мать имеет право пользоваться процентами для воспитания сына. Когда же ему минет двадцать один год, он получит все...

— Не надо,— сказала Анна Тимофеевна.

— Нет, отчего же! Все-таки ребенок требует расходов,— няньки там...

Она мотнула головой, как бы говоря, что об этом вздоре не стоит спорить.

— Это все-таки полтораста рублей в год,— ответил он на ее жест.— Ну, вот. А затем, чтобы ты могла спокойно прожить здесь до своего отъезда, я удалил...— ему очень трудно было назвать Настасью,— словом, я желаю, чтобы все обошлось мирно.

Он кончил и, казалось, устал. Давно ему не приходилось так долго вести деловой разговор. Впрочем, он, по-видимому, был совершенно доволен собой, так как начал раздваивать свою бороду, что делал, только когда мысленно гладил себя по головке.

Анна Тимофеевна имела достаточно времени, чтобы победить в себе робость. Она уже несколько минут проклинала себя за это чувство. «И что за подлость, что за холопская душа! — думала она про самое себя.— Пока одна, все еще и бодра и самолюбива, а стоит заговорить с ним, как всю забирает какое-то противное чувство». Она не могла себе простить и того, что вчера чуть не с мольбой и со слезами смотрела на Александра Георгиевича и, кажется, даже называла его «голубчиком» и «миленьким» в то время, когда он объявлял ей «отставку».

Робость была подавлена, а ее место заняло гордое сознание того, что без куска хлеба она не останется и не даст больше унизить себя.

Это была последняя минута борьбы самолюбия с привычкой, «личности» — как определяла она чувство достоинства — с семнадцатилетней привязанностью к человеку. Она сознательно относилась к этой борьбе и придавала ей огромное значение. Ни первый поцелуй, который она отдала этому человеку, ни даже рождение ребенка не возбуждали в ней такого серьезного настроения, как это прощание с привычкой.

Она встала.

— Что ж! — громко и твердо произнесла она. Звук ее голоса почему-то испугал Александра Георгиевича. Он бросил свою бороду и так двинулся вперед на кресле, как это делают любезные хозяева, когда гость внезапно поднялся, но еще не сказал «до свиданья».

— Что ж! И за то спасибо. Саше я поговорю. Пусть останётся. Когда захочу повидать его, найду случай. Может

быть, и сюда заеду. Для сына не постесняюсь и ничего не испугаюсь. Даже в этом доме.

Александр Георгиевич переменил позу, сделал гримасу и почесал за ухом. Кажется, он сдержался, чтоб не сказать «опять литература пошла!». По-видимому, он называл этим словом невыносимые звуки бодрости и энергии. Апатичный собеседник был любезнее его рано устаревшей душе.

А Анна Тимофеевна, точно назло, еще прошлась по кабинету. Она заметила свои ошибки: и «Саше поговорю», и «останётся». Но то, что она переживала в эту минуту, было в ее глазах так высоко, что не хотелось следить за своим жаргоном.

— Спасибо и за то, что удалили Настасью. Может, месяца два пройдет, пока меня назначат куда-нибудь. Я уже написала просьбу. Еще обращусь в нашу губернскую управу. А как получу место, тут же и уеду.

— Можешь не торопиться,— заставил он себя сказать.

— Спасибо,— ответила она, уже уходя.

Александр Георгиевич свободнее повел плечами.

VIII

Потянулись длинные, однообразные дни. Александр Георгиевич почти совсем переселился в усадьбу и только наездами бывал на хуторе.

Была сильная гроза с ливнем. После того дождь проходил полосами еще дней пять. Температура на короткое время спала, но с конца июня она снова поднялась до 25—27° R в тени. Начали косить. Александр Георгиевич приезжал на хутор, куда собрались и крестьяне из соседних деревень. Сена кругом было очень мало, да и у него по низам было незавидное. Сдал он дешево, исполу. Половину скошенного сена крестьяне должны были привезти на хутор, а другую потом уже брать себе.

Между двадцатью — тридцатью хозяевами из деревни Анны Тимофеевны был и брат ее Василий. Во время переговоров он стоял в толпе и молчал. Сестра заметила его из окна. Хотела было выйти и позвать его к себе, но подумала, что он не пойдет, была уверена в этом. Василий шибко состарился и опустился. Хозяином он считался плохим, часто запивал. Только энергия жены спасала его от разорения.

Сено косили не торопясь, чтобы дать возможность прокормиться во время сенокоса лошадям. Александр Георгиевич знал эту «воровскую повадку», но не обращал внимания.

Скоро около хутора выросло три больших красивых стога. Свозили сено весело, и Саша все время вертелся между мужиками. Он знал своего дядю, жалел его, но не показывал своего чувства из юношеской конфузливости. Да и Василий избегал говорить с ним.

Анна Тимофеевна хлопотала по хозяйству и готовилась к отъезду — «обшивалась».

Косовица окончилась. Приказчик хлопотал о найме рабочих для уборки хлеба. Анна Тимофеевна ездила с Сашей за покупкой ягод. В усадьбе тетки было много крыжовника и смородины, но вишен не было. Ездили за вишнями верст за двадцать. Потом варилось варенье. Саша часто забирался в кабинет отца и проводил целые утра в чтении.

Уже в половине июля Анна Тимофеевна получила письмо от брата Самсона. Он писал немного, но энергично. Он извещал ее, что, как только получил ее письмо, сейчас же собрался в уездный город и обратился к секретарю управы, с которым «приятель». Тот указал ему на свободное земское место акушерки в большом селе в верстах тридцати от имения князя. Жалованья триста шестьдесят рублей в год, квартира, отопление и освещение.

«Коли тебе не претит поселиться в деревне, отвечай поскорее, что согласна».

Анна Тимофеевна не колебалась ни минуты, но ей хотелось как бы посоветоваться с Александром Георгиевичем. «Так будет приличнее»,— думала она.

Дня через два он приехал на хутор.

— Вот, Александр Георгиевич, получила я предложение. Брат Самсон устроил мне место.

Она показала ему письмо.

— Как вы думаете, соглашаться мне?

Александр Георгиевич не столько читал письмо, сколько соображал, зачем она спрашивает его совета.

— Как хочешь,— ответил он, возвращая ей письмо Самсона.— Скучно тебе будет, а жалованье хорошее.

— Это ничего, что скучно. В Петербурге, может, и веселее, да от детей дальше. Туда, если и позовут меня, я не поеду. Хотелось бы мне, конечно, в городе, где Саша учится, при больнице устроиться при земской, да протекцию нужно. Вы мне не можете помочь?

— Отчего же? Если хочешь, я напишу председателю управы.

— Ах, как бы я вам была благодарна. Давно я думала об этом, да все не решалась просить вас.

— Напрасно. Напишу сейчас же.

— Спасибо вам.

Она тотчас же вышла из комнаты, чтоб он не подумал, что она только придирается к случаю, а в сущности ищет поговорить о сердечных делах.

Это понравилось Александру Георгиевичу. Он действительно сел за письмо.

Через минуту Анна Тимофеевна вернулась.

— Извините, Александр Георгиевич, одну минутку. Напишите, пожалуйста, так, что если теперь там и нет вакансии, так чтоб меня имели в виду. Да покрепче попросите.

— Хорошо.

— А я сейчас же напишу брату Самсону, чтобы он поберег для меня местечко... Ну, хоть с месяц.

— Да, да. А то можно и здесь не получить и там потерять.

— Конечно. Разве это можно! — горячо сказала она.

В этот же вечер произошло и объяснение Анны Тимофеевны с сыном. Она пошла с ним гулять на их любимое местечко «около чаек и овсянок». Она готовилась к объяснению и волновалась. Саша, конечно, слышал толки о том, что мать собирается уезжать, но не вдумывался в это. Ему казалось, что летом они будут вместе, а зимой он и сам все равно живет в городе.

Анна Тимофеевна долго не решалась начать и говорила с сыном о мелочах, пока они не присели на том бугорке, против которого был обрыв и островок с чайками.

Саша растянулся на земле и смотрел в небо. Мать легла на бок, опершись на руку, в сторону сына.

— Саша! — начала она после молчания.

— Что, мама?

— Ты знаешь, что я от вас уеду?

— А куда?

— Еще сама не знаю. Вот твой дядя Самсон Тимофеевич предлагает мне место в одном селе. Хорошее.

— Акушерки?

— Да.

Он как бы вдруг что-то понял и быстро повернулся к ней.

— Это как же? Вы там всегда будете жить?

— Да, всегда, милый. Ты будешь приезжать ко мне?

— И зиму, и лето? — оставил он ее вопрос без внимания.

— И зиму, и лето. Ведь это казенная служба.

Ему «ужасно хотелось» спросить: а как же папа будет без вас? Но он только покраснел.

— Так ты будешь приезжать ко мне?

Саша был для своих лет тучный мальчик и в минуты волнения всегда чуть-чуть сопел. И теперь он, вырывая из земли корешки скошенных трав, тяжело дышал. На мать он не смотрел. Она тоже боялась взглянуть на него. Она отлично понимала сущность тех вопросов, которые его волнуют.

— Ты смотри не зазнайся,— обратилась она к шутливому тону,— не зазнайся перед матерью. А то бывают такие дети. Кончат образование — и пренебрегают родителями. Это боже сохрани! Ты всегда помни, Сашечка, что если твоя мать и полуграмотная, зато она тебя любит крепко. И всю жизнь будет любить. Все-таки я хоть и простая, а вот научилась кое-чему. Могу сама на себя заработать. Ты и это не должен забывать. Я бы и не стала говорить с тобой, но ты уже большой — все должен понимать.

Она вдруг подумала: зачем она взяла на себя это объяснение? Скорее отец должен был бы научить сына уважать свою мать. Но вспомнила апатичный вид Александра Георгиевича и решила, что и в этом случае ей самой надо защищать себя.

А Саша все молчал. Он расплакался бы, так и тянуло его к слезам, но мать недаром ввернула словечко, что он уже большой.

Анна Тимофеевна заговорила тверже, как бы идя навстречу всем опасностям.

— Ты, Саша, не берись судить ни отца, ни матери. Это грех. Тебя не для того учат, чтобы ты научился судить, а для того, чтобы ты понимал. Твоя мать была совсем-совсем простая. И вот я благодарна твоему отцу за то, что он помог мне сделаться такою, какая я теперь. И из тебя он сделает человека.

— Меня папа сердит,— сказал он, вдруг сбиваясь на низкий баритон.— Я знаю, что вы уезжаете из-за него.

— Глупости, Саша. Я уезжаю, потому что сама хочу работать.

Она чувствовала, что лжет, но заставила себя лгать еще более убедительным тоном.

— Мне здесь нечего делать. Я не для того училась. Варенье варить? Обед заказывать? Это все и другая сделает, без меня.

— А очень весело быть акушеркой! — Он сделал пренебрежительную гримасу.— Охота вам!

— А может, ты и сам пойдешь в доктора?

— Очень нужно! Я техником буду.

— Кто знает! Еще сто раз передумаешь. Ну! А пока ты станешь техником, не разлюбишь мать? — Она придвинулась к нему и свободной рукой повела по его волосам.

— Я летом сюда не приеду! — произнес он дрогнувшим голосом.— Я к вам поеду.

— И ко мне приедешь, и здесь погостишь.

— Не хочу я здесь оставаться.

Он мог с минуты на минуту расплакаться, и это было бы ей по душе. Обнять его, прижать к себе и вместе поплакать — это облегчило бы ее. Но она овладела собой, отодвинулась и попрекнула себя за то, что сделала жест, тронувший сердце сына. «Не надо,— подумала она,— к чему?»

— Пустяки, Саша. Дай-ка мне руку. Пойдем гулять.

Он неохотно поднялся и ей помог встать, зато слезливое настроение отлетело.

Они пошли молча.

Анна Тимофеевна была глубоко задумчива.

Итак, ей предстоит еще борьба! Еще что-то надо сдерживать в себе, и это что-то — чувство материнской любви. Для того чтобы сын рос здоровым, надо избегать нежностей. Она не имеет права горячо ласкать его, потому что за малейшей лаской встанет все тот же тяжелый вопрос. Может ли разбираться в нем этот юнец, у которого голос еще двоится, детские звуки еще борются с грудными? Когда он обратится в зрелого человека, пусть решает этот вопрос, как ему подскажет чутье. А до тех пор серьезно беседовать с ним — только бередить какие-то душевные раны без смысла и без пользы. Стало быть, чем реже проявлять перед ним материнскую нежность, тем спокойнее будет он расти, тем здоровее будет его воображение.

Анна Тимофеевна готовилась к сильному, трогательному объяснению с сыном, ревность матери искала доказательств сыновней нежности,— и вдруг пришла к выво-

ду, что лучше всего совершенно избегать таких разговоров с сыном, которые бы напоминали ему об отношениях отца и матери.

Как всегда в таких случаях, она вспомнила своих петербургских друзей Ставроковских. Те, наверное, не одобрили бы ее вывода.

«Как? — вскрикнула бы младшая, а за ней и старшая.— Как? Не открыть своего материнского сердца шестнадцатилетнему сыну? Избегать прямых и откровенных объяснений? Скрывать от него правду? Но это малодушие! Надо так воспитывать сына, чтоб он никогда не покраснел за свое двусмысленное положение».

Быть может, Ставроковские не одобрили бы и того, что она оставляет сына при отце?

И в первый раз Анна Тимофеевна почувствовала, что не согласилась бы с ними, именно теперь, после неловкой, неудавшейся попытки объясниться с сыном. Она пришла к глубокому убеждению, что никогда он не перестанет краснеть за свое двусмысленное положение. В лучшем случае он будет реже вспоминать об этом, если из него выйдет здоровый, сильный парень, горячо преданный своему делу. Вот все, о чем должна заботиться она и его отец. А наполнять его юный мозг смутными и тревожными вопросами она не будет. Плакать с ним, показывать ему драму его рождения, может быть, и приятно для мягкого материнского сердца, но глупо и недостойно. Напротив, пусть он видит ее всегда бодрою, всегда при деле. Так он скорее научится уважать ее.

Еще немного усилий — и она победит себя окончательно. Когда будет уезжать, не позволит себе лишних слез. Со всеми простится горячо, но весело. Может быть, даже поедет поклониться на прощанье и тетке Александра Георгиевича. Никто не должен вспоминать ее лихом.

А если когда-нибудь и взгрустнется ей по прошлому, так найдет время выплакаться в длинные зимние ночи. Много их еще будет и там, в незнакомом селе, в той хате, которую отведет ей земство.



В. И. Бибиков



НА ЛОДКЕ

Эпизод из романа «Наш кружок»

И. И. Ясинскому

Все уже были одеты и собирались уходить, когда Хвостов-Трясилин объявил, что на лодке он ни за что не поедет.

— Это почему? — послышалось со всех сторон.

— Надо вам знать, что у меня астма и припадки этой болезни, еду ли я на железной дороге, пароходе или лодке, принимают острый вид панического ужаса...— На слове «острый» он сделал сильное ударение и заморгал глазами; все его бритое, большое лицо пришло в движение, он задержал дыхание и, пошевелив своими мягкими губами, издал звук, какой бывает, когда откупоривают бутылку с уже испарившимися газами.

— У меня перестает биться пульс,— продолжал он,— нет сердца, я начинаю рвать на себе одежду до рубашки включительно, мечусь, как разъяренный лев, по вагону, пароходу или вообще какой угодно дорожной тюрьме и выбрасываюсь из окошка. Согласитесь, что вид раздетого мужчины и приятная перспектива потонуть всем при моем прыжке из лодки не может особенно порадовать...

— Но разве вы не в состоянии себя сдержать; наконец, присутствие барышень... Неужели вы стали бы раздеваться при них? — заметил ему Степура.

— Э! так вы меня совсем не знаете! — с азартом воскликнул Хвостов-Трясилин.— Я и не такие штуки проделывал! Да вот я вам расскажу. Когда я воспитывался в Бразилии, то турецкий посланник, с которым я был бли-

зок, захотел устроить поездку в окрестности столицы всего за пятнадцать — двадцать верст. Я, как поэт, был душой общества, меня там очень любили, и я должен был принять участие в этой прогулке. В салон-вагоне уселись приглашенные. Все светские люди — дамы, кавалеры. В числе дам были принцессы крови с этакими чудными бриллиантами... Я несколько опоздал — меня задержал дома редактор одной большой политической газеты, где я писал передовые статьи по внутренним делам страны... Так что когда я вошел в вагон, меня встретили шумными восклицаниями радости, представили принцессам крови, и те сейчас же — ей-богу, даю вам слово — попросили меня читать стихи. Я начал читать свое самое радикальное стихотворение «Гимн сатане». Была тут одна французская принцесса, и она, понятно, пришла в восторг, так как по-французски я читаю — по крайней мере многие находят — лучше Коклена [1]. Не успел я кончить заключительного куплета, где до неприличия ясно, что поэт в сатане изобразил современного радикала, как раздался свисток, и поезд тронулся. Я почувствовал колыхание пола, у меня оборвалось дыхание, сердце и пульс перестали биться, я страшно побледнел, волосы встали дыбом, по лицу покатился в три ручья холодный пот, и я был убежден, что умираю. Сначала все думали, что меня расстроило мое страстное чтение, но скоро я их разубедил. Быстрым движением руки я разорвал жилет — в припадке я не расстегиваюсь, а рву; и с жилетом сорвал сюртук, чудный сюртук! Как теперь помню, я сшил его у тамошнего лучшего портного, одного негра, и заплатил сто восемьдесят золотых монет. Сбросив все это, я уже судорожно рвал рубаху и подбежал к окну вагона с понятной целью — выскочить. Но чья-то могучая рука схватила меня за воротник рубахи, я невольно повернул голову — на меня смотрели серо-стальные глаза маленького широкоплечего человека в черной одежде.

— Стыдитесь,— сказал он,— что подумают здесь о России?

Я сразу узнал в нем доктора — он был русский,— и эти глаза покорили меня.

Надо вам знать, что во время припадка на меня может подействовать только доктор. Меня, при всеобщем переполохе, увели в отдельное купе, где кое-как одели и успокоили. Но все-таки доктор до цели поездки держал меня за руки и магнетизировал своими взглядами. На пикни-

ке я вел себя безукоризненно, но назад все-таки нашли нужным отвезти меня в извозчичьей коляске, причем со мной, чтобы не было скучно, сел турецкий посланник. Так вот на что я способен иногда в дороге и вот почему я не хотел ехать сегодня — я отравлю вам все удовольствие.

Молодые люди долго хохотали. Хвостов-Трясилин сам хохотал, но уверял, что все это правда, святая правда.

Зинаида Петровна, на лице которой выступил румянец стыда за эту ложь,— промолвила с натянутой улыбкой:

— Но вы все-таки поедете и будете стараться вести себя прилично, хотя бы для того, чтобы сдержать данное мне слово!

— Конечно, конечно, я повинуюсь и поеду, но ручаться не могу, и мое слово было дано в порыве увлечения, так как, собственно говоря, никаких слов давать не имею права, потому что я настоящая коробка с сюрпризами!

Зинаида Петровна посмотрела на Плавутина и встретилась с его внимательным взглядом; она покраснела еще больше и в порыве досады прикусила губу.

— Идем, Эраст Васильевич; вы своими рассказами только задерживаете нас.

Она взяла его под руку, и все двинулись.

Была прекрасная лунная ночь, и когда молодые люди спустились к лодочной пристани, где колыхались на воде привязанные железными цепями лодки самых разнообразных величин, то долго любовались чарующим видом недвижно спящей серебряной реки.

Выбрали очень большую лодку, в которой, кроме поперечных сидений, были две скамейки вдоль бортов; хозяин лодок заметил, который час, и все стали усаживаться.

Рассадка продолжалась минут десять: было много смеха, споров из-за того, кому с кем сидеть рядом, с кем vis-à-vis, но наконец кое-как уладили.

На весла села Шурочка, на руль Влас Полушубкин; раздался возглас Степуры:

— Табань! — и лодка, оттолкнутая от берега, шумно тронулась. Шурочка подалась грудью вперед, взмахнула веслами, причем обдала брызгами воды сидевших против нее Хвостова-Трясилина и Зинаиду Петровну, и промолвила с видом знатока-гребца:

— А весла нельзя сказать, чтобы удобные! — Но гребла она хорошо, и лодка, несмотря на свою громадную тяжесть, легко двигалась.

Все общество, сначала присмиревшее при отчаливании лодки и при ее первых движениях по воде, теперь оживилось: уже барышни переглянулись какими-то особенными взглядами и засмеялись; причина их смеха никому из мужчин не была известна, но они тем не менее не преминули ответить сочувственными улыбками и легким ржанием. Уже Пьер обратил внимание на чудный вид окрестностей города, исчезавших в лунном тумане: кое-где виднелись газовые фонари, тянувшиеся и пересекавшиеся длинными огненными цепями.

Степура предложил петь. Хвостов-Трясилин не особенно дружелюбно посмотрел на него, потому что в это время он собирался прочесть свое стихотворение, но, как вежливый человек, поддержал предложение Степуры и даже указал на какую-то малороссийскую «в зажигательно народном» духе песню, которой, как оказалось, никто не знал.

Все стали просить Зинаиду Петровну спеть что-нибудь, но она решительно отказалась, говоря, что петь будет только в хоре.

Степура затянул обыкновенную малороссийскую песню, и все стали подтягивать. Пение сделалось общим, но умеющих петь было только двое — Степура, обладавший крошечным и симпатичным тенором, и Зинаида Петровна, сильный голос которой заглушал все остальные. Но малороссийская заунывная песня кончилась, в заключение прозвенело несколько свободно взятых Зинаидой Петровной звуков; Степура хотел вытянуть особенно высокую ноту — его воодушевило пение Зинаиды Петровны — и вытянул, но протянуть не хватило силы, он закашлялся, оборвался и рассмеялся.

Песня окончилась. Пели еще, и пели много. Но потом все замолчали. Молчание продолжалось недолго. Хвостов-Трясилин яростно читал свое стихотворение. Он читал его, обращаясь к Зинаиде Петровне и к соседке Ольге Звягиной, но скоро внимание сделалось общим, стихотворение было граждански-радикальное, и Хвостов-Трясилин сильно напирал на громкие слова. В особенности внимательно слушал Влас. Чтение еще не кончилось, как вдруг лодка шарахнулась в песок, дрогнула и остановилась, и вода чуть плескалась около бортов, круги пошли по ней.

— Так и есть, попали на мель! — закричало несколько голосов.

— А виноват Влас. Хорош рулевой, нечего сказать. Что же мы будем делать?

Действительно, положение было хотя и не ужасное, но почти безвыходное: лодка остановилась у входа в широкий залив реки и нигде не виднелось другой лодки, которая могла бы забрать хоть часть компании, так как оттолкнуться при чуть ли не сорокапудовом балласте не представлялось возможности, и скоро были оставлены все попытки.

Хвостов-Трясилин заметался на своем месте, он покушался, в самом деле, раздеться, при дружном хохоте окружающих, и уже бросил в воду шляпу и расстегнул пиджак, но Зинаида Петровна что-то шепнула ему на ухо, и он успокоился.

Степура и Влас сбросили обувь и вошли в воду; после некоторых усилий им удалось поворотить лодку и отвести ее от мели. Спокойствие было восстановлено, лодка тронулась, и барышни бойко и весело смеялись над струсившим Хвостовым-Трясилиным.

Скоро проехали залив и остановились у берега, где привязали лодку и сдали ее на хранение деревенским мальчикам, наперерыв предлагавшим свои услуги.

По деревянным скрипучим мосткам все общество направилось к «Веселому раздолью» — двухэтажному трактиру с висячим балконом, куда обыкновенно заезжала N-ская молодежь после катаний по реке закусывать и пить чай.

Вошли в общую залу первого этажа, где стоял покосившийся биллиард, походивший на продолговатый ломберный стол, так он был мал, и где у противоположной стены красовался длинный деревянный буфет с незатейливыми закусками — раками на двух больших блюдах, холодными цыплятами и рыбой.

В почетном углу стойки блестели на возвышении графины с водкой и бутылка, на потертом этикете которой можно было разглядеть «Коньяк очень старый» большими золотыми буквами. В противоположном углу буфета сидел старик охотник в постолах и зеленой куртке, окруженный четырьмя собаками; они лежали у его ног, повернув свои умные морды к хозяину, который бросал им кости уже съеденного поросенка. Буфетчик предложил подняться во второй этаж, и все, кроме Власа, оставшегося в буфете, отправились по узкой витой лестнице, спотыкаясь и задерживаясь за идущих позади.

В ожидании чая вышли на балкон.

Синее небо, усеянное серебряными звездами, сливалось на далеком горизонте с черной водой. Слышен был плеск воды и звон цепи: мальчуганы до сих пор еще возились с лодкой.

На балконе пробыли недолго. Шурочка вспомнила, что в садике трактира имеются качели, и все общество спустилось опять вниз.

Влас, выпивший уже несколько рюмок водки, дружелюбно беседовал с буфетчиком; он таинственно подмигнул проходившему Хвостову-Трясилину, указывая на буфет, но поэт сделал вид, что не замечает его приглашения,— он шел рядом с Зинаидой Петровной.

У Плавутина скоро закружилась голова от качелей, он уступил свое место Пьеру Полушубкину и пошел бродить вдоль берега. Вдруг его окликнули.

Он узнал голос Зинаиды Петровны. Она приглашала его стрелять в воду из револьвера. Около нее стоял Хвостов-Трясилин. Они выстрелили три раза, производя страшный треск, потому что выстрел глухими раскатами проносился по сонной воде, и его эхо умирало в кустах противоположного берега. Зинаида Петровна перестала стрелять, спохватившись, что на том берегу могут быть люди и пули долетят туда.

Она пригласила своих спутников взобраться в беседку на высоких столбах и оттуда полюбоваться, наверно, чудесным видом.

По дороге к беседке Плавутин просил Зинаиду Петровну спеть, если она не боится сырости; она отказалась, и Плавутин не настаивал. Но когда она взбиралась по вертикальной почти лестнице в беседку, Хвостов-Трясилин прошептал Плавутину на ухо:

— Вот она не хочет петь. Когда же я попрошу и посмотрю на нее известным образом, то отказа, поверь, не будет!

Они вошли в беседку.

Луна поднялась над лесом, осветила верхушки деревьев и бросила столб света в реку. И вода искрилась и переливалась. Зинаида Петровна устремила свои большие, скорбные глаза в бесконечную даль, где, среди черной массы города, мелькали чуть заметные огни, и грудь ее порывисто и тяжело дышала. Хвостов-Трясилин посмотрел на нее, потом на Плавутина тем взглядом, каким смотрит фокусник перед одним из самых интерес-

ных номеров своей программы, и произнес уверенным тоном:

— Вот при этакой обстановке не мешало бы вам спеть!

Зинаида Петровна повернула к нему свою бледную русую головку и взглянула на него с тревожной печалью. Хвостов-Трясилин повторил предложение и, удвоив выразительность голоса, вперил в нее черные стеклянные глаза.

— Что же вам спеть? — спросила она упавшим голосом.

— Ну, хоть из «Гальки» [2],— небрежно буркнул он.

— Хорошо!

Как бы я теперь желала
Там припасть к кресту с мольбою...

Она пела, и Хвостов-Трясилин, сначала с торжеством глядевший на Плавутина, мало-помалу стал скучать и отвернулся. Зинаида Петровна не пела, а плакала, но плакала музыкально, глаза ее были сухие, она побледнела еще больше; она не могла сидеть, встала, подошла к перилам, закинула назад свою голову, ее обступили и охватили звуки, и она пела уже для себя.

Она распелась и без всяких просьб и выразительных взглядов начала другую песню, потом третью... Плавутин случайно посмотрел вниз — там стояли слушатели, и, когда пение окончилось и Зинаида Петровна, вся смущенная и взволнованная от набежавшего чувства, бросилась в темный угол беседки и опустилась на скамью, закрыв лицо длинными тонкими пальцами, внизу раздались рукоплескания и послышался голос Степуры, приглашавший к чаю. В беседку вбежали сестры Звягины, и Ольга со словами: «Что с тобой, Зина?» — схватила за талью Зинаиду Петровну и быстро сбежала с нею по лестнице из беседки.

На балконе был накрыт стол, шумел большой самовар, стояли на тарелках уже тронутые закуски. Влас объявил с недовольным видом, что самовар подогревается третий раз. Минут через десять подошли Звягина и Перская. Звягиной, очевидно, удалось успокоить Зинаиду Петровну: она выпила стакан чаю и не отказалась от бриоши.

Хвостов-Трясилин читал свои стихотворения. Два были прослушаны с вниманием, но потом начались разговоры à part *, разговоры общие, и Трясилин прекратил свое чте-

* отдельные *(фр.)*.

ние. Но он быстро овладел разговором, так как не мог не быть центром внимания. Он рассказывал о Бразилии, о своих успехах при тамошнем дворе; по его словам, он был лектором императрицы и личным секретарем императора. Он наверно сделал бы блестящую карьеру, но первый министр повел против него дворцовую интригу, возбудил общественное мнение, и Хвостов-Трясилин поневоле оставил страну, которую любит больше России.

Заметив, что рассказы о Бразилии возбуждают недоверчивые улыбки, он заговорил о литературе, о своих дебютах, о знакомых писателях. Когда посыпались всем известные имена, внимание слушателей выросло, Хвостову-Трясилину предлагали наперерыв вопросы; он едва успевал их удовлетворять. Быстро он набрасывал характеристики, описывал наружность того или другого писателя, его привычки, странности, способ творчества [3].

Так, по его словам, Немирович-Данченко [4] может писать только в Пизе, где прекрасный воздух и дешева жизнь. Он уезжает туда на весну и лето каждый год.

Максим Белинский, высокий библейский старик с длинной белой бородой, устроил у себя в доме, небольшом мраморном дворце, наполненном статуями, редкостными художественными вещами и старинными картинами, келью, где и работает, не выходя из нее по целым неделям. Стены кельи обиты черным сукном, посредине стоит небольшой стол, вроде жертвенника, покрытый алым бархатом, на столе лежат череп и раскрытая Библия.

Всеволод Гаршин, у которого в последней турецкой войне бомбой оторвало правую руку, за что в свое время он получил золотой Георгиевский крест с бантом, не может писать, но он вынашивает по годам свои маленькие рассказы и, выучив пьесу наизусть, диктует ее стенографу в один присест.

Все писатели дружны с Хвостовым-Трясилиным, он любимый поэт литературных кружков, его называют преемником Некрасова, стихотворения его переведены на все иностранные языки. Литературная семья тесно сплочена, каждый день литераторы посещают друг друга, вместе устраивают пикники, поездки за город, литературные обеды.

Ольга Звягина спросила, катаются ли там на лодке.

— Еще как катаются! — вскричал Хвостов-Трясилин.— В особенности теперь, когда в Петербурге белые ночи.

— Я слышал,— возразил Пьер Полушубкин,— что белые ночи бывают только в мае и в начале июня?

— Пустое! Белые ночи бывают два раза в год: весной, как ты совершенно верно заметил, и осенью в августе и сентябре. Я помню, как однажды, в такой же вечер, два года тому назад, я катался по Неве в одну из чудных белых ночей в большой компании. Тогда меня все хотели залучить в «Отечественные записки» [5], и со мной хороводились народники и другие сотрудники этого журнала. Как теперь помню все общество: на руле сидел Глеб Успенский в красной кумачовой рубахе и плисовых шароварах, на веслах Каронин, Михайловский и Златовратский [6], замечательно выносливые гребцы! Из дам Ольга Шапир и Цебрикова [7]. Ну, конечно, много молодежи: студенты, курсистки, обычный штат наших поклонников. Помню, Цебрикова — у нее дивный, могучий контральто, к сожалению, необработанный — много пела и привела всех в неописанный восторг. Покатавшись вдоволь по реке, высадились на берег, разложили, как это и здесь делается, костер, прыгали через него, в особенности ловко прыгал Михайловский! И как он не обжегся, до сих пор понять не могу, потому что огненные языки были выше двух сажен, а Каронин сжег-таки одну полу своей поддевки.

Скрытая от посторонних взглядов самоваром, облокотившись на обе руки, слушала Зинаида Петровна рассказы Хвостова-Трясилина. Ее темные глаза были устремлены на рассказчика, иногда она переводила их на слушателей, следя за чужими впечатлениями, поверяя свои. Ольга Звягина боится проронить хоть одно слово из рассказов о любимых писателях, все ее красивое лицо одухотворено вниманием, и черные глаза горят нетерпеливо; почти так же внимательно слушают Полушубкины, и только Плавутин тщетно силится погасить насмешливую улыбку и кусает свои губы. Но что значит его улыбка? Этот молодой человек вообще, кажется, очень смешлив и, может быть, улыбается тем мыслям, которые приходят в его голову. И она опять следит за Хвостовым-Трясилиным. Правда ли все то, что он рассказывает, или, если ложь, не есть ли она плод его фантазии и, пожалуй, он сам себе верит в данную минуту; стихи его, так ли они хороши, какими кажутся в его страстном чтении, верит ли он в свое призвание?..

Из садика пришли Степура с Шурочкой, оба улыбающиеся, румяные, сверкая оживленными глазами, и Сте-

пура, в порыве увлечения, запел веселую плясовую песню.

Пели долго самые разнообразные песни, и общий хор покрывал дикий голос опьяневшего Власа. Потом надоело и пение.

Ольга Звягина предложила ехать назад, и все согласились. Было двенадцать часов ночи, когда лодка отчаливала, заботливо отталкиваемая мальчуганами, которые, получив по гривеннику, хотели показать, что их усердие стоит такой высокой платы.

На весла сели Степура и Пьер Полушубкин, так как теперь приходилось грести против течения; руль поручили Шурочке, порывался было сесть на руль Хвостов-Трясилин, который, по его словам, дивно рулевал в Ледовитом океане, когда служил в морской службе, но его не пустили, и он сел на прежнее место. Зинаида Петровна, опустив голову, молчала, молчали сестры Звягины, барышни, замолкли все, даже Хвостов-Трясилин. Торжественная тишина ночи охватила всех, и никому не хотелось начинать праздного разговора.

Так прошло минут пять; слышны были только плеск весел и тяжелое дыханье Пьера Полушубкина.

Поравнявшись с заливом Спасения, барышни предложили остановиться и выйти на берег, чтобы разложить костер.

Лодка подъехала к берегу, все высадились и, почувствовав землю, стали оживленнее. Начались поиски за хворостом, сухой травой; скоро была собрана груда горючего материала. Зажгли костер. Долго огонь не пробивался сквозь влажный хворост, но постоянные подбрасывания соломы сделали свое дело: огненные языки быстрей пошли по отверстиям костра и дым повалил гигантским веером. Костер разгорался. Влас молча прыгнул через него раза два. Разостлали пледы и пальто и лежали и полусидели. Мужчины задумчиво курили. Барышни вспоминали прогулки на лодке в недавнем прошлом. Но смеха не было. Беседа принимала грустный характер. Костер потухал. К лежавшим подошли Зинаида Петровна с Хвостовым-Трясилиным. Она была чем-то встревожена, и у побледневшего Трясилина были испуганные глаза. Зинаида Петровна объяснила, что Хвостову-Трясилину нехорошо и пора ехать домой. Не без сожаления ушли все от костра, без всяких шуток и смеха уселись в лодку, гребцы налегли на весла, и через полчаса она была у пристани...

ВСТРЕЧА

М. А. Галунковскому

Всего год с небольшим я провел в разлуке с Киевом и, недавно возвратившись,

«шумной жизнью столицы измученный» [1],

нашел в своем родном городе столько перемен, что, предскажи мне их год тому назад самый достоверный человек, я наотрез отказался бы ему поверить.

Посетив своих довольно многочисленных знакомых, я узнал столько грустных и смешных новостей, сообщений о нескольких смертях, свадьбах, разрывах между молодыми людьми, так влюбленными друг в друга год тому назад, и даже переменах убеждений... не говоря уже о бесконечной веренице самых диких сплетен, что меня, наконец, утомили эти рассказы о немолчной, суетливой жизни, и мне захотелось побродить по окрестностям города, посетить дорогие места, освежить детские воспоминания.

В раннем детстве я был страстным охотником, но так как родные боялись отпускать меня с братьями за Днепр, куда они ездили на «настоящую» охоту, то я, как житель Нового Строения, уходил с большим старинным пистолетом стрелять воробьев и сорокопутов за Байковую рощу в лес, называемый Проневщиной.

Я узнал все закоулки леса, проводя летом там целые дни, полюбил его, и когда страсть к охоте с меня соскочила, я уходил туда гулять, читать и мечтать.

И теперь я мечтал о посещении этого леса как о свидании с милым, старым приятелем, в котором уже, наверно, не найдешь никаких оскорбляющих душу неожиданных перемен.

Был жаркий день. Немилосердно палило июльское солнце, и, когда я прошел опушку Байковой рощи и вышел на проезжую дорогу, ведущую среди полей ржи и гречихи прямо в Проневщину, я почувствовал жажду, и мне захотелось пить.

Кругом ни признака жилья. Я вспомнил, что если свернуть направо от дороги и перейти гору, возвышающуюся над кирпичным заводом, что у полотна Курской дороги, то попадешь на баштаны русских огородников, где можно напиться воды и купить огурцов.

Так, по крайней мере, было десять лет тому назад. Но огородники народ консервативный, и я был уверен, что даже за эти десять лет они не изменили своим убеждениям и продолжают разводить огурцы, арбузы, дыни, капусту и картофель все на том же месте у подошвы и на склонах плодородной горы, обильно вознаграждающей их похвальное постоянство.

С вершины горы открывается дивный вид на большую половину города, и громадное здание университета с ботаническим садом так и бросается в глаза своим густо-красным цветом среди белых, опрятно-кокетливых домов Нового Строения и Паньковщины.

Я вспомнил любимую детскую забаву: взобравшись на эту гору, стараться так смотреть на город, чтобы не видеть университета; как эта забава никогда не удавалась и как я испытывал свое терпение, много раз закрывая глаза и опять сразу открывая их в надежде, что хоть однажды попытка увенчается успехом; это воспоминание привело за собой другое, третье; пестрой толпой пронеслись они передо мной; жуткая, томительная тоска охватила меня; я забыл о своей жажде и долго простоял в каком-то забытьи.

Шумя крыльями, нестройно крича, пролетела низко над горою стая галок; я очнулся, вспомнил о своем желании и неторопливо спустился по отлогому склону к первому баштану.

У крайней гряды старательно вскапывал рыхлую черную землю высокий парень в полинявшей кумачовой рубахе и пестрядинных синих портках. Шапка густых каштановых волос была острижена в кружок, и на загорелой, худой шее, благодаря расстегнутому вороту рубахи, виднелся большой медный крест на грязном шнурке.

Я подошел ближе. Заметив меня, работник приподнял голову, и мы посмотрели друг на друга.

— Малиновский! — закричал я.

Лопата выпала из его рук, мы стремительно обнялись и крепко поцеловались.

Прошло несколько минут молчания. Встреча оказалась так неожиданна для нас обоих, что мы не находили даже приветственных слов и рассматривали друг друга.

Я не узнавал в этом худом, заморенном молодом человеке с вытянутым лицом и впалыми глазами всегда здорового, румяного Малиновского, с удивлением смотрел на его рубаху, на его босые, в царапинах, грязные, но не за-

горевшие ноги, и меня поразила его худая грудь с выдавшимися ключицами.

Малиновский избегал встретиться со мной взглядом и, смущенный, застегивал косой ворот своей рубахи, неловко поправляя съехавший на спину крест.

— Что ты здесь делаешь? — прервал я молчание.

— Как видишь, работаю! — послышался ответ утомленным голосом, и рукавом рубахи он вытер вспотевшее лицо. Он спросил, что привело меня на этот баштан, и, узнав о моем желании, предложил зайти в сторожку, где можно напиться воды и отдохнуть.

Подняв заступ, он пошел вперед, ступая осторожно по краю канавы, прорытой для стока воды. Пока мы молча проходили довольно обширный баштан к сторожке, видневшейся на противоположном его конце, я старался разобраться в нахлынувших на меня воспоминаниях.

Малиновский — мой гимназический товарищ. Шаловливый, искренний, остроумный мальчик, вечно увлекающийся, он был всеобщим любимцем с первого класса.

Он первый изобретал и вводил игры; я помню, он первый начал собирать перья, и мы все собирали перья; потом он коллекционировал иностранные марки, и почти у всех нас завелись альбомы с марками по образцу Малиновского; его остроумия боялись учителя, его анекдоты повторялись на случайных сходках в гимназических коридорах, и товарищи, окрещенные его меткими прозвищами, сохраняли эти прозвища до конца гимназии.

Вспомнил я, как мы все не узнали Малиновского, когда он приехал в гимназию после каникул при переходе в третий класс.

Он с серьезным лицом пожимал руки товарищей, сиявших от удовольствия видеть своего любимца, и нас поразили его сдержанные манеры.

Скоро и мы все сделались серьезны.

Малиновский на каникулах был в деревне своего дяди, и там его старший двоюродный брат, молодой петербургский студент, подчинил своему влиянию.

Малиновский познакомил нас с Писаревым, объявил, что самый умный на свете человек Бокль, а величайший русский поэт — Некрасов.

Он устроил товарищескую кассу с обязательным для всех ежемесячным взносом и из этих денег заплатил за право учения за двух наиболее нуждавшихся товарищей.

Два месяца Малиновский издавал еженедельный жур-

нал «Классик», в передовых статьях которого редактор обстоятельно доказывал вред классического образования.

Журнал был прекращен за недостатком подписчиков. К концу года Малиновский утратил свое обаяние. Он избегал товарищей, уединялся, и так как он отрицал игры, то понемногу его покинули все поклонники.

Перед экзаменами в гимназию пришла мать Малиновского, ее заплаканное лицо обратило на себя всеобщее внимание, и подала прошение об увольнении своего сына по болезни.

Много шума наделало увольнение Малиновского, в особенности когда узнали, что он бросил гимназию по убеждению, что образование ненужная роскошь и классицизм отупляет мозги, и некоторые из наиболее увлекающихся товарищей недели две плохо приготовляли переводы из Цезаря, но полученные единицы быстро отрезвили их, и классная жизнь вошла в свою колею.

Через год ходили слухи, что Малиновский уехал в Сербию на войну, там совершает чудеса храбрости и сделался лично известен самому Черняеву [2].

Затем я надолго потерял его из виду.

Но два года тому назад мы почти ежедневно встречались с ним в одном кружке молодых людей. Я узнал, что Малиновский действительно ездил в Сербию, но в сражениях не участвовал, потому что приехал туда после перемирия; потом, возвратившись в Россию, выдержал в провинции экзамен на сельского учителя, три года учительствовал, переменил несколько мест и наконец приехал в Киев держать экзамен на аттестат зрелости.

Он быстро сделался душой нашего кружка. К нему опять возвратилось увлекательное незлобивое остроумие, искренняя, заразительная, детская веселость, и его открытый нрав привлекал всех.

Малиновского никогда нельзя было представить без увлечений. Теперь он увлекался литературой, в особенности ее современными представителями; сам писал стихи, которые нам нравились, потому что мы любили автора, и печатал их бесплатно в провинциальных газетах и иллюстрированных журналах.

Он знал наизусть всего Надсона, Минского [3], усердно пропагандировал Всеволода Гаршина, Максима Белинского, Альбова. Под его влиянием две барышни нашего кружка впервые почувствовали восторги святого вдохновения, и одна изготовила в довольно непродолжительное

время объемистую историческую драму в белых стихах, другая написала несколько рассказов.

Впрочем, обе писательницы, из чувства похвальной скромности, не пожелали известности и сопряженных с нею лавров, и мы узнали о существовании этих произведений только из рассказов болтливых подруг.

Я никогда не забуду вечеров в женском пансионе, куда мы ходили по субботам, катаний на лодке по Днепру в лунные ночи, наших оживленных литературных вечеров.

Вижу, как теперь, большую залу, слабо освещенную лампой на преддиванном столе, вокруг которого на тесно сдвинутых креслах и стульях разместились слушатели и слушательницы.

На председательском месте Малиновский с горящими глазами читает взволнованным голосом чуть ли не в десятый раз «Гефсиманскую ночь» Минского, стихотворение Надсона, только что появившийся рассказ Всеволода Гаршина, и мы жадно слушаем, чуткие и растроганные.

Зала пополам разделена колоннами, и там, за фортепиано, в отворенную дверь балкона смотрится зеленый сумрак сада, доносится аромат сирени, далекий, умирающий рокот соловья...

Я вспомнил все это, глядя на согнутую спину Малиновского, который быстро шел, понурив лохматую голову.

Мы подошли к сторожке. Малиновский отворил небольшую дверь, и мы вошли, низко наклонив свои головы.

В маленькой каморке, освещенной крошечным полуразбитым окном, на разбросанной по земляному полу соломе лежала свитка и большие мужицкие сапоги; под большим образом Спасителя в терновом венце была устроена небольшая полочка, где я заметил Евангелие и стопку маленьких книжек в розоватых обложках; у окна стояла деревянная скамья.

Малиновский зачерпнул кружкой воды из небольшого бочонка, стоявшего в темном углу, дал мне и напился сам.

Я опустился на скамейку. Малиновский стоял в тени и молчал.

— Что ты поделываешь? — спросил я.

— Я тебе уже говорил, что работаю; но если ты этим ответом не удовлетворяешься...— И он продолжал тем голосом, каким в гимназии отвечал твердо выученный урок: — Ты знаешь, что я всегда увлекался и бросался от

одной игрушки к другой. Я искал цели в жизни, настоящей жизни, и не находил ее нигде: везде обман, ложь и лицемерие! А в двадцать три года пора установиться...

Здесь спокойствие изменило Малиновскому, и он заговорил поднятым тоном, как будто кто-нибудь готовился его оспаривать.

— Что бы ни говорили, а единственное спасение — сделаться человеком, таким человеком, каких у нас, в России, восемьдесят миллионов, вести их жизнь, настоящую, законную, а не ту, которую люди выдумали для своей забавы...

Он перевел дух.

— Ты последователь Толстого?

— Да!

Мы помолчали. Малиновский ожидал возражений. Я спросил его, давно ли он здесь работает.

— Три месяца с весны!

— И тебе не тяжело?

— Пока тяжело, но я надеюсь привыкнуть!

— Чего ты стоишь, присядь ко мне!

Он нехотя подошел ко мне и опустился на скамью.

— Ну, а Верочка? — спросил я и тотчас же пожалел о своем вопросе. Малиновский отвернулся в сторону и глухо прошептал:

— Мы разошлись!

Я не верил своим ушам. Разошлись!

Тогда что же такое любовь? Верочка Зорина! В моем воображении возникла круглая, красивая головка с черными глазами, румяное лицо, вздернутый слегка нос, алые полные губы и этот смех, кокетливый, грациозный, звонкий, как серебряный колокольчик.

Малиновский и Зорина. Бывало, произнося эти фамилии, невольно сочувственно улыбаешься.

Их любовь соединяла весь кружок, мы все жадно вдыхали нежный аромат этого чувства, и если все мы, молодые люди нашего кружка, были поголовно влюблены в Верочку, то ни один из нас не ревновал к Малиновскому. Точно этот задушевный, милый юноша вобрал в себя все лучшее, чем каждого из нас наградила молодость, и не было в нем упрека.

Когда в пансион входил Малиновский, пансионерки бежали в дортуар или в сад за Зориной, влюбленные взгляды, которыми они разменивались при встречах, говорили о нашей любви, а когда, возвращаясь с прогулки

или катанья на лодке, Верочка своим задорным голоском кричала Малиновскому: «За мной, мой гидальго!» — и они быстро взбирались на гору к памятнику Владимира или исчезали в темной аллее Царского сада, они уносили с собой наши сердца.

И они разошлись.

— Она разлюбила тебя?

— Нет... ту дорогу, по которой я пошел, она называет принципиозным самоубийством... Она не верит в возможность перерождения! — прошептал Малиновский.

Я невольно протянул ему руку, он обнял меня, и громкие, долго сдерживаемые рыдания нарушили тишину.

— Как мне тяжело, как мне тяжело! Зачем ты пришел, ты мне напомнил прошлое, ее... Я не выдержу этой пытки, мне душно, больно... я не могу жить!..

Он рыдал как ребенок.

Я старался успокоить своего друга. Можно и даже должно возвратиться к прежней жизни, опять сойтись с Верочкой, впереди целая будущность.

— Никогда, никогда! Я докажу ей, докажу! Здесь жизнь, а не там... Там обман!..

— Но тогда отчего же тебе так тяжело здесь, где правда?

— Потому что я не привык, потому что нас калечат с детства и мы ни на что не способны. Ты думаешь, может быть, что я получаю что-нибудь от своих хозяев-огородников? Ни копейки! Я сам заплатил, чтобы они взяли меня на лето, потому что им натолковал какой-то кабацкий адвокат, что я опасный человек. Я заплатил им пятьдесят рублей. И до сих пор я чужой для них. Чем больше я стараюсь, чем усерднее я работаю, тем презрительнее они относятся ко мне: положим, это добродушное презрение, но все-таки презрение! А между собой они зовут меня блажным.

А если бы ты знал, сколько насмешек, косых взглядов выдержал я, пока научился сносно работать... Ведь я не умел взять заступа в руки. Ты, может быть, думаешь, что землю можно копать так сразу; нет, брат, это наука, и трудная наука! Потом, я никак не могу привыкнуть к их пище. Только по воскресеньям они готовят горячее, и то в борще с трудом можно изловить кусочек жирной, противной говядины, а то всю неделю мы питаемся хлебом, квасом и огурцами. За эти три месяца я ни разу не был сыт, я голоден и теперь...

Я с сожалением посмотрел на его исхудалое лицо; по бледным щекам струились слезы, и в глубоко запавших глазах горел лихорадочный огонь.

Я сделал движение рукой к боковому карману, где у меня лежал бумажник с деньгами. Малиновский понял мое намерение.

— Ты хочешь дать мне денег? Напрасно. У меня есть деньги, и, может быть, больше, чем у тебя, но я чувствовал бы себя преступником, если бы позволил себе съесть что-нибудь такое, чего не едят мои хозяева. Ведь они тоже питаются квасом и огурцами и работают вдвое больше меня, а если бы ты посмотрел, какие они здоровяки!..

Он с тоской ожидал ответа, и я сказал ему, что не вижу никакого смысла в его последнем увлечении.

— Кому ты принесешь здесь ту пользу, которую бы наверно принес в другом месте с твоими способностями и жаждой к добру? И ведь ты губишь себя этой игрой в настоящего человека, ты, наконец, доконаешь, убьешь себя этой жизнью!

— Туда и дорога!

Он посмотрел на меня, и хотя я прочитал в его уже сухих, но воспаленных глазах скорбь о разбитой жизни, но по отрывистому тону, каким он сказал свою последнюю фразу, я понял, что возражения бесполезны. И я встал, чтобы уйти.

Пожимая мне руку, Малиновский просил меня ни в каком случае не приходить больше сюда, на баштан, и я согласился.

Когда мы вышли из сторожки, он посмотрел вокруг себя на темнеющие в залитой солнцем безоблачной дали леса, посмотрел на меня. В глазах его светился вопрос.

— А все-таки здесь настоящая жизнь, а не там!..

Он показал рукой по направлению к городу.

— Скажи мне правду; вот ты теперь, я слышал, живешь любимой работой, о которой всегда мечтал, пишешь там что-то... Ну, скажи, ведь правда, ты чувствуешь иногда стыд и угрызение совести?..

В вопросе слышалась просьба, мольба об утвердительном ответе. Я понял, что правды нельзя говорить, и ничего не ответил. Может быть, мое молчание он понял как утвердительный ответ на его вопрос.

Он горячо пожал мою руку и повторил свою просьбу не приходить его навещать. Мы расстались, и я возвратился в город.





ПОБЕГ

— Ну, ты, Кадур, марш вперед, авось на какого-нибудь медведя наткнемся,— одно к одному!

Кадур посмотрел в глаза хозяину, вильнул хвостом и сочувственно взвизгнул.

— Понимает! — вздохнул Капитон Ильич.— А вот она не тово... не поняла... бросила...

Капитон Ильич поправил ружье, поглядел на опустевшую Рахмановку — усадьба с чего-то точно осела набок, казалась разоренной и ему не понравилась — и зашагал по дороге; сделав два-три прыжка, белый с коричневыми пятнами Кадур обогнал хозяина и побежал впереди.

Три дня назад от Рахманова ушла жена; случилось это, как нередко случается, совершенно неожиданно: не было ни ссор, ни недоразумений, ничего такого, что давало бы повод к побегу. В записке, оставленной женой, стояло одно: «Не жди, надоело». До сих пор Капитон Ильич был счастливым мужем, и удар, разразившийся над ним, можно было уподобить тому громовому удару, который в знойный июльский день при безоблачном небе иногда трахает над землей.

«Отчего она ушла? — думал Рахманов.— Если я обидел ее, виноват чем, то скажи, объяснись, а не бегай... И что ей надоело? Если все ни с того ни с сего бегать начнут, тогда хоть на свете не живи... Кажется, не стеснял свободы, слова лишнего не говорил... чем я провинился?»

Это была неразрешимая задача; брошенный муж думал, думал и не придумывал решительно ничего.

День выдался теплый, ясный; снег млел и оседал под солнцем, плывшим в синем небе не по-зимнему высоко. Пахло весной, яркое небо, молочные облачка, сверкающая даль ласкали глаза; на ослепительно чистый снег смотреть было больно. Человек в другом положении залюбовался бы этим днем.

Через час над замерзшею рекою, возле плотины, показалась мельница, темная и дряхлая, на которой лежавший местами снег смотрел белыми заплатами; крыша с солнечной стороны, края лотков, по которым вода бежит к колесу, уже почернели.

Спала река, спала и мельница, дожидаясь, пока маленькие, проворные, точно живые, ручейки не побегут с пригорков в лощины, а лощинами не подберутся к реке поближе и не начнут говорливыми каскадами буровить песчаный берег, без милости разрушать стрижиные гнезда и точить посиневший и загрязнившийся лед, покрытый большими желтыми лужами посредине, точить до тех пор, пока лед не вспучит и не поломает на сотни кусков, которые, обгоняя друг дружку, поплывут куда-то вниз.

За воротами мельницы на солнышке сидел старый дед, мельник Лука, одетый в короткий полушубок и валенки; дед с удовольствием подставлял солнцу свою лысую голову и грозил пальцем поглупевшему от дряхлости и такому же лысому, как сам дед, Шарику, который глухо, но азартно хрипел на знакомых и незнакомых; завидев скакавшего к мельнице Кадура, Шарик угрюмо встал, отковылял шагов на пять в сторону и лег под березу.

— Здравствуй, дед! — поздоровался Рахманов, присаживаясь на скамейку, которую полушубки гостей и хозяев вылощили, как добрые полотеры лощат пол.

— Здравствуйте, батюшка Капитон Ильич! — прошамкал старик, солидно оглаживая колена.— Поохотиться, батюшка, захотели?

— Нет, дед, просто надумал пройтись...

— И пройтись хорошо нынче: растворение воздухов, батюшка, теплынь...— любовно прищурился дед на солнце.

— А у меня жена, дед, в город уехала, так вот мне не сидится дома... Заскучал...

Слова о жене сорвались с языка Капитона Ильича совершенно неожиданно; но вышло ничего, к месту: дед поверил.

— Так...— одобрительно крякнул дед.— Дело молодое, за нарядами к празднику, чай... Надолго?

— Нет, не то чтобы надолго, нет...

Вопрос Луки смутил Рахманова. «Экая глупость!» — подумал он с досадой и ответил решительно:

— На неделю...

— Ну, неделя... недолгий срок, дождетесь... Хорошая барыня, дай ей бог! — прошамкал Лука.— Вы в нашу сторону не жалуете, а она о прошлое лето каждую неделю на мельничку езжала... Соберутся, это, компанией и верхами, верхами все, а то линейку велять запречь...

— Да, она любит это...

— Приедут, сейчас им самовар и все такое... в рощу пойдут... Песни поют, игры играют,— веселые господа... Иной раз до зари проканителятся, а то — куда до зари, позже...

— Что ж, это хорошо, дед, кто веселиться любит...

— Хорошо-с... А по осени, как господа поразъехались, они за грибами наладили ходить, пойдут и тоже на мельничку. Ольга Павловна Пичурина завсегда с ними бывала, ну, и братец ихний Валериан Павлыч, и он... Затейник тоже, мастер на разные штуки... и, и... Цыц ты!

Дед опять загрозил пальцем и затопал ногой на Шарика, который, очнувшись от дремы, ни с того ни с сего пришел в исступление и даже закашлял от злости.

«Так это еще прошлой осенью началось! — думал Рахманов тоскливо.— А я и не знал... С Пичуриным, а я думал, что этот подлец Розанов первый, что это только теперь... Глупо... О Пичурине я не слыхал от нее ни слова...»

Докурив папиросу, брошенный муж встал со скамьи и сказал:

— Прощай, дед!

— Прощенья просим, батюшка.

Заломив на затылок фуражку, Рахманову сразу сделалось жарче, и, широко размахивая руками, он обогнул мельницу, перешел плотину, в последний раз кивнул головой Шарику и Луке и зашагал к темневшему в полуверсте лесу. В лесу у Капитона Ильича была одна любимая вырубка.

В прошлом году, как-то в конце октября, над лесом пронеслась буря; ветер выл, как бешеный, качал неглубоко сидящие в земле корнями сосны, а десятка два их с краю вырубки вырвал и разметал по опушке. Капитон

Ильич часто просиживал на наваленных стволах по два, по три часа.

С мельницы Рахманов и прошел прямо туда; там все было по-прежнему: блестя синими и розовыми искрами на белой скатерти снега, тянулась вырубка на добрых полверсты; опушенные, точно ватой, мягкими снежными хлопьями, лежали поваленные сосны, раскинув в воздухе темные, изогнутые, как лапы гигантского паука, корни; торчали пни, кое-где подпаленные пожаром; по бокам узкой дорожки следы лыж мешались с заячьими следами и еще чьими-то резкими и большими; славным темно-красным цветом отливали сосновые стволы, чуть-чуть шевелились от набегавшего ветра ветки, и только иглы их к концу зимы больше пожелтели.

Капитон Ильич присел на ствол и задумался.

«Трижды глуп тот человек, который говорит, что знает женщин! — думал он.— Четырежды глуп. А ведь я верил, что знаю ее, что ее душа для меня ясна, как божий день,— и что же вышло? Она лгала мне и неделю, и месяц, и год назад, обманывала, притворялась, хитрила... а я отыскивал, в чем я провинился, каким грехом грешен я?! Чудак!»

Рахманову вспомнилась Мари — жену его звали Марьей Викторовной — маленькой шаловливой девочкой, какой он знал ее лет пятнадцать назад, с худеньким личиком, темными кудряшками на лбу и плутовскими карими глазами; они вместе бегали в лес, вместе удили рыбу, причем на ее долю, по безмолвному соглашению, поступали самые жирные черви и самые пузатые караси, которых в те времена в пруду было видимо-невидимо; для нее он таскал яблоки, собирал землянику, полевые цветы и однажды украл с поповского двора белого котенка. В то время Мари была искренна и добра и, обидев, каялась, просила прощения, заливалась слезами... Сердце Мари было ему открыто. Когда же он потерял от него ключи?

Ровно и медленно капала капель с пригретых вверху веток; темно-синие птички с красными перышками на боках и грудке и большим хохолком на макушке носились между стволов; обиженный Кадур, видя, что от хозяина не добьешься толку, молчаливо лежал в стороне. На вырубке было тихо, как в пустой церкви или в полночь на кладбище.

Вдруг сзади по рыхлому снегу зашлепали чьи-то тя-

желые шаги. Капитон Ильич обернулся. Показалась знакомая фигура.

Это был лесной сторож Аника, человек невзрачный, с клочковатой, точно из пакли сделанной бородкой, тусклыми, узенькими глазками и раздутым носом фиолетового цвета. Правая скула Аники была перевязана грязной тряпицей, с которой он почти никогда не расставался: вечно у лесника то на правой, то на левой стороне болел зуб, вечно он мазался какой-нибудь пахучею дрянью, так что ночью приближение лесника можно было услышать по запаху за несколько шагов.

— Ну, что, Аника-воин, как дела? Сторожишь? — спросил лесника Рахманов, ответив на молчаливый вопрос.

— Сторожу помаленьку, что мне делается, Капитон Ильич... В среду в городе был...

Аника подергал картузик и посвистал Кадуру.

— Кадурушка, Кадурушка, собачка! С зубом... зуб замучил! — неожиданно обернулся он снова к Рахманову, продолжая начатый о городе рассказ, так что Капитон Ильич не сразу понял в чем дело.— Спаси господь друга и недруга и лихого татарина от зубной страды.

Аника помолчал.

— Как из городу шел, хозяюшку вашу повстречал на дороге...

Капитон Ильич сдвинул брови...

— В город едут с господином Прокудиным... сам Михаил Костентиныч за ямщика, лихо правит! Славный барин, но вот тут (Аника потыкал себя в лоб корявым пальцем) недохватка... Где ж это видано, чтобы барин за ямщика? Барское ли это дело?

— Она... с Прокудиным? — переспросил Капитон Ильич.

— С им самым... армяк кучерской и на шляпе перо павлинье. Чудеса!

По лицу лесника проползла улыбка, такая же невзрачная, как и самое лицо; очевидно, фигура Прокудина осталась в представлении лесника очень комичной.

А Рахманов темнел и темнел.

«Она даже и не с Розановым, а с Прокудиным ушла... Стало быть, это — третий... Господи, какая гадость! Однако что же я делаю?..»

— Да, Михаил Константинович взялся ее подвезти,— заговорил он, стараясь поправиться.— Где ты их встретил, Аника?

— Под городом, па шестой версте, у овражка.
— Так, так, знаю...
— На этом месте в третьем годе почту грабили.
— Знаю...
— Едут, смеются, старика кверху ногами кувырнули... Так немудреный старик, как бы вроде анановского Федота будет, трясется в саночках трухи-трухи, да не успел с дороги убраться, ну, Михаил Костентипыч его... тово, и кувырнул... Смех!

Давно утихли шаги побредшего дальше обходом Аники, давно перестали мелькать между деревьями его потрепанный картузик и перевязанное веревочкой ружье, давно успел соскучиться Кадур, а Капитон Ильич еще не поднимался с места.

Наконец он встал и лениво потянулся.

— Все они, как посмотришь, на одну колодку! — махнул он рукой.— Что ж, ушла и... скатертью дорога. Пойдем, Кадур, восвояси, пойдем, славная собака!.. Как бы нам,— Рахманов огляделся кругом и усмехнулся,— в самом деле на медведя не наскочить... А оно, тово... тяжело.

Смерклось, и в окнах деревни мелькали огни, когда проголодавшийся Капитон Ильич подвигался к Рахмановке; несмотря на то что густевшие сумерки не представляли ничего привлекательного, усадьба показалась ему совсем не такой дурной, как утром. На задах перекликались женские голоса, кто-то бежал по мосткам к сараю. «Гриша, а Гриша!» — робко и нежно доносилось из темноты.

— У вас Алексей Степаныч сидят...— объяснила Рахманову девочка, состоявшая в усадьбе на побегушках.

— Хорошо... Вели Катерине обед давать...

Алексей Степанович Зубков, сосед Рахманова, один из тех розощеких и русокудрых молодых людей, которых чаще всего называют «милыми юношами», которые любят звонко смеяться и при смехе показывают безукоризненные перламутровые зубы, был большим приятелем Капитона Ильича; видеть юношу, даже после всего происшедшего, было ему не неприятно; раздевшись, он прошел в кабинет.

Зубков лежал на софе, уткнувшись лицом в подушку; заслышав шаги хозяина, он вскочил; волосы его были растрепаны, лицо красно и возбужденно, глаза опухли и морщились, точно он едва-едва удерживался от слез.

— Только сегодня утром из Иванькова вернулся и... и узнал,— забормотал он, путаясь и хватая руку Капитона Ильича.— Что же это такое?.. Что?

Рахманов поморщился: несмотря на добрую душу, молодость часто бывает глупа.

— Бог с ней, Алеша! — ответил он тихо.— Все к лучшему, брат... Перемелется — мука будет...

Зубков потряс головой.

— Нет, не согласен! — вспыхнул он.— К черту философию... если вы примиряетесь, я не знаю, что о вас думать, Капитон Ильич... Не знаю!

— Оставь...

— Не могу я оставить... понимаете, не могу!

— Что ж делать?

Алеша захохотал.

— Вы... вы муж и спрашиваете, что делать? — беснуясь, переспросил он.— Само собою, тотчас же скакать в погоню и воротить ее, воротить!.. Да! Они в *** поехали... Это каприз, блажь, пустое увлечение и — ничего больше! Мари... Ма... Марья Викторовна опомнится, если уж не опомнилась, нужно спасать ее, Капитон Ильич! Что Прокудин, этот медведь, идиот, это чучело, может дать Марье Викторовне? Ничего... Она воротится, это блажь, и все будет по-старому, Капитон Ильич. Все будет по-старому!

Рахманов пристально поглядел на Алешу и густо покраснел; к сожалению, кипевший и торопившийся, точно на пожар, Зубков не замечал ничего.

— Ей-богу же так! — божился он, чуть не плача.— Скачите, пока не поздно, Капитон Ильич, ручаюсь, что вы их в *** застанете... Ну, зачем же тянуть? Не будьте тряпкой, не будьте старой бабой, когда нужно действовать, ковать железо, спешить!

— Полно, брат... давай лучше обедать вместе...

— Будьте смелым и мужественным хоть раз!

— Смелым и мужественным? Оставь... Пойдем выпьем. Вон и Катерина докладывает, что обед готов...

— Убирайтесь вы с вашим обедом!.. Я не понимаю, что вы за человек, Капитон Ильич!..

...Поздно ночью, после вторых петухов, Рахманов сквозь сон услышал звяканье колокольчиков, шаги, разговор.

— Что это, чудится или в самом деле говорят?

Он открыл отяжелевшие от вина и усталости веки и

осмотрелся. Марья Викторовна раздевалась перед зеркалом; лица ее не было видно, она стояла спиною к кровати.

Не спеша и не оглядываясь, она вынула из ушей серьги, сняла платье, юбку, сильно втянула в себя воздух, красиво закинула назад руки, расшнуровала и бросила в угол корсет; вторая ее юбка запуталась в ногах, она отправила юбку туда же, рассыпавшиеся волосы ей было лень заплетать, она свернула их жгутом, заколола шпилькой и спрятала под чепчик; затем вытерла грудь, шею и руки одеколоном, что делала всегда на ночь, облокотилась на туалетный стол и потрогала щеки: щеки были красны, горели, их нужно было напудрить. Она слазила за пудрой.

В эту минуту Рахманов в первый раз увидел ее лицо: на лице не было ни тоски, ни раскаяния, никаких меланхолий, только смотрело оно усталым, помятым.

Попудрившись, Мари дунула на свечи, зевнула и прыгнула на постель.

При неверном свете лампады, теплившейся в углу перед образом, Капитон Ильич забрал подушку, одеяло и тихо побрел из спальни. Когда он дошел до дверей, дыхание Мари было так ровно, что казалось, она уже спала.

ДИПЛОМАТ

Когда жена, смуглая бомбошка с кудряшками на лбу и румянцем, здоровым как само здоровье, кошачьей походкой входит в кабинет и с волнением взглядывает на меня, я отворачиваюсь и делаю строгое лицо; я отлично вижу, что она опять сбирается просить денег на транжирство, и принимаю решительные меры; я выдержу характер: на этот раз на пустяки ей не перепадет ни копейки!

Она подходит ко мне, надувает губы и говорит, капризно улыбаясь:

— Не извольте, гадкий вы человек, глядеть букой! Я рассержусь!

— Что за глупости?! — небрежно жму я плечами и поднимаю голову с убийственным недоумением.— Что за охота, голубушка, институтку из себя изображать? Слава богу, не девочка: собственные дети есть... Смешно даже!

Жену передергивает; она конфузится и переменяет тон.

— Ну, извини! — говорит она кротко.— Уж и пошутить нельзя? И чего ты все злишься, как злыдень какой-нибудь, не понимаю! Ну, чего надулся?..

— Надуешься! — вздыхаю я мрачно.— Надуешься, если теперь, к чему ни приступись, такие цены ломят, что волос дыбом встает, что впору волком взвыть! Надуешься, когда семейному человеку без трех тысяч в год в Петербург и носу совать не следует... Когда...

Дальше я не знаю, что говорить, почему закашливаюсь и умолкаю...

— Ну, вот еще цены приплел! — изумляется жена.— И что в них особенного? Цены как цены... Такие цены в Петербурге уже который год стоят... Что тебе сегодня о ценах нужно думать: кажется, ничего не собираешься покупать?!

— Где уж тут покупать! — безнадежно махаю я рукой.— Только бы концы с концами свести да в долгах не увязнуть по горло — вот о чем приходится думать по нынешним временам! Какие тут покупки!

По лицу моему расползается ужас от одной мысли о покупках...

— В долгах не увязнем... Пустяки! — уверенно говорит жена.— Ну, а если денег мало, экономить начнем... Что ж, ничего... Зачем зря транжирить?! Если вещь не нужна, и не надо ее... Не надо! Я вот хотела себе шерстяное платье купить, так, простое платье, дешевенькое — рублей на пятнадцать, ну, пожалуй, и не стану... У меня еще есть платье... Положим, не совсем свежее, но ничего, вечером и за свежее сойдет! Затем я думала Сереже штанишки новые сделать... Старые порыжели совсем... Впрочем...

— Ну, это дело другое. Нельзя же Сережке без штанов ходить! — перебиваю я снисходительно...

— Конечно, нельзя, но я их выверну наизнанку, он и еще месяц старые протаскает...

— Если можно, выверни...

— Можно, можно! Не стоит об этом и говорить! Тут и работы-то сущие пустяки... Знаешь еще что, Антоша... (жена волнуется, мнется и не решается продолжать). Знаешь что... Я у тебя ложу просила в театр...

- Какую ложу? — делаю я удивленные глаза.

— В оперу... Еще ты обещал...— говорит она робко.

— Ах, да, обещал. Ну, и что же?

— Ты не бери ее... Зачем? Ежели денег мало, можно и не брать, когда-нибудь в другой раз съездим...

Я встаю и молча хожу по комнате; мне делается стыдно... Право, она не такая транжирка, какой я ее себе представлял! Совсем не такая! Мне хочется сделать ей что-нибудь приятное.

— Я сейчас еду по делу,— говорю я, надумав.— К обеду вернусь и привезу тебе кружев. Помнишь, ты у меня третьего дня просила? Вот он, и образчик в кармане лежит! — с раскаянием вытаскиваю я образчик из кармана.— Пять аршин по семидесяти пяти копеек... Так? Ты извини, что я забыл, голубушка... но, право, все дела и дела!

— Ну вот, что за вздор! Мне их даже и не нужно! — весело махает руками жена.— Я от темно-серого платья кружева отпорола и пришила к новому. На темно-сером еще совсем новенькие были... прелесть какие кружева...

Мне делается еще более стыдно; я беру шляпу и растерянно верчу образчик вокруг пальца.

— Нет, не покупай! — продолжает жена.— Не стоит! Ненужная вещь, я и без нее обойдусь... Если не нужная, зачем зря деньги тратить? Вот разве... Уж не знаю, право, и говорить ли? Ну, да ничего, скажу... Зайди ты, Антоша, к Триктракову... Я у него брошку присмотрела: он покажет тебе... так, недорогую брошку, рублей в шестьдесят. Возьми мне, голубчик,— ну, в чем я к сестре на именины покажусь?! У ней публика будет... Мне очень хочется брошку!!

Голос жены дрожит; я вытаращиваю глаза, как будто бы кто-нибудь хватил меня поленом по затылку, но... отказать не хватает духу: после всех жертв с ее стороны это было бы гадко, дико, безнравственно!!

Возвращаясь домой, я захожу к Триктракову за брошкой...

РЕПЕТИТОР

«Приготовил этот осел Жилкин сегодня урок или нет? — с тоской раздумывает Петухов, мальчик лет семнадцати, некрасивый, бесцветный, чахлый и потому выглядывающий моложе своих лет, шлепая в сумерки по

осенней распутице и поминутно оскользаясь то одной, то другой ногой.— Чувствую, что придется отказаться от урока... Есть же на свете этакие тупицы?!»

Дошлепав до жилкинского крыльца, он останавливается и долго вытирает ноги, так что измазывает грязью весь приступок; калош у него нет. Но все-таки горничная Василиса, отпирающая на робкий звонок дверь, как кажется Петухову, смотрит на его ноги крайне подозрительно и даже с презрением. Ужасно глупо, что бедные люди, несмотря на прогресс и цивилизацию, и в настоящее время принуждены шагать по грязи совершенно так же, как и тысячу лет назад!

Желая скрыть грязные ноги, Петухов пускается на хитрость; он старается отвлечь внимание горничной разговором.

— Не забыл ли я у вас, Василиса, книжечку в прошлый раз? — спрашивает он.— Книжечку, знаете ли, потерял... Этакая подлость!

Вопрос Василисе не нравится; было бы ему не говорить!

— Никакой я тут книжечки не видала! — заявляет она холодно.— Может, еще где...

С первым препятствием покончено благополучно. Петухов откашливается, оправляет виски и робко заглядывает в залу; к счастию, в зале никого нет; это придает ему бодрости, и он довольно развязно шагает через залу в комнату ученика.

Ученик его, Костя Жилкин, белобрысый мальчик со стриженой головой, оттопыренными и большими, как лопухи, ушами, уже дожидается репетитора за столом, как бы снедаемый страстью к наукам; в сущности он туп и ленив до безобразия. Тупость и лень, кажется, состязаются в нем и никак не могут осилить друг друга! И все же в лентяе Жилкине так много добродушия, искренности и раскаяния в часы падений, что взять его в ежовые рукавицы — невозможно... Он так огорчен, так упорно обещается приготовить все к следующему разу, что у репетитора громы и молнии мерзнут на языке. Для репетиторов нет ничего печальнее этих добродушных тупиц и лентяев...

Готовит его Петухов по русскому языку, арифметике, истории и географии; к нынешнему дню Жилкину в третий раз дан пустяковый параграф о прилагательных; и даже не целый, а половина.

— Выучили? — спрашивает Петухов.

По физиономии Жилкина от уха до уха расползается масло.

— Выучил! — говорит он с гордым видом.— Знаю!

— Ну... ну... (Петухов соображает). На что оканчиваются прилагательные мужского рода в именительном падеже множественного числа?

На лбу Жилкина выступают морщины; физиономия выражает величайшее изумление.

— Это из другого параграфа! — заявляет он.

— Оставьте! Из этого...

— Из этого? Как же это так? д-да... пожалуй, из этого,— соглашается Костя.— Я... Иван Иваныч, это самое... не знаю...

— То есть как не знаете? Не учили?

— Как же это можно не учить!! — обижается Жилкин.— Я учил, но... не мог выучить... Ужасно трудно, Иван Иваныч, прилагательные учить!

— Третий раз?! — ужасается Петухов.— Я... должен буду все вашей матушке рассказать...

— Не говорите! — просит Костя уныло.— А вы задайте мне еще раз: посмотрите, как вызубрю! Без запинки!

Петухов хмурится, так что не разберешь по выражению его лица — скажет он или не скажет, и задает Жилкину задачу; в арифметике Жилкин всего слабей и попросту, что называется, не смыслит ни бельмеса, но берет карандаш с самым веселым видом, как будто решение задачи исполнено приятностей, и начинает делать выкладки...

Репетитор подпирает голову рукой и бесцельно заглядывает в залу; а в зале стол уже накрыт для вечернего чая; расставлены чашки, самовар кипит так весело, как будто празднует именины, и возле самовара большущая корзинка печенья и сухарей; вся эта чайная музыка раздражает репетитора до тоски: он не ел с самого утра, как ушел из дома, и голод в животе начинает сказываться все сильней. Эх, если бы воля: от всех сухарей и печенья минут в десять остались бы одни приятные воспоминания!

Жилкины любят хорошо поесть; дети у них, и девочки и мальчики, плотны и крепки, будто толчены в ступке, а сама хозяйка, дама румяная и рассыпчатая, напо-

минает хорошо удавшийся праздничный пирог. Чай они пьют в день раз десять, и даже довольно трудно определить, когда на столе у них не застанешь самовара: чуть только сняли один — тотчас другой тащат; без сливок, лепешек, варенья — чай им непонятен; во время чая все это присутствует на столе. Даже и говорят они, насколько доводилось слышать репетитору, все больше про еду, точно других тем и не существует на свете! Вот и теперь...

— Отчего это мне так в бок, Катишь, колет? — спрашивает madame Жилкина, выплывая в залу с двумя дочерьми. Нужно заметить, что Жилкина, подобно многим толстякам на Руси, несмотря на великолепное здоровье, имеет слабость думать, что она дышит на ладан и что жизни ее ежеминутно грозит опасность.

— Наверно, от жирного пирога! — догадывается Катишь.

— Навряд, чтобы от пирога! — задумчиво говорит Жилкина и строго сдвигает брови, как будто решает ужасно важный вопрос.— Я пирога только два куска съела, и притом пирог был совсем не жирен: нынче Аксинья пирог в самый раз испекла.

Она долго еще распространяется на эту тему, распространяется до тех пор, пока Петухова начинает мутить и с губ его текут слюнки; глупая женщина совсем не подозревает, что голодному человеку ее пирожные разговоры — острый нож...

— Кончил! — радостно заявляет Костя над репетиторским ухом.— Можете проверять...

— Неверно! — качает головой Петухов, заглянув в задачу.

На лице Жилкина вторично отпечатывается крайнее изумление.

— Неужели неверно?! — переспрашивает он.— Ну, уж если это неверно, я не знаю, как и делать еще! И ответ тот же!

Подсмотреть ответ Костя успел заблаговременно!

В занятиях происходит перерыв.

Горничная несет ученику и учителю стаканы с чаем; кроме стаканов, на подносе сливки и роковая корзинка. Петухов наливает себе сливок, косится на корзинку и со вздохом берет два сухаря; нельзя же хватать всю корзинку: выйдет скандал!

— Неверно... Вы, Костя... списали ответ! — мрачно говорит репетитор, отпив полстакана.— Списали и подогнали действия... Так нельзя делать, от этого пользы ни на копейку... Признайтесь, списали?

Жилкин опускает глаза; по лицу его ползет уже не изумление, а раскаяние.

— Списал, Иван Иваныч! — вздыхает он.— Виноват!

— Ну, как же она решается? Подумайте...

Молчание длится минут пять.

— Ну, слушайте: я вам решу.

Петухов берет карандаш и пускается в объяснения; Жилкин не сводит глаз с учительского карандаша, как будто это не карандаш, а какая-нибудь невиданная редкость.

— Поняли? — спрашивает репетитор.

— Понял... Нужно будет цветные карандаши завести, Иван Иваныч,— говорит Костя деловито,— цветными задачи решать веселей...

Петухов пожимает плечами, допивает стакан и начинает спрашивать урок из географии; но тут происходит совершенно неожиданный инцидент.

— Из географии я сегодня не готовил, Иван Иваныч! — говорит Жилкин грустно.— Вы прошлый раз не записали, я и забыл, до каких пор мне географию учить!

Петухов краснеет и смотрит: о географии, действительно, в прошлый раз ничего не записано.

— Да вы бы хоть немножко выучили... Ну, параграф один!

— Немножко не стоит... Вы уж задайте все вместе к будущему разу — я и выучу заодно.

Репетитор записывает; в географии он сам виноват; нужно будет потщательнее записывать уроки.

— Ну, отвечайте историю.

Жилкин начинает отвечать историю, но после трех первых слов останавливается; если бы сказать, что он до учителя заглядывал в книжку два раза, это было бы сильным преувеличением.

— Что же это? — спрашивает репетитор.

Жилкин мнется, молчит, наконец, находит самым приличным случаю изумиться в третий раз — и изумляется. На этот раз он, впрочем, кажется, и сам поражен.

— Подите ж! — говорит он уныло.— Ведь знал ее, проклятую! Честное слово, Иван Иваныч, знал!

«Нет, так нельзя, нужно будет отказаться! — думает Петухов.— Жаль, а придется отказаться: скотина, не учит решительно ничего!»

А с уроком расстаться тяжко; ходит он три раза в неделю и получает по семи с полтиной в месяц; семь же с полтиной деньги не маленькие, и нужно отдать справедливость Жилкиным: платят они очень аккуратно. На минуту, как перед Петуховым мелькают изумленные лица его матери и сестры (они не поймут, зачем он отказался!), для которых семь с полтиной капитал, он впадает в сомнение. Но только на минуту.

«Откажусь (кстати и срок сегодня),— решает репетитор.— Может, другой урок навернется».

— Ну, довольно! Можете убирать книжки и повторять старое! — говорит он ученику и с зловещей, не предвещающей для ученика ничего хорошего физиономией идет в залу.

— Что, как ваш ученик? — спрашивает Жилкина.

Петухов мнется, будто в рот ему набили каши.

— Из грамматики не выучил...— бормочет он.— И из географии не выучил... впрочем, и из истории не знал ничего...

Мать зверски смотрит на Костю и качает головой.

— Нет, видно, придется тебя отдать в пастухи! — стучит она по столу пальцем.— Тому, кто не хочет учиться,— единственный путь в пастухи!

Она читает сыну нотацию с чувством, с толком, с расстановкой. Воспользовавшись одним из перерывов, Петухов робко объявляет свой отказ, но это решительно ни к чему не ведет, отказ вызывает целую бурю: Жилкина клянется, что заставит сына учить уроки, хоть бы для этого ей пришлось пороть его каждый день, просит остаться еще хоть на месяц.

Петухов вздыхает и остается; но это уже в последний раз; если и вновь пойдет, как прежде, через месяц его не будет.

Репетитор получает семь с полтиной (они уж раньше приготовлены в конвертике) и уходит; с деньгами в боковом кармане он ощущает какое-то приятное стеснение в груди; Василиса представляется ему не такой сердитой, как прежде, ученик не такой безнадежной тупицей, и даже грязи на улице как будто стало меньше.

Да, семь с полтиной не пустячные деньги, черт возьми!

ЗАВТРА

— Здравствуйте, доктор! Вы дома,— отлично! Рвите, тащите, дергайте! (Кружков корчит улыбку и тычет в слегка отдувшуюся скулу.) Ну его к черту! Надоело!

— И великолепно! Ведь он, батенька, все равно вам покоя не даст, все равно душу из вас вымотает, и в конце концов придется его тащить. Я вам это и вчера, и третьего дня, и неделю тому назад говорил, но вы не хотели слушать! Тут по пословице действовать нужно: худая трава из поля вон!

— Д-да... худая трава... Вы говорите, не больно будет?

— Не то чтобы совсем не больно, но пустяки, вздор, минутная боль... Одно мгновенье, «крак» — и... все кончено! Детям зубы дергают. Я перед вами девочке пятнадцати лет дернул... Вы же мужчина!

— Мужчина?! Странно вы рассуждаете, доктор! — обижается Кружков.— У девочки, может, только корень остался, только звание, что зуб, а у меня здоровый... Такой зуб, которым, если бы он не ныл, анафема, камни бы грызть можно было, пять пудов на полотенце поднимать!

— И у девочки крепкий... Да, корни вытаскивать гораздо трудней...

Кружков подносит палец к скуле, трогает, и по лицу его расползается блаженная улыбка.

— Не знаю, дергать ли? — нерешительно спрашивает он.— Можете себе представить: затих! Вторую неделю ноет, и вдруг — затих!

— Затих на одну минуту...

— Нет, уж минут пять не слыхать... Чудеса!

— Ну, на полчаса перестанет, а затем — опять ныть...

— Да...— подтверждает Кружков с убитым видом.— Заныл!.. Не успели мы разговор окончить, а он уж и ноет! Нет, видно, нужно будет его дернуть!

— Дергайте...

— Дерну! — решительно махает рукою Кружков.— Вы не поверите, доктор, какие адские муки я испытываю из-за него, подлеца, по ночам! Две подушки изгрыз: лежу и грызу, лежу и грызу... Жена даже в ужас пришла, когда

увидала... А прошлую ночь дошел до того, что... головой о стену стукал!..

— Ну, вот видите,— и не хотите рвать?!

— То есть как же не хочу? Решенное дело, голубчик.

— Ну, слава богу! Садитесь в кресло к окошку...

— Вы... сейчас хотите? Дайте с духом собраться... Подождите, голубчик, пять минут...

— Опять, батенька, канитель тянуть? — вздыхает доктор.— Впрочем, как хотите: я свободен еще полчаса...

— Да... да... Я соберусь... так сказать, привыкну к мысли... М-да... А сознайтесь, голубчик, мудреное дело доктором быть, ужасно мудреное! Каких только болезней на свете нет, и все знать нужно: что, как, отчего. Чуть ошибся немножко, глядишь — на тот свет человека отправил! У меня в родне такой случай был... с дядей... Ильей Ильичом... Резали старику живот и чуть-чуть криво взяли: умер, тут же и умер под ножом... Взяли бы на волосок попрямей, жив остался бы!

— Вы... вы третьего дня говорили, что этакий случай с вашей теткой был?!

— С теткой? Разве я «с теткой» говорил? — конфузится Кружков.— Вы, верно, ослышались, доктор! Впрочем... впрочем, может быть, ради шутки я дядю теткой назвал... Он, так сказать, только по рождению мужчиной был, что же касается характера и прочих качеств — баба чистейшей воды... Так его бабой и звали верст на сто по окружности... «Баба» да «баба»... Мудреное дело доктором быть!

— Ну, что ж, дергать?

— Дергайте... или нет... подождите минутку... Скажите, пожалуйста, что это за дьявольщина — рак?

— Как вам сказать?.. Неспециалисту это понять довольно трудно... Я поясню примером: представьте кусок тонкой шелковой ткани, которую разъедает какая-нибудь грубая ткань...

— Уф, как заныл, проклятый! Да, мудрено... Но ученьем до всего дойти можно... Скажите на милость, чахотку голодом, пьянство стрихнином стали лечить! Да... ученый народ — тонкие штучки... Обратите внимание: Пастер, там, с бешенством, наш Гамалей с холерой... Холеру, бешенство прививают?! [1] В средние бы века, доктор, во времена инквизиции не сносить бы им головы, припекли бы их каленым железом, а теперь их за первых благодетелей человечества чтут! Чудеса! Ученье свет, так сказать...

Неученый народ — темный народ, хотя и между ним люди с дарованием попадаются... Верст за пятнадцать от именья — старуха Гуслиха (так, немудрящая старуха, по виду грош ей цена!) народ травами лечит... Со змеиными укусами, с порчей к ней ходят и... тово... довольно удачно... В прошедшем году удивительный случай был!.. Мельник...

— Мельник Кузьма?

— Кузьма! Я уж вам эту историю рассказывал? Удивительный случай!

— М-да... Удивительный... Ну, что же, теперь можно тащить?

— Зуб-то?.. Гм... Так вы решительно советуете вырвать?

— В сотый раз вам говорю — да...

— М-м... нужно будет... И пустяковая боль?

— Самая пустяковая...

— Да... Я и от Ивана Петровича слышал, что пустяковая: он себе зуб дергал... Да ведь, собственно говоря, отчего же тут страшной боли быть? Не от чего! Зуб не рука, не нога... Вот если бы руку, ногу дергать, дело десятое... Почти без боли?

— Да, да!!

— Это хорошо, что почти без боли... Это... великолепно! Тут и самый трусливый человек задумываться не станет: дернул — и конец! Знаете что, доктор... Я... я... завтра непременно его дерну! Что на него, на подлеца, смотреть?!

— То есть как же это завтра? — деревенеет доктор.— Ведь вы же нынче решили?..

— Нынче?.. Да уж день-то куда ни шло, черт с ним, перетерплю! Больше недели терпел, а один день — пустяковая штука, вместо удовольствия. Перетерплю и дерну! Ежели завтра не дерну, плюньте мне, доктор, в глаза! Век из дураков мне не выйти, ежели я его не выдерну завтрашний день!

— Э-э-эх, дергали бы сегодня! — вздыхает доктор.

— Нет, вы совсем-таки странный человек! — обижается Кружков.— Как же это — *вдруг* дергать? Сел, да и дернул?! Один день-то куда уж ни шел!.. До свидания, голубчик! Но если завтра не выдерну — не видать мне жены и детей!!!

Кружков берет шляпу и пятится к двери. Доктор пожимает плечами и с презрением смотрит ему вслед.

НА РАБОТУ

Время шло к сумеркам.

Осеннее небо было сплошь затянуто ровными серыми тучами, напоминавшими вспотевшее стекло. Пушистый и мягкий, как вата, снег, шедший с утра, остановился, будто задумался — идти ему или не идти, опять начал беззвучно опускаться на голые, как хлысты, сучья берез, на мохнатую стену елок, на мерзлую землю и вскоре повалил целыми шапками...

В лесу было тихо и пусто, точно все вымерло; редко-редко что-то трещало по верхушкам, а в рыхлый снег падал обломившийся сучок; и когда замирал звук от удара, лес становился еще молчаливее и тише...

Вдруг над деревьями пробежал легкий порыв ветра, потом еще — сильнее, верхушки вздрогнули, затряслись и застонали; поднялась вьюга; безмолвный доселе лес заговорил... Снежинки уже не падали беззвучно и дружно, как прежде, а крутились и плясали, точно безумные, останавливались на мгновенье и, подхваченные ветром, неслись дальше... Скоро и голые сучья берез, и мохнатые ели, и изрезанную колеями, точно крупными рубцами, дорогу заволокло снежным туманом; туман то сгущался, то прорывался; из тумана быстро выскакивали или дорожная канава, или поваленная ветром ель и так же быстро скрывались.

Проехала тройка. Пристяжные храпели и отворачивали от ветра головы; ямщик с поднятым у армяка воротником сидел на козлах неподвижно, как мертвый; забитые снегом колокольчики звякали глухо и боязливо... Вьюга переждала, сорвалась с места и помчалась за тройкой...

— Господи Иисусе... Матерь божия... Как вертеть начала!..— бормочет на дороге чей-то голос.— Ты здесь, Ларивон?

Говорящий видит дорожный мостик, вздыхает и останавливается...

— Здесь, дядя Архип... здесь...— доносится сбоку.

— Не отставай, парень... Трафь на голос... Ах, чтоб тебе!

Дядя Архип протирает глаза и всматривается в дорогу. Через минуту сквозь снег обрисовывается темное пятно, и к дяде Архипу подходит молодой мужик — тот, кого он называет Ларионом. У обоих котомки; оба одеты в ту рвань, для которой уже нет определенного названия, в ко-

торую облечены дровоколы, сборщики на погорелое место и прочий бесприютный народ, и оба занесены снегом...

— Тут ежели вправо по просеке взять, полверсты до сторожки не будет...— говорит Архип нерешительно.— Свернем, что ли?

Он крякает и сбивает снег с шапки; Ларион, больной парень с впалой грудью и блестящими глазами, присаживается на мосток, тяжело дышит и говорит тихо:

— Свернем... отчего ж не свернуть...

— Свернем, братец... В такую погоду да чтоб не свернуть... невозможно!..

Ларион поднимается, и они начинают шагать по просеке; до брошенной сторожки действительно не больше полуверсты. Архип тычет в дверь, и мужики влезают в грязную, закопченную сторожку; дверь притворяется не плотно, снег врывается в сотню щелей, но все же в сторожке теплей, чем на дороге...

Старик сбрасывает котомку и приносит сучьев; скоро в сторожке весело потрескивает огонь, борясь с мутными, давно наступившими в глубине леса сумерками и тьмой, которая глядит из каждого угла...

Всматриваясь в товарища, Архип хлопает себя по коленкам и озабоченно покачивает головой.

— Пожуй хлебца,— протягивает он Лариону вынутый из котомки хлеб.— Пожуй, сколько осилишь... Где ж это такое правило, чтобы без пропитания существовать?!

Ларион берет хлеб, откусывает и начинает жевать медленно и равнодушно, как жуют больные, сытые или те люди, которым некуда спешить...

— Никакого аппетиту! — вздыхает Архип.— Только звание, что ешь... Как тебя, ежова голова, завернуло!..

— Поправлюсь, дядя Архип,— пробует улыбнуться парень, но улыбки не выходит.— Я вот передохну малость — и опять хоть куда!.. В лучшем виде дошагаю...

Дядя Архип с сомнением взглядывает на Лариона.

— Погодка! — говорит он, помолчавши и, очевидно, желая переменить разговор.— Ишь снегу насыпало! Точно его прорвало, шельмеца! Что ж это будет, ежели дальше так... какие такие дороги?!

Он бормочет еще что-то о погоде и дорогах, но в голову упорно лезет больной Ларион, и в конце концов Архип поворачивает на старое.

— А ты бодрись, парень! — говорит он горячо.— Гони болезнь, не давай ей на себя наседать... Старайся, парень...

— Я и то бодрюсь, дядя Архип...

— Хорошенько бодрись... Это первое дело, чтобы нос не вешать... Грудь ежели заложило, махорки хвати — отдерет... Сейчас я тебе козью ножку...

— Не... неохота...

— Гляди веселей... Ну, чего ты глядишь, ровно помирать собрался?!

— И то, дядя Архип, кажется...

— Какие такие ты слова говоришь?! — хлопает себя старик по коленкам.— Даже и слушать нехорошо... Вот бросить тебя за эти слова середь лесу?! Побей бог, бросить!

Архип трясет головой и, взволнованный, выходит из сторожки за сучками.

Вьюга не унимается и качает деревья; к ночи становится холодней; мелкий снег, как иголками, колет лицо и руки Архипа, пока старик впотьмах нащупывает сучки...

— Крутит, подлюга! — говорит он, отряхиваясь и топая ногами.— Вчистую замело...

Вернувшись в сторожку, Архип бросает груду сучьев в огонь, и сторожка тонет во мраке; приглушенный огонь почти тухнет; но там, внизу, идет неугомонная работа, робкие и короткие языки тянутся все выше и выше, и скоро все сучья сливаются в один огненный ком...

— Ну, что, отдышал? — спрашивает дядя Архип с тревогой.

— Плохо, дядя Архип...

— Авось к утру отпустит,— бодрится старик.— Главное дело, духом не падай... Только бы нам до места дойти, а там, брат, народ хороший, что хочешь выпользует... Умственный народ!

— Умственный?

— Там, братец, всякую болезнь разберут, что и отчего... Я сам в больнице лежал... доводилось... Чтобы мне да порядков не знать?! Я, братец, все до тонкости...

Архип радуется, что находит подходящий разговор, и начинает рассказывать про больницу, про городскую жизнь. Послушать его — и в больнице, и в городе, куда они с Ларионом идут на работу — промыслить что-нибудь по очистке снега или по другому чему,— чуть не рай. Архип даже и сам, кажется, проникается верой в свои рассказы; речь его течет ровно и медленно, точно старик боится, что великолепная тема иссякнет, светлые картины улетучатся и он опять останется с скверною действительностью лицом к лицу...

— А из больницы выйдешь, ежели работать невмоготу, там, брат, народ добрый... добреющей души народ... по пятаку, по гривеннику дают, окромя того, что хлеба в каждой лавке... К землякам сходим, к дяде Миките, к Гуру Гурычу... Не может быть, чтобы этакие люди да не помогли!.. Ты только насчет поправки старайся, остальное, брат, наплевать...

Красный, как кровь, уголь отскакивает от огня и разбрасывает во все стороны искры; дядя Архип кидает его обратно, крестится и умолкает.

Старику вспоминается, как бесплодно ходил он по землякам за работой, вспоминается, что ему самому приходилось получать пятаки, только совсем не по выходе из больницы, вспоминается голодуха, и он конфузливо крякает, сохраняя, впрочем, ужасное удовольствие на лице — воспоминание будто бы приятной городской жизни.

Но Ларион не слышит и не видит дяди Архипа; он лежит на полу и бормочет что-то, унесенный бредом далеко и от лесу, и от дяди Архипа, и от сторожки...

Старика охватывает ужас за парня.

— Ой, не дойдет! Пропадет ни за грош, ни за деньгу... пропадет на манер червя! — вздыхает Архип и снова бредет за сучками.— Матерь божия!.. Угоднички! Пропадет... Что ж с его старухой будет?!

Сучки еще есть, но старик собирает их, чтобы забыться; когда бродишь по снегу и ветер бьет в лицо, можно ни о чем не думать...

А вьюга точно взяла подряд выть и метаться, ей ни до чего нет дела — ни до Архипа, ни до Лариона; она хозяйка в лесу, бешено скачет, как вырвавшийся из клетки зверь, и насыпает целые горы снегу. Не видно ни неба, ни лесу.

— Господи Иисусе... ежели в этакое время в поле кого перейдет!..— шепчет Архип и шагает к сторожке...— Матерь божия,— выноси!

Ларион по-прежнему бредит; потухающие угли вспыхивают редко-редко синим огнем; Архип подбрасывает еще сучков и ложится...

До утра — целая вечность...





БЕЗ АДРЕСА

(Письма неизвестного)

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Село ***кое, 1867 г., 23 июня.

Моя бесценная!

Посылаю тебе в этом письме тишину летней ночи, свет бледной луны, а с ними и мою любящую, взволнованную душу. Сердце мое трепещет. Я полон думы о тебе, моей дорогой, моей ненаглядной! Сижу в крестьянской избе и пишу. Окно мое открыто. Видна поляна, от лунного света вся трава поляны серебрится, как быстрая речка; туман вьется над болотом и качается как огромное белое привидение; неподвижные, как холмы, стоят большие деревья; и слышатся мне тихие звуки ночи, вздох согретой земли, крики ночных птиц; и все это так хорошо — и так печально... Я долго стоял и глядел в окно, дыша теплым воздухом, любуясь, как светлые тучки бежали по месяцу и не могли покрыть его тенью. А на меня глядели дрожащие звезды; они шевелились, горели, переливались едва уловимыми, но разнообразными красками... О звезды, грустные звезды! Мне тяжело смотреть на ваш миллион очей. Почему? И сам не знаю... Господи, да мне все грустно: и вид звезд, и солнечное утро, и тихий вечер... Я не помню дня, чтобы когда-нибудь я чувствовал себя с утра до вечера счастливым. Вся жизнь моя проникнута неудачами, темным горем, вся жизнь от самого детства. Ты не можешь представить, как я был всегда беден, заброшен, безоружен... В самом деле, ты обо мне очень мало знаешь: почти ничего. Ты пока только видишь и чувствуешь мою к тебе

любовь, но жизни прошлой моей ты не знаешь. Я расскажу тебе все; я душу тебе мою открою. Верю, что ты, ангел мой пресвятой, пожалеешь меня, поплачешь под мой рассказ, но ты будь покойна и знай, что с этих пор, как я стал твоим, горе мое выцвело. Когда ты возле меня и глядишь, словно эти звезды и месяц печальный, прямо в мое лицо — я замираю от счастья, я полон любви и в этот миг точно слышу твой лепет, разбираю слова: «Не грусти, я с тобою!» И я беру тебя мысленно за руки, жму их, долго целую и говорю: вот бы умереть когда! Но нет, нет! Я сказал глупость. Именно теперь я и не хочу умереть. Ведь я — глупый человек! — я только что нашел тебя, мы только что полюбили друг друга. Да, я теперь хочу и буду жить. Пусть будет горе, несчастье, неудачи; пусть все против меня — я стерплю. Только когда уж очень станет больно, ты в эти скорбные минуты приходи, прилетай ко мне почаще, дольше гляди на меня кроткими глазами, ласкай меня тонкой рукой, шепчи слова любви и ободрения... Ведь так? О да! Я слышу твой ответ, нежный, как шелест листа, как всплеск маленькой рыбы на спящей воде...

Сейчас я буду писать о себе. Я хотел бы рассказать тебе про мое детство, юность — и так до настоящих дней довести мою грустную автобиографию. Я уж было начал, исписал полстраницы и спохватился. Долой все, зачеркиваю с первой до последней строки. Как я глуп и странен! Если ты знаешь мою душу, видишь мое сердце и понимаешь, как я тебя люблю, значит, ты знаешь и все прошлое. Огнем пробежала в моей голове эта мысль... Да, да, тебе все известно! К чему же писать, если достаточно подумать — и сейчас эту думу ты услышишь и прочитаешь. Наконец, писать о моем грязном прошлом в высшей степени тяжело. Я скажу коротко, что ты пришла ко мне в самую грустную пору, в те мгновения, когда жизнь казалась смертью, когда одиночество терзало меня, как голодный зверь, а люди еще сильнее, когда я уж думал о самоубийстве,— вдруг я ощутил тебя! И снова я поглядел на жизнь ласковым взглядом, лето поразило меня красотой, светлая речка заговорила о том, что как хорошо напиться воды, утолить жажду, а не только одно: кинься, кинься вниз головой в глубокий омут!

Мое письмо ужасно странно — для каждого другого человека. Но только не для меня и не для тебя, моя бесценная! Я сейчас прочел написанное и даже засмеялся от радости. Я говорю с кем-то, пишу на бумаге кому-то нежные

слова, ласкаюсь, признаюсь в любви... Ах, как это чудесно! Я смеюсь и плачу от восторга! Да, непонятен наш разговор для посторонних людей (и слава богу, что непонятен!), но как это на самом деле все просто! Неужели нельзя сообразить, что ты, моя любимая подруга, которой я пишу это письмо и много буду писать еще писем,— что ты... *мечта?!* Да, я тебя выдумал. Ты — мое создание. И вышло чудо: бог создал людей, подобных мне — ничтожных, лживых, злых, малодушных, а я — ничтожнейший и малодушнейший человек,— я создал божество — тебя! О, прелесть моя! Чистая, прекрасная женщина! Ты то дитя, тот идеал, к которому стремился я всю жизнь... Не сумасшедший ли я? Нет, я мыслю здраво. Но я готов сойти с ума, чтобы только быть счастливым. А я теперь счастлив. Уж это не мечта, а действительность, несомненный факт. Я не встречал женской любви, то есть такой, какую мне хотелось: чистую, полную, беззаветную. А теперь я встретил. Прежде я не любил по-своему: безумно, глубоко, нежно, страстно. А теперь люблю, люблю! Что ж, пусть я близок к помешательству. Зачем мне ум, здравый смысл, практичность! Все это вздор на нашем грустном свете. Один есть дар, одно существует блаженное счастье: взаимная любовь!

Ты, моя дорогая, конечно, лучше меня в сто тысяч раз. Ты — совершенство. Но я тебя представляю по-своему, как мне нравится. Я до того люблю, что иногда вижу тебя перед собой. Вот твой портрет: ты невысока ростом, глядишь девочкой лет семнадцати, хотя на самом деле тебе двадцать три года; у тебя маленькие руки; твоя голова покрыта соломенной шляпой, из-под которой опускается длинная белокурая коса; твое лицо похоже на лики святых мучениц, хотя на нем нет страдальческого выражения; глаза твои голубые, нежные, честные — редкость женского лица; уста твои нервны, розовы; подбородок маленький, тоже нервный, с особенной черточкой; твоя улыбка — эхо божьей радости и твоя главная прелесть; на тебе надето серое платье, в руках зонтик светло-зеленого цвета... Иногда ты глядишь печально, и в тот миг мне рыдать хочется. Едва ты улыбнешься — душа моя горит от веселья. А то сложишь ты свои губы серьезно, наморщишь тонкие брови, и я понимаю, что ты хочешь поговорить со мной, дать совет... Господи, как сладко мне представлять тебя и видеть, моя голубка! Мало того: я часто слышу твой голос; он у тебя тихий, но внятный, серебряный, поющий... Вот

ты сейчас передо мной: снимаешь с головы шляпу, на шляпе я вижу белые ленты — если бы мне одну на память! В волосах у тебя цветы — сиреневая ветка. Ты поправляешь прическу, а на твоем безымянном пальце правой руки надето золотое кольцо с опалом в бриллиантиках. Это единственная роскошь, которая даже странна при нашем положении. Но это — вообразим так — мой подарок, купленный после долгих экономий и сбережений. Я теперь подарил тебе перстень, в память нашей духовной встречи, в память нашего счастия и любви... Как же зовут тебя, мой милый друг? Увы, я не нашел для тебя достойного имени. Все женские имена покрыты бесславием тех, которые их носят. Оскверню ли тебя человеческим, женским именем? Нет. Впрочем, у тебя есть имя — прелестное, хорошее, мной любимое: ты — мое счастье! Вот оно, твое имя. Лучшего я для тебя придумать не могу.

Завтра мне предстоит долгое шагание в Москву. У меня нет денег, нет друзей. Моя одежда изорвана, лицо смотрит больным. Позади я оставил сорок лет грусти и страданий, впереди меня ждет такое же горе. А я все-таки счастлив. Пишу это письмо, читаю его и чую себя на небе. А все потому, что ты возле меня. Знаешь, когда я стану умирать, не забудь: явись ко мне, поцелуй в последний раз и закрой мне глаза. Я хочу в мою смертную минуту видеть перед лицом не фигуру больничной сиделки, не соседа на койке, не даже голубое небо с далекими облаками, а твои кроткие глаза, твои черты небесные, розовые уста, их улыбку, дрожание, лепет... И чтобы ты взглянула на меня и сказала только два слова:

— Я здесь...

Прости, не буду говорить о смерти. Вот что, мой милый друг! Давай погадаем — что ждет нас в будущем? Впрочем, и это лишнее. Зачем гадать? Что бы ни случилось, мы рука об руку встретим и злую беду, и маленькую радость. И я твердо верю, что теперь меня ждет успех. Ты мне, мое счастие, принесешь удачу. Как мне легко! Как глубоко вздыхают мои легкие! Вон уж заря встает; утро застало меня с пером в руке. Я не хочу спать, не могу. Век бы говорить с тобой, век думать о тебе, писать такие же письма...

Ночь побледнела... Не ты ли, горе мое, бежишь вместе с тьмой? Уж близок восход солнца... о, взойди! Взойди, солнце любви моей, согрей меня, оживи! Я засыхал, гибнул, терялся в глубокой мгле... Ах, вот и оно, прекрасное солнце! Друг мой, какие светлые лучи... Я ослеплен! По-

следний холод ночи покрылся туманной теплотой... Какое пламя на небе! Кто зажег его таким чудным и разноцветным? Кто в сердце мне заронил теплый луч надежды, кто?!

И ты, моя подруга, ты тоже мое солнце! Ты горишь для меня так же светло и прекрасно! Здравствуй же, мое солнце, мой летний день, моя молодая надежда, мое счастье!!

Едва я написал эти слова, как в избу вошел мой домохозяин, крестьянин здешнего села, Андрон Филатов, или, как зовут его, дед Филатыч. Принес мне пяток печеных яиц, ломоть хлеба и кринку молока.

— На, поешь на дорогу,— сказал он.

— Спасибо, старый. Только чем я тебе уплачу-то? Один у меня гривенник, и тот в Москве понадобится...

— И, ну тебя к проказнику с гривенником! Нешто вас, нищих, за корысть в дом пущают и хлебом кормят! Я вот тебя приютил, а ты за это самое помяни всех сродников и всех православных христиан...

Проговорив эти слова, дед сел, поглядел на меня из-под ладони и спросил:

— Странный человек будешь, соколик?

— Нет, дедушка, я по письменной части.

— По письменной? В писарях, значит. То-то, вижу, строчишь. К сродственникам, что ли, царапаешь?

— Да...

— На чужую сторону али в родную пору пробираешься?

Вижу, что любопытен дед, поболтать охоч. Рассказал ему коротко свои дела, про свою судьбу несчастную помянул, а дед внимательно выслушал да и говорит:

— А ты вот что, парень: ты это оставь — роптать. Дело твое молодое (дед был подслеповат, за молодого меня принял), все, брат, перетрется, перемелется, и мука будет. Придешь ты в Москву, сходи к угодникам, помолись, и даст тебе бог помощь, место себе обрящешь. Апосля того, как попадешь-то на место, то есть, не заносись, не гордись, потрафлять хозяину старайся, хребет погни. Ну, тогда и оперишься. Помянешь в те поры меня, старого. А роптать, парень,— великий грех. Я вот сынов и внуков лишился, один маюсь, с пчелами, а не ропщу. А у тебя еще молоко на губах не обсохло!

Я не противоречил. Не стал разъяснять старику, что мне уж сорок лет и что невозможно гнуть хребет там, где встречаются зло и злые люди. Спасибо, однако, тебе, дед, за ласковое слово! Из глубины твоей мохом обросшей души

оно вышло попросту, без ухищрений. В самом деле, вот добрый старик: приютил, накормил, от платежа отказался и совет нравственный дал. Кто научил этого деда быть таким? Кто шепнул ему такие правила и заповеди?

Вот видишь, моя дорогая, не успел я тебе написать о том, что ты светишься мне счастливой звездочкой, как слова мои оправдываются: уж нас обласкали и ободрили... Будем же надеяться, что впереди нас опять встретит и ласка, и доброе слово... А теперь — в путь. Пора. Я знаю, ты сейчас начнешь говорить:

«Голубчик, куда же ты торопишься? Ты не спал ночь, тебе необходимо отдохнуть».

Не беспокойся обо мне, бесценная! Я отдохну днем, на дороге, где-нибудь в роще, когда будет жарко идти. А теперь надо спешить. Прощай, дед! Ухожу...

Смотрю, старик уж бредет в избу.

— Вот, паренек,— говорит он.— Засунь-ка в торбу...

И протягивает мне маленький, недавно испеченный хлеб.

— Дедушка, воздай тебе бог! За что даришь?

— Ну, чего еще там... Не велика дача... У нас, в нашем околотке, хлеба ноне, слава тебе господи, урожайно... Ступай себе с богом.

Ну, до свидания, моя голубка! Напишу тебе еще несколько строк сегодня вечером, когда приду на постоялый двор, под Москвой. До свидания, радость моя! Но чего я прощаюсь с тобой? Ведь ты будешь со мной и в дороге, я буду разговаривать с тобой, вместе глядеть на зелень и цветы... да, да, ты будешь со мною! Счастье мое! И короток выйдет мой путь, не замечу я усталости. Пойдем же! С богом вперед!..

Утро 24-го июня.

Я уж возле Москвы. Отдохну часика два — и опять в поход! Окончу письмо уж в столице... С богом вперед!

Москва, 1-го июля.

Вот где пришлось мне дописывать к тебе мое письмо, мой бесценнейший друг: в бесплатной городской читальне! Сюда меня едва впустили, благодаря неприличию одежды. Только библиотекарша, убедясь, что я вполне трезв, велела сторожу меня впустить...

Ах, моя прелесть! Уж с неделю терплю я в Москве ужасную нищету... Куда ни заходил, кого ни просил —

нигде не нашел работы. Голубушка, чего мы только не претерпели! Особенно трудно было — протянуть руку за подаянием... Когда мне положили в ладонь деньги, монета жгла мне пальцы. Я в эту минуту видел и тебя: твое лицо было в слезах... Вот и сейчас оно мерещится мне — грустное, плачущее... Ради Христа, не тоскуй! Я не могу видеть твоих слез, я готов рвать свои волосы, бить себя по щекам, сам биться головой о стены... Если я несчастен — куда ни шло. Но если ты станешь глядеть на меня такой страдалицей, я не выдержу, я зареву, как мальчишка... Опять, опять твое лицо, и опять оно бледно, скорбно, из глаз его бегут слезы... Что же ты хочешь, чтобы я сошел с ума?! Слушай: я еще не убит, я могу бороться, я еще могу быть твердым. Я вынесу еще, но с тобой мне не страшна нищета. Ободрись! А хочешь, чтобы и я ободрился,— взгляни на меня нежно, улыбнись, улыбнись... О, счастье мое! Зашел я сюда, чтобы на бумагу передать мою тоску. Написал тебе всего страничку, а сердцу легче! Сейчас мы выйдем из этой комнаты: ждет нас опять огромный и чуждый город с большими домами, богатыми магазинами, сотнями тысяч людей, с горем и радостями, с туманным и пыльным воздухом... Что же встретим мы? Опять голод, нужду, страх о куске хлеба, людское бездушие? О, все равно! Какой бы ужас ни ждал нас — вперед! Вперед, моя дорогая подруга, моя любовь, мое счастие! С богом вперед!

*Твой И*** К***.*

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Москва, 1870 г., 11 февраля.

Безымянное создание моей глупости!

Разбирал я на днях свой письменный стол и наткнулся на интересное письмецо от чудака И*** К*** к... неизвестно кому. Ведь вот до чего, подумаешь, мыслящий человек дойти может с голодухи! Честное слово, тут каждая строка сумасшедшим домом пахнет. И каким нежным тоном написано... Фу, черт возьми, неужели это был я три года тому назад?! Не может быть, меня или тогда, или теперь подменили. Признаться, я успел забыть о прошлом. Оно, это самое мое прошлое, весьма отвратительно, и не стоит его помнить. Что было — то сплыло. От грязи и бедности меня избавил случай. Но теперь меня бесит, как

я мог именно в трудную жизни минуту быть такой тряпкой, нытиком, мизераблем? * Ишь ведь как выражался я тогда — просто стыдно перечитывать... И как я лгал! Просто вел себя как идеалист-гимназист, который в университете уже думает по-другому, а кончив курс — мыслит на чиновный манер. Право, можно подумать, что эти ничтожные листы бумаги писаны двадцать лет позже, а отнюдь не только за три года... И чему я, дурак, умилялся? Собственному недомыслию? Изобрести какую-то мечту женского пола, однако, писать ему письма без адреса... удивительно!

Уф! Всю дребедень перечитал. Сжечь ее разве? Нет, пусть валяется... ради курьеза. Мало того, я попробую потолковать от скуки — с тем безымянным созданием, в которое был, во всяком случае, сильно, хотя и глупо влюблен. Кстати, я сегодня раздражен, хотя с другой стороны — когда же я бываю не раздражен? Ну, так, чтобы сорвать злость, напишу несколько глупых фраз. Чем бы мою старинную приятельницу уязвить получше, побольше? Она стоит того. А только все это дошло до крайности... Впрочем, к свиньям анализ. Надоело. Уж лучше позабавиться.

Ну-с, милостивая государыня (не Анна Непомнящая ли?), поговорим. Во-первых, с прискорбием извещаю вас, что я женат. Что-с, не ожидали этакого реприманда ** от верного-то друга? Так точно, женат самым законным браком, женат на богатой старой ведьме. Подробности слишком шаблонны, чтобы их рассказывать. Да и не хочу: я брезглив. Во-вторых, можете себе представить, я — Шейлок [1]. В самом деле, я занимаюсь учетом векселей, чем занимался первый муж моей теперешней супруги, московский купец Кулешников. Разумеется, я не сосу кровь, как другие процентщики, но в принципе я все-таки занимаюсь подлым делом. С особенным удовольствием про это уведомляю вас и даже маленький вопросец даю: где же вы тогда были, бесценная? Что бы догадаться, спасти друга, направить его на благое дело? Впрочем, не послушал бы я тогда вас. Уж очень денежная лихорадка мной завладела. То не было ни гроша — то триста тысяч сверкнули. Ну, и озверел. Только вот этот год солон мне пришелся: опять самоанализ замучил, ну, и деньги примелькались...

---

* ничтожеством (от *фр.* misérable).

** Здесь: неожиданного сообщения (от *фр.* réprimande — выговор).

Сначала я думал, что спокойствие духа зависит от полного кармана. Оказывается, чистейший вздор такая копеечная теория.

Как я жил, сделавшись богатым? Сейчас скажу. Это вас оскорбит, замажет грязью, а я буду рад. Нет мести лучшей, как замарать то чистое, которое от нас убежало и теперь недосягаемо... Заполучив куш, я пустился в чревоугодие и разврат. Это самое первое. Я ел, нет — жрал. Я пил, нет — пьянствовал. Я наслаждался женщинами, нет — делался сладострастным, гадким насекомым, окунался в самый утонченно-мерзейший разврат. Когда же здоровье пошатнулось, я ударился в другое: в хищение. Я вдруг ожидовел, сделался Плюшкиным, трясся над копейкой. Я попрекал свою жену за то, что она тратила собственные деньги, я принимался за разные коммерческие обороты, если чуял хотя грошовую выгоду, я покупал и перепродавал дома, я хотел приобретать все больше, больше... Но это продолжалось недолго. Скоро настал мой третий период: сознание своей гнусности, глупости, бесполезной мелочности. И явилась ужасная злоба, разлилась желчь, обуяло человеконенавистничество безмерное... Я вдруг сознал, что все на свете гадко: я сам, все люди, все... И в то же время у меня была испуганная, но никогда не покидающая меня думка: это о том, что есть же, есть что-то в жизни, что достойно хвалы и желаний. Что же это такое? Совесть без упрека, любовный и кроткий склад сердца? А их-то у меня и нет! Я мучу себя упреками, я презираю себя, ненавижу... но еще больше кипит моя злоба против моего прошлого, когда я был глуп и... (сознаюсь с трудом) все-таки честен... Даже в то время — всего три года назад — я не был стариком в душе. Я даже любил! Пусть я любил, как идиот, какую-то мечту, но... теперь и этого нет. Мне грустно, скучно, больно. Я ненавижу мою жизнь — и страшно боюсь смерти. А она неизбежна, она, быть может, близка! И застанет меня эта смерть не в счастье, а среди самых горестных соображений, терзаний и физических болезней...

Я вхожу во вкус, продолжая писать вам, бывшая подруга безденежного И *** К ***. Вы, быть может, думаете, что я и сейчас шучу? Нет, ей-богу. Мне приятно подурачиться. Я не ожидал, что так стану писать. Что-то другое водит моей рукой: болезненное, дикое, неопределенное... И если бы ты, курьезная мечта, была человеком, то, я уверен, между нами произошел бы следующий диалог.

Я. Ну-с, безымянная женщина с белокурыми волосами, о чем вы думаете? Отчего ваше лицо покрыто слезами?

Вы. Я плачу о моем друге.

Я. Да разве он умер? Помилуйте, он перед вами. Только, как ящерица, он кожу свою переменил.

Вы. Неправда, мой друг умер. Тот, кого я вижу сейчас, другой, ужасный для меня человек. Но, может быть, он оживет... дух его воскреснет, сердце смягчится, душа заноет обо мне и...

Я. И полетит к вам в объятия? Как бы не так! Дожидайтесь.

Вы. Что ж, я подожду. Его возвращение ко мне будет его смертью. Я погляжу ему в лицо, улыбнусь ему знакомой улыбкой, закрою рукой его глаза... и он заснет, чтобы никогда не просыпаться!

. . . .

Прочитал «диалог» и все письмо. Я изумлен. Что это? Я становлюсь глупее, чем три года назад? Впрочем, сначала подумаю. Гм... Я подумал. Мало того, я решил задачу.

Вот что: подруга без имени здесь с боку припека. Я начал писать, потому что нельзя всю жизнь молчать. И если некому рассказать о своей тоске, некому довериться, то поневоле создашь мечту или просто схватишься за бумагу, перо и чернила. Оба мои письма — старое и настоящее — крик исстрадавшегося сердца (как это мне раньше в голову не пришло?). В самом деле, говорил же цирюльник дереву об ослиных ушах Мидаса![2] Поэтому человеку XIX столетия вполне возможно и простительно, даже логично, не имея ни друга, ни жены, ни верной любовницы, поверять свою скорбь бумаге, мечте, безымянному созданию, etc.

Да, мне тяжко. Я изнываю... я один. Женщина, на которой я женат, невыносима для меня. Я, положим, могу жить, как и с кем хочу... Но ведь у меня есть такой уголок души, в котором прячется моя живучая, ничем не заглушимая совесть. Она считается со мной, она меня точит, как невидимый червь. Ее упреки справедливы, но от этого мне не легче. Да и жить тяжело, и песня моя пропета. Вот зеркало: что за старик глядит в него? Это — я. Морщины, бесцветные глаза, седые волосы, начинающие дрожать руки... Стучат? Кто еще там? Войдите...

Какой странный сейчас вышел случай... Так и быть, запишу и его в это «курьезное письмо»...

Вошел мой лакей, похожий на действительного статского советника, и притом не в отставке, а при важном посту. Такая у моего Федора чиповная мина... Вошел и докладывает бархатным баритоном:

— Господин Иволгин. Прикажете принять-с?

— Гм! Ну, пожалуй, зови его... Как он надоедлив...

Лакея сменяет человек одних лет со мной, даже постарше несколько. У него разбегающиеся глаза, красное лицо, мешки под глазами (видно, тоже хорошо жил барин!), но очень порядочные манеры и одежда. Человек этот трясется от волнения и старается это скрыть.

— Что скажете? — говорю я, указывая ему на кресло.

— Я к вам...— говорит он дребезжащим и словно мокрым голосом.— С прежней просьбой...

— Отсрочить продажу вашего дома? Не могу.

— Ради бога...

— Ах, как это скучно! Из-за чего вы хлопочете? Все равно, поздно ли, рано ли, а дом продать придется. Ведь денег у вас не будет.

— Почем знать... Если вы повремените месяца два, то я... я надеюсь получить из Казани девять тысяч, которые...

— Которые вы ожидаете получить уже четвертый год?

— Да... но теперь... я надеюсь, я хлопочу...

Старик вынул платок и обмахнулся.

— Я бы мог, в случае вашего согласия, иметь пристанище с семьей... мог усиленно хлопотать... съездить...

Он опять пустил в ход платок. Я вперил в просителя мой болезненный, злобный взгляд. Он почувствовал это и весь пожался.

«Ишь, старый глупец! — подумал я.— Разорил детей, не сберег их родовое гнездо и сидит теперь, как перед виселицей... и небось ругает меня, ненавидит рабски... О, как все мне противны! А ведь в моих руках это лягушечье сердце... захочу — и жить ему дам!»

— Послушайте...— спросил я и замолчал, колеблясь.

В это время я увидал мое старое письмо к безымянной женщине. Что-то укололо меня. Я усмехнулся и сказал должнику:

— Я знаю, у вас пять человек детей, дочь больная, еще кто-то из родни у вас на шее сидит... Хотите я позволю вам жить в вашем доме всегда, но с условием: платить

мце по пятьсот рублей в год? Таким образом, вы будете погашать долг постепенно...

Иволгин побледнел, потом побагровел.

— Не... нехорошо...— пролепетал он.— Не годится... смеяться...

Его душило.

— Я не шучу,— торопливо сказал я.— Мне жаль вашу семью, я делаю доброе дело для ваших детей и ради... одного создания без имени. Садитесь, пишите... я продиктую вам другое условие, а вексель ваш разорву.

И когда я привел в исполнение обещанное, Иволгин, не веривший до последнего момента, вдруг заплакал, задрожал, схватил мою руку и поцеловал ее... Я не успел отнять пальцы. Меня просто ударило по сердцу: стыдно и противно сделалось...

— Пожалуйста, без всяких благодарностей... Не надо мне ничего... уходите...— стиснув зубы, сказал я.— Рад, что помог вам...

Он еще прошепелявил какую-то фразу, поглядел на меня слезящимися, безумно-радостными глазами и вышел из кабинета походкой пьяного...

Создание без имени, довольно ли ты мной?

*И *** К ***.*

P. S. Я больше не буду писать... Я как-то вдруг ослабел. И все мне кажется диким: мои злобные речи, мой неожиданный филантропический дебют, этот постскриптум...

Эх, напиться, что ли!

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Село N, Московской губернии,
1874 года, мая 9 дня.

Несуществовавший друг!

Я разбираю и привожу в порядок мои документы, счета, письма, записки, векселя. Многое необходимо уничтожить. Затем, на прощание, черкну тебе эту записку (по старой памяти) и буду готовиться к смерти. Я угасаю. Болезнь моя, кажется, неизлечима. Я теперь похож на скелет. Невольно я задумался над двумя письмами, которые писаны мною в разные периоды моей жизни. Каким чудаком уродился я! Ну, это еще ничего — писать мечте, но браниться с мечтой, желать ее унизить, как это было

во втором письме,— это просто безобразно. Впрочем, я только теперь ясно гляжу вокруг себя. А прежде все было в тумане. При этом мой характер виноват. Я родился, как мне кажется, «запертым» человеком, то есть очень скрытным, недоверчивым. А жизнь постаралась возрастить эти особенности, и получилось в итоге что-то странное и ненормальное. Я вышел до того скептиком, что мог довериться одной мечте, созданию собственной больной фантазии. Вот почему я не нашел живого друга, а сочинил его, и он явился ко мне, сотканный из сновидений, из моих чистых желаний... Теперь я думаю, что моя безымянная подруга не есть причина и предлог для жалоб, для писем о своих горестных днях; это, напротив, следствие скрытности, верх недоверчивости, это стремление к типу, который, как мне думалось, не существовал и не мог существовать. Я ничего не встретил в жизни светлого и верного, и я решил, что подобного нет в жизни; тогда я его вообразил, идеализировал...

Но рассуждения мои — скучная материя. Лучше я поговорю с моим не жившим другом по-прежнему, с любовью, тихо, кротко и прощусь с ним...

Два слова о себе — и уж в последний раз.

Я теперь живу на даче. У меня отличный сад: в нем много цветов, зелени. Я открыл мое окно и дышу деревенским воздухом, слушаю пение птиц, ощущаю запах весеннего прекрасного утра — а тело мое болит, болит... Скоро все кончится!

Прощай же, моя дорогая мечта! Я рад, что последнее мое к тебе письмо писано не для курьеза и не в бреду. Я сознательно, с грустной усмешкой вожу рукой по бумаге и вспоминаю другое утро, когда я писал тебе где-то в избе крестьянина, и тогда точно такая же была теплая, солнечная погода, так же пели птицы, зеленела трава...

Я не знаю, что будет с этими листками бумаги. Сначала я хотел их сжечь... Но опять стало жаль! Нет, я не уничтожу наш маленький роман... Пусть он попадется в другие руки, пусть не будет или будет прочтен, пусть он будет осмеян... Когда я умру — умрет и моя «мечта». И тогда нам будет все равно... А чтобы мне самому бросить в огонь столько собственных слез, столько моей искренней любви и страсти,— нет, нет! Нельзя на это решиться... невозможно.

Что бы еще сказать мне? Нет сил писать, нет энергии думать... Съела меня болезнь! Я совсем пропадаю от ужа-

са, я вижу пугающие меня сны, я тоскую во время бессонницы, я боюсь темных комнат, лунных ночей, облачного неба, далекого зарева. Иногда я увижу себя в зеркале — и сейчас же начинаю плакать. Бывает, что я, проснувшись один среди ночи, вдруг боюсь, что смерть сию минуту отворит мои двери и, вся желтая, войдет ко мне... И я, рыдая, ищу слов, молитв, я хватаюсь бессильными руками за подушки, одеяло, спинку кровати, пробуя и страстно желая хоть ненадолго удержаться на этом свете. А когда наступит день, я охвачен новыми тяжелыми думами, вижу другие ужасающие картины. И в этих картинах постоянно представляю себе себя же. Безумные галлюцинации тревожат мой больной дух. Вот что я думаю, и вот какие сцены носятся перед моими глазами. Будто бы я, например, на балу, среди веселого общества здоровых людей. Раздается музыка, шум, говор. А я вижу сам себя таким: представь, мой милый друг, человека, который сидит и ходит, как другие, а вокруг него обвился, облапил его страшный, невидимый зверь. Он велик, черен, зубаст. Он без отдыха терзает тело того, в кого впился. Он грызет, ест, царапает когтями, мучит, давит, душит — и нет оружия, чтобы убить этого зверя, сбросить его с болящей, изъеденной груди...

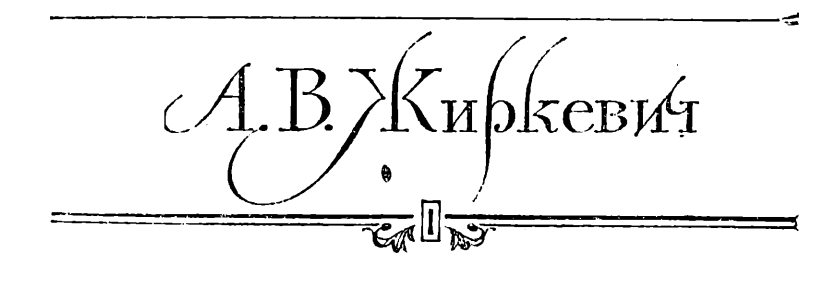
Господи, как мне вдруг страшно стало! Мой друг! Прости... холодеют мои руки, мне дышать очень трудно... Прощай, светлая мечта!

*Твой умирающий И*** К***.*

P. S. Какая странная мысль пришла в голову: не была ли ты, дорогая подруга, моим ангелом-хранителем, в существование которого я имел дерзость не верить... до этой предсмертной минуты??

(Эти письма найдены мною в письменном столе, купленном где-то на аукционе. Они лежали в секретном ящике и были завернуты в бумагу с надписью: «Без адреса». Я сократил кое-что в этих странных письмах, заменил фамилию писавшего начальными буквами и решаюсь их напечатать, так как, по наведенным мною справкам, оказалось, что г. И. К. давно умер, именно в 1874 году.)





РОЗГИ

I

...Полковой адъютант, поручик Сомов, торопливыми шагами ходил по бараку...

Вечер постепенно гас, уступая место сумеркам. Поле ржи, тянувшееся к лесу за крайними бараками полкового штаба, отливало теперь свинцом. Все носило на себе следы недавнего ливня: по дорожкам усыхали лужи и ручьи; пахло сыростью, сосновой смолою, освеженными листьями серебристого тополя и резедой. На горизонте улеглась туча, в которой время от времени вспыхивали и потухали зарницы. Воробьи вздорили на черешнях вокруг офицерского клуба. В далеких лугах перекликались коростели. А над лагерем стоял тот особенный шум, которым сопровождается возвращение рот с занятий: казалось, что в воздухе гудели рои шмелей и ос, затронутые в гнездах неосторожным путником.

Сомов видимо волновался. И было от чего! Ему первый раз в жизни приходилось наказывать нижнего чина, и притом так, что наказание это всецело зависело от одного его, Сомова.

Это был худощавый блондин, лет двадцати трех, небольшого роста, с одним из тех лиц, которые, при всей правильности их, не обращают на себя внимания.

Сомов то подходил к окну и стоял там подолгу в раздумье, смотря, как над самой рожью беззвучно проносились ласточки, как суетились вороны, с гамом усаживаясь на ночлег по березам, то опять принимался шагать по бараку...

Барак был невелик, но уютен, оклеен обоями и не без претензий на изящество. Так, на письменном столе, кроме нескольких фотографий в разнокалиберных рамках, помещались гипсовые статуэтки Гете и Шиллера, а между ними букет незабудок, наполнявший теперь комнату слабым медвяным ароматом. Этажерка у стены пестрела книгами: здесь томы Пушкина разъединялись «Уставом о службе в гарнизоне»; издание «Дешевой библиотеки» было прижато «Наставлением для обучения стрельбе», и над этой смесью книг висела неудачная гравюра с «Бурлаков» Репина.

Сомов походил еще немного и наконец на что-то решился.

— Сергей! — крикнул он.

— Чаво? — не сразу отозвался голос за перегородкою, и вслед за тем в бараке появился неуклюжий, белобрысый парень с заспанной физиономией и стал у порога.

Все в его фигуре как-то безнадежно, некрасиво висело: пестрая, сомнительной чистоты рубаха; прямые волосы, остриженные сзади под скобку, а спереди спущенные на лоб гривкой; длинные узловатые руки.

Это был денщик Сомова, Сергей.

Войдя в барак, он тоскливо повел глазами по комнате и затем начал следить за своим барином, слегка вытянув худую шею и приоткрыв рот.

А барин все ходил и ходил.

«Эк его носит! Эк его носит!! — читалось во взгляде денщика.— И чего вдруг загорелось? Дремал себе человек... Так нет же!.. Сергей да Сергей... Эх ты, жисть проклятая!»

Сергей был по натуре резонер и меланхолик, что не мешало ему в то же время быть язвительным и крайне подвижным в словесных турнирах, которыми постоянно и приятно осложнялось его существование. Перед поступлением на службу он жил у какого-то предводителя, или, как он выражался, «производителя» дворянства, составил поэтому очень высокое мнение о своих служебных способностях и умел, при случае, этой жизнью у «производителя» пустить пыль в глаза свежему человеку. Как денщик полкового адъютанта — лица, в свою очередь, близко стоящего к командиру полка,— Сергей пользовался известного рода авторитетом не только в музыкантской команде, подчиненной поручику Сомову, где Сергею говорили

«вы», величая его «Сергей Ильичом», но и вообще в полку. Вот почему унтер-офицеры подавали ему руку; это делали и некоторые ротные фельдфебеля из числа «политиков»; кашевар всегда подливал ему за обедом в кашу масла более, чем другим нижним чинам, и Сергей не боялся показать свою власть и прикрикнуть на пришедшего, по его мнению, не вовремя к поручику Сомову с рапортом дежурного по команде, заставив его подождать лишних полчаса под вымышленным предлогом, будто «их благородие почивают» или «заняты».

Портрет денщика Сергея будет неполон, если не заметить, что Сергей слыл в полку за большого волокиту, и это свойство характера как-то странно связывалось у него с упорными, но безуспешными попытками научиться грамоте. Едва удалось ему, например, дойти до того, чтобы хоть каракулями списывать с книги, как он сейчас же достал от штабных писарей «Письмовник» [1], скопировал из него несколько записок любовного содержания и украдкой разбросал их под дверьми знакомых кухарок и горничных; успех превзошел его ожидания...

Итак, Сергей, войдя в барак, следил за своим барином.

Через несколько минут тот остановился у открытого окна, по-видимому забыв и о денщике и о том, для чего он его призвал. Наступила тишина. Слышно было, как по стеклу другого, запертого окна жалобно бьется муха и как чей-то робкий тенор, в общем гуле лагерной жизни, выводит: «Не белы снежки во поле, ах да во поле забелелися!..»

Сергей первый нарушил молчание:

— Будет какое приказание аль нет? — спросил он громко.

Сомов вздрогнул и с неудовольствием к нему обернулся: он чувствовал, что в словах денщика его, по-видимому самых невинных, была некоторая доля ядовитости. Недаром же Сергей всегда старается показать ему, поручику Сомову, что он еще очень неопытен и молод, что приказания его подчас и глупы, и неясны, и непрактичны. Выражает это Сергей то грубыми, неуместными замечаниями и вопросами, которые бурчит себе под нос — настолько, впрочем, внятно, чтобы их мог расслышать поручик Сомов,— то особенным вздергиванием плеч и одновременным с ним поднятием левой брови, а еще чаще — едва заметным, для непосвященного взора, жестом рук, выражающим и протест, и покорное отчаяние.

В другое время Сомов наверно сделал бы денщику своему хоть выговор за самый тон вопроса, но на этот раз сдержался и только приказал:

— Позови ко мне фельдфебеля!

— Хельдхебеля?! — не торопясь переспросил Сергей. Он постоял несколько секунд на одном месте, видимо желая еще что-то сказать; затем направился к выходу, снова помялся, уже на пороге, будто все-таки намереваясь что-то заявить, и, только проделав все это и разведя с недоумением в стороны кисти рук, скрылся за дверью.

Сомов остался один.

Со вчерашнего дня он чувствует, как нечто роковое ворвалось в его жизнь и ведет его, ведет туда, куда лично ему идти не хочется. Вчера утром, в присутствии всей музыкантской команды, он пообещал музыканту Козловскому, состоящему в разряде штрафованных, что накажет его розгами, если тот еще хоть раз самовольно отлучится из лагеря и напьется. Обещание это сорвалось у Сомова неожиданно для него самого: он до сих пор избегал подобной резкой постановки вопроса, зная, что Козловский никогда не выдержит характера. Так и случилось: в тот же вечер нижний чин этот и отлучился без разрешения, и напился. На доклад дежурного о происшествии Сомов сгоряча объявил, что накажет Козловского... И вот он поставлен теперь в необходимость, для поддержания своего авторитета перед нижними чинами, исполнить обещание!..

И Сомов грустно задумался.

II

Через несколько минут его внимание было привлечено доносившимся из-за наружной стены барака разговором.

Чей-то запыхавшийся голос, похожий на голос фельдфебеля его команды, Сидорова, спрашивает скороговоркой: «Кто зовет, Сергей Ильич?!» Голос Сергея полушепотом отвечает: «Вестимо, наш!» — «Чего ему?!» — «А спросите!.. Леший его разберет! (Эти последние слова произнесены с явным ожесточением.) Бегал, бегал по бараку. Делать-то ему нечего!.. Позови, говорит, хельдхебеля!..» — «Нашел тоже время: на поверку надо становиться!» — «А вы думали — он соображает?! Вчера, это, ущемил

меня за ухо, да потом и говорит: «Прости меня, братец, прости! (Произнося собственные слова поручика Сомова, Сергей довольно верно подделывается под его голос и придает ему комически плаксивый оттенок.) Прости, говорит, Сергей! Я, брат... того... значит... погорячился». Туда ж, начальство!.. Эх!!»

Тут Сомов слышит, как Сергей сплевывает, и ему даже кажется, что в самом плевке его денщика звучит известная доля презрения.

«Опять же, ежели таперича взять в расчет...»

Голос Сергея на этой фразе понижается, и Сомов не может уже разобрать, что принимает в расчет его денщик. Зато через несколько мгновений до него долетает сдержанное фырканье и чье-то недоверчивое восклицание: «Ну?!»

— Люди врут и я вру! — уже громко отвечает Сергей; затем слышно, как он входит в прихожую барака, шумно срывает с полки самовар и с озлоблением начинает его чистить.

Пока происходил за стеною только что приведенный разговор, поручик Сомов действительно вспомнил, что вчера он взял за ухо Сергея, возмущенный его дерзкою выходкой по отношению к гостю-товарищу. Теперь, при одном воспоминании об этом происшествии, живой румянец стыда заливает не только щеки его, но лоб и шею. Он хорошо помнит, что, едва улегся первый приступ гнева, ему стало до тоски совестно своего поступка и по уходе товарища он очень недолго боролся с самолюбием, а решил сейчас же позвать денщика и попросить у него прощения. Поручику Сомову казалось тогда, что сам Сергей тронут этим благородным порывом, что у него, Сергея, даже сверкнули на глазах слезы...

И вдруг — тот же Сергей...

Тут размышления поручика Сомова прерваны: в бараке, без предварительного доклада, появляется молодцеватая, крупная и сытая фигура фельдфебеля Сидорова.

Сидоров делает огромный шаг от двери к середине комнаты, мгновенно вытягивается во весь рост и замирает в строго-почтительной позе; причем грудь его, под волнистой, русой бородою, выпячивается, как диванная подушка, а серые, как бы усталые, хотя и умные глаза его выжидательно останавливаются на поручике Сомове.

— Здравствуй, Сидоров!

— Здравия желаем, ваше благородие!

— Все у вас благополучно?

— Все обстоит благополучно, ваше благородие!

Необходимо заметить, что Сидоров говорит басом, глотая некоторые слога, так что «ваше благородие» у него выходит «ваше бродь», а во время речи он только немного открывает рот, от чего борода на груди его вздрагивает при каждом слове.

— Командир полка, Сидоров, заходил сегодня без меня в команду?

— Точно так, ваше благородие! командер полка изволили-с приказать мне доложить вашему благородию касательно Петьки...

Петька был мальчик-сирота, лет семи, найденный давно уже солдатами полузамерзшим в коридоре казарм и теперь призреваемый музыкантской командою.

— А что?

— На сегодня их высокоблагородие, командер полка, идут это мимо канцелярии с супругой и дочерьми, а Петька нагишом, то есть, с позволения сказать, в чем мать родила, сидит в луже, насупротив полковой канцелярии, и лучинки по воде пущает...

— Почему же нагишом?!

— Да стал он сбегать в соседний полк и баловаться. Раза два от него и водкой попахивало; известно, солдаты — всякий народ... Я и снял с него сапоги: ушел без сапог... Думаю себе: разнагишать если совсем, так хоть один день просидит в команде!.. Снял я и рубаху... А он без меня возьми да и убеги из барака — и прямо в лужу. Тут, как на грех, на всю эту комедь командер полка и набрели-с. «Доложи, говорят, полковому адъютанту, чтобы у меня дикари по лагерю больше не бегали!» Очень изволили осерчать...

На этом месте Сидоров запинается, энергично и быстро откашливается, в сторону и в рукав шинели, а затем продолжает, но уже менее решительным тоном, как бы подбирая выражения и стараясь не встречаться глазами с поручиком Сомовым.

— Вот тоже, ваше благородие... Кабы чего не вышло... с Живковым, с музыкантом!.. Пробил вольному в корчме бутылкой голову... Его и забрали в полицию!

— Значит, не все же у тебя благополучно, как ты мне докладывал! — вспыхнул поручик Сомов.— Когда же на-

конец я научу тебя и дежурных, как надо докладывать и рапортовать мне?!

— Так точно,— будто хорошенько не расслышав гневного замечания поручика Сомова, говорит Сидоров,— засылал я уже нонче к приставу, просил: отпустите, мол, только; уж мы сами разделаемся! (На словах «мы сами» Сидоров делает внушительное ударение и даже сурово скашивает глаза.) Вы бы, ваше благородие, написали приставу аль съездили... Не ровен час — узнает командер полка — беда будет!

— Хорошо, хорошо, братец, я съезжу...

— Опять же, ваше благородие...

— Ну, что еще там?!

— Да вот с рядовым Тимошиным не знаю, как уж и быть!..

— Ну?!

— Таскается все к своей полюбовнице — из лагеря на предместье!.. Мы в команде порешили промеж себя поймать его ночью да спустить крапивы за рубаху. Как ночь, так он и пропал!

При изложении довольно своеобразного способа, придуманного для обуздания страсти рядового Тимошина, в голосе Сидорова как бы чувствуется некоторая фамильярность; Сидоров хотя и говорит «мы порешили», но, видимо, проект всецело принадлежит ему одному.

Наступает молчание, так как поручик Сомов не высказывает своего мнения относительно ночных приключений рядового Тимошина.

— Послушай, Сидоров,— наконец произносит он,— музыкант Козловский опять отлучился из лагеря без спроса, напился пьян и произвел буйство?!

— Так точно, ваше благородие.

— Я обещал, что накажу его, если он еще раз позволит себе... Ведь он штрафованный?! Я могу... так сказать... и собственной властью... дать ему пятнадцать ударов розгами?! Я непременно его накажу...

В словах поручика Сомова слышна неуверенность; он нервно кусает ноготь, весь уйдя в это занятие и стараясь не глядеть на фельдфебеля.

— Так точно, ваше благородие! — вдруг просияв и оживляясь, отзывается Сидоров на этот полувопрос.— Прикажете выпороть?! Подлый, совсем пропащо́й солдат, как есть без всякой деликатности... Уж я ему прошлый раз, с позволения сказать, паклал-таки в загривок...

Да что ему! Бесчувственный какой-то: одно слово — идол!!

— Козловский — испорченный, нахальный человек!.. Я решил доказать ему... и всем там... что смеяться надо мной опасно: я сдержу слово!.. И не далее, как завтра же... Я непременно его накажу!.. Распорядись там, Сидоров!..

— Слушаю-с, не впервые!

— Ступай!

Фельдфебель так же быстро исчезает, как появился.

— Постой, постой, Сидоров! — окликает его поручик Сомов.

Фигура Сидорова вновь вытягивается у дверей барака.

— Послушай, Сидоров,— начинает робко, заикаясь и как бы заискивая, поручик Сомов.— Уж не пьет ли Козловский с горя, от нужды... ну, там... с тоски, что ли?! («Господи! что за чепуху говорю я, да еще нижнему чину!» — в ту же минуту проносится в его голове.)

— Какая, ваше благородие, у него тоска?! По кабаку разве у него тоска! — деловито возражает Сидоров.— Лентяй он, гулящий — тут и вся-то цена ему! Кто на занятие, а он — в приемный покой, в лазарет... А вернулся в команду — либо пьян, либо пакость какую ни на есть норовит состроить... Вся команда, ваше благородие, будет рада-радешенька, когда его выдерут!

— Видишь ли, Сидоров... Я боюсь... Наказание розгами озлобит его на всех!..

— Как-с?! — очевидно, не поняв этой фразы, переспрашивает Сидоров.

— Боюсь я, что после розог Козловский потеряет последний стыд, еще дряннее станет и пойдет на всех вас вымещать свою злобу...

— Хорошему солдату, ваше благородие, порка — в стыд; собаку сколько ни бей — хуже не будет!

— Человек, Сидоров, не собака! — строго замечает поручик Сомов.

— Как прикажете...

Наступает минута неловкого молчания.

— Так ты, Сидоров, все-таки полагаешь, что Козловского непременно надо наказать, и наказать розгами?!

— Как прикажете, ваше благородие! — не торопясь и обидчиво говорит Сидоров, смотря прищуренными глазами куда-то мимо поручика Сомова.

— И что ему, Козловскому, пятнадцать розог! — помолчав немного, постепенно оживляясь и краснея от сдер-

живаемого негодования, начинает Сидоров.— Отец в деревне, уж верно, драл больнее!.. Да и в волости ему, известно, не в зубы же смотрели. На днях говорю я Козловскому, что дождаться ему порки, а он мне: «Драли, говорит, господин фельдфебель, у нас в волости, на сходках, страсть как: я малость и приобык! Когда еще там моя очередь подойдет, а я сам разденусь, лежу да носогрейку посасываю...» Вот он каков, ваше благородие, Козловский-то будет! Изволили бы доложить командеру полка: они прикажут всыпать командерскую плепорцию — пятьдесят! Ну, тогда пожалуй что и восчувствует...

— Хорошо, хорошо, братец! — перебивает его поручик Сомов.— Это уж мое дело!.. Ну, значит, завтра утром... Прикажи заготовить все там... Я сам буду!..

Последние слова поручик Сомов выговаривает уже твердо и даже сурово сдвигает к переносице брови.

— Ступай!

Сидоров исчезает.

Сомов опять один. Он бесцельно смотрит на открывающийся из окна и хорошо знакомый до мелочей пейзаж; ему слышно, как гул лагерной жизни постепенно стихает и принимает минорный оттенок; барабаны начинают бить «повестку к зоре».

III

Летний вечер между тем догорел. Влажные сумерки, сбежавшись, затянули кусты, рожь, березы с суетящимися на них воронами, пролились через окно в барак и здесь густо осели на все предметы. Зарница вспыхивает все чаще и ярче: где-то, должно быть, сильная гроза!

Поручик Сомов знает, что теперь у нижних чинов производится так называемая «вечерняя поверка». Он слышит, как в общей, сразу наступившей тишине фельдфебель Сидоров делает перекличку музыкантской команде, построенной, по обыкновению, у своих бараков, и как он громко и отрывисто выкликает по списку: «Рыжиков! Блох! Иванов! Коврига!» А в ответ из фронта раздаются то тихие и вялые, то звучные и бодрые отклики: «я!», «ё!», «я!». Один голос так задорно и, очевидно, не без умысла выкрикивает свое «я», что между нижними чинами проносится одобрительный, насмешливый шепот, а Сидоров грозно объявляет: «Силин! Белены ты, что

ли, наелся?! Попробуй-ка у меня в другой раз этаким манером рявкнуть, так я тебя, такой-сякой, живо сволочу к адъютанту! На посиделках ты, что ли? Ну деревня!..»

Но вот перекличка окончилась. Барабаны отчеканивают «зорю». Последняя дробь ее отдалась за лагерным лесом и там изнемогла... Минута молчания, словно вокруг все сразу вымерло,— и звучит команда Сидорова: «На молитву! Шапки долой!» Те же слова на разные тоны выкрикиваются по лагерю дивизии. И вот у самого барака поручика Сомова чей-то голос, нараспев и несколько в нос, затягивает: «О-отче на-аш...» «Иже еси на небесе-ех...» — сурово и дружно подхватывает невидимый хор, в котором преобладают тенора. По всему лагерю раздается та же молитва, начинаясь в некоторых ротах ранее, в других — позднее. Медленно и мощно нарастает сонм звуков, сливаясь в одну своеобразную мелодию, которая поднимается к небесам, где незаметно, одна за другой, уже затеплились звезды.

Пока последние звуки молитвы еще толпятся на правом фланге лагеря — на левом барабан уже бьет «отбой» и слышны команды: «На-кройсь!», «Разойтись!». Затем, сперва неясный, но понемногу все усиливающийся шум, топот ног, отдельные восклицания, смех и зачинающие кой-где хоровые песни указывают на то, что поверка прошла и с нею лагерь заканчивает свой трудовой день.

Все это явственно долетает до поручика Сомова, но попрежнему нехорошо у него на душе...

Еще недавно, в офицерском собрании, он так ясно и горячо доказывал товарищам по полку, что ударить солдата в мирное время можно лишь в тех случаях, когда считаешь нужным ударить и штатского,— например, ввиду нападения, личной обиды и т. п.; что только в военное время, и то как печальное исключение, он допускает необходимость нанесения побоев в строю... И что же? Вчера он взял за ухо денщика за грубую фразу; завтра накажет Козловского... А там пошел, пошел бить направо и налево!! И кажется Сомову, что на совесть его легло нечто тяжелое, обидное, нехорошее... Драть, пороть, всыпать — какие ужасные слова, если в них глубже вдуматься: человек превращается в какую-то вещь, с которой нечего церемониться!.. И фельдфебель Сидоров произносит эти слова так спокойно!.. Неужели же прав капитан Петров?! На днях капитан этот сказал ему, поручику

Сомову, приблизительно следующее: «Все-то у вас, батенька мой, разведено розовой водицей да теориями... А солдаты ух как не терпят этих самых теорий!! Вы вот воображаете, что солдат розог, битья боится, а не хотите сообразить, что у иного солдата и мужика вся жизнь-то — сплошная нужда, горе, страданье... Что же ему значат ваши розги?.. Побили бы его только скоро, за дело, без излишней «волокиты», да бьющий имел бы известный авторитет в его глазах... Вот он каков, русский солдат-мужик! Эх, батенька мой, бросьте вы к лиху все ваши проклятые теории!.. Есть между солдатами славный народ; но есть же и бестии: дерешь одного, а десяток таких же бестий смотрит да мотает себе на ус...»

И чудится поручику Сомову, что капитан Петров — этот маленький, точно наскоро сколоченный, лысый и подвижной человечек, в вечно засаленном сюртуке и скрученных в веревочки от старости погонах — тут, возле, ехидно подсмеивается над его трудным положением.

«Что, батенька мой,— не унимается капитан,— Гамлета из себя сострòить желаете?.. Тот все носился с вопросом «быть или не быть», а вы пустую фразу эту переделали на «бить или не бить», да с фразой этой, как с цацкою, и нянчитесь... Стыдно, сударь мой, вот что!..»

И поручику Сомову уже начинает казаться, что он слышит тихий, как бы брюшной голос капитана Петрова и видит его насмешливые глазки, утонувшие в расплывающейся по всей физиономии улыбке.

Напрасно поручик Сомов старается не думать о капитане Петрове: офицер этот, как тень, преследует его теперь.

«Вам, батенька мой, трудно ударить нижнего чина,— продолжает свою настойчивую беседу капитан Петров.— А что же будет с вами, если придется когда-нибудь из своих рук убить своего же солдата?.. А ведь на войне и это случается... Я сам видел... Рота залегла, не хочет встать и идти на укрепление, потому что один какой-нибудь мерзавец трусит и сбивает с толку остальных нижних чинов... А идти вперед надо: вы видите, что это спасет роту от бесполезного расстрела... И что же — вы, ради одного мерзавца, пожертвуете жизнью целой сотни честных, исполняющих свой долг, но зараженных дурным примером людей?! Не смеете-с! Убейте мерзавца, поднимите этим поступком дух роты и ведите ее за собой!..»

Поручика Сомова даже в жар бросило от этих речей. Он высунулся за окно, чтобы подышать вечерним воздухом и освежить хоть немного пылающее лицо.

IV

Прошло сравнительно мало времени с тех пор, как пробили «зорю», а лагерь уже почти совсем уснул. Песни и оживление прекратились. Только кой-где в сумраке мягко раздаются шаги, и солдаты в серых шинелях, подобно призракам, скользят в разных направлениях. Лениво, точно для очистки совести, вдоль всей окраины лагеря тявкают ротные псы. В соседнем болоте лягушки и жабы давно уже начали разыгрывать свой бесконечный ноктюрн, сливая его с ровным стрекотом полевых кузнечиков. Какая-то птица боязливо затрепетала у окна, и вслед за ее бесшумным исчезновением, будто только и поджидая его, сверчок под бараком затянул однотонную песенку.

Поручику Сомову теперь слышно, как в прихожей, во сне, его Сергей охает, стонет и скрипит зубами. Скоро все это переходит у него в храпенье: Сергей всхрапывает сперва спокойно, как бы деловито и рассудительно. Но понемногу в это размерное похрапыванье начинают врываться тоскливые всхлипы. Сергей на минуту замолкает, а затем принимается за прежнее, с тою, однако, разницей, что храпенье получает у него уже оттенок явной легкомысленности и даже насмешки. Напрасно поручик Сомов пытается не обращать внимания на этот своеобразный концерт: храп победоносно врывается в барак, проникает во все уголки его, вылетает в открытое окно, снова через окно возвращается и, наконец, переходит за стеной в неистовое хрипенье: кажется, что кто-то сел Сергею на горло и беспощадно душит, душит его... Поручик Сомов уже хочет окликнуть денщика; но Сергей, словно угадав его тайные замыслы, громко и отрывисто всхлипывает, а наступившая затем тишина производит впечатление, что он, Сергей, злорадно прислушивается и к этой тишине, и к тому, что делает там, за стеною, его барин, словно желая сказать: «Что, взял?! Думал помешать... Ан нет! Я и сам перестану... На ж тебе!»

А бесстрастная ночь между тем плывет в небесах, зажигая новые и новые миры созвездий, полная намеков,

загадок, одухотворенная трепетаньем и игрою зарниц в далекой, незримой туче...

Вот раздался шум экипажных колес — все ближе, ближе... Отблески двух фонарей бегут по придорожным кустам, всползают на бараки, корчатся, умирая на траве, пытливо заглядывают в канавы и дождевые лужицы: это возвращается из города командир полка. Но коляска мягко простучала по пыльной дороге, прогромыхала на мостиках и смолкла в отдалении.

И вновь только тявкают ротные псы, да отзываются с лугов коростели, да изредка, почти без звука, двигаются серые фигуры солдат. Ото всего дышит миром, покоем... И нет покоя лишь одному ему, поручику Сомову!.. И за что, за что?!

Он прилег на диван, насильно зажмурил глаза и сам не заметил, как погрузился в воспоминания...

V

Припомнилось ему...

Мрачное снаружи, внушительное здание кадетского корпуса. Бесконечные коридоры и лестницы. Высокие окна. Пахнет свежеиспеченным хлебом, кислою капустой и сырыми опилками: в корпусе, накануне праздников, всегда мылись полы. Кадеты снуют всюду, как предприимчивые тараканы, потревоженные в гнездах ядовитым порошком. Шум, топот ног, суетня: если приложить ухо к стене, то чувствуешь, как стена эта вздрагивает, гудит.

— Ах, одуванчик, здравствуй!

Поручика Сомова, тогда еще просто Петю, товарищи по корпусу прозвали «одуванчиком» за его коротко остриженные, торчавшие ежом на голове светлые волосы.

— Это ты, Синицын?

Они бегут на соседний плац смотреть, как солдаты местного баталиона обучаются фехтовке. Там уже расставлены холщовые, набитые соломой чучелы, которым придана форма человека, и солдаты с разбега колют их штыками, стараясь глубже и ловчее нанести удары.

Поручику Сомову в те дни казалось, что рваные дыры на чучелах были настоящими, живыми ранами, что сами чучелы — живые люди, и детское сердце его так тоскливо сжималось!..

Саша Синицын был другом Пети Сомова по классу.

Однажды он ответил грубо воспитателю, и его решено было, в назидание прочим, наказать розгами... Скромный, приличный, хорошенький и розовый мальчик, Синицын принадлежал к числу тех детских, целомудренных натур, которых товарищи хотя и зовут в насмешку «девчонками», но которых те же товарищи любят, бессознательно подчиняясь обаянию их нравственной чистоты. Все удивились, когда у Синицына, в защиту ошибочно наказываемого товарища, сорвалась с языка грубая, неуместная фраза... Бедный Синицын! Он так горько плакал еще задолго до наказания, впадал в такое наивное отчаяние! Поручик Сомов будто слышит его страстный, прерывающийся от рыданий шепот: «Я лучше руки на себя наложу!.. Что скажут мама, бабушка, сестры?! Господи, да хоть ты спаси меня, защити!»

Перед поручиком Сомовым выступает теперь из вечернего сумрака и личико этого Синицына — бледное, печальное, детское личико с заплаканными, широко раскрытыми и потемневшими от ужаса голубыми глазами.

А вокруг Синицына — товарищи с советами и утешеньями.

— Ты, брат, закуси только руку — и ничего не почувствуешь! Говорю тебе по опыту! — заявляет кадет с пушком на верхней губе, впихивая в рот сразу чуть не полбулки от завтрака.— У меня, брат, были-таки разные счеты с дядькой Федосеичем: хотел он меня пробрать — сек, сек, даже кровь пошла. А я — ни гу-гу! Старый хрыч пыхтит, потеет, старается... А я как ни в чем не бывало!.. Думали: стану плакать, просить прощенья... Нет, шалишь! Не на такого наскочили!

— Дай ты, Саша, Федосеичу двугривенный: он тебя только так, для виду погладит,— советует другой.

— Ну, полно же, Синицын, нюни-то до времени распускать! — авторитетно вмешивается в разговор маленький, толстый и краснощекий кадет, которого, за рост и полноту, в корпусе прозвали «Ванька-встанька».— Эка невидаль, что высекут! Да и какой из тебя офицер-то выйдет, если не будешь знать, что такое кадетская розга!

А Синицын точно не слышит товарищей. У него, вероятно, сложился свой собственный взгляд на предстоящую церемонию: он нервно вздрагивает, смотря куда-то вдаль, как будто там уже мелькает перед ним нечто страшное, неумолимое, неизбежное...

Петя сидит возле друга, испуганный не менее его; ему невыразимо жаль бедного Синицына, стыдно и больно за него, и нет в запасе слов утешения...

«Где-то теперь Саша Синицын? — думается поручику Сомову.— Сохранил ли он свою детскую чистоту и с нею отвращение и вражду ко всякому насилию над человеком, ко всякой неправде?.. Как горячо рассуждали мы с ним в корпусе на эти темы!..»

Но вот случай с кадетом Синицыным уже бледнеет, и по капризу воображения перед Сомовым воскресает другая сцена, на время как бы ускользнувшая из памяти.

Он совсем еще ребенок и едет с семьей где-то за границей — кажется, в Пруссии. Отец и мать дремлют в экипаже. Росистое весеннее утро. Заря едва начинает пробиваться сквозь неподвижные облака. Он, Петя, проснулся ранее других от утреннего холода и следит за тем, как коляска их проезжает мимо полка, расположившегося бивуаком. Всюду слышна незнакомая ребенку речь. Но что там, в стороне, делают солдаты? Часть их построена правильным четырехугольником, а в середине этого огромного четырехугольника раздаются какие-то странные звуки... Неужели же так может кричать человек?! Да! Ребенок видит, что кого-то держат на земле, кто-то борется, барахтается, вырывается, а в воздухе взносятся и свистя опускаются розги...

Этот крик, то слабеющий, то усиливающийся по временам; эти бледные лица солдат, построенных в неподвижные, стройные ряды; это сонное утро, только что рождающееся, с сырым, ароматным воздухом и с беззаботной трелью малиновки из ближайшей рощи... Какие контрасты!.. Ребенок в ужасе хочет разбудить отца, бросается к нему; но лошади уже пустились в объезд — все скрылось, и только замирающий крик еще живет в ушах ребенка... А заря разгорается, охватывая холодное небо и гася побледневшие, точно утомленные долгой ночью звезды; весеннее утро смотрит наивно на мир увлажненными предрассветным сном очами...

Много различных картин проносится теперь в памяти поручика Сомова; но эта сцена, вставшая из тумана прошлого, не меркнет, не теряет своей неумолимой правды. От нее дышит укором, стыдом, тоскою. Нет, никак не забыть ее!.. А завтра?! И холодный пот выступил на лбу поручика Сомова. О, если бы возможно было для него не думать об этом «завтра»!

И не странно ли, что вся жизнь Сомова, с той минуты, как он поступил на действительную службу, складывается так, что над жизнью этой постоянно висит какое-нибудь роковое, неизбежное «завтра», против которого восстает вся его натура?.. Разве, например, война не есть то же «завтра», грозное, нелогичное, непримиримое с совестью «завтра»!.. И к этому «завтра» он, поручик Сомов, готовится со школьной скамьи!.. Вот капитан Петров: тот ясно и спокойно смотрит в глаза этому чудовищу; для поручика же Сомова оно — тяжелый кошмар, от которого трудно избавиться!.. Правда, в общем течении военной жизни и поручику Сомову порой грезились в войне подвиги, награды, победы; но не раз уже чувство миролюбия и справедливости поднимало завесу с этого призрака, и поручик Сомов с гадливым ужасом видел осклабленные челюсти и голые ребра там, где так недавно, в пороховом дыму, под ободряющие звуки музыки, развевались победоносные знамена и мерцали граненые жала штыков. Недаром же поручик Сомов часто слышал от товарищей обидное для военного замечание, что он — «штатский». А между тем какая-то сила притянула его к этой возможной войне, которая чуть не в заслугу ставит убийство, разбой и всяческое насилие над ближним!..

Сомов вскочил и начал ходить по комнате. Внесенная Сергеем лампа под абажуром давно накинула на все предметы ровный полусвет, привлекая из ночного мрака комаров и бабочек. Половицы скрипели под ногами Сомова, и каждый раз, как он попадал на одну из них, статуэтки Гете и Шиллера кивали ему со стола своими хрупкими туловищами.

«Давно ли я поступил на военную службу,— думается Сомову.— А сколько уже испытано огорчений, обид!.. Были, правда, и светлые минуты, но... Взять хотя бы мою первую ротную школу!.. Я ли не работал над ней? Я обучал солдат, требуя от них сознательного отношения к родине, к службе, к грамоте. И что же? Школа моя на экзамене провалилась, а у поручика Кривцова, у которого всем орудовал самый заурядный унтер-офицер, такая же школа — я сам мог в этом убедиться — оказалась неизмеримо выше. С первых же шагов на пути сближения с нижними чинами и до настоящего случая с музыкантом Козловским я встречал почему-то только трудности и разочарования!..»

Действительно, чем ближе хотел поручик Сомов по-

дойти к солдатам, тем загадочнее они для него становились, точно какой-то туман их засасывал!..

Поручик Сомов явился в полк совсем безусым юношей, тогда как между учениками первой его школы были бородачи и семейные, так что в первое время он невольно конфузился, попав в положение воспитателя и начальника. Потом эта робость прошла, и он, при каждом подходящем случае, говорил со своими подчиненными. Но ничего, кроме тупого, казенного внимания, с их стороны не видел. Напротив, какой-нибудь простой рассказ, да если еще в нем был забавный или циничный элемент, сразу оживлял все физиономии. Нет! солдаты не понимают его, поручика Сомова! Взять хотя бы его денщика Сергея. Чего ни делал он, чтобы привязать к себе этого человека, приручить его?! А Сергей с каждой неделей становится грубее, беспорядочнее, неуживчивее. И в то же время поручик Сомов не может не сознавать, что, при всей резкости, Сергей в душе вовсе не зол и если несносен и капризен, то только с ним, поручиком Сомовым. А в музыкантской команде?! Канцелярия зимою очень тонкой дощатой перегородкою отделялась от помещения нижних чинов, и поручику Сомову приходилось случайно подслушивать разговоры своих подчиненных, касавшиеся его самого.

— Извел, братцы мои, как есть словами извел,— услыхал он однажды за стеною.— И откуда что берется? Ровно из мешка. Драл я, драл нонче глаза: думал, засну!..

— Бранить начнет — так душу из тебя всю вымотает, до поту проберет. Вот командер тринадцатой роты: тот наклал, это, сичас раз, другой, нашему брату куда следует, да на том и станет; под суд не отдаст — все сам.

— Хороша, землячки, пословица у нас на деревне: «Ешь меня волк — лишь бы овца не жевала».

Даже сравнительно развитой фельдфебель Сидоров — и тот не хочет понять намерений и взглядов поручика Сомова на солдата и при каждом удобном и неудобном случае пытается доказать ему пользу битья... А музыкантская команда распускается, что замечено уже и начальством.

«Как же постичь простой... серый люд, как подойти к нему вплотную?!» На этот прямо поставленный вопрос что-то укоряющее сейчас же закопошилось в душе поручика Сомова.

Для него, например, настоящей пыткою был установившийся в полку обычай — после светлой заутрени пе-

рехристосоваться со всеми нижними чинами команды: среди чистеньких, опрятных попадаются солдаты грязные, слюнявые, в прыщах, от которых несет дегтем, сапожным товаром, гвоздичной помадою; некоторые из них, в ожидании запоздавшего визита его благородия, уже тайком разговелись и попахивают водкою. И какие при этом христосовании с начальством бывают глупые, растерянные, перепуганные рожи!.. Все это каждый раз вызывает в поручике Сомове невольную брезгливость, граничащую с чувством какой-то враждебности... Он приходит, желая по-братски обнять солдат, а уходит довольный, что вся эта церемония наконец-то прошла благополучно...

Да если взять того же Сергея... Ведь по временам поручик Сомов буквально не в силах выносить ни его сонной физиономии, ни его неопрятной гривки à la Capoul *, ни вечного букета махорки и портянок, составляющего неотъемлемую принадлежность этого солдата. «Ты бы, братец... там... хоть в баню... сходил... что ли! — решается он, время от времени, посоветовать денщику, сам конфузясь подобного предложения.— А то... пахнет от тебя чем-то!..»

«Пах-нет?! — недоверчиво протягивает Сергей. Он несколько секунд презрительно вглядывается в поручика Сомова, а затем, тоном глубокого убеждения, добавляет: — У всякого человека свой запах имеется!» Вот и рассуждай с ним после этого! Но не один запах, а походка, косые взгляды Сергея, его жестикуляция, самая привычка его объясняться и спорить уже раздражают Сомова.

И как побороть в себе подобное чувство?! А бороться с ним надо: ведь оно похоже на презрение, на ненависть к простому народу!..

VI

Но что это?!

Мысли поручика Сомова неожиданно прерваны, так как за перегородкою раздался голос Сергея, громко, с расстановкой и без всякого выражения произносивший: «Еще кланяемся мы тетушке нашей Арине Пахомовне, Арине Па-хо-мов-не!» Не оставалось никакого сомнения: Сергей успел проснуться и диктовал кому-то письмо на

* наподобие Капуля [2] *(фр.)*.

родину. Сквозь щель перегородки в прихожей виден был свет, а в комнате у поручика Сомова ощущался неприятный ему запах махорки.

Поручику Сомову и ранее приходилось слышать подобные же диктовки; он знал, что они действовали несомненно умягчающе на нрав Сергея: в тот день Сергей менее ворчал, сидел дома и в голосе его, при столкновениях с барином, звучали несвойственные ему смиренные нотки.

Но никогда еще диктовка так не раздражала поручика Сомова, как теперь: голос Сергея врывался в его размышления, путал их и придавал им какой-то неясный, странный оттенок. Только что, например, поручик Сомов с большими усилиями наладит разрозненные мысли и они станут у него выстраиваться в известном порядке,— как за стеною звучит диктующий голос Сергея: «И дядюшке Павлу Ваныч с домочадцами!.. с до-мо-чад-ца-ми!» Этот дядюшка «Павл Ваныч» и его домочадцы, словно развязные, назойливые незнакомцы, входят преспокойно в голову поручика Сомова и начинают там распоряжаться, как у себя в хате, пока ему не удастся выпроводить их и поймать испуганную приходом непрошеных гостей мысль. Но только что он в этом успевает, как «милый наш дедушка Панкратыч» или «любезнейшая крестница Пашуточка» втираются незаметно в голову — и все там спутывается, все становится заурядным, мелким, даже ходульным. Все эти Павлы Ванычи, Пашуточки, Панкратычи, которых поручик Сомов и в глаза-то никогда не видывал, теперь как бы воплощаются вокруг него, бродят возле и уставляются из сумрака вкрадчиво и насмешливо...

— Нет, это, наконец, черт знает что такое! — прошептал он, схватил фуражку и, накинув пальто, вышел из комнаты. От миролюбивого настроения к Сергею, царившего в душе поручика Сомова за несколько минут перед тем, не осталось и следа.

Ряды бараков музыкантской команды зачернели по сторонам его.

Проходя мимо, он мог расслышать, как в одном из них бредил во сне солдатик, часто и с ужасом повторяя: «Господи, господи, господи!» Тут и там проносились то тяжелый вздох, то бессвязное бормотанье, а лампа, подвешенная у входа, освещала два ряда неподвижных фигур, лежавших на нарах ногами внутрь помещения, и эти фигуры делали полутемный барак похожим на покойницкую,

в которой живому существу как-то дико слышать звук человеческой речи.

В другом бараке, при слабом освещении огарка, поручику Сомову представилась следующая картина: кучка солдат играла в носки, и в момент его появления один из игравших, взяв за края толстую пачку карт, пресерьезно, размерным движением, бил ею по носу товарища, очевидно проигравшегося. Этот же последний, с покрасневшим носом, сидя на корточках, спокойно переносил операцию. С счастливыми, сияющими лицами следили за игроками зрители.

В открывшейся перед поручиком Сомовым бытовой сценке было много здорового, свежего юмора. Но в данную минуту она только еще более раздражила его: ему казалось неестественным, обидным веселье нижних чинов музыкантской команды, знающих, как и он, о завтрашнем наказании Козловского...

Да и вообще спокойствие, на него веявшее отовсюду, только усиливало его тоску и смятение: он яснее, чем когда-либо, сознавал себя ничтожным, как бы лишним и праздным винтиком в стройной машине, называемой войском.

Машина эта, несомненно, живет, кроме служебной, еще и своей собственной жизнью: что-то неписаное, невыдуманное, внесенное с улицы, с полей, из лесов и деревень необъятной страны чудится, угадывается здесь... И как много трезвой, несокрушимой силы даже в мирном, богатырском сне этого лагеря!! А ведь стоит раздаться только одному слову приказания — и через несколько минут все тысячи людей, уснувших, по-видимому, столь беззаботно, дружно поднимутся, разберут оружие и двинутся, не рассуждая, чтобы совершать великие дела, и раздавят, как червя, его, поручика Сомова, если бы в общем стремлении он хоть на миг поколебался идти туда, куда двинутся все!..

Он брел все далее и далее по лагерю, пока не подошел к помещению полкового капельмейстера Панца.

Яркий сноп света выливался оттуда широким потоком через закрытое окно на цветник и дорогу. Сам капельмейстер, старик из чехов, в полосатом шлафроке и черном парике, дурно выкрашенном, отчего на висках парик этот имел лиловатый оттенок, сидел перед нотной бумагою и с увлечением в нее что-то зачерчивал. Клубы дыма из фарфоровой трубки наводняли весь барак, и капельмейстер

казался окруженным облаками или сидящим на них. Время от времени он выпускал изо рта и ноздрей новые, то вялые и кудрявые, то быстрые и прямые струйки табачного дыма, направляя их в нотную бумагу, словно она являлась злейшим врагом его, которого надо было уничтожить бомбардированием...

«И *этот* счастлив, и *этот* занят своим делом!..» — с отчаянием подумал поручик Сомов. Он не в силах был гулять дольше, круто повернул назад и, побродив в темноте по пустынному лагерю, вернулся домой. Диктовка в его бараке между тем успела кончиться: огня в прихожей не было и денщик уже, видимо, спал.

VII

Часы полковой канцелярии пробили гулко двенадцать, когда около барака послышались робкие шаги, а затем Сергей, шумно поскребывая всей пятерней спину и натыкаясь на стулья спросонок, вошел в комнату и сердито объявил поручику Сомову:

— Из музыкантской команды унтер-офицеры пришли! Дело имеют!

Такой поздний визит, да еще нескольких человек, очень изумил поручика Сомова; однако он приказал ввести пришедших.

И вот осторожно, пролезая боком в дверь, одна за другой появились в бараке три фигуры в шинелях и замерли у порога.

Поручик Сомов хорошо знал всех вошедших: по его наблюдениям, это была аристократия музыкантской команды.

Первого из них звали Коньковым.

Коренастый, плотно сбитый мужчина лет тридцати, с темной щетиною волос на голове и с такого же цвета усами, Коньков имел туловище широкое в плечах, узкое в талии и очень длинное, а ноги — короткие и тонкие, отчего вся фигура его получила такой вид, будто ее сильно перетянули казенным ременным поясом с бляхою как раз посредине или будто ноги выходили непосредственно из талии. При разговоре с начальством Коньков имел привычку смотреть не мигая до тех пор, пока начальник объяснялся обыкновенным голосом. Но стоило только последнему возвысить тон речи, как и без того большие серые глаза Конькова расширялись в два оловянные круж-

ка, до дерзости и безумия уставленных на начальство, а брови поднимались над ними в виде двух крышечек. В подобные минуты взгляд его принимал тот вид, который, как идеал, стараются выработать опытные унтерофицеры дядьки в новобранцах, уча их бодро и смело провожать проходящего мимо начальника глазами. «Ешь его (то есть начальника) глазами!» — говорят они. Но вот начальство понижает голос, переходя на обычный, спокойный тон, и глаза Конькова все суживаются, крышечки над ними вытягиваются в линии, а на лице остается только казенно-бесстрастное выражение, которое, однако, при малейшем поводе быстро готово смениться гримасой почтительно сдерживаемого смеха.

Второй из посетителей, Иванов, человек большого роста и неопределенных лет, имел довольно странную внешность: уши его торчали слишком назади, отчего все красное и жирное лицо как бы выдавалось вперед, подбородок был мал, волосы начинались чуть не над самыми бровями, а небольшие глаза имели вид двух щелочек. Особенность этого нижнего чина заключалась в том, что все движения души сопровождались у него деятельностью носа или, лучше сказать, выражались в движениях носа: чем более волновался Иванов, тем более нос его втягивался между щеками, расплющивался и расширял ноздри, чтобы затем мгновенно вернуться к первоначальному состоянию покоя. Капельмейстер Панц выбрал Иванова в число музыкантов, прельщенный его толстыми губами и уверяя, что у него «отменная амбушюр» *, и между ленивым, полуграмотным Ивановым и упрямым капельмейстером за изучение нот шла бесконечная непримиримая борьба.

Третий из вошедших, Пантелеев, молодой, красивый блондин с щегольски закрученными усиками, в франтовских сапогах на высоких подборах и с голенищами гармоникой, опрятный и приличный, всей внешностью невольно обращал на себя внимание.

— Мы, ваше благородие, к вашей милости с просьбою от команды пришли,— начал, несколько помявшись на месте, на вопрос поручика Сомова Пантелеев.

При этих словах физиономия его и Конькова одновременно, словно по взаимному соглашению, радостно осклабились, но сейчас же приняли то сосредоточенное выражение, с которым появились в бараке, а нос Иванова в

* отверстие (от *фр.* embouchure). Здесь: рот.

ту же минуту проделал самым непостижимым способом трудную эволюцию, прежде чем успокоиться на положенном ему месте.

— В чем же дело? — спросил поручик Сомов, оглядывая их всех не без изумления.

— Да вот, ваше благородие,— нерешительно протянул Пантелеев.— Сказывал фельдфебель... завтра изволите Козловского наказывать?..

— Ну так что ж?!

— Вот команда и прислала, значит, просить, нельзя ли уж ослобонить...

Поручик Сомов даже замер от неожиданности: ему вдруг показалось, что нижние чины команды просят его совсем не наказывать Козловского...

Он, конечно, простит,— проносилось в голове поручика Сомова,— тем неприятная история и кончится! А главное — все будут довольны... Но как же?.. Фельдфебель Сидоров говорил совсем иное о настроении команды по отношению к Козловскому?!

— Что же вам от меня нужно? — спросил он, делая над собой усилие, чтобы казаться спокойным.— Вы, братцы, хотите, чтобы я простил Козловского? Вам жаль его?

— Какое жаль, ваше благородие! — с некоторым отчасти обидчивым недоумением и слегка покраснев проговорил Пантелеев, а нос Иванова сердито втянул в себя воздух, юркнул в щеки, расплюснулся и сейчас же встал на прежнее место.— В команде у нас, значит, никого еще не драли... Так чтобы уж сраму этого не было... Строевые в ротах после прохода не дадут... Ослобоните, ваше благородие!

— Ничего не понимаю!

— Да уж нельзя ли, ваше благородие, наказать Козловского где подальше и пораньше, пока, значит, в лагере все спят!.. Явите начальническую милость! Команда просит!

— Команда просит! — как эхо, хрипло отозвался и Коньков.

Поручик Сомов только тут понял, чего от него желали: последние надежды его мгновенно превратились в мираж! Он пообещал исполнить просьбу, велел передать соответствующие приказания фельдфебелю Сидорову и отпустил нижних чинов. Все они, прежде чем выйти, повернулись кругом одновременно и так усердно приставили правые ноги к левым, что барак поручика Сомова дрогнул, а ста-

туэтки Гете и Шиллера на столе затряслись как в лихорадке.

Вот поручик Сомов снова один. Он вслушивается в звуки ночи, стараясь не думать о завтрашнем дне. Незаметно мысль его переносится к воспоминаниям детства...

VIII

Припоминается поручику Сомову, что, будучи еще ребенком, он имел привычку, поймав бабочку или муху, оборвать им крылья и следить за тем, как они пытаются улететь, спастись — и не могут... Старая няня, Осиповна, из крепостных, всегда, бывало, журила его, когда заставала над подобной забавой.

— Иродом ты, что ли, хочешь прославиться? — говорила она.— Ну что тебе козявка-то божья мешала? И козявка ведь жить хочет, и ей от создателя предел положо́н!.. А ты как думал, баловник?! Вот погоди, погоди, голубчик! Помрешь ужо, так на том свете черти и станут над тобой куражиться, оборвут у тебя ноги и руки да и скажут: «Ползи-ка, мол, Петр Ваныч, а мы посмотрим да посмеемся!..» Как-то ты тогда, голубчик, запоешь?.. Ох, владычица, согрешила я с этим озорником: нечистых помянула перед самою обедней!!

Жутко делается мальчику от вещих слов старой няни, и задумывается, притихает он невольно. А няня между тем, осенив себя крестом, сурово смолкла. Седые волосы выбиваются у нее из-под косынки; бескровные губы строго сжаты, а на старческом, как печеное яблоко, сморщенном лице ее ребенок не видит того выражения ясного покоя и доброты, которое он привык там встречать обыкновенно.

— Ну, прости, дорогая нянечка, прости!.. Больше не буду! — ласкается он.

— То-то, не буду!.. Эх ты, голова с затылком!

Няня достает из кармана твердый, точно окаменевший пряник, дает его Пете и разглаживает дрожащей рукой его кудри: мир между ними заключен...

Поручик Сомов мучил в детстве козявок не по злобе. Нет! Просто потому, что все интересовало его, всякая былинка, в которой билась жизнь, уже наполняла его голову неразрешимыми и горячими вопросами: «Зачем? Почему?!»

Да и вообще чувство сострадания до сих пор как-то доступнее, ближе для него, поручика Сомова, чем другие чувства... Не оттого ли он так любит чтение «Страстей господних» [3] в последнюю неделю великого поста?.. А в детские годы ничто не действовало на него умилительнее этого чтения...

Огромная церковь полна молящимся, просветленным от свечей народом. В далеком куполе дрожит мрак, и из него мерцает позолота карнизов, лепные херувимы и венчики икон. Лики святых в сиянии лампад загадочно-сурово смотрят с иконостаса. К решетчатым окнам прильнул весенний вечер, темный, как ненастная ночь. А над толпою проносится голос священника, да изредка шорох крестящегося народа, да тяжелый вздох, точно с усилием оторванный от сердца... Сам священник — седой, лысый, в темных очках и в поношенной ризе; читает он громко и прерывающимся, надтреснутым голосом, время от времени сморкаясь и откашливаясь. Но какой таинственный восторг вызывает в ребенке его простое, безыскусственное чтение! Петя замер возле матери и няни, просветленный, как и все, зажженными свечами, замер, и в душе его совершается нечто необъяснимое, великое... Какая-то особенная молитва без слов просится на уста и не может вылиться; слезы дрожат под ресницами; детские руки в волнении мнут восковую свечу, и с трепетом слушает он незамысловатый рассказ о том, как страдал, как умирал Христос, пришедший в мир спасти и прощать... Чувство жалости и любви растет в ребенке к этому Христу; он невольно переносит это чувство на всех, на всех... А священник продолжает читать прерывающимся голосом; народ по временам крестится; кадильный дым окружает лампады у икон туманными венчиками, и мрак с улицы заглядывает через окна в церковь...

Была пора в жизни поручика Сомова, когда ему казалось, что вера в нем навсегда разрушена, что храм не может более служить убежищем для страдающей, смущенной души... И все-таки каждый год, в вечер чтения «Страстей господних», что-то необъяснимое тянуло его в церковь, в эту пеструю толпу, набожно молящуюся: он находил успокоение уже в том, что стоял, как и в дни детства, среди верующих и слушал повествование о муках Христа...

Поручик Сомов, под влиянием воспоминаний, все дальше уходит от настоящего и понемногу успокаивается.

Даже вновь поднявшийся в сенях неистовый и до виртуозности разнообразный храп его денщика Сергея не кажется ему более отвратительным: храп этот уносит его еще глубже в то же детство, в полутемную прихожую барского дома, где на ларях дремлют старые слуги. В доме все точно вымерло, обвеянное послеобеденным сном... Только мухи звенят на окнах и жужжат под потолком столовой, у люстры, да чикают по разным комнатам многочисленные маятники...

И чем более поручик Сомов погружается в воспоминания, тем более крепнет в нем убеждение, что он не может, не должен наказывать Козловского...

Ведь все зависит только от него, поручика Сомова, а данное — по неосторожности — обещание можно взять и назад!.. Пусть товарищи смеются над ним, пусть презирают... Надо остаться тем чистым, добрым и хорошим, каким помнит он себя в детстве!.. О, на этот раз с ним не будет того, что так часто случалось прежде, когда, сразу воспламенившись каким-либо решением, он в критический момент поступал совсем наоборот...

— Нет, лучше быть непоследовательным, чем идти против совести! — произнес поручик Сомов почти вслух, точно желая этими словами побороть в себе последнее сомнение... И в тот же миг перед ним опять вырос из сумрака капитан Петров и стал говорить, говорить ядовито, насмешливо... Напрасно поручик Сомов пытается спастись от этого призрака в чистые воспоминания детства: в каком-то тайнике души его, как зверь в тенетах, трепещет нечто, похожее на тяжелое, холодное предчувствие...

Только под утро удалось ему забыться, и он уснул на мысли о том, что-то делает и думает в эту ночь музыкант Козловский, а сам твердо решил не наказывать и простить его...

IX

Сомов проснулся после того, как Сергей, окликнув его три раза, начал стаскивать с него одеяло (денщику было отдано приказание прибегать в крайности и к такой мере).

Было почти темно, сыро, холодно, и Сомова в первую минуту взяла досада на то, что его будят.

— Чего тебе? — крикнул он на Сергея.

— Как чего! — точно выпалил тот.— Сами велели будить!.. Я почем знаю!.. Команда ждет!..

Команда!..

Поручику Сомову мгновенно вспомнилось все вчерашнее, как вспоминается утопающему пройденная жизнь в последний момент сознания... Он вдруг понял, что желание простить Козловского, еще накануне являвшееся то в виде робкого проекта, то в виде твердого решения, теперь невыполнимо!.. Вчерашние грезы похолодели за ночь, разлетелись и оказались явно несбыточными при первом же серьезном столкновении с действительностью, и эта действительность стояла теперь тут же, за бараком, в лице нижних чинов музыкантской команды, ожидавших от поручика Сомова, как от начальника и офицера, исполнения данного слова...

Делать было нечего! Он торопливо оделся и вышел к команде, после чего вся процессия направилась к далекому лесу, которого за туманом совсем не было заметно.

Впереди, под конвоем двух солдат с ружьями, шагал осужденный Козловский. Хотя еще не рассвело, но видеть его можно было хорошо.

Небольшого роста, невзрачный солдат рыхлого сложения, в старой, потертой на локтях шинели, воротник которой был поднят до ушей, с руками, засунутыми в рукава — вероятно, от холода, немного сгорбившись и не глядя по сторонам, Козловский подвигался вперед неторопливым шагом, словно направлялся куда-то по своему собственному, неспешному делу.

За Козловским и его конвойными тянулись уже остальные нижние чины команды, а возле них, стараясь не отставать от взрослых и попасть им в ногу, маршировал воспитанник команды Петька.

В этот раз на нем красовалось все его обмундирование, начиная с шинели солдатского покроя, с необыкновенно длинными рукавами «про запас», и кончая круглой, бескозырной фуражкою, молодцевато сдвинутой на затылок и открывавшей осповатое, бледное его личико. Одной рукою Петька держался за полу шинели левофлангового солдата, в другой же у него был ломоть черного хлеба, величиной чуть не в его голову, густо обсыпанный солью, который он покусывал с видимым наслаждением.

Около Петьки бежал пес музыкантской команды Шарик. Сначала он умильно заглядывал на кусок хлеба; но,

получив энергичный пинок, сейчас же сообразил, что все надежды на угощение потеряны. Тогда он пустился вперед, деловито обнюхивал кусты и бугорки, пропадал в тумане и отставал с озабоченным видом, как бы только для того, чтобы потом иметь случай обогнать лишний раз команду, бодро тряся ушами и держа на отлете хвост, пересыпанный репейниками.

Поручик Сомов и фельдфебель Сидоров замыкали шествие.

В первую минуту по выходе к команде поручику Сомову показалось, что на лицах нижних чинов лежал какой-то особенный отпечаток сосредоточенности или неудовольствия... Впрочем, он и сам не мог бы дать себе теперь ясного отчета в своих впечатлениях: в голове его преобладал бесформенный хаос, а на душе — неестественное спокойствие, доходившее до того, что одно время он стал даже, мысленно и против воли, подпевать какой-то опереточный мотив, назойливо лезший ему в голову, в такт шедшей впереди команде... Ноги его двигались как бы сами собою. Челюсти — и от холода, и от нервного напряжения — постукивали одна о другую...

По дороге он успел узнать от Сидорова, что вчерашняя депутация была не ото всей команды, а только от части ее (Сидоров просил наложить взыскание на Конькова, Пантелеева и Иванова за их явку к начальству без его ведома); что Козловский провел ночь спокойно, был весел накануне и перед самым выходом на экзекуцию плотно закусил в карцере...

Между тем, пока они подошли к лесу, туман стал медленно расползаться, как расползается старая намокшая вата от неосторожного прикосновения, и заря, сквозь эти разрывы, бросила пурпурно-золотистые, холодные блики на окрестность. Неожиданный ветер робко дохнул с полей, и вдруг все молодые, еще влажные от росы осины дрогнули на опушке, засеребрились перевернутыми вверх листочками и залепетали особенным вкрадчивым шепотом. В гулком, едва просыпающемся бору прокуковала кукушка, словно испугавшись — начала сбиваться, всхлипывать и конфузливо умолкла. Где-то простучал дятел; ему откликнулся другой... А в отдалении рос своеобразный гул: это в лиловатой дымке холодного еще утра просыпался лагерь..

X

Возвращаясь назад, поручик Сомов отпустил нижних чинов, а сам остался в лесу... Все пережитое за последнюю ночь сразу нахлынуло на него: он присел на пень, схватил голову в руки и тихо, судорожно заплакал. Так плачут дети, когда их несправедливо обидят... Поручику Сомову казалось, что кто-то нарочно и зло оскорбил в нем заветное, дорогое чувство. Ему уже не было жаль Козловского... Нет, он плакал о себе, о своих разбитых верованиях, о неумении бороться с обстоятельствами... И что делать, что делать?! Бросить службу?.. Но и в службе этой бывали же для него, поручика Сомова, приятные, светлые минуты... Его там любили, им даже как будто дорожили... «Вы молоды, а я вас назначаю полковым адъютантом,— припомнились ему слова командира полка.— Музыкантская команда распущена... Держите ее в ежовых рукавицах!» Последняя фраза, пришедшая на ум поручику Сомову, почему-то вдруг подействовала успокоительно на его нервы: в нем, очевидно, происходила реакция... Поднявшееся над окрестностью солнце, сквозь навес сосновых ветвей, пригревало его. По лесному мху струились то легкие и зыбкие тени, то световые пятна, борясь между собою и весело мешаясь. Встревоженные приходом команды малиновки и дрозды перекликались в орешнике, а лес шумел в вышине, навевая чувство умиротворения и покоя. Под влиянием этого шума история с Козловским, даже ночь, проведенная в борьбе между сердцем и рассудком,— все казалось чем-то слишком незначительным и мелким...

Когда поручик Сомов вернулся в лагерь, нижние чины, группами и в одиночку, брели уже на обед с ведерками и котелками. Около кухонь, где аппетитно пахло щами, поджаренным салом и черным хлебом, с оживленным разговором обедали некоторые роты и бродили нищие, питающиеся в летние месяцы подаянием с солдатского стола.

Поручик Сомов застал часть музыкантов на занятиях; их пюльпитры, расставленные полукругом, весело сверкали из густой тени сосен. Оттуда неслись самые разнообразные звуки, среди которых, как у себя дома, распоряжался капельмейстер Панц. В эту минуту он стоял около унтер-офицера Иванова, бросавшего в воздух из огромного медного инструмента басовые, отрывистые, точно негодующие звуки. Панц, без фуражки, вытирая со лба пот и постоянно поправляя свободной рукою слезающий на за-

тылок парик, яростно отбивал такт дирижерской палочкой по краю пюльпитра с видом неумолимой решимости добиться-таки на этот раз своего; а Иванов в то же самое время невозмутимо извлекал из инструмента однообразное «пру!.. пру!.. пру!..». Звуки эти у него то повышались, то понижались, и когда он фальшивил, Панц произносил, стуча в такт палочкой: «И-що! И-що!.. И-врешь! И-врешь!» Какой-то кларнет, тут же возле, выделывал удивительные трели. Турецкий барабан суровым тоном отчеканивал свое «бум, бум», словно желая высказать твердое, непоколебимое убеждение. Медные тарелки звенели и дребезжали...

Вдруг взрыв сдержанного смеха донесся к поручику Сомову: у бараков другая половина музыкантов, очевидно уже окончившая свои занятия, окружала ротного козла и Шарика, вступивших в отчаянную, упорную борьбу... Как только козел намеревался уйти, Шарик хватал его за хвост или задние ноги и мгновенно попадал на рога быстро оборачивавшегося противника; только что этот последний возобновлял попытки отступления, как повторялась прежняя история... Петька, присаживаясь на корточки, взвизгивая от затаенного восторга, по-видимому, принимал самое живое участие в травле...

Не успел поручик Сомов хорошенько всмотреться в эту сцену, как мимо него, из-за бараков, в облаке пыли покатилась коляска с тучным командиром полка, приветливо кивнувшим ему головою. Солдаты, заметив начальство, вытягивались, оправлялись и отдавали честь; козел и Шарик куда-то бесследно исчезли, словно провалились; исчез и Петька... К поручику Сомову, застегиваясь на ходу, с пером за ухом и бумагами под мышкой, бежал уже старший писарь: обыденная лагерная жизнь для него начиналась. Поручик глубоко вздохнул и стал подниматься по ступенькам крыльца полковой канцелярии...





КОСТРЫ

Был конец сентября.

— А не темно будет ехать? — спросил Петр Егорович, усаживаясь в высокий неуклюжий тарантас и завертываясь в шубу.

— Со мной ничего не бойся! — успокоил его высокий худощавый мужичонко в рваном тулупе и неумело полез на козла, напоминая своими движениями обезьяну.

— Да ты что?.. Недавно кучером у тетушки? — спросил Петр Егорович.

— Я-то кучером? — удивился мужик.— Да ты меня разве не знаешь? Я Алексей, садовник ейный. Вот я кто. Кучером Осип. Да Осип-то с барыней в коляске уехал, вот меня за тобой и выслали.

— А дорогу ты хорошо знаешь?

Алексей усмехнулся.

— Со мной ничего не бойся! — повторил он и подобрал вожжи.

Тарантас качнулся и запрыгал по мощеному двору железнодорожной станции. Внезапно, у самых ворот, копыта лошадей захлюпали по грязи, и колеса беззвучно соскочили в рыхлую почву.

— Эге! да у вас грязь,— заметил Петр Егорович,— много было дождей, что ли?

— И-и! просто залили, барин! — печально ответил Алексей и повернулся с козел к тарантасу.— Залили и за-

лили. Месяц целый шли. По весне дожди и по осени дожди.

— Это мы все двадцать верст так тащиться будем?

— Зачем все? По степи дорога хорошая, накатанная. Как прояснило да пообдуло немножко, стали хлеб возить и накатали.

— Как хлеб? У вас еще хлеб в поле? — удивился барин.

— А то?..— печально отозвался Алексей.

Тарантас подпрыгнул на кочке. Петр Егорович взмахнул руками, ухватился за край опущенного верха и рассердился.

— Ты на дорогу-то смотри! — опрокинешь в грязь... Тоже кучером посадили!

Из грязного станционного поселка они выезжали в степь. Кругом было темно, но Петр Егорович сейчас же заметил странный отсвет, точно отражение далекого, но сильного пожара. Тарантас, фигура Алексея и прыгающая спина пристяжной выделялись теперь яснее и рельефнее. Он оглянулся и увидал по горизонту целый круг сливающихся вместе маленьких зарев... Местами зарево разгоралось, вспыхивало, и тогда вдруг значительно выше занималось другое, озаряя часть облачного неба, точно заигрывая с облаками и захватывая их врасплох во время их ночного отдыха.

— Это что же? — удивился Петр Егорович.

— А костры! — радостно объяснил Алексей.— Вот выедем на горку, все они у нас как на ладони будут, и ехать не темно.

— Как костры? Зачем?

— А народ-то? Весь народ в поле: возят, молотят. Уборка-то в этом году ишь какая! у кого еще и пшеница в поле, а овес, подсолнух весь еще там.

Петр Егорович заинтересовался.

— Раз, два, три...— начал он вслух считать отдельные зарева. Алексей тихо смеялся, сидя в своей ленивой согнутой позе.

— Гляди, барин, не сочтешь, собьешься,— мечтательно заметил он.— Степь-то теперь — что божий дом: вся-то курится.

— Несчастный народ! — нарочно громко и внятно произнес Петр Егорович. Они выехали на гору, и теперь действительно костры были как на ладони. Некоторые горели близко около дороги. Пламя лениво колыхалось, и на яр-

ком фоне его нередко выделялись тени, очертания человеческих фигур.

— Несчастный народ! — с пафосом повторил Петр Егорович. В городе, где он жил почти безвыездно, он пользовался репутацией смелого, горячего защитника народа. Петр Егорович скромно отрицал приписываемые ему заслуги, но в душе ни минуты не сомневался в том, что знает народ и умеет понимать и любить его.

«Что за красота!» — хотелось воскликнуть ему, когда степь развернулась перед ним вся темная, но сияющая. Но он взглянул на изогнутую спину Алексея и удержался.

— Что свечи в храме! — умиленно вполголоса заметил Алексей.

— В холод, в сырость! с маленькими, быть может, больными детьми,— громко сказал Петр Егорович.— А это что? — спросил он, указывая в сторону, где на довольно большом пространстве перебегал огонь, то вскидываясь вверх, то пригибаясь и словно ползком пробираясь по земле.

— А это солому жгут,— ответил Алексей.

— Зачем же жгут?

— А много ее родилось. Сила! Вот и жгут. Зерно щуплое, а соломы сила!

— Дурачье! — заволновался Петр Егорович,— зачем же жечь? Давно ли это было, что о соломе криком кричали? скотину поморили? Дурачье!

Алексей приподнял свои плечи, точно хотел спрятать в них голову. Петр Егорович успокоился и уже без гнева следил за тем, как импровизированное пожарище отодвигалось все левей и левей, как, наконец, тарантас оставил его совсем влево и ушел вперед. Колеса мягко катились по накатанной дороге, а голова пристяжной с длинными ушами выделялась на красноватом фоне степи.

— А по весне хлеб хорош был? — спросил Петр Егорович, потому что молчать было скучно, а дремать неудобно.

Алексей порывисто повернулся к нему, и он в первый раз увидал его лицо: оно тоже было длинное, худощавое и почти безусое. Глаз Петр Егорович разглядеть не мог, но даже в полутьме его поразило восторженное, умиленное выражение, которое как бы озаряло наружность Алексея.

— Барин,— сказал тот, взмахивая руками, в которых держал вожжи,— да ты не был здесь по весне?

— Нет, не был,— улыбнулся Петр Егорович.

«Блаженный какой-то!» — подумал он про Алексея.

Тот шумно вздохнул и покачал головой.

— Ах, рай-то был какой! Ты бы тогда приезжал! Уж больно хорошо сад-то цвел: яблони да вишни... Точно это бог по саду гуляет. И все у нас, барин, принялось, все росточки пустило. Посадков из лесу целый воз навезли; глядеть не на что! прутики голые! А тут посадили мы их, а они пошли, пошли... Отрыгнулись, листочек выпустили...

— Ты с кем же садовничал?

— А Иван Афанасьевич-то! Он главный садовник. Иван Афанасьевич меня всему учил: как что посадить да полить; как уходить... А как Иван Афанасьевич расчелся, так уж я один. Ах, барин! приедешь, ты уж сходи посмотреть: капуста у меня какая веселая, ах, какая капуста!

— А дичь у вас есть? вальдшнепы, утки, что ли?..

— А за капустой-то, в балочке. Там самая утка, барин. А тебе зачем?

— Охотиться буду, стрелять.

— Это утку-то стрелять?

— А то кого же? тебя, что ли?

Алексей опять съежился и ушел головой в плечи.

— Какая же у нас утка? — торопливо заговорил он.— Ежели стрелять, то совсем нечего. Нет уток.

— Как нет? — удивился Петр Егорович.— Сейчас говорил, что есть?

— Нет, нету! — сухо и решительно сказал Алексей и отвернулся к лошадям.

«Совсем блаженный! — опять подумал про него Петр Егорович,— не понравилось, что я охотиться собираюсь».

Вдруг под самые ноги лошадей упал яркий красный свет, по жнивью скользнули уродливые тени коней и тарантаса, и у самого края дороги, справа, показался костер. Пристяжная насторожилась, запрядала ушами, прижимаясь к кореннику, а мимо Петра Егоровича мелькнули очертания двух телег, сдвинутых вместе, задумчивая морда лошади и перед самым костром, среди сидящих темных силуэтов, маленькая фигурка девочки в красном платке.

Девочка повернулась и глядела на экипаж.

— Ах, бедные! ах, несчастные! — громко сказал Петр Егорович.— В такой-то холод!

Алексей беспокойно завозился на козлах.

— Намедни у Пахома помер парнишка-то,— торопливо сообщил он.

— У какого Пахома? — спросил Петр Егорович.

— Разве не знаешь Пахома? Ведь у него два мальчонка-то; махонький вот и помер. Тоже в поле так-то... У барыни нашей лечили, да нет! помер.— Алексей громко вздохнул и покачал головой. Вдруг он встрепенулся.

— Барин! а как по-вашему, по-ученому: детская душа с земли прямо к богу?

Он повернулся и глянул в лицо Петра Егоровича, ожидая ответа. Петр Егорович крякнул.

— А не знаю, брат,— равнодушно ответил он.

— Я полагаю, что прямо,— с жестом правой руки горячо заговорил Алексей.— Потому как душа детская невинная, она безгрешная...

— А ты женат? — спросил барин.

— Я-то? — удивился Алексей.— Нет. У меня никого нет. Один я. Чисто. Совсем один.

— Дорогу-то разглядывай! — прервал его Петр Егорович.

Алексей вздрогнул и притих.

— А лекарства с тобой нету, барин? — немного погодя робко спросил он.

— Какого лекарства? — удивился Петр Егорович.

— Да вот грудь у меня все ломит; грудь и спину... Чахотка, что ли, доктора называют?

— А-а! — протянул Петр Егорович.

— Ничего мне легче нет, а целую бутыль я на себя извел: все терся, все терся... Болит!

— Лекарств у меня нет, я не врач,— сказал Петр Егорович.

— Вот ведь горе-то! — сокрушенно вздохнул Алексей.— Кто без меня за садом уходит? Теперь сколько дела! Мне все Иван Афанасьевич показал, всему научил: «Молодые деревца, говорит, окутай, обвяжи...» Ах, барин, уж и сад: цветочков мы из ящиков по весне высадили, так еще теперь цветут. Астрой называется цветок. Красив! Ты, барин, посмотри у нас астру. Опять еще капусту не рубили. Веселая капуста! Только бы мне здоровья! а здоровья не будет, кто за садом?..

Петр Егорович уже не слушал: он дремал, увернувшись в шубу. Сквозь легкую дрему ему все еще мерещилась степь, костры...

И эти костры стягивались кругом него, подбираясь все ближе и ближе, окружая его все теснее со всех сторон. Ему становилось жарко и душно от дыма и пламени. И вдруг впереди него метнулась громадная фигура Алексея и взмахнула руками.

— Братцы, к богу, к богу! — восторженно вскрикнул он, закидывая голову с искаженным от мученической радости лицом.

— К богу!

Он ринулся в костер, прямо в пламя, а в степи прошел гул, словно стон, побежали тени маленьких темных людей, и эти люди тоже стали бросаться в костры и кричать: «к богу»!

Петра Егоровича что-то сильно ударило в голову. Он проснулся и выпрямился, освобождая лицо из воротника шубы. Кругом было темно, но когда Петр Егорович огляделся, он увидал, что они стоят внизу, в балке, у поворота на мост, а на мосту кричат и суетятся люди. Алексея на козлах не было.

— Что такое? Что случилось? — крикнул Петр Егорович.

— Держал бы вправо... вправо! — кричал чей-то голос.

— Говорят ему, лешему!..

— На мост лезет... В объезд бы...— доносились до Петра Егоровича отдельные возгласы.

— Что такое? Алексей! — крикнул он, привставая.

Алексей подбежал и опять по-обезьяньи полез на козла.

— Куда ты, дурак, пропадал? Что случилось?

— Да мужики... мужики, вишь, на мосту завязли. Лошадям было ноги поломали. Разве же этот мост для езды? — возбужденно пояснил Алексей.

Петр Егорович разоспался и был не в духе.

— Чего это их?.. целый обоз?

— Обоз. С работы ушли, от Андреева.

— Куда едут-то?

— Да так... Нанимаются. Прослышали, что на Вилков хутор рабочих берут, вот и поехали. Ох, барин, держись!

Тарантас охнул, погрузился по подножку в жидкую грязь и понесся, подскакивая, вверх по крутому откосу балки.

«Без дороги жарит, дурак!» — подумал Петр Егорович, распахиваясь и хватаясь за что попало, чтобы удержаться

на месте. Мельком он увидал обоз; несколько телег в одиночку и парой медленно ползли вдоль темной балки, и среди скрипа колес слышались голоса и пискливый крик ребенка.

— Отчего они уехали? — строго спросил он, кивая на обоз.

Алексей пустил лошадей шагом.

— От обиды,— тихо ответил он,— от обиды уехали.

Вдруг он опять обернулся лицом к Петру Егоровичу.

— А что, барин, как по-вашему, по-ученому,— заговорил он,— правда это, что всякая обида, всякая слеза к богу росой поднимается?

Барин опять уже начинал дремать.

— А не знаю, брат,— сердито ответил он, кутаясь в шубу.

Впереди небо было темно и облачно, и только справа эффектным зрелищем догорала солома, которой выжигали ток. Она одна еще освещала сбоку тарантас и задумчивую фигуру на козлах.

— Ну, пошевеливай! — приказал Петр Егорович.

Алексей заволновался, подобрал вожжи.

— Теперь до самого хутора, барин, костров не будет, в стороне оставим,— сказал он.

Петр Егорович что-то промычал. Алексей повернулся, и его испитое, длинное лицо слабо озарилось далеким отсветом.

— Ишь, курится...— мечтательно произнес он.— Люди-то с своим горем-нуждой на земле, а кровь-то их ишь... в небе! Это бог их видит и сказывает... Люди-то!

— Ты у меня будешь править... или нет? — гневно крикнул Петр Егорович.

Алексей вздрогнул; плечи его поднялись, и худощавое тело вытянулось на козлах. Лошади пошли рысью, разбирая дорогу в темноте.

— Вот они какие! люди-то! — после долгого раздумья восторженно заметил Алексей и сейчас же умолк, словно испугался собственного голоса.

А небо было темно и облачно, и только изредка, то тут, то там, занималось в нем слабое зарево, дрожало, бледнело...

Это бог видел людскую нужду, видел и сказывал.

Петр Егорович спал.

НА ЧУЖБИНУ

Кучер с трудом остановил разбежавшуюся тройку, привстал на козлах и, вытянув шею, глядел вперед и по сторонам.

— В объезд надо брать, не проехать,— решил он.

— Да что тут такое? откуда столько наехало? — удивленно спросил Накатов и тоже приподнялся в экипаже, держась одною рукой за металлический ободок козел.

Под яркими лучами летнего солнца, на большом протяжении между станционными зданиями и длинным рядом постоялых дворов, питейных заведений, колониальных и других лавок копошилась, гудела и скрипела колесами сотни телег многоголовая, беспорядочная толпа крестьян. До слуха Накатова доносился только смутный, неумолкаемый гул, из которого случайными отдельными звуками вырывались то ржанье коня, то плач ребенка, то бабий визг или отрывок удалой песни.

— Что тут такое? — спросил опять молодой человек, обращаясь к проходящей бабе. Та, видимо, спешила и, не останавливаясь, кинула на Накатова тревожный взгляд.

— Переселенцы, батюшка, переселенцы. Девяносто дворов.

— Куда? — крикнул он ей вслед.

— В Оренбургскую... Тетка тут у меня, попрощаться бегу.— И она действительно побежала и сейчас же затерялась среди толпы.

— В объезд, значит? — спросил кучер.

— Пойдем пешком, Катя,— предложил Накатов, оглядываясь на сидящую рядом с ним девушку. Та, видимо, колебалась.

— Ну пойдем! — согласилась она,— с тобой не страшно.

Они быстро выпрыгнули из экипажа и, взявшись под руку, направились прямо через толпу к станции.

— Взгляни, Катя, все пьяно! — с оттенком досады и брезгливости сказал Накатов.— Едут бог знает куда, набрали кое-какие крохи, и как набрали! Дома свои, скотину, весь скарб свой за полцены сбыли и теперь пропивают все, до копейки! — Молодой человек пожал плечами и нахмурился.

— Народ, народ! Наш умный, добрый русский народ!

Он сделал широкий жест свободной рукой и усмехнулся. Они стояли уже среди толпы. Не общий гул, а от-

дельные, резкие звуки раздавались в их ушах. Вдоль и поперек дороги как попало стояли телеги; одна из них ушла двумя задними колесами в канаву, и тощая лошаденка тщетно силилась вытащить ее на ровное место. На телегах и рядом с ними прямо на земле сидели и стояли мужики и бабы, лежали мешки, узлы... Почти все мужчины были пьяны: одни шатались, кричали, пробовали плясать и петь песни, другие, уже окончательно опьяневшие, лежали на земле без голоса и без движений. Попадались и пьяные бабы.

— Зачем это они? Зачем? — прошептала Катя.

— Эй! барин! — весело окликнул Накатова молодой мужик.— Прощай, барин!

Сильно пошатываясь на ногах, скинул он с головы шапку и уронил ее на землю.

— Хороший барин! прощай!

Молодой человек засмеялся.

— Прощай, брат, прощай! — ответил он и прошел дальше.

— Эй, прощай! — кричал ему вслед веселый мужик.

Он нагибался, чтобы поднять свою шапку, но, не дотянувшись, отшатывался от нее, как от заколдованной. Кругом хохотали.

— Ну-ка, подступись к ней! подступись!

На одном возу сидела женщина; она обнимала детей, а глаза ее глядели в пространство, остановившиеся, полные отчаяния и ужаса.

— Тетка! — крикнул ей кто-то,— хозяина подбери! Забудешь, неравно... Во-он там у заборчика без задних ног валяется.

Она бессмысленно повела глазами на говорившего и опять уставилась ими перед собой.

— О, Вася! — сказала девушка.— Ты видел, какие глаза?

Накатов нахмурился.

— Оглянись, Катя,— сказал он,— оглянись и скажи по совести: ну, не смешны мы все с нашей горячей защитой за наш милый, умный народ? Не смешны мы все с нашим постоянным величанием и расхваливанием его? О, великая душа русская! Полюбуйся, полюбуйся же теперь на этого безвольного... зверя. Дорвались! Всю прошлую жизнь, все потом и кровью нажитое, скопленное, все, что еще могло кое-как обеспечить близкое будущее, все, все с легким сердцем отдается за стакан водки. Жены, дети... Ни жа-

лости, ни страха... Что же, скажи: опять жалеть? опять оправдывать? Нет! нет! меня они возмутили, озлобили...

— Вася! — кротко перебила его сестра,— а если это безнадежность? В прошлом — одно горе, нет веры в будущее, и только минута... минута забвения в их власти.

Накатов нетерпеливо пожал плечами.

— Да, да... Опять только жалкие слова. Всегда только жалкие, жалкие слова!

— Но кто же виноват! — совсем уже тихо ответила Катя.

В двух шагах от них стоял пожилой мужик и, сморщив озабоченно лоб, считал что-то по растопыренным пальцам своей корявой, мозолистой руки. Он тоже был пьян, но выражение лица его было сумрачно, почти злобно.

— За телку, говорит, за телку накидываю,— бормотал он,— а всего шесть с полтиной.— Он стал загибать пальцы левой руки и, не досчитываясь одного, опять растопырил их и с недоумением оглянулся кругом.

— Али обронил палец-то, дядя? — весело расхохотался мальчишка-лавочник, перебегая через дорогу с пустой бутылкой в руках. Мужик злобно покосился на него.

— Зубы побереги, зубы! Вот я барина спрошу... Барин! спросить вас надо: Бухтеру знаете?

— Чего? — переспросил Накатов.

— Бухтеру эту самую, Бухтеру! — повторил мужик.

— Что такое Бухтера? — недоумевал молодой человек.

— Так не знаете?

— Не знаю.

— Так чего же толковать, если не знаете? чего толковать? — неожиданно рассердился мужик.— Вот тоже! толкует чего не знает! Барин, а не знает.

Накатов невольно засмеялся.

— Нет, ты не толкуй! — уже угрожающим тоном кричал мужик.— Не толкуй, чего не знаешь! Ишь толкует!

— Да ведь это он про Оренбург! Оренбург... Вот про что он спрашивал! — внезапно догадался Накатов и даже остановился.— Бухтера! — горько усмехнулся он,— названия простого и того не знают, недослышали. Едут тоже... Бухтера!

Около самой ограды станции лежал мертвенно пьяный. Он закинул голову, и солнце жгло его налившееся кровью, побагровевшее лицо.

— Хозяин! — все с той же усмешкой кивнул на него

Накатов. Катя вздрогнула и отвернулась: ей вспомнилась женщина с остановившимся взглядом и двумя ребятами на руках.

Станционный двор и платформа были тоже запружены народом. Брат и сестра вошли в общую залу и стали у открытого окна. Мимо них по платформе поминутно пробегал озабоченный начальник станции и другие люди в форме станционных служителей. Запыхавшийся, совершенно растерявшийся земский начальник подбегал то к одной группе крестьян, то к другой. Лицо его было красно и потно, он беспрестанно отирал лоб платком, а из груди его вырывались хриплые, бессильные звуки. Он увидал Накатовых и закивал им головой.

— Знаете,— говорил он через минуту, подбегая к окну и пожимая руки брату и сестре,— я, кажется, лучше согласился бы везти их вместо паровоза. Видели? Что с таким народом поделаешь! Сейчас будут подавать поезд.— Он опять торопливо пожал Накатовым руки и убежал во двор.

— И здесь все то же! — с возрастающим чувством досады говорил Накатов.— Все те же бессмысленные пьяные лица, все тот же гвалт и бестолковая суета.

Больше всего шумели и суетились бабы: одни тащили за собой детей, мужей, волочили мешки, узлы; другие сидели на этих мешках и, пригорюнившись, подперши рукой щеку, причитали и голосили на все лады. Были и более спокойные: одна еще очень молодая, красивая женщина безмолвно припала головой к сухой груди одетой в рубище старухи. Кто из них уезжал, кто оставался? Лицо молодой женщины было страшно бледно, глаза закрыты; старуха глядела в небо, и в глубоких морщинах ее потемневшего лица застоялись слезы. Со двора доносился хриплый голос земского начальника; кричал он, кричал еще кто-то, а на платформу народу прибывало все больше и больше; точно надвигающиеся волны, теснила толпа здание станции. Но вот к платформе медленно, грузно, почти бесшумно среди окружающего гвалта подкрался поезд, заскрипели тормоза, зазвенели цепи, и сейчас же резко, оглушительно прозвучал звонок. Словно неожиданный, жестокий удар разразился над беспорядочной толпой. На минуту стало так тихо, что голос начальника станции отчетливо пронесся по платформе.

— Садиться! — с какой-то торжественной и в то же время дрогнувшей ноткой скомандовал он.

Еще с минуту длилось молчание, и вдруг опомнившаяся толпа дрогнула, застонала... Самые бессмысленные от вина лица прояснялись сознанием; одна и та же мысль, одно и то же чувство выразились во всех глазах... Разом не стало безвольного, разнузданного, опьяненного зверя: рядом с человеком стоял человек, а в душах этих людей было одно им всем общее, всем одинаковое горе; и горе это было так велико и боль от него так нестерпима, что все то наносное, случайное, все то, что придавало им еще силы и терпения, теперь разом рассеялось, и стояли люди лицом к лицу с своим горем, обезоруженные, жалкие, беспомощные, как дети. По седым бородам катились мелкие, скудные мужичьи слезы, из которых каждая словно просачивалась через сильную мужичью душу насквозь. Где-то истерично взвизгнула женщина, за ней другая, третья, и вдруг вся толпа, как по команде, обнажила головы, опустилась на колени и с молитвой, любовью и отчаянием прильнула в последний раз к родной земле. В стороне, растроганное, с опущенными головами без фуражек, стояло начальство.

— Катя! милая! — позвал Накатов. Молодая девушка прислонилась головой к косяку окна, плечи ее вздрагивали, и слезы беззвучно и неудержимо лились по щекам.

— Зачем? Ты понимаешь теперь зачем? понимаешь? — возбужденно шептала она.— Затем, что не терпит душа... Будьте же справедливы! Разве мало горя? мало? Облегчите же, а не осуждайте... Не осуждайте! — Катя заплакала еще сильнее, а Накатов закусил губы и виновато потупился.

— Садиться! — еще раз грустно и мягко прозвучал голос начальника.

БЕЗ ПРИВЫЧКИ

— Слышишь? — спросила Ольга Ивановна и жестом руки заставила брата натянуть вожжи.

Шарабан мягко катился по густой траве лесной опушки; желтеющие ветви кустов попадались в колеса, а в стороне, стройный и нарядный в своей запестревшей осенней листве, стоял молодой лесок.

— Слышишь? — повторила Ольга Ивановна и наклонила голову.

Николай Иванович вытянул шею, сузил свои большие темные глаза и покачал головою.

— Ничего не слышу. Что тебе показалось?

— Не показалось, а я ясно слышала, что в лесу рубят.

— Рубят? Нет.

— Ну вот! Станешь ты уверять! Держи в эту сторону, поезжай шагом и не разговаривай.

Он свернул по тому направлению, куда указала она, и слегка ударил вожжами по спине лошади. Прямо перед ними открылась широкая просека; солнце, уже близкое к закату, глянуло им в лица, блеснуло искрами в золотых очках Николая Ивановича и заставило Ольгу Ивановну опустить глаза. Она стала следить, как бежало переднее колесо, подгибая под собою былинки травы, как мелькали упавшие желтые и красные листья, а молодое лицо ее чувствовало на себе ласку осеннего солнца.

Легкий стук заставил ее встрепенуться, и она опять схватила брата за руку.

— Стой! — шепнула она.— Слезай и иди прямо к оврагу. Это, должно быть, там. Я подожду.

Он покорно передал ей вожжи, спрыгнул на землю и с недоумевающим выражением повернулся к ней лицом.

— Я пойду. Что же дальше? — спросил он.

— Накроешь с поличным; веди сюда... Лошадь есть — лошадь возьми! Не потакать же ворам! Какой же ты хозяин?

— Голубушка моя, вот звание, которого я себе никогда не присваивал!

— Скверно делал! Все равно, не век же тебе в твоих канцеляриях сидеть — приучайся! К оврагу... Иди же, да осторожнее.

Николай Иванович одернул на себе суконную тужурку, поправил очки и, неловко ступая среди травы и сухих сучьев, направился к оврагу.

Лошадь смирно стояла, попрядывая ушами; Ольга Ивановна опустила вожжи, ленивым движением нагнулась вперед и, щурясь от солнца, стала следить за фигурой брата. Он шел слегка подпрыгивая на своих длинных, тонких ногах; раз или два он спотыкнулся, и, по движению его локтя, Ольга Ивановна угадала, что он опять поправил очки.

«Коля — дачник,— подумала она,— в деревне он и ходить-то по-настоящему не умеет. Чиновник. Если бы не я, что сталось бы с имением?»

Николай Иванович скрылся.

Он медленно углублялся в чащу, и до слуха его уже долетал теперь легкий стук топора.

«Не ошиблась! — думал он про Ольгу.— У нее есть этот навык, некоторого рода наметанность... Я не думал, что из нее может выработаться такая дельная, хорошая хозяйка. Но что же, однако, буду я делать с «ним»?» — вспомнил он, прислушиваясь к стуку в лесу.

«Легко Ольге говорить: «Веди сюда! Лошадь есть — лошадь бери». Как же это я все возьму, поведу?..» Николай Иванович охотно повернул бы в противоположную оврагу сторону, но он заметил нетерпение и презрительность в тоне сестры, и ему теперь захотелось доказать ей, что ему нисколько не трудно справиться с своей задачей, что поймать с поличным вора далеко не такая мудреная наука.

«Однако что же я ему скажу? — опять подумал он.— Надо кричать, браниться, надо казаться рассерженным и возмущенным».

Он сморщил лоб и тихо, так, чтобы не слышно было в двух шагах, откашлялся, прочищая себе голос.

«Никогда не приходилось кричать,— припомнил он,— а теперь нельзя без этого: странно было бы говорить тихо, вежливо».

Вдруг он остановился. Между оголенными ветвями деревьев мелькнула человеческая фигура, в ту же минуту раздался стук топора, и на землю медленно, с шумом повалился большой сухой сук. Николай Иванович отступил: он никак не думал, что неприятель так близко, и почувствовал теперь, что еще не вполне приготовился к своей роли. Человеческая фигура нагнулась, подняла сук и потащила его к целому вороху сложенной суши. Теперь Николай Иванович разглядел ее: это была женщина, голова ее была укутана платком, юбка бесцветного сарафана была высоко подоткнута и открывала босые, словно высохшие ноги. Она медленно двигалась, собирая нарубленную сушь; спина ее с трудом сгибалась и разгибалась, руки видимо напрягались, поднимая топор... Николай Иванович оправился от неожиданности и уже готовился выступить из своей засады грозным и непоколебимым судьей, как вдруг вблизи вязанки что-то зашевелилось, и Николай Иванович ясно услышал жалобный плач ребенка. Баба торопливо бросила топор, пугливо оглянулась и села на траву. Она подняла с земли что-то небольшое, увернутое в тряпье, по-

трясла это на руках и бережно приложила к груди. Николай Иванович ясно видел ее лицо, еще молодое, но уже вполне бесцветное, с впалыми щеками и тупым, равнодушным взглядом. В короткий срок своего пребывания в деревне он уже не в первый раз встречал такой взгляд у крестьянских женщин.

«Неужели так забивает, притупляет жизнь?» — спросил он себя и тут же вспомнил, что Ольга ждет его и что ему предстоит выполнить трудную задачу.

Что же, собственно, надо было делать? Выйти из своей засады, напугать до полусмерти эту и без того уже напуганную женщину? Видеть ее ужас, ее горе, слышать ее мольбы и... Что же дальше? Отнять у нее эту дрянь, набрать которую стоило ей столько трудов, обвинить ее в краже, лишить ее тепла и, может быть, лишить горячей пищи ее детей, таких же худых и запуганных, как она?

Женщина продолжала кормить ребенка и в то же время тревожно оглядывалась по сторонам.

«Подойти, пристыдить, пригрозить даже, а потом простить?» — подумал Николай Иванович и тут же возмутился, до того лживой и бессмысленной показалась ему эта сцена. К тому же одна мысль, что появление его, несомненно, вызовет у этой кормящей женщины испуг, почти ужас, стала ему настолько невыносима, что он забыл свою решимость достойно выполнить возложенную на него обязанность и — отступил. Щурясь и поминутно поправляя очки, осторожно шагал он, пробираясь среди кустов и деревьев; он прятался за стволы и останавливался, оглядываясь на сидящую женщину. Когда под ногой его слабо хрустнул вереск, он сразу пригнулся к земле, на лице его отразился испуг, а в груди сильно забилось сердце.

«Боже мой! — невольно подумал он,— кто же вор? Я ли боюсь этой женщины, или она боится меня?»

Когда Николай Иванович сообразил, что ушел достаточно далеко, он наконец выпрямился, облегченно вздохнул полной грудью и быстро зашагал по направлению к своему экипажу.

— Ну, что? — спросила Ольга Ивановна.

— Никого! — храбро ответил он.— Я исходил всю эту часть леса. Тебе показалось.

Она пытливо глянула ему в лицо, он хотел ответить ей прямым, откровенным взглядом, но покраснел и смешался.

Когда Николай Иванович уселся на свое место, Ольга передала ему вожжи, лошадь фыркнула, тряхнула головой и пошла крупным шагом. Наступило неловкое, напряженное молчание, а из лесу, со стороны оврага, отчетливо раздались короткие, гулкие удары топора.

— Ну, Ольга,— сказал Николай Иванович, чувствуя, что его ложь не удалась,— я не имел мужества... Духу у меня не хватило... Женщина, понимаешь ли, больная, нищая... Женщина с ребенком...

Он опять покраснел.

Ольга Ивановна заметила это; она подумала, что брату стыдно и неловко за свою сентиментальность и ложь. Она ласково заглянула ему в глаза и засмеялась.

— Ничего, Коля, ничего! — успокоила она его.— Все дело, конечно, только в привычке.

В ДОРОГЕ

Шел первый час ночи. В большой зале третьего класса, тускло освещенной газовыми рожками, было людно: спали на лавках, спали растянувшись на полу и подложив под голову туго набитый холщовый мешок. То и дело отворялись и хлопали двери, пропуская клубы холодного воздуха. Кругом слышалось движение, снаружи доносились свистки паровоза и мерный стук то приближающихся, то вновь удаляющихся колес; раздавались голоса. Вот снова хлопнула дверь, и теперь уже в самой зале задребезжал и залился звонок.

— Батюшки! нам, что ли? — спросила женщина и бестолково засуетилась, поправляя на себе платок и хватаясь кругом за что попало. Она спала на полу, рядом с ней, завернутый в лохмотья, лежал маленький ребенок.

— Постой, тетка, не торопись,— обратился к ней с лавки молодой парень, франтоватый по-приказчичьи, с некрасивым самоуверенным лицом.— Ишь ты, проворная какая! Сказано тебе, нам тут почитай до свету сидеть.

— Ох, родимый, как бы не пропустить. Спросить бы разве?

— Чего спрашивать-то? ведь и то говорят тебе. В одно место едем, чего же тебе вперед-то соваться.

— Да ты верно знаешь-то? — спросила баба.

— Уж верно. Сами едем, чего ж тут.

Он достал из кармана скомканную папиросу, расправил ее, нащупал там же спичку и стал чиркать ей о стену.

— Ишь у тебя там какой простор,— заговорил он опять, раскуривая и потягиваясь на лавке,— а у меня здесь не повернись.— Баба сидела на полу, и лицо ее, сперва испуганное, теперь успокоилось и приняло сосредоточенное, тупое выражение.

— Оно ничего, просторно,— ответила она,— несет только по полу-то. Прозябла.

— Ничего, в вагоне согреешься. Опять небось под лавками лазить будешь. Зайцем. Ловко! И распотешила ты народ, когда у тебя ребенок там запищал. Животики надорвал! Кричит, а тут — «билеты пожалуйте». И как тот только не догадался, удивленье!

— Может, и догадался, да так, добрая душа. Ведь и у кондукторов душа есть, братцы,— отозвался старик, сосед по лавке.— Куда едешь-то, тетка?

— В Москву,— задумчиво ответила баба.

— Из голодных мест, что ли? На заработки?

— В мамки хочу. Вот ребеночек-то мой; его в казенный дом определю, а сама в мамки.— Она глубоко вздохнула, подперла подбородок рукой и задумалась. Парень сплюнул и весело засмеялся.

— Ишь голодные-то вы, голодные, а ребят незаконных в казенные дома возите,— насмешливо заметил он и прищурился.— Что ж, ты ничего... Я тебя с вечеру заприметил. Закорузла только больно.

Баба заволновалась. Губы ее зажевали, а глаза глянули испуганно.

— Ничего! в городе отмоешься. В мамках житье хорошее; меня к себе в гости позови.— Он расхохотался, но она не ответила ни слова и продолжала смотреть перед собой во все глаза.

— Вдова, что ли? — окликнул ее старик.

— Вдова.

— Плохо у вас этим годом?

— Вот как плохо! нет ничего,— ответила баба и опять вздохнула.

— Прогневался бог! — заключил старик и, охая, повернулся на жесткой скамье.

— Двое их еще, старшеньких-то,— тихо заговорила баба.— Господи боже мой, как тут без отца кормить-поить? Семья у нас большая, неделеные мы: всякий о своем и радеет, а сиротки кому нужны?

— Старики, что ли, живы?

— Старики. Свекор ничего, а свекровь... «Выгоню, говорит, и с детьми». А чем младенцы виноваты? И с чего это, дедушка, у людей такое лютое сердце бывает? Человека готовы со свету сжить, жалости нет никакой.

— Ты, тетка, меня попроси, я тебя пожалею,— опять засмеялся парень,— я добрый. Не веришь?

Баба покосилась в его сторону и смолкла.

— Плохо, плохо! — заговорила она опять, как бы про себя.— Все бедность наша. Прежние годы не богато жили, да нужды такой не видали. Поглядел бы покойник-то мой... Скотинки ничего не осталось. Не продали бы — все равно к весне бы подохла.

— Знакомые дела! — сказал старик,— где теперь лучше-то?

— Везде плохо, везде! — вздохнула баба.— Ты сам-то кто будешь?

— Я-то? извозом занимаюсь. Тоже не веселят дела... Лошадей-то почем продавали?

— Даром, почесть даром отдали. А лошадь какая была!

Парень опять стал чиркать спичкой о стену.

— Тетка, а тетка! что ж, в гости кликнешь меня, что ли?

— Все продали, все проели. С горя, что ли, свекровь зверь зверем ходит. Намедни подходит ко мне Машутка, это дочка моя, «мама, говорит, отломи мне кусочек корочки, бабушка не дает, а мне больно есть хочется». Жалко мне девчонку; оглянулась, никого в избе нет, только мы с Машуткой; подошла это я к столу, отрезала махонький кусочек хлебца, сую Машутке, говорю: «Спрячь, не равно бабка увидит, еще забранит». Машутка хлеб схватила, даже глазенки у нее просияли, держит, трясется...

Баба остановилась. Увидала ли она мысленно свою девочку, радостную, с куском хлеба в руках, отдыхала ли она на этом видении или трудно было ей сказать, что стало с Машуткой дальше, только она опустила голову, и слезы полились по ее лицу.

— Увидали, отняли,— добавила она.— Семка на печке был, подсмотрел, свекровь в дверь, а он ей кричит: «Бабушка! тетка Марья хлеб ворует, Машутке скармливает. Ишь кусок у Машутки в руке зажат». Заплакала Машутка, закричала. Свекровь ее за плечи схватила, давай трясти: «Отдай, кричит, кусок, отдай!» Начала она ее бить,

а у Машутки лицо белое, а хлеб она в руке держит, не отдает. Тут я свекрови в ноги упала: меня, говорю, бей, ребенка оставь. Что тебе ребенок сделал?

— Что ж? отняла? — спросил старик.

— Отняла,— тихо ответила баба и задумалась.— Мальчонок тоже на худой пище извелся, в чем душа держится! Махонький, не понимает: «Мама, говорит, мягкого хлебца хочу». А где его взять? Тем, у которых отцы, тем еще всего есть, а моих сироток трудно ли обидеть? Господи боже мой! где только у людей жалость? «Выгоню, говорит, с детьми. Объедаете только». А уж чего там объедать? сама недоешь, недопьешь, ребятам сунешь. Грудной-то плох, плох... То все кричал, а теперь и кричать перестал.

— Как же детей-то покинула? Не обидели бы без тебя хуже.

— Ох, покинула! — покачала головой баба.— Хоть глаза мои видеть не будут... Может, и пожалеет их бабка-то, как не будет у них матери, заговорит в ней жалость. Машутка, как я стала прощаться, так даже обмерла и ручонок ее развести не могут... Обвила мою шею, держится...

Она всхлипнула и утерла лицо рукой.

— Свидимся ли? — Долго молчала баба и вдруг заговорила другим, спокойным, ровным голосом: — Поступлю в мамки; жалованье, говорят, там хорошее, сейчас денег в деревню сошлю и в письме закажу, чтобы детям моим хлеба мягкого вволю. Одежду справлю, Машутке платок... С оказией саек пошлю, сахарцу, чайку... Все моим! — Баба задумалась. По лицу ее скользнула легкая тень, губы сложились в улыбку.

— Когда еще место найдешь! — заметил старик.— Думаешь, в городе таких-то, как ты, мало? Как еще походишь-то! Вашу сестру все с разбором да с разбором берут. Увидят, ребенок хилый,— ну, и к стороне. Не легкое тоже дело.

Баба вздрогнула; разом исчезла улыбка, в глазах опять показался испуг. Она быстро повернулась к лавкам. На одной, заложив ногу на ногу и пронзительно свистя носом, спал молодой парень, рядом сидел старик и сосредоточенно считал что-то по пальцам.

Баба окинула его взглядом, в котором сквозили мольба и отчаяние, но, встретив его серьезное, холодное лицо, она отвернулась, обняла руками коленки и застыла. Если бы эти люди избили ее, если бы они пригрозили ей смертью,

она не ужаснулась бы, не страдала бы так, как теперь. Опять привиделась ей Машутка, но не радостная, не с хлебом в руках; она увидала ее голодную, обиженную, одну, среди людей без жалости и сердца. И матери у нее не стало; мать ушла, потому что не могла помочь; ушла, чтобы глаза не видали... Широко, как безумные, глядели эти глаза, руки затекли и зашлись от холода...

Тяжело пропыхтел паровоз, усиленно захлопали двери.

Парень вскочил, протер глаза, поглядел в окно и потянулся.

— Гляди, и билет получить теперь можно,— сказал он, зевая.— А ты, красавица, не спишь? И тебе о билетике бы озаботиться. В первом классе, что ли, поедешь? — Он оглянулся, пригладил рукой волосы и надвинул картуз. — Старичка-то уж нет. Видно, укатил. Скоро нам трогаться.

Он потянулся еще и направился к двери.

Блок заскрипел, завизжал. С полу, кряхтя и охая, стали подниматься закутанные фигуры. В большие окна слабо брезжило раннее, серое утро.

ЗАБЫТЫЕ ПИСЬМА

I

Вы уже знаете, конечно: мой муж умер. Я поражена. Я не ждала его смерти. Правда, он был уже стар, но он так мало думал о близком конце. Все это случилось так внезапно, почти без болезни, если не считать постоянного недуга, которым он страдал уже много лет.

Целыми днями я одна. Я хожу по дорожкам нашего сада, который уже весь зелен и до того свеж и душист, что, когда глядишь на него, когда дышишь его воздухом, удивляешься, что на земле существуют болезнь и смерть. Я сижу на берегу нашей красавицы реки, гляжу на волны, на небо, и мне кажется иногда, что я вижу все это в первый раз. Я уже сказала вам: я поражена. У меня новые мысли, неожиданные чувства, и поэтому все, что я вижу, кажется мне новым и неожиданным. Я едва смею признаться... Когда мой муж умер, первой моей мыслью была та, что я свободна. Я хотела сейчас же написать вам, но смутное чувство удержало меня. Я стала ждать вас, уверенная, что весть о моей утрате непременно дойдет до вас,

а между тем я не могла представить себе, как бы мы встретились теперь, перед этой свежей могилой, и меня преследовала странная мысль, что та ложь, которая была тайной, теперь стала явной, что глаза, которые закрылись навек, видят больше, глубже, чем видали при жизни, и что мы уже не в силах обмануть мертвого, как обманывали живого, когда он верил нам, улыбался нам и любил нас.

Я стала ждать вас, но я скоро поняла, что вас удерживало то же чувство стыда и раскаяния, которое поразило меня своей силой и неожиданностью. Я всегда страдала при мысли о моем преступлении, но, когда я говорила вам об этом, вы сердились. Вот почему мне пришло в голову, что теперь вы чувствуете то же, что и я. Признаюсь вам: это открытие обрадовало меня. Вы как будто стали еще ближе мне, еще роднее. Я вижу теперь, как вы чутки и как прекрасна ваша душа.

Ваша вина так мала в сравнении с моей, что если бы вы не были так добры, вы могли бы презирать меня, и вот вы мучаетесь ею наравне со мной. Вы удивительны! Я так хотела бы подняться до вас, что, кажется, уже становлюсь лучше и чище. Я уже не смею по-прежнему говорить вам «ты». Я стыжусь своих воспоминаний и отгоняю их. Моя любовь, не уменьшаясь, переживает какой-то кризис, из лжи и обмана она восстает чистая, обновленная страданием. Да, вы правы, нам не надо видеться теперь. Пусть каждую минуту мы думаем друг о друге,— нас все же разделяет наш тяжелый грех. Но не надо отчаяния! Милый! может быть, я не права, может быть, я говорю и думаю как слабая женщина, которая, как растение без солнца, не могла бы жить без любви и счастия, но я верю, что бог простит нас... Он благ, и он знает, как мы боролись, как мы страдали и как глубока и сильна наша любовь. Будем верить вместе, что он простит, и когда на душе нашей станет яснее и спокойнее, примем этот дар как благословение и соединимся, чтобы никогда уже не разлучаться вновь. Я с удивлением сознаюсь, что не знаю, умеете ли вы и любите ли вы молиться. Я буду молиться за двух. И если вы думаете, что богу угодны и приятны слезы раскаяния, то знайте, что я плачу за двух. Я плачу так много, что мои глаза с трудом глядят на свет. Но я верю и надеюсь.

Ваша Люся.

II

Ты хотел еще раз доказать, до какой степени ты сильнее и выше меня. Ты даже счел невозможным ответить мне на мое письмо хотя бы несколькими словами. И я опять поняла почему. Я так хорошо изучила тебя, что знаю, как трудно тебе было бы удержаться от выражения страсти. И ты побоялся оскорбить ею нашу новую любовь. Еще раз преклоняюсь пред тобой. Но видишь ли, милый: ты способен на подвиги, но не надо требовать их от твоей «маленькой Люси». Я помню, как часто ты называл меня так. Я всегда преклонялась перед силой и мужеством, но сама я никогда не умела быть сильной. До сих пор еще я завидую детям, которых носят на руках, которых берегут и холят, и мне кажется, что я никогда, никогда не привыкну к самостоятельности и свободе взрослой женщины и что если бы мне почему-либо грозило одиночество, я предпочла бы ему смерть. Но я знаю, что одиночество не грозит мне, а жизнь с каждым днем становится для меня желаннее и дороже. Это потому, что каждый день приближает конец нашей разлуки. Повторяю, нельзя ждать от меня подвига, а жизнь без тебя, даже без вести о тебе, больше чем подвиг,— это мученичество.

Ну, что же делать! Брани меня, называй меня пустой и легкомысленной, но знай, что я жду тебя, жду давно, что каждое утро я просыпаюсь с надеждой увидеть тебя, каждый вечер засыпаю с отрадной уверенностью, что протекший день был последним днем нашего искуса, который мы добровольно наложили на себя.

Я с гордостью вижу, насколько ты строже к себе, насколько ты нравственнее меня. Я не пытаюсь даже искать оправданий: я виновата в том, что смертельно тоскую о тебе, что все мое существо полно тобой, и я не могу уже ни молиться, ни раскаиваться. Я не могу отгонять своих воспоминаний, и они не наполняют меня стыдом: я зову их, я люблю их, и я счастлива, когда мне удается вызвать в памяти звук твоего голоса, впечатление твоего поцелуя на моих губах... Я думаю только о тебе.

Я виновата в том, что не хочу больше одиночества, что не вижу смысла отказываться еще от счастья видеть тебя. У меня больше нет печали, и я не хочу заменить ее лицемерием. У меня больше нет терпения, и я зову тебя, я молю тебя: приезжай!

Хочешь знать, как я провожу день? Я брожу по саду, который так густ и тенист, как будто ему надо скрыть много, много тайн. Я сажусь на скамью под сиренью. Помнишь ли ты эту скамью? Теперь сирень отцвела, но тогда она была в полном цвету, и от яркого аромата ее кружилась голова. Ты сказал мне, что будешь ждать меня там. У мужа были приступы боли, он стонал, жаловался. Я ухаживала за ним как могла, и в голове моей проходили странные мысли: я думала, что бог ограждает меня от зла и обмана, я думала, что это он удерживает меня у постели больного, чтобы предохранить от последнего шага. И я... я радовалась и благодарила его и украдкой утирала слезы, и мне тоже хотелось стонать и метаться от боли. Я сознавала, что для того, чтобы удержать меня, надо было именно внешнее, случайное препятствие, и так как оно было, я страдала невыносимо. Но больной выбился из сил и потребовал порошок, который всегда успокаивал и надолго усыплял его.

— Дай мне! — сказал он, указывая на коробку.

Тогда мне показалось, что я лишаюсь рассудка.

— Нет, нет! Не дам, не дам! — с ужасом почти закричала я. Но он требовал и сердился.

— Я страдаю! — сказал он, объясняя свое желание.

— Ты знаешь,— говорила я, опускаясь перед ним на колени,— когда ты так спишь, ты похож на мертвеца. Я боюсь! Не засыпай. Разве страдать так страшно?

— Я не хочу! — сказал он.

Я дала ему порошок, и когда он заснул, я вышла. И когда я шла, я молилась. Я говорила: «Господи! поддержи меня, поддержи, или... прости!» И я теперь думаю, что он простил меня, потому что послал новое, чистое, светлое счастье.

Но я хотела писать о том, как я провожу день. Я брожу по саду, сижу на скамье под сиренью и выхожу на берег реки. Я всегда любила нашу реку, но теперь полюбила ее еще сильнее, потому что она должна принести тебя ко мне. Каждый день я жду на пристани. Я вижу, как за изломом реки взвиваются легкие клубы дыма, пароход показывается ненадолго и опять исчезает за густой зеленью поросшего лесом островка. И вот, пока я теряю его из виду, я стараюсь удержать рукою мучительное биение моего сердца. Я знаю, что если тебя нет на пароходе, он не подойдет к пристани, а круто повернет поперек реки и побежит к противоположному берегу. И я вижу, каждый

день вижу, как он поворачивает к другому берегу. Признаюсь: иногда мне очень хочется плакать, но тогда я думаю о том, что немного позже или немного раньше, но пароход должен будет подойти к моей пристани, и моя печаль сменяется радостью.

В одно утро я проснулась с таким чувством, как будто меня ждала большая радость. Это было в Троицын день. Я не надела своего траурного платья, а заменила его белым. Я поглядела на себя в зеркало и заметила, что у меня уже нет желания казаться красивее, чтобы нравиться тебе. Бледность и худоба очевидно не красят меня, но пусть они напоминают тебе о тех страданиях, которые я пережила без тебя и которые украсили наши души. Я более чем прежде похожа на девочку, на ребенка, но этот ребенок умеет теперь думать и любить. В этот день я шла на пристань с надеждой, которая переходила в уверенность. Пароход показался из-за излома и скрылся, и пока я ждала его вновь, я пережила вечность. Он вышел нарядный, весь украшенный молодыми зелеными березками, и мне показалось, что он не повернул, а пошел прямо на меня... И тогда я почувствовала, что умираю... Я протянула руки, крикнула что-то... Но когда я пришла в себя, я была одна, а пароход был далеко.

Пойми, что жить в этом ожидании я больше не могу. Пойми, что наше счастье уже не оскорбит того, кто уже перестал жить. Ты ужаснешься, быть может, но когда я думаю о причине, которая все еще удерживает тебя вдали от меня, я чувствую невольную злобу... Я думаю: его уже нет, а он все еще стоит между нами!

Не надо больше разлуки! Я люблю тебя! Ты слышишь мой голос? Я люблю тебя.

Люся.

III

Дорогой мой! берегись... Ты не знаешь, может быть, что можно убить человека, не поднимая на него руки? Я уже не объясняю себе ни твоего отсутствия, ни твоего молчания. Я боюсь... Мне кажется, что если бы во мне не было страха, я перестала бы существовать. Я жила надеждой, теперь я живу страхом. Эти чувства братья: в них одинаково мучительна и одинаково притягательна неопределенность. Пока я чувствую страх, я знаю, что еще не все кончено и что еще можно чего-то ждать.

Тебя нет. Отчего тебя нет? Я знаю, что ты здоров, потому что тебя видели; ты в городе, в нескольких десятках верст от меня. Берегись! у меня рождаются мысли, от которых больно, стыдно и жутко.

Нет, неправда, у меня нет мыслей. Моя голова отказывается работать. Что-то болит в ней и давит на мозг. Времени тоже нет.

День сливается с ночью и ночь с днем, и я не знаю, что сон, что действительность. Почему-то меня стало тянуть на могилу мужа. Я говорю с ним вслух, жалуюсь ему на то, что ты измучил меня, и он отвечает мне лаской, шепчет что-то без слов. Недавно еще я боялась его, но теперь я знаю, что он простил мне все, и беседа с ним приносит мне отраду. Ты не веришь, что он простил меня? Но ведь он любил!

В саду листья увяли и осыпались. На клумбах хороши и свежи только астры. Я плету из них два венка, тебе и ему, и несу их на могилу. Мне кажется иногда, что я тень, которая блуждает по земле, потому что ее забыли, когда зарывали остальное.

Я чувствую тоску, но я часто забываю, о чем она, потом я вспоминаю, что меня мучит пароход, который всегда круто поворачивает от островка и бежит к противоположному берегу. Мне надо, чтобы он остановился у моей пристани. Я умираю оттого, что пароход не хочет подойти к пристани!

Над рекой низко бегут тучи, вода темна и холодна, и когда я вечером прихожу к пристани, я вижу вдали разноцветные огоньки. Это фонари на барках и судах. Пароход тоже подходит, весь освещенный, и когда он поворачивает, я вижу ряд светлых окон.

Возвращаясь домой, я стараюсь смеяться. Я делаю это для того, чтобы уверить себя, что я все-таки непременно дождусь тебя. Я вспоминаю все, что ты когда-либо говорил мне, и мне кажется иногда, что я слышу твой голос. Странная вещь: я не могу припомнить, говорил ли ты мне когда-нибудь, что любишь меня? сказал ли ты хоть раз прямо, просто: Люся, я люблю тебя! Мне так хотелось бы припомнить именно эту простую фразу, и я уверена, что ты никогда не говорил ее, потому что забыть ее я бы не могла! Ты говорил о том, что любовь все очищает и все прощает... Любовь...

О, конечно, ты приедешь! ты не можешь не приехать! Но, пожалуйста, прости мне, что я усомнилась в тебе. По-

жалуйста, не вспоминай об этом никогда. Я хочу, чтобы ты сказал мне: «Люся, я люблю тебя!» Я хочу, чтобы ты поцеловал меня в голову... У меня болит голова и что-то давит...

Я придумала! Я удивляюсь, отчего мне никогда раньше не приходила эта мысль? Чтобы пароход остановился у нашей пристани, надо выкинуть флаг. Я забыла об этом! Завтра я захвачу флаг с собой. Я встану повыше, на перила, и подниму руку и буду махать флагом. С парохода увидят, и тогда он подойдет. Будет так, как я хочу, и моим страданиям настанет конец. Отчего мне раньше не приходила эта мысль?

Завтра, завтра... Если я упаду в воду, ты легко вытащишь меня. Ты такой большой и сильный, а я маленькая, и я стала теперь так легка, что мне самой становится смешно. Ты унесешь меня на руках, как ребенка, и, пожалуйста, не забудь поцеловать меня в голову. Завтра...

P. S. Зачем я пишу вам? Неужели вы думаете, что я не понимаю и теперь, что вы обманули меня, что вы никогда не любили меня? В вашей веселой рассеянной жизни я была лишним развлечением — и только.

Все ясно теперь! Все ясно, когда не стараешься цепляться за надежду и уже не боишься никакой правды. Я не верю вам больше ни в прошлом, ни в будущем, и мне кажется, что я больше не люблю вас. Я хотела бы простить вам, чтобы спокойно и радостно ожидать смерть, но я еще не могу простить! Опять мне хочется, чтобы вы слышали мой голос. Я сказала бы вам: берегитесь! горе не тому, кто страдает, а тому, кто заставляет страдать...



В. Л. Кигн-Дедлов

ЛЕС

I

В разгар лета, часов в шесть ясного утра, у вокзала железнодорожной линии, пересекающей одну из западных губерний, стояли два экипажа, запряженные почтовыми лошадьми. Приехавший с экипажами, очевидно кого-то встречать с поезда, господин сидел на скамье платформы и то читал газету, то посматривал вокруг: на навес напротив, где лежали присланные кому-то плужки — глядя на них, господин посмеивался: плужки были непригодные для здешней земли,— на кочковатое болото, с черными пятнами высохших луж, и на песчаные поля за болотом, стлавшиеся легкими перевалами до самого горизонта и изредка прерывавшиеся ветряной мельницей, не видной за бугром деревни, или развесистой старой сосной, с целым гнездом ульев на сучьях. Господин был лет тридцати, высокий, плечистый и худощавый. Лицо его было обыкновенным лицом помещика, который сам ведет хозяйство,— загорелое, несколько утомленное, озабоченное. И только его глаза иногда привлекательно и умно посмеивались.

Одет был господин с деревенским щегольством и с деревенской небрежностью. Высокие сапоги, блуза из сурового шелка, подпоясанная кожаным поясом; на плечи было накинуто пальто; волосы были прикрыты круглой мягкой шляпой с небольшими полями.

На пустую платформу вышел сторож и прозвонил непостижимо мелкою дробью. Это значило, что ожидаемый поезд вышел с соседней станции. Из дверей своих «кабинетов» появилось заспанное начальство станции. Из зала

третьего класса выползло несколько черных длиннополых жидов. Зал второго класса выпустил польского помещика средней руки, в парусинном пальто с капюшоном, в американской кепи, с сивым усом, красным носом и крупными серыми глазками. Вся эта публика сейчас же обратила внимание на сидевшего на платформе господина и стала на его счет перешептываться. Его, очевидно, знали. Станционные начальники, кроме того, знали и то, кого он поджидает. Они сообщили это публике, и та устремила на него взгляды, исполненные напряженного любопытства.

II

Виновником этого любопытства был Петр Николаевич Столбунский, владелец крупного, но малодоходного имения верстах в тридцати от станции. В имении он поселился года три тому назад, а до того жил в Петербурге, где был в университете, а потом недолго служил.

Петербургская жизнь прошла весело. Прожил там Столбунский неразлучно со своим приятелем и соседом, Халевичем, таким же, как и он, собственником большого, но малодоходного имения. Приятели не были кутилами, а просто веселыми людьми и в Петербурге сходились с такими же. Свой брат, студент, из достаточных, молодые литераторы, художники, актеры. Это была интеллигентная богема, но не из низших ее слоев. Через художников и актеров сами собой завязались знакомства с меценатами и их кругом. И меценаты, которые, как известно, в наше время набираются из образованных купцов и разбогатевших адвокатов с художественной жилкой, были люди, тоже не любившие скучать.

Окончив университет, приятели поступили на службу. Но служба у них не пошла: в них заговорили деревенские люди и помещики. Деревенскому человеку душно в городе; помещику трудно примириться с подчиненностью и положением исполнителя, а на службе в этой роли приходится пробыть долго. Тянуло к природе, к родному дому, к власти хозяина. Кроме того, Халевича звала домой мать, которая не справлялась с хозяйством, а Столбунский был недоволен своим арендатором. Приятели не выдержали и подали в отставку.

Прошло три года. Деревня, которая в первое время показалась приятелям раем приволья и независимости, силь-

но поблекла в их глазах. Сама по себе она им не надоела, но хозяйство пошло не так, как они ожидали. Хозяйничать было трудно — заботливо, хлопотно, напряженно. Приказчики и работники были плохи. Мужики донимали потравами, порубками и воровством. Управы на них не было. Продажи шли туго, кулакам и жидам. Покупки — скота, машин, орудий — были целыми предприятиями. Халевич никак не мог сдвинуться с того дохода, который имение давало при матери. Доход Столбунского, которому пришлось исправлять прорехи арендатора, упал. Надо было идти в улучшениях дальше, но не было денег. У Столбунского был хороший лес, который можно бы сбывать на железную дорогу, но дорога была построена недавно и пока обходилась более близкими лесами. Столбунский уже начинал унывать, понемногу должать и даже мечтать о выигрыше двухсот тысяч.

Несколько дней тому назад Столбунский получил от своего петербургского знакомого, архитектора Кесарийского, письмо, в котором тот извещал его, что проездом за границу собирается непременно заглянуть к Столбунскому и Халевичу вместе со своим другом, Никитою Степановичем Дровяниковым. С Дровяниковым приятели тоже были знакомы в Петербурге. Это был меценат из образованных купцов, собиратель картин, владелец художественного дворца постройки Кесарийского и — главный хозяин той железной дороги, на одном из вокзалов которой в настоящее время находился Столбунский. Столбунский не обратил большого внимания на письмо Кесарийского. Петербургские приятели и знакомые, шумно и растроганно проводив его и Халевича в деревню, «в ссылку», как они говорили, вслед за тем очень скоро и основательно забыли их,— но за письмом последовала телеграмма, назначавшая день и час приезда, и Столбунский выехал гостям навстречу.

Имя Дровяникова и произвело то волнение, в котором мы застали публику скромной железнодорожной станции.

III

Когда раздался свисток приближающегося поезда, Столбунский поднял от газеты голову, взглянул, потом попытался было дочитать до точки, но встал и пошел по платформе.

— Вот-с, и едут ваши петербургские гости,— обратился к нему начальник станции и смотрел так, как будто не верил, чтобы Столбунский ждал «самого» Дровяникова.

— Кто их знает, приедут ли,— ответил Столбунский, сам не уверенный в переменчивых петербургских знакомых.— Дровяников, надо вам сказать, человек фантастический. Может долго собираться и все-таки не собраться...

— А я слышал, что они... что он,— поспешно поправился «начальник»,— напротив, очень энергичен.

И начальник опять смотрел пытливо: не просто ли ты хвастаешь такими гостями?

Эти подозрительные взгляды были неприятны Столбунскому. Приедет Дровяников — станция проникнется к Столбунскому уважением, и осенняя отправка хлеба пойдет гладко. Не приедет — за подачу вагонов придется увеличить «благодарность»; а эти благодарности при малых доходах — чувствительный накладной расход. «Вот, этих дрязг в Петербурге не было»,— подумал Столбунский.

Поезд подошел и остановился. Было рано, и ни в окнах, ни в дверях вагонов никого не было видно. Столбунский шел от паровоза к концу поезда, но своих гостей тоже не видал. «Неужели в самом деле не приехали?!» — говорил он себе. В это время на крылечке последнего вагона он увидел небольшого, тоненького и худенького человечка, лет под сорок, рыжеватого, с молочно-белым лицом и большими серыми глазами. Человечек был одет в узкое и куцее суконное платье в большие клетки, черные и серые, в суконные серые ботинки и такую же шапочку, в виде ермолки, с пуговкой наверху и мягкими козырьками спереди и сзади. Весь точно обмотанный мягким сукном, он смотрел, еще не замечая Столбунского, а просто на мир божий, тепло, бодро, весело и вместе с тем рассеянно.

— Кесарийский! — радостно позвал его Столбунский.

Маленький человек обернулся и мигом очутился внизу, на платформе. Его лицо засияло. Прежде всего он, не говоря ни слова, потянулся целоваться с высоким Столбунским.

— Здравствуйте, милый! Здравствуйте, голубчик,— заговорил он потом.— Фу, как он возмужал. Борода! Ну, и Белорусь же ваша! Гляжу и глазам своим не верю, что она так-таки действительно существует. До сих пор я ду-

мал, что она анекдот Халевича и Столбунского. Смотрите, смотрите!..

И Кесарийский просиял еще больше, увидев пана-помещика и кучку жидов — и того и других совершенно изумленных его невиданным костюмом, в клетки.

— Смотрите, вот он! Вот он, белорусский пан: нос бульбой, усы мхом, корпус мешком и султанская важность... И жид, и жид — живой ведь!

Столбунский смотрел на Кесарийского. Ему стало весело после трех лет неотступных деревенских забот. И он еще раз крепко обнял маленького человека.

— Милый! — сказал Кесарийский.— Однако идем к Никите.

— А приехал-таки? — спросил Столбунский.

— Никита Степанович? Воздвигся! — И Кесарийский, быстро цепляясь маленькими руками и высоко подымая маленькие ноги, взобрался на крыльцо вагона и ввел Столбунского в просторный «директорский» вагон.

В одном из купе, в спальне, они увидели Никиту Степановича Дровяникова, который торопливо одевался. Красавец парень, в синей сибирке, поспешно собирал постели и разбрасываемые Дровяниковым вещи. Никита Степанович, широкоплечий мужчина с располневшим, но все-таки красивым лицом, с большими, быстрыми, широко открытыми черными глазами, застегивал упрямый ворот накрахмаленной рубахи и сердился. Он, видимо, только что проснулся, не выспался и со сна был не в духе. Улыбаясь, насколько может улыбаться капризный, невыспавшийся человек, он пожал Столбунскому руку, щелкнул каблуками и промолвил, еще с утренней хрипотой:

— Хозяину сих мест нижайшее почтение!

— Пока хозяин еще не я. Пока я у вас в спальне,— стараясь не замечать дурного настроения гостя, ответил Столбунский и потянулся поцеловаться и с ним. Но Дровяников опять стал возиться с непослушным воротом и сердито прикрикнул на прислуживавшего парня. Столбунский покраснел.

— Какой славный наряд! — раздался бодрый голос Кесарийского.— Прелесть, просто прелесть. Никита, взгляни!

И Кесарийский снял с головы Столбунского шляпу, с плеч пальто и сияющим взглядом осматривал его.

Дровяников обернулся.

— Просто и картинно,— сказал он. Дровяников вгляделся пристальней и забыл про ворот рубахи.— А ведь вы

бравый мужчина, Столбунский! — воскликнул он.— Погодите,— заметив, что Столбунский хочет снова надеть пальто и шляпу, заговорил он.— Погодите. Я вас таким хочу показать...

И Дровяников с быстротой и ловкостью, которых в нем на первый взгляд не обещало ничто, кроме разве его горячих черных глаз, накинул на себя сюртук и вышел в следующее отделение вагона. Через несколько секунд он вывел оттуда, обнимая за талию, очень красивую женщину, с неубранными светло-русыми косами по плечам. Она была полуодета и, жеманясь, куталась в накинутый на плечи платок, но в то же время бросала взгляды слишком смелых серых глаз на Столбунского.

— Вот бы вам, дамам, одеваться так,— сказал Дровяников, указывая на Столбунского.

Она отрицательно качнула головой.

— Отчего же нет? — спросил Дровяников, обнимая ее крепче.

— Оттого, что...— заговорила она, и Столбунский теперь заметил, что ее прервали на середине туалета: нижняя губа была не так свежа, как верхняя, и она прикрывала ее платком.— Оттого, что у нас не так... не такие... ноги. И... и тут не для такого костюма...

Никита Степанович совсем повеселел.

— Катерина Ивановна, поедемте к нему! — сказал он, указывая на Столбунского.

Столбунский сообразил, с кем он имел дело, но подхватил просьбу Дровяникова. Тогда и Дровяников с Кесарийским стали уговаривать Катерину Ивановну ехать. Дровяников настаивал капризно, как балованный ребенок. Кесарийский добродушно сиял.

— А Владимир Петрович-то как же? — спросила Катерина Ивановна.

— Разве вы...— с удивлением начал было Столбунский, но спохватился.— Разве и Гончаревский тут? — спросил он.

— Тут,— ответила она.— Он еще спит,— прибавила она тоном, говорившим, что она заботится — и имеет на то право,— чтобы Гончаревский спал спокойно.

— Пойдемте его будить,— решительно сказал Дровяников.

Когда вошли в купе Гончаревского, главного инженера дороги, он уже проснулся и не торопясь раскуривал сигару. Это был старый, толстый хохол с толстым носом и та-

кими же толстыми висячими усами. Старый хохол, казалось, никогда не был самим собой и других не считал самими собой, и ничего не признавал настоящим. На все и на всех он смотрел хитрыми глазами, хитро улыбаясь в свои усы, всему противоречил, а если и соглашался, то с таким видом, который говорил: ну, надувайте меня, но я знаю, что надуваете.

Долго в загадочном молчании выслушивал он приглашения ехать к Столбунскому.

— А зачем я к вам поеду? — спросил он наконец Столбунского.

— Чтобы доставить удовольствие принять вас.

— А это вам доставит удовольствие?

— Конечно, если я прошу.

— А может быть, вы просите просто так... Ну, а какое же удовольствие от вас будет мне?

— Вы охотник, а у меня на лугах целые тучи уток.

Гончаревский подумал.

— Уходите,— как будто нехотя сказал он.— Буду одеваться.

IV

Дровяников и Кесарийский, как оказалось, завернули к Столбунскому мимоездом, по пути — из Суздаля в Севилью. В Суздале они искали образца для часовни, которую собирался построить для оживления пейзажа в своем имении Никита Степанович; в Севилье хотели поискать старых картин. Но, на перепутье, их и Белорусь заняла. Дорога к Столбунскому вела бесконечной березовой аллеей екатерининского «шляха», шедшего полями по косогору, спускавшемуся к Днепру, который то был виден, полно налитый в своих вторых, низких, берегах, то прятался в лозовых зарослях и дубовых рощах. Днепр лежал в широкой зеленой равнине, а за равниной и рекой, верстах в пяти, на песчаной возвышенности тускло синели старые сосновые боры. Пейзаж был не из эффектных, но Кесарийский вспомнил историю: Днепр — «великий путь из славян в греки», Екатерину, устроившую дорогу, по которой теперь ехали, раздел Польши, поход Наполеона в двенадцатом году.

— Нет,— говорил Кесарийский,— это не пустыня. Это говорит. Тут есть история, всемирная история,

— А теперь тут что? — спросил Дровяников.

— Теперь?..— ответил Столбунский.— Теперь по этой стороне Днепра суглинки, а по той земля хуже, песок. Тут мужики и помещики богаче, там беднее.

— А у вас много земли? — спросил Кесарийский.

— Много, да толка от нее мало: я ведь на той стороне. Правда, лес есть...

— Так продавайте лес,— сказал Дровяников.

— Купите...

Воцарилось молчание.

— Гончаревский далеко от нас отстал? — спросил Столбунского Никита Степанович.

— Да, порядочно.

— Знаете ли,— с озабоченным видом заговорил Дровяников,— знаете ли, Гончаревский начинает меня тревожить со своей дамой. Баба забирает силу, а баба, как видите, не высокой пробы. Я ему намекал — смеется. Но это может кончиться не смешно. Стареть стал...

Дровяников вдруг хлопнул Столбунского по колену.

— Петр Николаевич,— воскликнул он,— облагодетельствуйте Гончаревского: отбейте у него эту Катерину.

— Благодарю покорно.

— Да нет, не то! Вы только покажите ее в настоящем виде... Вы человек молодой, бравый. Деревня...

— А вы сами?

— Мы старые с ним знакомые: выйдет не то. А вы бы в водевильном жанре...

Никита Степанович воодушевился и набросал план в самом деле забавного водевиля. Столбунскому, однако, предназначенная ему роль не нравилась.

— Вы это должны устроить, непременно должны,— настаивал Дровяников.— Вам за это сорок грехов простится. Идет?

— Посмотрим,— уклончиво сказал Столбунский.

Никита Степанович сделал недовольное лицо.

Усадьба Столбунского показалась гостям малопривлекательной. Сначала ехали деревней, по улице, разрытой дождевыми ручьями. Мужики кланялись, но неприветливо. Бабы и вовсе не кланялись, поворачивали спины и уходили во дворы, откуда смотрели в заборные щели. Очевидно, отношения мужиков и барина были не из лучших. В конце деревни на пустой площади стояла каменная церковь с облупившейся штукатуркой. За пустырем начиналась обшир-

ная, старинная, крепостных времен усадьба. Черный двор с длинными темными службами, строенными давно, из толстых бревен. Старый густой парк, спускавшийся куда-то по косогору. Забор вокруг него из почерневших дубовых плах, стоймя врытых в землю. Немного углубляясь в парк, под нависшими ветвями деревьев стоял невзрачный, низкий и длинный каменный дом с шершавой гонтовой крышей.

— Вот мой «палац»,— сказал Столбунский.— Не взыщите. Это бывшая оранжерея, а настоящий дом сгорел лет двадцать тому назад. Разбогатею — выстрою новый. Милости просим тогда на новоселье.

Внутри дом оказался интересней. Он был весь заставлен старинной мебелью, уцелевшей от пожара. Кесарийский сразу так и прилип к этой мебели. Он пошел вдоль стен, от конца ножек до изнанки спинок осматривая стулья, диваны, столики и этажерки. Кое-что он выносил на средину комнат, сам садился поодаль и предавался созерцанию. К нему присоединился Никита Степанович, и скоро они уже вдвоем приколачивали какие-то отпавшие металлические бляшки и очень обеспокоились тем, куда мог завалиться нос урода, вырезанного на дверце старого книжного шкапа. Мебель сильно выручила хозяина.

Катерину Ивановну Столбунский, по новому настоянию Дровяникова, поместил отдельно и подальше от Гончаревского.

— Хорошо вам тут будет? — спросил Столбунский, вводя Катерину Ивановну в ее комнату.

Та вместо ответа повернулась к нему спиной.

— Снимите-ка лучше пальто, чем разговаривать,— сказала она.

Это была красивая, сильная, стройная женщина — дерзкая, задорная, отлично одетая городская женщина, каких Столбунский давно не видал. «А не разыграть ли, куда ни шло, водевиль?» — подумал он, сзади обнял ее и поцеловал ее теплую, бархатистую, пахнущую духами щеку.

В это время послышались шаги женщины, которая должна была прислуживать Катерине Ивановне.

— Вот вам и помощь, хоть и не особенно искусная,— сказал Столбунский.— А пока до свиданья.

— А вы мальчик не промах! — одобрительно крикнула ему вслед Катерина Ивановна.

V

До самого обеда Кесарийский с Дровяниковым провозились с мебелью и остались очень довольны — даже целовались со Столбунским, когда он подарил одному старый стул, а другому — урода от книжного шкафа, нос которого был-таки найден после неутомимых розысков. Гончаревский спал. Катерина Ивановна переходила из комнаты в комнату и имела вид рыбы, вытащенной на сушу. Столбунский наскоро обошел хозяйство. После обеда он повел гостей в парк, где, по его словам, было живописное местечко.

К обещанному виду гости отнеслись с недоверием, поглядывая на глухую и темную рощу старых, вытянувшихся лип. Дорожка, по которой шли, была узкая, давно не метенная, коренистая. Но дорожка окончилась, вышли на просторную полукруглую площадку — и гости остановились. Пред ними внизу расстилалась днепровская долина. Всем показалось, будто их вдруг подняли на высоту. С высокого берега, на котором они очутились, были видны светло-зеленые луга, бархатная зелень ивовых зарослей, буроватая зелень дубовых рощ, изгибы Днепра, местами стального, местами отражавшего голубое небо. Как куски разбитого зеркала, там и сям белели, искрились и голубели озерца и заливы. С лугов чуть тянуло ветерком и запахом влажной цветущей долины.

— Это дышит! Это живое! — полушепотом проговорил Никита Степанович, вдыхая надвигавшиеся мягкие волны ароматного воздуха.

Он оглянулся. Позади полукругом стояли липы, отягченные темной мягкой листвой, осыпанные золотистой мукой цвета. Ветви поникли под тяжестью и висели тяжелыми складками.

— И тут аромат,— говорит Дровяников.— Вот, что называется, благодать. Красота, благодать! — повторял он, и его широко открытые черные, восточные глаза горели неподдельным восхищением.

Высокая ровная трава, выкинувшая пушистые метелки, похожие на дымок, высокие синие колокола, вытянувшийся в гущине малиновый клевер, золотые одуванчики на бледных шейках образовали точно ковер, постланный на площадке. Посреди был поставлен стол, накрытый белой скатертью, с ягодами и вином.

— Да, я очень люблю это место,— сказал Столбунский, глядя на знакомую картину.

— И часто вы сюда заходите? — спросил Гончаревский, на лице которого Столбунский с удивлением увидел тоже умиление.

— Часто.

Гончаревский умилился еще больше.

— Если вы так часто тут бываете, отчего же, позвольте вас спросить, трава нигде не смята? — спросил он.

Столбунский взял его под руку, отвел в сторопу и с торжеством указал на смятую траву, и на тропинку, протоптанную из рощи, и даже на гамак, повешенный меж двух стволов.

— А... а уток у вас тут внизу много? — спросил побежденный, но не пожелавший сдаться Гончаревский.

Сели за стол. Ягодами мало заинтересовались. Общество имело больше склонности к вину, за которое и принялось не торопясь.

— Ну, хорошо,— начал Никита Степанович,— вы приходите сюда. Что же вы думаете, когда вы тут? Не скучно вам одному, в глуши, хоть и в такой чудесной?

— Да что думаю? Иной раз думаю: хорошо, если бы приятели приехали, и распить бы с ними бутылочку, и похвалиться этим видом. Иной раз думаю, что не дело это, сидеть и мечтать, когда без тебя из хлевов навоз вывозят и ленятся, малые возы накладывают. Думаю, что нужно вон там, внизу, где Владимир Петрович будет истреблять уток, луга все из-под кустов разделать. Там их у меня около трехсот десятин, а чистых только семьдесят. А расчищенная десятина дает тридцать рублей в аренде, а заросли ничего, только повинности несут по первому разряду.

— Ну, это проза,— перебил Кесарийский.— А поэзия?

— Я не поэт, но мне тут хорошо: здесь я дома, у себя... Знаете ли,— оживляясь, заговорил Столбунский,— что я по-настоящему не Столбунский, а — Волк. У меня где-то есть старая польская королевская грамота, данная моему предку на эту землю. Там так и прописано на старом белорусском языке: «Мы, божою милостию король польский, великий князь литовский, прусский и т. д., ознаймуем сим листом нашим, што мы подали шляхтичу, Оноприю Волку, ключ, прозываемый Столбун...» Вот, мы и стали Волками-Столбунскими, в отличие от прочих Волков, которых и в прямом, и в переносном смысле тут множество — самый национальный зверь,— а потом и просто Столбунскими,

— Помните, господа,— продолжал Столбунский,— когда мы с Халевичем уезжали из Петербурга, вы не могли этого понять? А я томился там. Вы не поверите, как тянул меня к себе вот этот самый Столбун, большую часть которого я вижу отсюда. Ведь наш род сидит на этом самом месте двести лет. Ведь тут каждая горсть земли, каждое дерево знает прикосновение руки Столбунского. Меня что-то сосет, когда я долго не вижу здешнего мужика, который вот уже двести лет удивлен и недоволен тем, что у Столбунского земли больше, чем у него. Здесь жить трудно, хлопотно, иной раз жутко, но только здесь я чувствую себя самим собой, здесь, в границах, указанных грамотой этого Сигизмунда или Августа: [1] «От камени, на болоте лежачего, к трем грушам, на селище Судеревском; а от груш на урочище, под березовым пнем, а оттуда до колодезя у грунтов, что были воеводины, а теперь пана маршалка...» Впрочем, теперь границы не те. От прежнего Столбунского «ключа» до меня дошла только небольшая часть...

— Так вы поляк,— сказала Катерина Ивановна.— Я очень люблю поляков: они такие горячие!

Все, кроме Гончаревского, смотревшего на свою даму с таким видом, который говорил, что она его не проведет, поморщились. Заметив это, Катерина Ивановна встала из-за стола, сдернула с колен Гончаревского его плед и, разостлав его на траве, улеглась в непринужденной позе.

— Нет, я не поляк,— продолжал Столбунский,— а просто обрусевший белорус. Да мы и всегда были православными, а дед так даже и азартным православным: обратил в православие несколько сот душ своих крепостных униатов.

— Что это такое униаты? — спросила Катерина Ивановна.— Это скопцы?

Дровяников передернул плечами, пробормотал: «Черт знает что такое!» — и неожиданно ушел.

Когда разошлись спать и Столбунский уже дремал, к нему на цыпочках и босиком с таинственным и хитрым видом вошел Дровяников. Столбунскому спросонья подумалось, что он пришел обрадовать его известием, что он покупает его лес.

— Пора,— прошептал Дровяников.

— Что пора?

— Начинать водевиль. Я беру на себя роль Яго.

Столбунский плотнее закутался в одеяло.

— Сплю. Мертвым сном сплю! — сказал он, отворачиваясь к стене.

Дровяников круто повернулся и ушел. Кажется, он и теперь, как давеча в роще, проговорил сквозь зубы: «Черт знает что такое!»

VI

На заре Столбунского разбудил его приказчик и со злорадством сообщил, что вместо пятидесяти косарей, которых должны были за выгоны выставить сегодня мужики, пришло всего пятнадцать. Сено было важной статьей дохода, погода стояла хорошая, а мужики не шли.

— Ступайте к уряднику и вместе поезжайте выгонять должников,— сказал Столбунский.

— Поеду... Только овес лошадям надо выдать.

— Выдам я.

— Сейчас поеду... Людям на хлеб муки еще надо.

— И это я сделаю.

— Не знаю как: кухарка говорит, что велели господам крендели печь,— так пшеничной муки...

— Велел.

— Лесники пришли, просят отвесить месячину.

— Что так рано?

— Говорят, все съели.

— Не дам: еще пять дней осталось до месяца.

— Я им говорил. Что ж, говорят, нам помирать?

— Пусть семьям на деревню не таскают.

— Я им это объяснял... Корова вчера хвост в лесу оторвала, а скипидара — залить — нет: последний раз в город ездили — не вспомнили. Кровельщик чинить крышу на гумне тоже не пришел. Сохрани бог, дождь: ток наш пропадет, хоть новый делай...

И долго еще приказчик с видимым удовольствием перечислял, что непременно нужно сделать, но чего никак нельзя сделать.

— Хорошо, хорошо,— перебил его Столбунский.— Поезжайте. Косарей, которые пришли, я сам расставлю.

Разрешив задачи, заданные ему приказчиком, Столбунский велел седлать лошадь. Его клонило ко сну, он смотрел на двор, освещенный желтыми лучами всходившего солнца, и сердито завидовал своим гостям, которые могли спать, сколько им угодно. Но тут он увидел Кесарий-

ского, который выходил из рощи, недавно проснувшегося и немного опухшего со сна, но сиявшего удовольствием.

— Что за утро, что за утро! — крикнул он Столбунскому.

Столбунский оглянулся вокруг.

— А, в самом деле, славное утро! — проговорил он.— Я за хозяйством и не разглядел.

— Варвар! У самого Тургенева нет лучшего! А с вашей площадки теперь чудеса видны: вся долина в тумане, который волнуется,— точно чудовищное наводнение... Куда вы собрались?

— В луга.

— В луга, в этот туман?! Ну, и я с вами.

Не без труда нашли другую лошадь и другое седло и поехали.

Спустившись с крутого берега, они очутились в лугах. Эти луга, сверху казавшиеся ровными, на самом деле были изрыты стремлениями весенних половодий. Всюду были старые речные русла, протоки и озера. Длинные горбы чередовались с неглубокими оврагами. Валялись громадные, рогатые, черные колоды, занесенные водой. У вод стояли густые заросли ивняка, гнувшегося под хмелем и вьюнками, раскрывавшими свои большие белые колокола. Местами приходилось ехать рощами старинных дубов, береста, с его ветвями-перьями, и старух серебристых ветел. Утренние нахолодавшие воды темнели и казались тяжелыми. В воздухе было почти холодно. Слышались странные хриплые крики больших приднепровских птиц.

— Вот оно, настоящее белорусское утро! — сказал Кесарийский, притихший среди этой новой обстановки.

Столбунский, лишь только очутился в лугах, почувствовал себя весело и бодро. Днепровская долина была совсем другая страна, чем окружающая. Тут была иная почва, мощная, неистощимо плодородная, другие травы, иные цветы, иные птицы и рыбы. Это было царство большой реки, которая жила по-своему: ее травы поспевали месяцем позднее, ее ландыши цвели в июне. Столбунский любовался этим царством, которое теперь, все в росе, начинало проникаться теплым, как кровь, солнечным светом. Столбунский наслаждался и этой росой, и этим разливающимся теплом. Ему как будто передавалась эта спокойная и грубая сила, нужная ему для грубого дела хозяйничанья в грубой стране, среди грубых людей.

Когда приехали на место и Столбунский расставил косарей, он передал Кесарийскому то, что чувствовал.

Кесарийский любовался утром, лугами и самим Столбунским.

— Да, да,— сказал он.— Природа, независимость, упорный труд. Что еще нужно человеку для душевного равновесия? Счастливец!

— Слишком скоро вы произвели меня в счастливцы,— возразил Столбунский.— Природа, конечно,— прекрасно, независимость — очень хорошо, но упорный труд, который только в долги вводит, я хвалить не стану.

И Столбунский заговорил о своем положении, которое не было печально, но и веселого давало немного.

— Все могло бы устроиться иначе, если бы мне тысяч двадцать. Поставлю винокуренный завод, и моего хозяйства не узнают, да и я вздохну свободно,—окончил Столбунский.

Кесарийский смотрел на него так, как смотрит на экзамене профессор на студента, начавшего отвечать очень хорошо, но под конец билета загородившего вздор.

— И вы могли бы мне помочь, Кесарийский,— сказал Столбунский.

— Каким образом? — с опасением, что Столбунский окончательно испортит свой «ответ», спросил Кесарийский.

— Пусть Никита Степанович купит у меня лес для железной дороги. Я знаю, лес не близкий, но я и возьму дешево.

Кесарийский долго смотрел на Столбунского с видом разочарования.

— Друг мой,— наконец заговорил он,— друг мой, мы только что говорили, что независимость дороже всего. Работайте, надеясь только на себя, не одолжаясь, не ища покровительства,— по-американски. Зависимость, хоть бы и в форме покровительства, одолжений, тяжела и... унизительна. Будьте горды!— закончил Кесарийский и с чувством пожал Столбунскому руку.

В это время показались толпа людей с косами и приказчик. Столбунский поехал к ним.

VII

— Сколько собрали? — спросил Столбунский приказчика, не удостаивая толпу взглядом. Мужики тоже как будто не замечали его, только попрятали трубки за пазу-

хи да примолкли. Двое, трое сняли шапки. Столбунский кивнул им головой.

— Тридцать из Ямного да из Кривска. В Осмоловичи урядник поехал: еще выгонит.

Столбунский с приказчиком отстали от толпы.

— Ругались! — широко улыбаясь, говорил приказчик.— «Ну, говорят, ваши выгоны, кровавые они нам достаются». Так не берите, говорю, выгонов. Потом, говорю, мы с головы берем полтинник в лето, а в казенной даче — рубль, а пан Халевич — семьдесят копеек. Идите, говорю, туда, если наши выгоны кровавые. «Так вы, говорят, берите деньгами, а не работой». Как раз, говорю, достанешь тогда тебя, шельму, на работу. Наплачешься тогда. У вас, воров, в прошлом году рожь хорошо уродила, так вы всю зиму на печи спали, все задатки назад поотдавали. Только тогда, говорю, и вылезали, когда прусаки в хате от мороза дохнуть начинали,— дров накрасть. С вами, говорю, с гадами, только тогда хорошо жить, когда вы голы, как бизуны *, когда вы и себе, и людям, и богу противны.

Столбунский отъехал, не дослушав приказчика, который начинал приходить во вдохновение.

Проехав версты две лугом, Столбунский очутился у самой реки. У берега был кое-как сбитый паром, на котором Столбунский и переправился через реку.

На том берегу он въехал в дремучее чернолесье. Дорога была твердая, на прогалинах зеленела травой, в тени на ней стояли длинные лужи или глянцевитая грязь. Чернолесье, темное и сырое внизу, светлело в вершинах дерев, игравших пятнами зеленого золота. С дороги слетело стадо тетеревей, вышедшее напиться воды из лужи, и, тяжело хлопая крыльями, цепляясь за ветви, растревоженным куриным полетом скрылось в чаще. Столбунский остановил лошадь и прислушивался, как вдали умащивались птицы на деревьях, срываясь и поправляясь. Он прислушивался, и чувство свободы и власти над этим лесом, зеленым светом леса, над этим испугавшимся стадом больших птиц опять тешило его.

Лес кончился, и Столбунский выехал на поля, в середине которых зеленел квадрат липовой рощи, окруженной фруктовым садом и строениями усадьбы Халевича. Над полями расстилалось высокое туманно-голубое утреннее небо. Поля хлебов и трав лежали разноцветными кусками

* плети (*белорус.*).

и полосами, ни единым стеблем не шевелясь в неподвижном воздухе. Столбунский выехал к овсам, высоким, густым, матово-зеленым и рябым от колоса. Вдали, по ту сторону усадьбы, стлалась темная зелень клевера. По эту — желтело большое поле спелой ржи. Хлеба были хороши, лучше, чем у Столбунского. Халевич жил «на том берегу», где начинались суглинки, где землю удобряли не каждые три года, как песок Столбунского, а в десять лет раз, где родили ячмень и пшеница.

«Двадцать тысяч! Двадцать тысяч! — думал Столбунский, завидующим глазом окидывая поля.— И тогда и у меня будет не хуже».

Вдруг он пристальным взглядом остановился на ржаном поле.

— Ведь жнет! — вслух с досадой воскликнул Столбунский.— Да, жнет и мечется как угорелый,— повторил он, вглядываясь в верхового на большой лошади, ездившего взад и вперед вдоль длинной линии жниц, пестревшей платками.— Ну, не гадость ли это! — жалобно и сердито говорил Столбунский.

И он двинулся к всаднику. Тот тоже заметил Столбунского и сейчас же направился к нему навстречу. Это был красивый черноглазый и черноволосый человек с чрезвычайно подвижным лицом. Подъезжая, он и улыбался и морщился, то делал виноватое лицо, то устраивал не совсем искреннее радостное лицо и не смотрел Столбунскому в глаза. Это был Халевич.

Столбунский с молчаливым укором указал ему на рожь и на жниц.

— Миленький, прости! Голубчик, прости! Ради бога, прости! — заговорил Халевич, и лицо его стало сменять свои выражения уже с непостижимою быстротою.— Дай объяснить: я начал жать совершенно случайно.

Столбунский качал головой.

— Ведь всего третьего дня мы уговаривались зажинать рожь разом, чтобы не отбивать друг у друга работниц,— сказал он.

— Клянусь, не виноват! — как бы удушаемый несправедливым обвинением, воскликнул Халевич.— Если кто виноват, то приказчик. Да и не он, а этот проклятый мой фактор Иошка. Тут произошло тысячу недоразумений!..— И Халевич, торопясь, волнуясь, божась и, видимо, привирая, длинно и запутанно начал объяснять ему тысячу недоразумений.

Подъехали к самым жницам. Столбунский сорвал несколько колосьев и рассматривал их. Халевич тоже смотрел на колосья, ожидая похвал.

— Хороши? Не правда ли, хороши? — спрашивал он и сам же ответил: — Великолепны! Сюда я положил двадцать пароконок навоза; притом частью свиного!

— Были бы хороши,— нарочно так громко, чтобы слышали жницы, сейчас же навострившие свои любопытные бабьи уши, начал Столбунский,— но никогда ты не умеешь вовремя начать жниво. Зеленую жнешь. Зерно у тебя сморщится, как сушеный гриб.

— Зеленую?! — в негодующем изумлении воскликнул Халевич.

— Зеленую,— ответил Столбунский и еще громче продолжал: — Правду твой отец, покойник, говорил: «Нет, никогда из моего Стася не будет хозяина; все-то он торопится, все торопится...»

И рожь была спелая, и никогда ничего подобного покойный отец Халевича не говорил, но Столбунский хотел хоть чем-нибудь отомстить за измену, которая между хозяевами считается немаловажной.

Халевич сначала изумился, а потом понял злое намерение Столбунского.

— Pierre, cessez *,— сказал он.

— А я,— продолжал Столбунский,— а я говорю покойному: ох, правда ваша, не будет из него хозяина; лет через десять проторопит весь ваш майонтек **. Так он даже заплакал. Помнишь?

— Pierre, devant les gens, devant les...*** бабы! — шептал Халевич.

— А еще покойник говорил...— начал Столбунский, но Халевич не мог долее допустить, чтобы потрясали его хозяйский авторитет, сверкнул глазами и поехал прочь. Столбунский — за ним. Тогда Халевич прибавил рыси. Столбунский попробовал его догнать, но Халевич поднял свою большую лошадь в галоп. Догнать его Столбунский не мог.

— Халевич, это глупо,— крикнул ему Столбунский.

— Не глупее твоих выходок,— издали сверкая глазами, ответил Халевич.

---

* Пьер, прекрати *(фр.)*.
** имение *(пол.)*.
*** Пьер, рядом люди, рядом... *(фр.)*

— Но, согласись, я тобою обижен.

— А ты согласись, что я привожу тебе тысячу причин в извинение.

Столбунский махнул рукой.

— Подожди. У меня к тебе есть дело.

— Опять какие-нибудь дурного тона шутки!

— Нет. Дровяников и Кесарийский приехали, с Гончаревским в придачу.

В одно мгновение лицо Халевича преобразилось. Все было забыто: потрясение авторитета, дурные шутки Столбунского, собственная измена, негодяй Иошка.

— Да не может быть! Давно ли? И ты не дал мне знать! — восклицал он, скача на Столбунского, как в атаку.— Когда же я могу их видеть?

— Разумеется, когда угодно. Не позовешь ли их сегодня обедать?

Халевич завертелся на седле, как будто оно превратилось в раскаленное острие,— так он засуетился, заторопился, затревожился. Обедать? Ну, конечно, конечно, обедать! Сумеет ли повар сделать хороший обед? Есть ли мясо? Не послать ли сейчас лесников настрелять дичи? Серебро!.. Столовое серебро! Халевич теперь дома один-одинешенек, мать и сестра уехали, и мать заперла серебро неизвестно куда...

— Куда она заперла?! — с ужасом спросил Халевич Столбунского.— Куда?

Халевич смотрел на Столбунского... На лице его еще был написан ужас, но в глазах уже появлялось что-то новое. Ужас стал сбегать и с лица, сбежал совсем и сменился таким выражением, как будто Халевич только что проник в чрезвычайную тайну. Он нагнулся к самому уху Столбунского и, хотя услышать их, кроме их лошадей, не мог никто, еле слышно прошептал: «Вот кто может купить твой лес,— Дровяников!» И, сбросив с себя тяжесть чрезвычайной тайны, Халевич в отдыхающей и вместе с тем торжествующей позе откинулся в седле.

VIII

В Петербурге Халевича называли «господином Тысяча думушек» и «человеком-неожиданностью». Он, как и полагается истому поляку, всегда спешил, торопился, волновался и неумолкаемо болтал. «Неожиданностью» он был

прозван тоже за польское свойство совершать неожиданные поступки и видеть вещи с самой неожиданной для человеческого ума стороны.

И теперь гости Столбунского ждали Халевича с нетерпением, предвкушая его забавную суету и неожиданные выходки и речи, но Халевич не оправдал ожиданий. Правда, он, один, наполнил весь дом болтовней, заставив остальных замолчать, но болтал он о хозяйстве, о «парокопках» удобрения, об удивительных качествах свиного навоза, о том, что фактор Иошка, сговорившись с его, Халевича, приказчиком, самовольно начали жать рожь и тем поставили его в отчаянное положение перед Столбунским. Гости нашли, что Халевич в деревне поблек и его ум не находит здесь достойной себя пищи. За Катериной Ивановной Халевич сразу же начал усиленно ухаживать, благо Гончаревский ушел на охоту и не возвращался. При прощанье Халевич упрашивал ее непременно быть у него, но, садясь в экипаж, сказал на ухо провожавшему его Столбунскому:

— Знаешь, миленький, у меня всем говори, что эта шлюндра — жена Гончаревского,— ведь и ее приходится звать. Хоть матери и сестры и нет дома, а все неловко... Но,— вдруг делая угрожающие глаза, воскликнул он,— но... шлюндра первый сорт, инженерная! — И Халевич сладко зажмурился и велел трогать.

И у себя дома прежний Халевич сначала не воскресал. Долго ждали Гончаревского, проголодались и, не дождавшись, пошли к столу. За обедом Халевич был хлебосольным хозяином, не больше. Обед уже близился к концу, когда мимо окна промелькнул экипаж. Увидев его, Халевич с неудовольствием воскликнул:

— Тихменев! Здешнее начальство, и не принять его нельзя. Взяточник,— страдальчески, хватаясь за голову, точно она у него вдруг нестерпимо заболела, говорил он,— пьяница, говорят, будто даже доносчик! А впрочем, я его очень люблю,— совершенно неожиданно окончил он.

Новый гость был высокий старик с длинной бородой и зачесанными назад волосами. Его худое лицо было чрезвычайно, даже излишне благородно,— точно оперный Фауст в прологе. Большие глаза сверкали недобрым и нездоровым блеском. Одет он был в хорошо сшитый, но старый и неопрятный сюртук. В его манерах видны были остатки когда-то светского человека.

— Если не обедали, милости просим,— приветствовал его Халевич.— Если сыты, к вашим услугам вино.

— Вино?! — воскликнул гость и сказал какие-то итальянские стихи о вине.

— Ба, синьор говорит по-итальянски! — отозвался Кесарийский, знавший этот язык и сразу почуявший в Тихменеве какую-то «неожиданность» Халевича.

Тихменев ответил новым итальянским стихом, восхвалявшим прелесть итальянского языка, и совершенным джентльменом пожал руку Дровяникову. Катерине Ивановне он поклонился со старомодной почтительностью, как светской даме, и заговорил по-французски. Заметив, что она не понимает, он обратился к Дровяникову. Однако Никита Степанович, помня рекомендацию Халевича, посмотрел на него косо,— Тихменев заговорил с Кесарийским. Все это было очень прилично, но, беседуя, Тихменев выбрал рюмку побольше, налил туда не вина, которое он только что восхвалял на итальянском языке, а водки и, выпив, слезливо сморщился и крякнул, как самый обыкновенный уездный сильно пьющий человек. Большие рюмки последовали одна за другой, и старик стал хмелеть. Его глаза сделались злыми. Присмотревшись к Катерине Ивановне, он сказал, обращаясь к Халевичу:

— Как жаль, что нет дома милых хозяек,— некому принять вашу гостью!

— Еще больше жаль, что вы приехали без вашей милой супруги,— сладким голосом, но сверкнув глазами ответил Халевич.

Тихменев был женат на особе с таким прошлым, что ее нигде не принимали. При словах Халевича глаза Тихменева стали злыми уже до веселости.

— Когда мы с вами меняемся ударами, летят искры,— напыщенно сказал он.— Я это люблю,— прибавил Тихменев, но разговор переменил.

— Ну, что делается в Петербурге? — спросил он.— Когда-то и я жил там, и не только жил, но и блистал. Но волею судеб я померк и всего себя отдал на служение моему бедному народу, который я по мере сил защищаю на этой окраине от наших друзей.— Он поклонился в сторону Столбунского и Халевича.— С сожалением, но не могу не назвать их крепостниками,— прибавил он и привел на английском языке цитату о народе и свободе из Байрона.

— Каждый понимает свободу по-своему,— продолжал Тихменев.— Например, Станислав Людвигович Халевич подразумевает под нею право стрелять из ружья в живых старух. Я па днях разбирал дело такого рода и имел слабость оправдать моего друга.

Халевич несколько сконфузился, но затем горячо стал оправдываться. Старуха была не просто старуха, а странница. Странницы же — это его крест. Они ходят к его матери и сестре, особам слишком, чересчур религиозным, ходят десятками, дюжинами... «Сотнями, друг мой!» — вставил Тихменев. «Сотнями!» — подхватил Халевич. Халевичу не денег жалко, которые выпрашивают странницы якобы на костелы или для каких-то будто бы вверженных в темницы ксендзов, а в сущности себе на водку; но он не выносит вида этих пройдох, они действуют ему на нервы. Он просил мать не принимать их — обещает, но не исполняет. Он объявил странницам, что его усадьба для них закрыта,— не слушаются. Тогда он пригрозил, что будет стрелять,— и выстрелил.

— Но ведь ружье было не заряжено, я только разбил пистон! — воскликнул Халевич с видом человека, победоносно опровергшего тяжкое, но несправедливое обвинение.

— Что же странница? — спросили Халевича.

— Подпрыгнула на месте, клянусь вам, на аршин! На полтора аршина!

Эта «неожиданность» совсем бы прояснила настроение гостей, несколько омраченное появлением Тихменева — в самом деле, Халевич, стреляющий в странниц, был забавен,— но дело испортил сильно охмелевший Тихменев.

— Я понимаю свободу иначе,— заговорил он, принимая позу.— «Aux armes citoyens! Formez vos bataillons!» * Я русский социал-демократ. А вы? — обратился он к Дровяникову, капризные гримасы которого он замечал.

Старик просто уже успел напиться, но Дровяникова передернуло, и он явственно пробормотал: «Как неискусно!» Кесарийский с невеселым любопытством рассматривал Тихменева. Наступило молчание, которое заставило Тихменева прийти в себя. Он со странной усмешкой обвел взглядом сидевших за столом. Глаза его из злых стали печальными.

---

* К оружию, граждане! Создавайте батальоны! *(фр.)* — строка из «Марсельезы».

— Господа,— наконец заговорил он, обращаясь к Дровяникову и Кесарийскому,— господа, если не ошибаюсь, наш хозяин ваш друг. Он и мой друг. Я во всех отношениях человек разбитый, бесповоротно, вдребезги. Починить меня нельзя, но забываться с людьми, которые пока чище меня, я еще могу. Я езжу в этот дом вашего друга, чтобы отдыхать. Не отравляйте же мне минуту такого отдыха! — И старик, не опуская пьяного, испуганного и просящего взгляда, неожиданно всхлипнул.

Дровяников и Кесарийский изумленно переглянулись, но изумление их возросло, когда Халевич порывисто встал и подошел к Тихменеву, обнял его голову и крепко поцеловал в лоб.

— Полно, старина, полно,— сказал он растроганным голосом.— Никто вас и не думает обижать... А вы мне действительно друг. Если бы не он,— обратился Халевич к остальным,— двенадцать лет тому назад я пустил бы себе пулю в лоб из того самого ружья, за которое он меня на днях судил...

— Преувеличение!..— смаргивая слезу, сказал Тихменев.— Во всем польская страсть преувеличивать!.. Однако я непростительно нервен сегодня. Попрошу еще немного вина и — отдохнуть.

Халевич помог старику встать, захватил большую рюмку, графин с «вином» и увел Тихменева.

IX

— Тургенев, конечно, великий писатель,— возвращаясь, от самых дверей заговорил Халевич,— но в любви он ничего не смыслит... То есть, пожалуй, и смыслит, но в любви поэтов, исключительных и избранных натур, а любви обыкновенных смертных не понимает.

Гости с удивленным вопросом в глазах уставились на него. Заметив это, Халевич посмотрел на них тоже удивленно и вопросительно — и хлопнул себя по лбу.

— Это я хочу вам рассказать, за что я люблю Тихменева. Это история несчастной любви, моей несчастной любви; а утешителем был Тихменев,— объяснил Халевич и продолжал:— Да, Тургенев не знает обыкновенного человека, уверяю вас... Двенадцать лет тому назад я был влюблен. Я — средней руки помещик, *она* — средней руки помещичья дочь. Наша любовь была любовью средней руки

усадьбы. В усадьбе есть дворня, около усадьбы деревня; поэтому и сама усадьба любит сильно, по-мужицки, попросту... Любовь — это тайна, говорят поэты. А в людских, в деревнях и по усадьбам отлично знают, что за штука эта тайна. Если с нее снимают покров не вполне, так потому, что боятся последствий. Впрочем, это я мимоходом... Поэты уверяют, что люди влюбляются только в совершенства. Мой предмет был всего только толстенькой, розовой булочкой, но перипетии любви так раззадорили мой аппетит, что я отдал бы все на свете, чтобы булочку съесть. Хитрая булочка, конечно, остерегалась и довела меня до того, что я думал, будто нет на свете вкуснее ее.

— У Тургенева любовники являются на свидания прилично одетыми,— все более одушевляясь, говорил Халевич.— Любовники деревень, помещичьих людских и средней руки господских домов отправляются в том, в чем их застал удобный момент. Днем, понятно, в полном параде, но ночью, когда нужно ускользнуть от строгой матери, которая спит рядом, на лавке, от сплетницы экономки, за перегородкой, или от папы и мамы, почивающих в соседней комнате, некогда делать особенно сложный туалет... Тысячу извинений, Катерина Ивановна!

— Продолжайте, продолжайте! — крикнули Халевичу.

— Пойдемте в соседнюю комнату,— пригласил слушателей Халевич.

— Зачем?

— Пойдемте... Вот, это у нас гостиная. В ней все, как и двенадцать лет тому назад,— и в эту минуту у меня, при взгляде на нее, по-тургеневски сжимается сердце от сладких воспоминаний. *Она* гостила у нас все лето и спала в доме. Я — во флигеле. Когда все улягутся, она приходила сюда из своей комнаты. Я прокрадывался из флигеля и влезал в окно. Возвращался я к себе во флигель, пятясь задом и руками заметая свои следы на песке дорожки. У Тургенева я что-то не помню таких положений...

— Вот диван,— продолжал Халевич,— тот самый диван! Почти около него окно, а в окне форточка, которую вы видите. Глубокая ночь. Диван освещен полной луной; а *он* и *она*, в белых одеждах, словно светлые духи, озаренные месяцем, сидят на диване и — влюблены, влюблены!.. Они не замечают ничего, даже того, что незапертая форточка то и дело предательски хлопает от ночного ветерка. Они не замечают, что этот стук услышала ночевавшая в доме странница — вот с каких пор я их ненавижу! — не замети-

ли влюбленные — где тут что-нибудь замечать, когда часы проходят, как минуты, хотя времяпрепровождение на незаинтересованный глаз удивительно однообразно! — не заметили они, как старуха подошла к самой двери, и опомнились только тогда, когда та взялась за ручку... В любовном состоянии мужчина — дурак. У меня тогда была одна мысль: завтра же, а может быть, и сейчас мы станем пред родителями на колени и попросим благословения. Женщина же тут-то и делается умной, изобретательной, решительной. Моя *она* бледнела и останавливалась, как вкопанная, когда встречалась с лягушкой, а тут, не успел я моргнуть, отбросила меня в сторону, клубком свернулась за моей спиной, посадила меня на прежнее место и так в меня вцепилась, что долго потом, когда приходилось купаться, меня спрашивали, по какому случаю мне ставили банки... Можете себе представить мое лицо и мою позу в эту минуту! Я старался сделаться как можно шире, чтобы собою загородить ее. Глазами я пожирал дверь, около которой возилась старуха. Дверь, наконец, отворяется. Старуха входит, видит меня, в ярком свете луны, вскрикивает, роняет подсвечник и исчезает...

— Через пять минут весь дом был на ногах. Все, и она в том числе,— на пороге гостиной и в ужасе смотрят на диван. Послали за мной, и когда я пришел, то узнал, что только что вот на этом диване пани такой-то, страннице, явился призрак моего покойного отца, в белом саване, с вытаращенными глазами, со страшною улыбкой на губах, с подбоченившимися руками... На другой день в ближайшем костеле служили торжественную заупокойную обедню. Все плакали, все молились. Она молилась усерднейшей всех, плакала больше всех и говорила, что теперь, после обедни, душа покойного наверно успокоится...

Несмотря на несколько кощунственный конец, рассказ Халевича вызвал у слушателей такой смех, что на мгновение разбудил Тихменева, спавшего через три комнаты. Когда смех стих, Халевич, до такой степени проникшийся воспоминаниями, что перестал торопиться, спокойно и сжато продолжал:

— Эта страница из моих воспоминаний доказывает, что *она* была большая бестия, несмотря на то что походила на сдобную булочку... Знаете ли, любовь вовсе не то, что говорят поэты. Это просто болезнь, сумасшествие особого рода. Оно может быть разных форм и проявляться в разной степени. Мое сумасшествие было бурное. Под конец

моя булочка боялась меня и тут-то, должно быть, и нашла меня неудобным. Я умолял ее выйти за меня замуж. Она тотчас же согласилась и только просила отложить свадьбу до того времени, когда я кончу университет... Мы расстались, обменявшись клятвами в верности. И вдруг всего через какие-нибудь несколько недель после того, как мы расстались, я узнаю, что она вышла замуж за пожилого, но богатого варшавского адвоката!

— По Тургеневу, обманутые любовники страдают очень поэтично. Может быть; но со мной сделалось просто-напросто нечто вроде белой горячки. Лежу на постели сутки, другие, не ем, не пью, не сплю. На несчастье, мать тогда только что оправилась после тифа и была тоже как будто не в своем уме: ползала по полу и вытирала пыль под мебелью, говоря, что не желает быть дармоедкой и хочет хоть чем-нибудь заслужить свой кусок хлеба. Сестра растерялась. А я лежу, меня колотит дрожь, и вижу, клянусь вам, вижу, на полу, на печке и у себя на кровати — не чертиков, которых иногда ловит мой друг, Тихменев,— а котят. Серенькие, в полоски, глазки зеленые, сидят и умываются или блох ищут. А рядом с собой я положил заряженное пулей ружье и никому не соглашался его отдать. Застрелиться я решил твердо и не спускал курка только потому, что мне доставляло наслаждение собираться стреляться... В это время к нам приехал Тихменев, узнал от сестры о моем положении и зашел ко мне. Прежде всего он заставил меня выпить стакан вина — и я пришел в себя. Тогда он налег на цитаты — из Байрона, и из Данта, то из Пушкина, то из Библии, а больше всего из Шекспира, и все о ничтожестве женщины и о достоинстве мужчины. Да ведь как читал, с какими мастерскими интонациями, с какими благородными жестами! — он тогда был еще человеком. Наконец, он привел мне испанскую поговорку: «Мужчина должен быть свиреп». Я тогда в первый раз ее услышал и — белугой заревел на груди Тихменева. После второго стакана я заснул. Остальное вино, и еще две бутылки, выпил мой душевный врач и, конечно, нализался, как стелька... Но я не могу забыть той минуты, когда разливался в слезах на его груди, и я до сих пор люблю эту развалину...

Прежний Халевич воскрес. Никита Степанович долго смотрел то на него, то на Столбунского и воскликнул:

— Знаете что, господа, поедем с нами!

— Куда?

— В Испанию. Ведь вы хороните себя, а жизнь бьет в вас ключом. Вы совершаете медленное самоубийство, а вам нужно жить, наслаждаться жизнью. Вы молоды, пред вами тысячи неожиданностей и возможностей, а вы засели в этом медвежьем углу. Подумайте: Испания! Чудеса природы, чудеса искусства. Какие женщины: не ваша сдобная булочка!..

Кесарийский горячо поддерживал Дровяникова. Халевич отнесся к предложению Никиты Степановича с сочувствием.

— Я согласен с вами, я совершенно согласен,— говорил он.— Но...— И Халевич поспешно ушел и еще поспешней вернулся. В руках у него была огромная конторская книга.

Гости взглянули на нее с недоумением.

— Это моя кассовая книга,— успокоительно сказал им Халевич.— Я вам хочу показать мою Испанию! — с укоризной сказал он и развернул книгу.— Извольте видеть: налево приход, направо расход. Не угодно ли взглянуть сначала направо, потом налево? Затем потрудитесь вычесть правый итог из левого,— много ли останется на Испанию?

Гости взглянули — оставалось действительно немного.

— Жаль, что Столбунский не возит с собой своих книг: там еще меньше... Хотя ты сам в этом виноват,— обращаясь к Столбунскому, стремительно и сердито сказал Халевич.— Ты мог бы устроиться иначе.

— Каким образом?

— Поставить винокуренный завод,— с видом Александра Македонского, разрубающего Гордиев узел [2], проговорил Халевич.

— А деньги? — возразил Столбунский.

В углу комнаты, где стоял рояль, грянули аккорды прелюдии под рукой Никиты Степановича, который был не только музыкальным меценатом, но и недурным музыкантом.

— Деньги? Продай свой лес! — стараясь заглушить аккорды, прокричал Халевич.

— «От Севильи до Гренады...» [3] — раздался баритон Дровяникова.

Романс был спет артистически. Халевич прослушал его с таким видом, как будто лизнул лимон. Когда Никита Степанович кончил, Халевич рассыпался в похвалах.

X

Время шло незаметно. Появился с охоты Гончаревский, весь обвешанный утками. Его поздравляли, а он делал такое лицо, как будто он не настрелял уток, а добыл их каким-то хитрейшим и незаконным путем. У Никиты Степановича снова явилась мысль «разыграть водевиль», с которою на этот раз он обратился к Халевичу. Халевичу мысль необыкновенно понравилась, но Катерина Ивановна напустила на себя вид Пенелопы и не отходила от своего возвратившегося Одиссея [4], который, как голодный волк, набросился на разогретый обед. Халевича заставили повторить «эпизод с форточкой» для Гончаревского, что он и исполнил с прежним воодушевлением. Гончаревский выслушал и спросил: не была ли старуха, все свалившая на призрак, подкуплена Халевичем? Не забывали и вина. Поздно вечером, в самом веселом настроении, поехали к Столбунскому, продолжая шуметь, ухаживая за Катериною Ивановною, которую под конец начали целовать.

Когда выехали из леса на луга, экипаж, в котором ехал Столбунский, вдруг остановился. На козлах сидел кучер Халевича, старый, еще отцовский слуга.

— Пане Столбунский,— заговорил он, и в его голосе слышалось с трудом сдерживаемое негодование.— Пане Столбунский, все эти хихи и хахи, чмоки и поцелуи, все это очень хорошо... Но прошу вас взглянуть, что делается у вас, в Столбуне.

Столбунский, сидевший на передней скамейке, оглянулся: над тем местом, где был Столбун, стоял огромный полукруг пожарного зарева.

Халевич схватил Столбунского за руку и закричал на него так, как иногда кричал на своих провинившихся рабочих:

— Говорил, что нужно страховать! Говорил я тебе?! «Дорого! Дорого!» — видишь теперь, что дороже?!

Вслед за тем он схватился за голову, со стоном повторяя:

— Ай, скот сгорит! Ай, скот! Хоть бы скот успели выгнать!

— Ну, Кузьма, гони лошадей,— изменившимся голосом сказал кучеру Столбунский.

Но старик по-прежнему держал лошадей.

— Прошу вас отпречь пристяжную,— ответил он,— и

ехать верхом. В экипаже по лугам нельзя скоро ехать. сломаем.

Столбунский, а за ним и Халевич стали отпрягать пристяжных.

— Постромки заложите за шлеи и перевяжите узлом,— говорил им Кузьма, сдерживая напуганных суетою лошадей.— Не забудьте отцепить вальки и дайте их мне на козлы...

Но его не слушали и вскочили на пристяжных.

— Да кто же мне вальки сюда подаст?! — с яростью закричал Кузьма и хрипло и продолжительно закашлялся.

Халевич говорил без умолку, соображая, где именно могло загореться в усадьбе и что делать. Он хотел вернуться, пересадить гостей в один экипаж, а в другом поехать за своими рабочими. Хотел съездить за ними верхом. Потом опять начинал повторять: «Ай, скот! Ай, скот!» Столбунский молчал. Три года тому назад, когда Столбунский начинал хозяйничать и подтянул мужиков, до него дошли слухи, что его собираются поджечь. Столбунский дал знать, что если сгорит он, то сгорит и деревня. Столбунский припомнил сегодняшних озлобленных косарей. «Ну, что же? — спрашивал он себя,— если теперь меня подожгли, сгорит деревня?» Он понимал, что он разорен, что оправиться ему долго будет нельзя, что несколько лет его жизни вычеркнуты. Его сердце билось сильно, но медленно. Кровь как будто стала делаться холодней. В сердце, в голове и во всем теле накоплялись, точно вода в запруде, обида, злоба и бешенство,— и запруду хотело прорвать. «Да, деревня сгорит!» — говорил себе Столбунский и молча пастегивал лошадь, которая и без того шла быстрым галопом.

Кончились луга, поднялись на гору, обогнули рощу, светившуюся пожаром, как сетка, и увидели усадьбу. Она стояла невредимой, мерцая светом и тенями близкого пожара,— горела деревня...

Когда подъехали остальные, они нашли приятелей на пожаре. Халевич работал плохонькой пожарной трубой, а Столбунский с толпой мужиков ломал избу рядом с горевшей. Халевич оставил свою трубу, от которой все равно было мало толка, и подошел к гостям.

— Если бы сгорела усадьба, он бы погиб, погиб навеки. Ему оставалось бы... в акциз поступить! — в ужасе восклицал он. И затем круто перешел к лесу Столбунского, доказывая точнейшими цифрами, что Столбун-

ский, продай он свой лес, тотчас же сделается чуть не крезом.

Халевичу казалось, что его слушали с сочувственным вниманием.

Через несколько дней после отъезда гостей, когда у Столбунского был Халевич, Столбунскому подали телеграмму. Халевич взглянул на конверт, и на его лице выразились самые напряженные ожидание и любопытство: депеша была из Севильи.

— Лес? Лес? — спрашивал Халевич.

Столбунский передал телеграмму приятелю. Дровяников и Кесарийский телеграфировали: «Севилья — рай. Ждем обоих. Запасетесь незабвенными впечатлениями. Целуем».

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ

I

Антон Антонович Подшибякин, учитель географии в уездном училище, развернув одним прекрасным утром газету «Грош», которую выписывал в рассрочку, остановился на последней странице и широко раскрыл глаза.

Антон Антонович был мужчина лет тридцати пяти, высокого роста, худощавого телосложения, как бы запыленной наружности, но неизменно самоуверенного вида. Ничто не могло нарушить его спокойствия. В классе он отличался полным безучастием ко всему, что проделывали мальчуганы. Школьники могли играть в шашки и карты, могли ссориться и драться сколько угодно, даже могли строить Антону Антоновичу рожи,— Антон Антонович хранил такой вид, как будто все это его совершенно не касается.

— Что вы не подтянете этих шельмецов? — не раз говорил Антону Антоновичу смотритель училища.

— А зачем их подтягивать? — спрашивал Антон Антонович и глядел на смотрителя загадочно.

— Как зачем? Известно, для порядка!

— А зачем порядок? — И взгляд Антона Антоновича становился еще загадочней.

Смотритель боялся этого взгляда, потому что знал, что вслед за тем Антон Антонович начнет «философствовать».

И действительно, как ни уклонялся смотритель от дальнейшей беседы, Антон Антонович заступал ему дорогу и начинал:

— Нет, позвольте-с, зачем порядок? Уверены ли вы, что порядок, который вы поддерживаете, педагогичен? Можете ли утверждать, что вся современная педагогия рациональна? А что, если она ни к черту не годится? Лев Толстой, например, в своей школе, в Ясной Поляне, не признавал ровно никакой дисциплины...

Смотритель спешил удалиться.

Антон Антонович был философ. «Жизнь есть игра вещей»,— часто говаривал Антон Антонович. Сделает ли он оплошность по службе, обсчитает ли его кухарка, потерпит ли он неудачу в ухаживании за прекрасным полом — все это была «игра вещей». А Антон Антонович стоял в средине, забавляясь игрою вещей, и даже отчасти управлял ею. Чаще всего забавляли Антона Антоновича кокетливые уездные дамы и девицы.

— А знаете ли, Антон Антонович, ведь такая-то здорово в вас влюблена! — говорил ему какой-нибудь уездный мистификатор.

— Знаю-с,— невозмутимо отвечал он.

— А почему вы знаете?

— По разным тонкостям.— И Антон Антонович уже был готов пуститься в эти тонкости.

— Ладно, ладно,— спешил остановить его уездный мистификатор, побаивавшийся, как и весь остальной город, его «философий».— Ладно. Смотрите же действуйте.

К дамам и девицам Антон Антонович был очень неравнодушен: тут и философия не помогала,— и Антон Антонович сейчас же начинал «действовать». Если это была дама, он назначал ей свидание; девице он делал предложение. И дамы и девицы отвечали отказом.

— Ну что, каковы дела с такою-то? — спрашивал мистификатор, конечно знавший о неудаче.

— В порядке,—невозмутимо отвечал Антон Антонович.— Я сделал предложение, а она, как я предвидел, струсила и его не приняла.

— Да неужто струсила?

— Смертельно. У северных женщин нет темперамента. Другое дело — южные женщины. Эти настоящие!

— Так вам бы на юг, в Африку.

— При первой возможности.

В ожидании возможности отправиться в страну насто-

ящих женщин Антон Антонович о них мечтал, и в этих мечтах проходило почти все его время. Сидел ли он в классе, он не замечал шума школьников, потому что пред его умственными взорами носилась настоящая женщина. Гулял ли он по бульвару, где в будке продавала сельтерскую воду девица в красном платье, он почти ждал, что вот-вот девица в красном платье невидимой силой будет извержена из будки и вместо нее сельтерскую воду станет продавать настоящая женщина. Читал ли он в «Гроше» любовные романы, он относился к героиням этих романов с презрением, потому что они были ничто в сравнении с его идеалом настоящей женщины. И в своем уездном городе Антон Антонович искал настоящую женщину, но все, с которыми ему случалось сталкиваться, оказывались не настоящими: одни не решались пойти на свидание, другие боялись принять предложение. Антон Антонович смотрел на эту «игру вещей» и ждал.

II

Итак, Антон Антонович пробежал последнюю страницу «Гроша» и широко раскрыл глаза, а на лице его отразилось некоторое волнение. Впрочем, это продолжалось только секунду, и уже в следующее мгновение он снова был философски спокоен. Он вынул из комода свой единственный выигрышный билет, сличил его номер с цифрами на четвертой странице «Гроша», убедился, что выиграл двадцать пять тысяч, положил билет в бумажник, напился чаю, минуту помедлил — образ настоящей женщины возник в его воображении с особенной яспостью — и в урочное время направился в училище.

— Ну что, батенька, двести тысяч выиграли? — спросил Антона Антоновича смотритель, всех встречавший этим вопросом в те дни, когда «Грош» приносил таблицу выигрышей.

— Выиграл, но не двести, а двадцать пять тысяч,— невозмутимо ответил Антон Антонович.

— Врете! — не сдержавшись, сказал смотритель.

Антон Антонович пожал плечами, вынул бумажник и бросил на стол билет. Руки смотрителя против его воли сделали движение положить билет в карман, так что их хозяин принужден был отправить их за спину. Смотритель опустился на стул и долго с глубоким чувством смотрел на Антона Антоновича.

— И вы так спокойны! Вот... вот Муций Сцевола! [1] — воскликнул наконец смотритель.

— Я это предвидел.

— Предвидели? Ну да, да!

— Теория вероятностей все может предвидеть.

— Голубчик, вы и теорию вероятностей знаете? Ну да, конечно!..

— Положим, не знаю...

— Ну да! Ну да!..

— Положим, не знаю; но раз теория вероятностей все может предвидеть, то неожиданного не существует...

— Голубчик, верно!

— Ничему не следует удивляться, и всего можно ожидать.

— Так-то оно так, но я никак не ожидал, чтобы такое счастье свалилось эдакому... эдакой... Я хочу сказать, такому...

Смотритель смешался. Антон Антонович безмятежно повернулся и пошел в класс.

— Такому философу! — прокричал ему вслед смотритель и погрозил кулаком.

На лице Антона Антоновича показалась улыбка польщенного человека.

В классе Антон Антонович вел себя совсем необычайно. Вместо того чтобы в невозмутимом равнодушии выслушивать ответы учеников, Антон Антонович объявил, что сегодня он будет «объяснять», чего еще ни разу не случалось. Ученики разинули рты. Учитель подошел к запачканной карте полушарий, постоял, мечтательно улыбнулся и начал.

— Вот северное полушарие,— начал он,— и вот полушарие южное. На экваторе самый сильный жар, у полюсов холод. Чем ближе к экватору, тем сильнее страсти, потому что жизнь есть результат солнечного света и тепла. На севере солнце заменяют пищей и потому жиреют. Стало быть, кто жирен, у того не могут быть сильны страсти.— Голос Антона Антоновича окреп и глаза заблистали.— Истинные страсти вот где! В Италии, в Испании, в Мавритании, в Бразилии, между прочим, и в Индии!.. Оглодков, покажи мне эти страны.

Оглодков, как и прочие, онемевший от изумления. не тронулся с места.

— Не знаешь, дурак? Ну, так я покажу!

И Антон Антонович показал все перечисленные им

страны. Голос его звучал почти нежно, рука как бы ласкала указываемые на карте местности. Когда Антон Антонович кончил, он несколько времени мечтательно смотрел в окно и потом сказал:

— Я собираюсь поехать в эти страны, эдак через месяц.

III

Антон Антонович был очень доволен «игрою вещей», последовавшею за получением известного читателям номера «Гроша». Случилось, что как раз в это время все в городе заметили, что Антон Антонович далеко не дюжинная личность. Самому Антону Антоновичу это было известно давно; но все-таки приятно, если и другие тебя оценят по достоинству.

Исправник при первой же встрече смотрел Антону Антоновичу в глаза совершенно с такою же неморгающей готовностью, с какой он глядел только на губернатора во время ревизии.

— Намерены от нас выбыть? В места весьма отдаленные? — спросил он.— Изволили уже объявить об этом ученикам.

— Вероятно, поеду,— ответил Антон Антонович.

— Этот выигрыш весьма кстати для вашего любознательного ума. В значительной степени обогатитесь сведениями разного рода.

Воинский начальник, человек развитой, из артиллеристов, на улице взял Антона Антоновича под руку и прошелся с ним.

— Знаете, во всем инциденте меня главным образом интересует психологическая сторона дела,— сказал он.— Что ощутили вы, когда убедились в вашем выигрыше?

— Ничего не ощутил.

— Ничего? Интересное психическое состояние!

Казначей, человек несколько огрубевший от постоянного соприкосновения с презренным металлом и грязными бумажками, спросил:

— Как же пристроите деньжонки? — И прибавил: — А надо сказать, деньжонки не малые!

— Проживу.

— Что вы, что вы, что вы! — воскликнул казначей, но тут же успокоился и сказал: — Шутите. Не с вашим умом сделать такую глупость.

Секретарь земской управы при встрече с Антоном Антоновичем только смеялся, радостно заглядывая ему в глаза.

— Что это вы смеетесь? — спросил Антон Антонович.

Секретарь смолк, отвел Антона Антоновича к сторонке и предложил ему дать под вексель в вернейшие руки, земскому подрядчику, две тысячи.

— Ищет! — выразительно сказал секретарь.

Антон Антонович ответил отказом. Секретарь снова стал радостно хохотать, говоря:

— Умница! Голова! Ничего зря сделать не хочет.

Соборный отец протоиерей, сильно подозревавший Антона Антоновича в вольнодумстве, на этот раз послал ему с противоположного тротуара величественное, но благожелательное склонение главы. Местный помощник присяжного поверенного, отличавшийся в качестве «переутомленного интеллигента» рассеянностью, теперь заметил его тотчас же и пригласил как-нибудь к себе, «выпить и закусить». Сам предводитель, проезжая мимо, помахал Антону Антоновичу кистью руки, по-итальянски: предводитель в прошлом году был в Италии и остался от нее в восторге.

Все эти знаки внимания мужчин, конечно, удовлетворяли Антона Антоновича, но далеко не в той мере, как внимание со стороны дам и девиц. Ну, что такое поклон мужчины? — снимет шапку, и только, тогда как дама или девица при этом еще изогнет шейку, взмахнет ресницами, сложит губки бантиком. Что такое мужские глаза? — буркалы, утомленные писаньем бумаг или налитые водкой, а женские глаза — палитра красок и музыка выражений. Что представляют собою мужские речи? — «заходите выпить», «дайте под вексель». А женщины! Речь их так и ластится, так и щекочет! «Заходите. Мой Мишель вас так уважает», — сказала податная инспекторша с бирюзовыми глазами. «Ах, как я за вас рада, как рада, мил... ах, что я! добрый Антон Антонович!» — воскликнула воинская начальница с глазами из агата. Но лучше всего была тоненькая дочь водяного инженера, которую Антон Антонович встретил на улице вместе с ее очень полной мамашей.

— Правда ли, батюшка, что ты от нас в Китай хочешь уехать? — в шутливом гневе воскликнула мамаша.

— Собственно, в Китай я не собираюсь...

— Вздор, вздор! Ни в Китай, ни в Японию тебе незачем таскаться! — все так же в шутку гневаясь, перебила мамаша.

— Не уезжайте,— музыкальным голоском сказала и дочь.

У Антона Антоновича забилось сердце.

— Вместо Китая приходи-ка сегодня вечером к нам. Слышишь? — шутливо командовала мамаша.

— Приходите,— сказала и дочь, и на этот раз ее голос был не только музыка, но прямо чары.

Сердце Антона Антоновича затрепетало, и он молча поклонился в знак согласия.

IV

Вечером в назначенный час Антон Антонович явился к водяному инженеру, где весь город был в сборе.

— Весьма рад! — коротко приветствовал его хозяин, человек более похожий на улей, которому прицепили бороду и просверлили глаза, чем на чиновника водяного департамента. Несмотря на краткость и кажущуюся сухость приветствия, хозяин смотрел на Антона Антоновича почти так же приветливо, как если бы Антон Антонович был подрядчиком по очистке местной судоходной реки от корчей.

— Вздор, вздор, батюшка! Нечего тебе в Китай ехать! — встретила Антона Антоновича хозяйка.— Поди-ка в гостиную; там моя Сонечка у тебя давно что-то спросить хочет из твоей географии.

И хозяйка, взяв Антона Антоновича за рукав, отвела его в гостиную и посадила на маленький диванчик рядом с Сонечкой.

Сонечка сидела справа. Не прошло несколько секунд, как слева на кресле очутилась еще девица, дочь исправника, с удивительно белыми ручками. Мгновение — и напротив сидела дочь акцизного надзирателя, обладательница жгучих черных глаз. Еще мгновение — рядом с дочерью акцизного надзирателя появилась дочь казначея, такая маленькая, что ее можно было проглотить, как конфетку. Антон Антонович чувствовал себя солнцем, вокруг которого вращаются планеты одна другой очаровательней, и блаженствовал. Он даже не замечал, что в сфере его влияния время от времени появляются, кроме планет, также и кометы, в виде мамаш. Кометы заходили в гостиную под посторонними предлогами — закурить папиросу, поправить перед зеркалом прическу, посмотреть альбомы, а в сущно-

сти — чтобы полюбоваться Антоном Антоновичем, недюжинные качества которого наконец были признаны всеми. Антон Антонович не замечал комет, но зато планеты влияли на него еще сильней, чем он на них.

— Расскажите нам что-нибудь про Китай,— музыкальным голоском обратилась к Антону Антоновичу Сонечка, сидевшая справа.

— То есть как это про Китай? — ответил Антон Антонович, плохо понимая, что он говорит: до того музыкален был голосок.

— Ах нет, лучше про Японию! — воскликнула соседка слева.

— То есть как это про Японию? — произнес Антон Антонович, околдованный зрелищем белых ручек, обнаженных до самых локтей, и даже немного повыше.

— Нет, нет, не про Японию! — сказала дочь акцизного надзирателя, сидевшая напротив.— Японки, например, очень противные: они такие маленькие, что ростом с обезьянку.

— Как? — сказал Антон Антонович, подпадая под неотразимое влияние сверкнувших перед ним черных глаз.

Маленькая, как конфетка, дочь казначея вдруг покраснела и с ядовитостью произнесла:

— Как это пошло желать, чтобы все женщины были толсты, как бочки!

Само собой разумеется, что дочь акцизного надзирателя, неодобрительно отозвавшаяся о маленьком росте японок, была особой полной. Антон Антонович, не понявший намека, так как он весь был поглощен созерцанием прелестных собеседниц, рассмеялся и, остроумно развивая мысль о бочках, воскликнул:

— Если,— смеясь, говорил он,— если женщина толста, как бочка, то на нее следует набить обручи.

Да, ум и, во всяком случае, остроумие Антона Антоновича были признаны вполне. Собеседницы, за исключением полной дочери акцизного надзирателя, а с ними и сам Антон Антонович рассмеялись с увлечением. Антон Антонович смеялся даже долее остальных, до слез, до утирания глаз платком. Когда он перестал смеяться, он увидел, что полной собеседницы уже нет в комнате.

— Так расскажете нам про Японию? — снова спросила дочь исправника с белой ручкой.

— Не стоит,— ответил Антон Антонович.— Ведь японки противные, ростом с обезьянку...

— Как я?! — не владея собою, воскликнула маленькая дочь казначея, с шумом отодвинула стул и ушла.

— Какая обидчивость! — промолвила ей вслед Сонечка.

— Чем же тут обижаться! — с удивлением сказал Антон Антонович.— Я нарочно сказал, что японки противные. В сущности, они очень милы. Я пойду сейчас ей объясню.

— Она не станет слушать: она теперь рассердилась,— остановила его Сонечка.— А вы лучше расскажите про Японию мне.

— Разве вы не знаете?

— Знаю, но мало. И потом, мне почему-то хочется, чтобы рассказали именно вы... Пойдемте ходить по зале.

Антон Антонович не мог противиться и пошел вслед за Сонечкой. Дочь исправника, поищурившись, посмотрела им вслед.

V

Да, Антона Антоновича признали. Прежде, еще недавно, когда ему случалось, как теперь, ходить по комнате, где играли в карты, и громко разговаривать, на него смотрели косо, иной раз даже свирепо: его ходьба и разговор мешали игрокам в винт сосредоточиваться и обдумывать их важные ходы. Теперь было совсем иначе.

— Ну, я расскажу вам, если хотите, про Японию,— громко начал Антон Антонович, в волнении глядя на Сонечку.

— А что, в Японию сухим путем едут? — отрываясь от карт, спросил казначей.

— Можно сухим, можно и мокрым,— ответил Антон Антонович и не удержался: засмеялся своему игривому ответу.

При этом остроумном ответе несколько голов поднялось от карт — помощника исправника, податного инспектора, лесничего и протоиерея. Все они одобрительно посмотрели на Антона Антоновича. Он продолжал:

— Япония состоит из нескольких островов, пространством в триста восемьдесят две тысячи квадратных верст, с населением в сорок миллионов душ. На одну квадратную версту приходится сто два человека...

— Как он все это помнит! Вот талант! — воскликнула хозяйка.

Тут от зеленых столов поднялось две-три головы других мамаш. Они проницательно посмотрели на хозяйку, потом на ее дочь, внимательно слушавшую Антона Антоновича, потом нашли взорами собственных дочек и снова углубились в карты, но лица их стали сумрачны.

— А как называется лучший город в Японии? — спросила полная дочь акцизного надзирателя, подошед к Антону Антоновичу с видом Наполеона, решившегося на свое Ватерлоо.

— Помните: бочка? обручи? — шепнула Антону Антоновичу Сонечка.

— Иед... Иеддо,— едва сдерживая смех при воспоминании о своей счастливой остроте, ответил Антон Антонович и не выдержал, рассмеялся в лицо спрашивавшей.

Это чуть не возымело дурных последствий. Полная дочка покраснела до слез. Мамаша полной дочки тоже покраснела, спутав ход, который должна была сделать. Покраснела при такой явной невежливости по отношению к девицам и маленькая дочь казначея, а за нею и ее мамаша. Нахмурился казначей. Насупился акцизный надзиратель. Даже дочь исправника, с белой ручкой, непосредственно ничем не обиженная, и та сверкнула глазками. Бог весть, чем бы это кончилось, если бы Сонечка не нашлась сказать:

— Знаете, Антон Антонович, без карты не очень понятно. Пойдемте в кабинет к папаше. Там висит почтовая карта.

Антон Антонович, беспечно смеясь, пошел за Сонечкой в кабинет папаши.

— Боже, как глуп! — не в силах сдержаться, воскликнула мамаша полной дочки, жена акцизного надзирателя, игравшая визави с мамашей Сонечки.

— Пять пик,— уклончиво сказала на это хозяйка.

VI

Едва Антон Антонович и Сонечка очутились в кабинете папаши, как роли их переменились. Он молчал, говорила она. Когда подошли к почтовой карте, Сонечка вместо карты стала смотреть на Антона Антоновича, притом с нежностью.

— Антон Антонович! — тоже с нежностью воскликнула она.

Антон Антонович стал предчувствовать нечто очень приятное.

— Антон Антонович, мне жаль вас,— сказала Сонечка.

— Отчего жаль?

— Вы так наивны, чисты, добры...

— Как вы это угадали?

— О, я очень ценю таких людей, как вы.

Антон Антонович стал серьезен.

— Это делает вам честь,— сказал он.

— Благодарю вас, Антон Антонович,— с чувством сказала Сонечка, крепко пожала ему руку своей маленькой ручкой и продолжала: — Вы не замечаете, какие черствые сердца вас окружают...

— А у кого же, например, черствое сердце?

— Ах, у всех. Вас не понимают. Вы слышали, как акцизниха, когда мы уходили, сказала: «Боже, как глуп»?

— Про кого же она это сказала?

— Про вас, Антон Антонович.

— Да, у нее черствое сердце.

— Вот видите! Все они такие же. Мне только обидно повторять, а то они бог знает что говорят про вас. А между тем вы так добры, так умны! Только я одна да еще мамаша понимаем и ценим вас. Я ужасно добрая. Я так люблю тех, кого обижают. И, знаете ли, я так мечтаю, чтобы полюбить того, кого не понимают. Никто не понимает — а я понимаю. Так бы вместе уйти, уйти, уйти куда-нибудь, далеко, в Америку, в Индию, и жить вместе. Нас никто не понимает — а мы понимаем... Вы думаете, эта бочка, Капочка, любит кого-нибудь? Никого! Она влюблена в этого нашего адвоката. Только он знаете что думает,— как говорится, поиграть да бросить. А дочь казначея? Когда в прошлом году приезжал губернатор на ревизию, то она написала любовное письмо чиновнику особых поручений; и, знаете, казначей поправлял ей ошибки! Конечно, она получила нос, но какая пошлость! Нужно не иметь никакой гордости! Я не понимаю таких. Я, Антон Антонович, мечтаю только об одном, где-нибудь далеко, далеко путешествовать с любимым человеком...

Антон Антонович был счастлив. Да, его поняли! И как мила Сонечка! Голосок музыкальный, речи искренние, ручка мягкая, талия колеблется, на шейке розовый бантик. Как трогательно она желает уйти, уйти, уйти...

— Так уйдемте! — вырвалось у Антона Антоновича.

Сонечка строго смотрела в глаза Антону Антоновичу.

— Вы это серьезно? — спросила она.

— Что же, отчего не серьезно. Путешествовать очень интересно,— ответил Антон Антонович.

Сонечка положила ему руку на плечо и еще строже стала смотреть в глаза.

— Дайте мне честное благородное слово, что вы не шутите,— сказала она.

Антон Антонович почувствовал головокружение.

— Извольте, даю,— ответил он.

Прелестное личико с темными, страстно раскрытыми глазами приблизилось к самому его лицу — и Антон Антонович отпрянул назад: Сонечка его поцеловала. Не успел он отшатнуться, как почувствовал новый поцелуй, еще более жгучий. Отойти дальше было уже невозможно: он уперся в стену, в почтовую карту папаши... О, вот она, настоящая женщина!

— Возьми, возьми меня! — шептала Сонечка.

— Куда? — прошептал и Антон Антонович.

— В Японию, в Китай... куда хочешь,— шептала она.

— Хорошо, возьму,— шептал он.

Но тут Антон Антонович почувствовал, что очутился еще в чьих-то объятиях, тяжких, жирных и горячих, что еще чьи-то губы, по крайней мере втрое большие, целуют его губы, что еще чей-то голос говорит:

— Ты благородный человек, голубчик! — говорит этот голос.— Я давно этого ждала. Благословляю.

Голос, объятия и губы принадлежали мамаше Сонечки.

— Что же, я... я ничего,— говорил Антон Антонович в блаженном сознании, что его с каждой секундой признают и понимают все больше и больше: его обнимают, целуют, он нашел настоящую женщину.

И еще объятия, на этот раз не жирные, а жесткие, обвили его железным кольцом.

— Весьма рад! Благословляю! — говорил мужественный голос.

Это был папаша Сонечки.

— Что ж, я всегда... я всегда нравился женщинам. Я не отрицаю,— говорил Антон Антонович — и был счастлив.

VII

В этот вечер винт у водяного инженера кончился раньше обыкновенного. Ранее обыкновенного подали ужин. Против всякого обыкновения появилось шампанское, но

все уже знали, что оно значит. Мамаша Сонечки улыбалась, с удивительным самообладанием скрывая слезы, навертывавшиеся ей на глаза. Улыбался папаша, столь же искусно скрывавший радостное смущение отцовской гордости. Улыбалась Сонечка от полноты девического счастья. Широко улыбался, весь красный, Антон Антонович. Улыбались гости и гостьи. Не улыбался только один — помощник присяжного поверенного, и то только потому, что он был «переутомленный интеллигент» и в качестве такового пребывал в рассеянности, глядя перед собой в угол, в одну точку.

Когда роздали гостям бокалы, встал папаша и объявил, что Антон Антонович Подшибякин и его, папаши, дочь, Софья,— жених и невеста.

Лишь только он окончил, на нижнем конце стола поднялся поручик этапной команды и потрясающим душу голосом воскликнул:

— Здоровье нареченных! Ура!

— Ура! — подхватили все присутствующие.

Когда «ура» стихло и музыкально зазвенели бокалы, которыми гости чокались с нареченными и родителями невесты, вдруг раздался новый возглас:

— За здоровье двадцати пяти тысяч!

— Ур-ра! — изо всех сил, от души закричал в ответ только один голос.

Тост провозгласил «переутомленный интеллигент», помощник присяжного поверенного. «Ура» прокричал Антон Антонович. Все молчали.

— Ур-ра! — с еще большим воодушевлением снова прокричал Антон Антонович и обратился к окружающим:— Господа, кричите ура двадцати пяти тысячам! Такое ведь совпадение: и их я выиграл, и меня, наконец, поняли и оценили.— И Антон Антонович, набрав в грудь побольше воздуха, снова закричал:— Да здравствуют двадцать пять тысяч! Ур-ра-а!!





«НЕРВ ПРОГРЕССА»

Дежурство Барбашева начиналось с шести часов вечера. Он плеснул себе в глаза водою прямо из умывальника, в котором плавал окурок. Вода на этот раз показалась ему неприятной.

Подняв упавшее за кровать полотенце, он утерся и стал напяливать на себя старый и нечистый мундир. Но руки как-то не сразу попадали в рукава. Барбашеву было не по себе; во всем теле ощущался озноб, точно его налили холодной водой; спал он тоже каким-то «кисейным» сном, и ему в полузабытьи все представлялось, что из головы у него, как с кружащегося телеграфного колеса, тянется бесконечная лента.

«Не стоит пить так много»,— подумал он обычным порядком и пошел из своей маленькой, промозглой, прокуренной и надоевшей ему комнаты вниз, в телеграфную.

На узкой, пахнувшей кухней и кошками лестнице было темно, но телеграфист знал каждый шаг по ней. Из квартиры начальника станции доносился хриплый, но еще сдержанный голос, мрачно выводивший насильственным басом:

Я не мельник. Я ворон! [1]

«Еще только на первом взводе»,— машинально определил по этому голосу Барбашев. С другой стороны визжала собака — помощник начальника станции дрессировал своего пойнтера Стивенсона и приговаривал:

— Я тебе русским языком говорил: апорт! апорт!

Все это давным-давно надоело Барбашеву, как и вся станция Заболотье, где он живет, кажется, целую вечность... Все одно и то же. Внизу непременно сейчас суетится буфетчик Пармен Петрович, к каждому поезду выходящий с таким серьезным лицом, будто делает какое-то важное дело. Он «освежает» бутерброды с икрой, похожей на ваксу, облизывая их влажным языком, а то так и прямо поплевывая на них и смазывая пальцами.

Заслышав шаги Барбашева, товарищ его, которому он шел на смену, молодой угреватый телеграфист Кудрявцев, прозванный Тютиком, с шумом отодвинул стул и почти столкнулся с Барбашевым в дверях.

— Наше вам с... с... с кисточкой! — слегка заикаясь, приветствовал Тютик старшего товарища.— А я уж, знаете, боялся, что в-вы запоздаете, и я н-не успею к поезду.

Барбашев ничего не ответил на приветствие. Опоздать он не мог, не потому, положим, что заботился, чтобы товарищ его успел пройтись по платформе и буфету во время пятиминутной остановки поезда, а просто по привычке.

Кудрявцев неизвестно чему рассмеялся и пустился наверх к себе переодеться к пассажирскому поезду, напоминая движениями молодого лягаша, а Барбашев сел перед аппаратом на его стул, еще не успевший остыть от сидения, и принялся за работу.

Аппарат застучал нервно и торопливо, как живое сердце. Телеграфист машинально слушал знакомое постукивание как живую, понятную речь. Ему не надо было даже смотреть на тонкую ленту бумаги, чтобы понять эту речь. Он машинально ловил сжатые, отрывистые фразы и так же машинально передавал их дальше.

В маленькой телеграфной, с окнами, запорошенными снегом, местами блестевшим от лампы бриллиантовыми и жемчужными искрами, раздавался еще мягкий стук часов, и казалось, часы и аппарат постоянно спорят между собою. Аппарат рассказывает что-то бесконечно и нервно, а часы, не слушая его, твердят одно и то же: так-нет, так-нет, так-нет...

В этом однообразном постукивании часов было что-то роковое, как и в движении стрелок, которые, подобно двум тонким пальцам, шли от одной цифры к другой по своему кругу.

В этот час должно быть то-то, а в тот — то-то...— молча указывали эти тонкие пальцы. Так оно и случалось,

точно все здесь делалось не только по их указанию, но и по их собственной воле. И вся эта бедная станция со своими проволоками, аппаратами и даже людьми только затем, по-видимому, и существует, чтобы повиноваться им.

Вот когда один палец, поменьше, остановится на цифре VI, а другой — на XII, к Заболотью подойдет поезд № 23. И не успели часы указать это, как за окном послышался грохот, тяжелые вздохи и шипенье. Запорошенные снегом окна телеграфной вспыхнули сначала багровым светом, а затем вдруг замигали, точно перед ними снаружи кто-то сперва быстро, потом все реже махал взад и вперед фонарем, отчего бриллианты и жемчуга на окнах то вспыхивали, то погасали.

Но вот маханье прекратилось. Прозвонил станционный колокол. Грохот и вздохи утихли, зато послышался другой шум, голоса. Перед окнами быстро и беспокойно замелькали тени. Раздалось хлопанье дверей.

Аппарат продолжал говорить, а часы в ответ ему повторяли одно и то же: так-нет, так-нет,— указывая тонкими пальцами, когда эта суета и шум должны прекратиться и поезд унестись дальше.

Телеграфист уже готовился распоряжение тонких пальцев передать аппарату, как в комнату вошел, скрипя вычищенными сапогами, кондуктор, с запахом снега и свежего воздуха. Он стряхнул с усов иней, торопливо поздоровался, подал листок бумаги с двумя строками и, получив расписку, удалился как раз в то время, когда колокол звякнул за окном два раза, и тени снова заметались на стеклах.

Суета в зале и на платформе прекратилась. Поезд засвистел, загромыхал... На стеклах снова закачались огни, и скоро все умолкло, кроме спора часов с аппаратом.

Телеграфист отправил служебную телеграмму и пробежал строки, написанные на клочке бумаги, по-видимому, вырванном из записной книжки:

«Станция Дубки. Балиной. Ура. Целую твои маленькие ножки. Высылай лошадей, поезд № 23».

Никакой подписи под телеграммой не было, но фамилия Балиной показалась Барбашеву странно знакомой, даже близкой.

Аппарат застучал.

Дверь телеграфной опять отворилась, и, прежде чем вошедший что-нибудь сказал, Барбашев знал уже по тяжелому запаху гуттаперчи, что это Тютик в своем непро-

мокаемом плаще с капюшоном, который он гордо набрасывал на плечи решительно во всякую погоду, выходя к пассажирским поездам. Он был убежден, что этот плащ придает ему особенно интересный, чуть ли не демонический вид, особенно вместе с синим пенсне на толстом черном шнурке, которое он, как и плащ, надевал только к поездам.

— А-ах, б-б-батюшка! — освобождая из-под заветного плаща руки, поднимая их кверху и закатывая в восторге глаза, залился Тютик.— Какую я ф-ф-финтиклюшечку видел! Р-р-розан! Я... п-подлетел к ней, как раз к-когда она хотела со ступеньки прыгнуть. Я... т-тут как тут... Р-руку таким м-манером...

Он сделал выверт рукою и, склонив голову набок, выставил правую ногу вперед, наглядно рисуя картину, причем на его угреватом лице, с покрасневшим от холода, заметно раздвоенным кончиком носа, разлилось блаженство, охватившее как будто даже и фуражку, едва державшуюся набоку белокурых кудрей, и выпущенный на лоб, из-под козырька, закрученный штопором локон.

— Она... п-представьте... подает мне руку, и мы гуляем по платформе. Мерси... Пардон... и все такое. Обращение самое тонкое. По всему видно, ар-ристократка девяносто шестой пробы, и аромат от нее... ап-п-попонакс чистейшей воды,— продолжает с возбужденным видом трещать Тютик.

«Целую твои маленькие ножки...» — выстукивает на аппарате старший телеграфист, слушая, как во сне, голос товарища, силясь и боясь вспомнить в то же время, откуда ему знакома фамилия Балиной.

Тютику досадно, что его не поддерживают... вряд ли слушают... Он слишком взволнован, чтобы остановиться на этом сообщении.

— Н-на прощанье я у нее, натурально, фотографию просил в з-знак памяти, и она... представьте... обещала. Честное слово!

Бедный Тютик! Он всего седьмой месяц в Заболотье. Приехал он сюда с гуттаперчевым плащом, маленьким чемоданом и альбомом переписанных стихов из уездного города Кряжева, где, по домашним обстоятельствам, дошел только до третьего класса гимназии. Однако, попав в телеграфисты, он твердо веровал, что его деятельность — своего рода миссия. Даже в альбоме его была тщательно

написана откуда-то фраза, которую он любил повторять: «Телеграфист — нерв прогресса».

К каждому пассажирскому поезду этот «нерв прогресса» выходил в своем резиновом плаще, из-под которого сверкали пуговицы телеграфного мундира, оберегаемого как святыня. Обходя платформу, засматривая в окна вагонов и в лица пассажирок, постоянно сменяющиеся перед ним, Тютик грезил о каком-то несбыточном счастье, которое должно было свалиться на него как с неба. Часто ему казалось, что он ловит взгляды прекрасных глаз и улыбки, полные обещания. Но поезд уходил, а вместе с ним угасали и следы этих взглядов и улыбок, как те огненные искры, которые бросал из своей трубы поезд, унося из Заболотья. Казалось, то был только мимолетный сон, а действительность — эта станция со всеми ее обитателями, с телеграфным аппаратом и начальником, который от поезда до поезда, с редкими перерывами, гудит басом, более или менее пьяным:

Я не мельник... Я ворон!

Но и «нерв прогресса» носит в груди не часы и не телеграфный аппарат вместо сердца. И его молодость не может питаться убогою жизнью Заболотья... Ей хочется любви и счастья, подобного тому, которое дразнит воображение со страниц когда-то прочитанных и случайно попадающих здесь в руки романов.

А счастья нет. Оно проходит мимо, бог весть куда, как эти поезда, набитые людьми, и голодная фантазия хватается за каждый мимолетный взгляд, чтобы создать из этого целую историю.

Старшему телеграфисту эти истории хорошо знакомы. В другое время он или подшутил бы над товарищем, или стал бы уговаривать его бежать отсюда куда глаза глядят, поступить хоть в городовые, хоть в извозчики, только не отдавать свою молодость, свое сердце во власть этих часов и телеграфного аппарата.

— Ведь эта прокислая, заплеванная станция будет гробом вашим, как стала моим гробом! — внушал он Тютику, когда напивался. Но для Тютика еще не настало время безнадежности. Тютик мечтал. И на этот раз Барбашев не стал мешать его мечтам: ему было не до того. Да и, наконец, неизбежное придет со временем. Пусть Тютик тешится. Скоро, скоро придет.

Давно ли, кажется, сам он приехал сюда! Или нет,

именно давно... Страшно давно... Эти двенадцать лет иногда представляются ему вечностью, отделяющею его от прошлого. А миновали они незаметно, потому что каждый день было одно и то же.

Ему всего тридцать два года, но он так опустился, особенно за последние четыре-пять лет, что похож на человека совсем «конченного». А давно ли, кажется, он был таким же точно «Тютиком», как Кудрявцев...

Так-нет... так-нет...— стучат часы.

Годы прошли под стук этих часов уныло и томительно. Прошли, как в мелком осеннем дожде по липкой дороге идут солдаты, иззябшие, полуголодные, теряя с каждым шагом надежду встретить когда-нибудь отдых, тепло и уют.

Разве это жизнь!

«Целую твои маленькие ножки»,— насмешливо звенит фраза, и телеграфисту начинает казаться, что ее уже повторяет собственное его сердце, как телеграфный аппарат, неравномерными постукиваниями.

Как бы кто-нибудь посторонний не услышал этого стука!

Но Тютик, не найдя поддержки, уже ушел из телеграфной и играет теперь с буфетчиком в карты по носам или сидит один у себя в конуре, тренькая на гитаре и напевая дрожащим голосом:

Проведемте, друзья,
Эту ночь веселей,
Пусть телеграфистов семья
Соберется тесней [2].

Из сердца Барбашева звон разносится по всему телу и ударяет в голову до того, что виски начинают гудеть от боли. В теле ощущается тяжесть и томление, которое он приписывал тому, что накануне хвачено через край. А может быть, и оттого это, что они вчера с начальником боролись на снегу, поснимав жилетки. Барбашеву нездоровится, и, вероятно, от лихорадочного состояния так неотвязно томит его одна и та же мысль.

Кажется ему, тут, на станции, осталась только его оболочка, гудящая и ноющая, как телеграфный столб, а все, что одухотворяло эту оболочку, несется вдаль вместе с телеграммой: «Целую твои маленькие ножки».

Эти четыре слова радостно летят к своей цели, как живые. Сначала по заиндевевшей телеграфной проволоке, ко-

торая поет и гудит ими во мраке холодной ночи, а потом с нарочным в помещичью усадьбу, верст за десять от станции, в виде одной строки, написанной таким же, как он, одиноким, несчастным телеграфистом.

Когда поезд № 23 подходит к станции, тройка лошадей уже ждет, нетерпеливо переступая и позвякивая бубенцами у крыльца:

— Пожалуйте!

И счастливец в санях с медвежьей полостью мчится в усадьбу. Переливаются бубенцы. Дерзко и странно сверкают звезды. Молодой месяц, с правой стороны тонко изогнутый, как серебряный лук, врезан в высокое небо. Весело снег хрустит под полозьями и вспыхивает от звезд и месяца алмазами, и, точно слоновая кость, блестят кое-где по дороге наезженные колеи.

Телеграфист удивительно ясно представляет себя на его месте, и ему даже чудится теплый пар от лошадей. Усадьба темнеет вдали, резкими черными тенями вырезываясь на снегу. Огни ее, как радостные глаза, зовут и манят к себе. Лай собак, услыхавших знакомые колокольчики, весело будит морозную тишину. Его встречают люди с фонарями; тени от них прыгают и мечутся на снегу.

И вот он у этих маленьких ножек. В золотом тумане перед бедным телеграфистом — роскошная комната, непременно с камином, разливающим тепло, с мягкими пушистыми коврами, с роскошной обстановкой, вроде той, которую он еще до поступления на службу видел, случайно попав туда, в одном богатом ресторане в Москве. Он всматривается в очаровательное лицо ее... в ее черты. Теперь он узнает это лицо. Да... да!.. Он вспомнил... Он видел ее два раза.

Это было лет семь назад, в молодое апрельское утро.

Грачи неистово кричали на ветвях еще голых деревьев возле станции, точно споря о каком-то важном деле, и ветви, тихо звеня, трепались по ветру как-то особенно возбужденно и весело. И белые облака высоко в небе стояли так торжественно и приветливо, точно они были присланы сюда издалека, чтобы сообщить какую-то необыкновенно радостную весть Заболотью и всем его обитателям, и чистая синева между ними, как будто узнавшая эту радостную весть, сияла наивно и нежно. Ворковали голуби. Земля дышала теплым паром и зеленела первой травой. И все Заболотье имело свежий и улыбающийся вид. Даже неизменные возчики, прасолы и евреи, каждый

день являвшиеся по каким-то делам на станцию и сообщавшие ей еще более непривлекательный вид, и те не казались в это утро так скучны и противны, как всегда. На платформе красным пятнышком алела босая маленькая девочка, дочь стрелочника, с первыми фиалками, нарванными ею для продажи пассажирам.

Барбашев вышел к поезду и прохаживался по платформе, чувствуя себя молодым и бодрым. Он был в мундире, пуговицы которого были вычищены мелом, а пятна выведены чаем и бензином. Он был красив и строен и сам это сознавал, и такое сознание поддерживало в нем надежду на счастье, которое должно было явиться чудом.

Проходя мимо вагона первого класса, телеграфист увидел на площадке блондинку, поразившую его своей красотой. И когда он поравнялся с нею, она взглянула на него и уронила букет первых фиалок, вероятно, купленных по дороге у какой-нибудь деревенской девочки, вроде той, которая красным пятнышком мелькала у вагонов.

Телеграфист быстро подскочил, поднял букет и протянул его красавице. Она оглянулась и лукаво сказала:

— Можете оставить у себя.

Он вспыхнул и ничего не нашелся ответить ей. Поезд свистнул и тронулся. Улыбающиеся серые глаза, удаляясь, смотрели на него.

С этого дня ему еще больше казалось, что скоро свершится чудо, которое сразу перевернет все его скудное, тусклое существование, и букетик фиалок — залог этого чуда. Сначала он ждал его в виде красивой блондинки с серыми глазами. Ему все казалось, что она вот-вот вернется. Потом он стал искать его в других прекрасных глазах, мысленно спрашивая каждый раз: «Не здесь ли?..»

Но чуда не было.

Букет фиалок, аромат которых он любил вдыхать, оставаясь один и раздражая свое воображение мимолетно сверкнувшей ему улыбкой, увял и даже запылился. И Барбашев стал также мало-помалу увядать и покрываться пылью вместе со своим мундиром. Каждая новая весна уже все меньше возбуждала в нем желание счастья и надежды.

Он опускался, грязнился вместе с этой станцией. Дни и даже времена года были так однообразны, будто то были статисты в плохом театре, которые ходили вокруг Заболотья все с одними и теми же штуками.

Весна с теми же грачами и облаками. Но она уже не

могла его обмануть несбыточной надеждой. Лето с теми же мухами, слетавшимися на Заболотье как будто со всего мира... Осень... Зима... Все одно и то же.

И та же степь расстилалась вокруг, и лица на станции были все те же. Все как будто заколдованное от времени. Те же телеграммы... Те же поезда... Те же пассажиры на них. Он даже перестал думать о переводе на другую станцию, куда-нибудь поближе к городу. Не все ли равно, в сущности, на какой станции ни плеснеть! Везде — Заболотье.

Барбашев стал выпивать.

На Заболотье все пили, начиная с начальника и кончая стрелочником, но это нисколько не мешало им исполнять свои обязанности с тупою механическою аккуратностью. Начальник станции, пивший больше всех и орущий: «Я не мельник!.. Я ворон!..», в известный час был на месте как ни в чем не бывало и аккуратно проделывал все, что полагается, как хорошо заведенная машина, а как только поезд уходил, превращался в ворона и снова орал и размахивал руками, собираясь лететь.

А жизнь шла, и шла мимо. Каждый день она проносилась взад и вперед в тысячах лиц, куда-то стремящихся, чего-то ищущих. У каждого были свои дела, каждый вез с собою мир надежд и желаний.

Для этих людей Италия, Швейцария... Париж... большие города... все, кроме Заболотья, мимо которого они стремились пронестись как можно скорее.

Только однажды судьба как будто пожелала отомстить этим вечно сменявшимся людям за то, что они избегали Заболотья.

Это было лет пять назад, как раз накануне Рождества. Вьюга, бушевавшая несколько дней, занёсла путь снегом и, как выражались инженеры, набила на пути такие «пробки», пробиться сквозь которые не было никакой возможности. Какой-то американский плуг, предназначенный для расчистки снега, сломался, и поезда, шедшие на юг, застревали в Заболотье. Вьюга бушевала вокруг Заболотья и днем и ночью, и вся степь как бы дымилась снегом, крутившимся в каком-то бешенстве. Телеграфные проволоки гудели и пели, как струны диких арф. Деревья свистели в воздухе ветками. Казалось, вся станция Заболотье вот-вот унесется в этом снежном дыму, потонет в холодных волнах его.

Поезда один за другим подходили к Заболотью и оста-

навливались. На станции скопилось до тысячи людей, негодовавших, кричавших, пивших, евших, грозивших кому-то и требовавших начальства. Заболотье ожило так, как ему никогда не снилось.

Начальнику уже не было времени петь: «Я не мельник!.. Я ворон...» Не чувствуя под собою ног, он растерянно носился здесь и там, охрипшим голосом отвечая на все претензии: «Господа — я не бог!»

Телеграфисты также работали чуть не до потери сознания, принимая и отправляя депеши.

Остановка затянулась на целые трое суток.

В последний вечер в телеграфную вошла блондинка в лисьей ротонде, пахнувшей духами фиалок и мехом, и подала телеграмму.

Барбашев машинально принял ее, и ему показалось, что когда-то где-то он видел это мимолетно явившееся ему лицо. Но усталость и масса работы не позволяли остановиться на этом впечатлении. Он отправил телеграмму, и кажется, она была адресована на станцию Дубки, и подпись под нею была — Балина.

Однако впечатление так запало в душу, что, окончив свое дежурство, полумертвый от усталости, прежде чем идти спать, он прошел по зале, ища глазами блондинку в толпе.

В зале ее не было.

Тогда он отправился наверх, в квартиру начальника станции. Там часть этой огромной толпы, желая как-нибудь убить время, устроила импровизированный концерт: нашлись певцы, певицы, музыкант со скрипкой и даже какой-то поэт, читавший с необычайным пафосом свои стихи и потрясавший головой и руками.

Но блондинки не было. Она точно в воду канула. Может быть, спала где-нибудь в вагоне. А может быть, измученному телеграфисту пригрезилась она в минуту невыносимой усталости.

Как бы то ни было, вернувшись в свою конуру, он достал откуда-то полуистлевший букет фиалок и швырнул его за дверь.

Теперь и эта встреча припомнилась Барбашеву, и он уже не сомневался, что то была именно Балина, маленькие ножки которой будет целовать пославший телеграмму. Кто он? Ее муж? Любовник?

Так-нет, так-нет...— стучат часы, и движутся роковые тонкие пальцы. Все Заболотье погружено в сон, и не спят

только эти тонкие пальцы да одинокий телеграфист. Ему то холодно по временам, точно он налит весь ледяной водой, то он пылает от жара, и вся кровь в нем звенит, звенит необычной, волнующей музыкой. Он все яснее и яснее чувствует, что здесь, в телеграфной, только часть его, нечто вроде футляра, а сам он — у той пристани, о которой мечтал так давно и так страстно.

Бедный Тютик! Ему вряд ли придется когда-нибудь переживать то, что переживает теперь старший товарищ. Долго еще будет он слышать рев пьяного начальника: «Я не мельник!.. Я ворон» — и довольствоваться ласками грязной кухарки, попавшей на станцию из голодной деревни.

Как тепло греет камин! Как приветливо светит лампа! С какою завистью звезды смотрят на его счастье! Он рассказывает ей суровую повесть своей жизни, скудной станционной жизни, и она плачет от горя за него и своими ласками старается заставить его забыть весь гнет этих страшных двенадцати лет и вернуть ему свежесть и чистоту его молодости... Она плачет... Ее слезы смочили ей лицо. Он пьет их своими губами с ее ресниц, и губы сохнут от них, и ему невыносимо хочется пить...

Но он счастлив... Он любим... Ему хорошо около этих маленьких ножек в то время, как за окном морозная ночь, и где-то далеко, далеко, точно в ином совсем царстве, в грязной телеграфной сидит несчастный одинокий телеграфист, его брат и двойник — Барбашев.

И он видит этого жалкого телеграфиста, никогда не знавшего, что такое счастье, опустившегося, мрачного. Он давно не бреется и не моется не только тем душистым мылом, с запасом которого приехал в Заболотье двенадцать лет назад, но вообще мылом. Его опухлое от однообразной работы, бессонницы и водки лицо заросло бородою и стало некрасиво.

И никогда с такою ясностью он не видел своей безнадежности и ужаса своего положения, как в эту минуту. И ему становится страшно жалко себя и завидно всему миру. Почему счастье быть около маленьких ножек и целовать их выпало не ему, а кому-то другому, быть может, менее достойному и уж наверное не так жаждущему этого, как он?.. Неуклюже и тяжело поворачиваются эти мысли в больной голове телеграфиста, и судьба, бросившая его на эту станцию, кажется ему воровкой, укравшей у него для кого-то другого его счастье.

Так-нет, так-нет...— стучат часы, и трещит без умолку аппарат. Страшная ненависть охватывает Барбашева к этому стуку, к этим колесам, стрелкам и ко всей этой станции. Так бы вот, кажется, вскочил и начал разбивать все кулаками и топтать ногами, мстя за свою задавленную жизнь и судьбу. Но ему лень встать. Истома все больше и больше охватывает его. Голова кружится, и в висках стучит, а по телу разливается странное иглистое пламя, заволакивающее иногда глаза радужными облаками.

По временам сознание просвечивает сквозь эти облака, и Барбашев чувствует, что ему нехорошо, надо что-то сделать, куда-то пойти. Быть может, повеситься на этом крюке, который так и тянет его к себе со стены. Но лень встать, так как кто-то ласкает его, и он повторяет: «Целую твои маленькие ножки». И сердце, как аппарат, выстукивает то же самое. То ему кажется, что не дает встать и идти телеграфная лента: она обвивает все его тело, добирается от ног до шеи и душит, и тянет все к тому же черному крюку на стене...

ГАСТРОЛЕРЫ

I

Невозможно было продолжать охоту: солнце взошло на полдень и беспощадно палило с бледно-голубого безоблачного неба. Было так жарко, что воздух заметными взгляду струйками переливался над землею, и ни одно живое существо не подавало голоса; только кузнечики наполняли тишину однообразным утомительным треском. Мой сеттер Цербер, верой и правдой служивший мне с самого рассвета, умоляюще глядел на меня, бессильно опустив хвост и высунув сухой язык. Вся его фигура выражала безмолвный укор, что я еще не доволен результатами. Признаться сказать, он был прав: в моем ягдташе, несмотря на всю мою охотничью неопытность и горячность, пестрели три пары куропаток, и если я не прекратил охоты раньше, так это произошло единственно потому, что удача отвлекала меня от действительности и металлический звук крыльев то и дело взлетавших куропаток очаровывал мое сердце.

Пора было подумать об отдыхе и завтраке. Я огляделся вокруг и признал место. То была Зеленцовская межа.

Значит, до моего хутора оставалось версты три-четыре. Расстояние пустое, особенно для охотника, но я тут только почувствовал, что порядком устал. Меня мучила жажда. Фляжка была пуста, а зной еще более усугублял неохоту шевелиться. Добравшись до дороги, я стал усердно прислушиваться, не едет ли где телега или какой иной экипаж, которым я намерен был воспользоваться, рассчитывая на любезность и сердечную доброту проезжающих. Надежды были небезосновательны, так как мой хутор стоял как раз по дороге к уездному городу Серебрянску, где предполагалось назавтра открытие обычной ярмарки.

Увы, все было тихо... Только кузнечики продолжали трещать не смолкая и, подобно сотне невидимых карманных часов, беспорядочно стучали в траве. Я сел при дороге под чахлым деревом. Собака благодарно вильнула хвостом и растянулась у моих ног, тяжело дыша. Дерево конфузливо простирало надо мною свои молоденькие ветки, стараясь дать тень и прохладу своему случайному гостю. Но напрасно... Солнце бросало жгучие стрелы сквозь его жиденькую зелень и смеялось над моим печальным положением.

А положение это становилось отчаянным. Жажда до того томила меня, что я готов был с радостью отдать всю свою драгоценную добычу за глоток холодной воды или за сухопарую мужицкую клячу, которая могла бы довезти мое бренное тело до хутора.

«Коня! Коня! Полцарства за коня!» [1]

Безнадежным взором окинул я дорогу и готов был уже послать тысячу проклятий судьбе, как вдруг... желанный стук послышался вдали, а вслед за тем... меня скоро постигло горькое разочарование: по дороге катилась крошечная тележка, но ее везла не лошадь, а человек. Понятно, что при таких условиях нечего было надеяться занять в ней место.

«Вероятно,— думал я,— это тележка зеленщика или какого-нибудь мелкого торговца галантерейным товаром»; но по мере того, как я всматривался в нее, удивление мое возрастало все более и более: тележку вез какой-то мужчина в шляпе котелком и в высоких желтых сапогах. За ним тащилась другая фигура — в длинном рыжем пальто с каким-то странным сооружением на голове, форму которого трудно было разобрать. Из-за этого сооружения только виднелись ноги пешехода. Спустя две-три минуты я увидел, что это сооружение представляло собою нечто

вроде кресла, опрокинутого ножками вверх. Порой оно блистало в солнечных лучах какими-то удивительными украшениями и вызывало еще большее недоумение. Шествие заключала женская фигура под зонтиком, с ребенком-девочкой, которую она вела за руку.

Пока я терялся во всевозможных догадках, странная процессия почти поравнялась со мною, и я мог все и всех разглядеть подробно. Даже Цербер, для которого в данный момент, по-видимому, все было безразлично,— даже он с любопытством поднял голову и стал всматриваться в группу злополучных пешеходов, щуря глаза от солнца.

Поравнявшись со мною, первый из них, тот самый, что вез тележку, искоса поглядел на меня и неопределенно поднял шляпу, как будто поправляя ее на голове и вместе с тем как будто кланяясь мне. «Понимай, мол, как знаешь». Я ответил поклоном. Возница был мужчина лет сорока. Его плохо выбритое лицо носило на себе отпечаток разгула и страстей. Одет он был в белый парусинный пиджак и такие же брюки, спрятанные в голенища высоких «испанских» сапог из нечерненой кожи. Мне показалось, что я где-то когда-то видел похожее лицо, но память отказывалась воспроизвести его. Второй, тот самый, что нес на голове странное сооружение, оказавшееся подобием трона, наполовину сделанным из картона и обклеенным кое-где золотою бумагою, был длинен, тщедушен и худ. Одет он был в рыжее, вылинявшее пальто, подобное халату, с претензией на моду. Это пальто-халат было необыкновенно узко и сзади, на месте сиденья, вытянулось и вздулось пузырем. На его спичкоподобных ногах красовались мелкие резиновые калоши. Лицо было закрыто точно ни с чем не сообразным шлемом — самодельным троном.

Женщина с черненькою девочкою была одета просто, но прилично — в синее ситцевое платье. Лицо ее было бледно и полно страдальческим утомлением, но не лишено миловидности и благородства — этой неотъемлемой печати душевного страдания.

Одного взгляда мне достаточно было, чтобы понять, что это за группа... Очевидно, странствующие актеры.

— Позвольте вас спросить,— хриплым, утомленным голосом обратился ко мне первый, снова приподнимая котелок, из-под которого выбивались вспотевшие черные волосы, подернутые на висках сединою,— позвольте вас спросить, далеко ли до города Серебрянска?

Этот голос, эти не чисто выговариваемые буквы «р» и «л» снова заставили пошевелиться память, но не время было напрягать ее, и я поспешил ответить:

— Верст десять.

Женщина тяжело вздохнула.

— Проклятие! — возопил вопросивший.— Ну, а до жилья, до постоялого двора, трактира, кабака, наконец, черт возьми?

— Верст пять.

При этом известии сухопарый, до сих пор скрывавший, как за опущенным забралом, за спинкой трона свою голову, быстро опрокинул его на землю, и моему взору предстало удивительно худое лицо с землистым цветом кожи и маленькими тусклыми глазками.

Здесь пристань та, где мой корабль спускает
Все паруса [2],—

торжественно продекламировал он, отирая рукавом с лица пот; пот струился с него до того обильными ручьями, точно у него скрывался на голове под шляпою фонтан. С этими словами он бессильно опустился на трон, как будто решил действительно не ступать ни шагу далее, или, по крайней мере, рассчитывая, что на этом троне, как на сказочном ковре-самолете, он долетит если не до города, то, во всяком случае, до трактира.

— Мама, я пить хочу! — заявила девочка, повиснув на руке женщины. Мать молча достала из кармана яблоко и подала его дочери.

— Уф, у меня во рту так пересохло, что там яйцо можно спечь,— воскликнул возница.— И дернул нас черт тащиться в такой зной!

— Да ведь сказали, что до города рукой подать,— вот и *выехали,*— заметила женщина.

Последнее слово не совсем точно определяло их истинный способ передвижения, но на это никто из них не обратил внимания. Было не до того.

— У нас вся вода и прочая живительная влага вышла в дороге,— поглядывая на мою фляжку, заявил сухопарый.

Увы, я ответил, что страдаю тем же недостатком.

Между тем девочка жадно ела яблоко, освежая его скудным соком пересохшие губы. Потом она подошла к худому спутнику и села с ним рядом на троне. Ей можно было дать не более восьми лет. Личико ее было бледно-

матового цвета, как у людей, которые больше живут ночью, чем днем. Огромные черные глаза наполовину закрывались длинными ресницами. Черные, с синим отливом волосы падали из-под круглой соломенной шляпы на лоб. Выражение лица было полно тою серьезною важностью, которая замечается у всех детей, с колыбели осужденных на постоянное пребывание в обществе взрослых, занятых к тому же вечною погонею за облитым слезами куском хлеба.

В таких детях рано погасает и милая дикость, и наивность, и беспечность, и непосредственность, разговаривают они так же, как взрослые, среди которых живут, и если чем-нибудь отличаются от них, то только своею неразвращенностью, потому что для последней необходимо время.

Особенно часто таких детей приходится видеть в актерской среде, где они живут полузаброшенные, потому что родителям некогда следить за ними, толкаясь за кулисами, среди всякой скверны, где их прирожденная восприимчивость оказывает им плохую услугу.

Часто эти дети поражают своею жестокостью, даже по отношению к близким им людям, и эта жестокость является как бы законным мстителем за то, что ребенку не дали возможности пережить, как следует, самые лучезарные моменты человеческого существования. Природа мстит за свои оскорбленные законы.

— Ну, чего же вы стали, господа? — сказала женщина спутникам.— Пойдемте! Чем скорее пойдем, тем лучше.

— Нет, слуга покорный! Я не страус, чтобы в такой тропический зной носиться по безводной пустыне, да еще с таким багажом,— возразил возница, указывая на тележку.— Здесь одних афиш пуда четыре, да на два пуда еще всякого хлама. Тут и страус спрятал бы голову под мышки.

При последних словах он поглядел в мою сторону, ожидая одобрения, по привычке артиста, не привыкшего слова бросать на ветер. Я понял его и постарался улыбнуться. Эта улыбка сразу как бы установила между нами знакомство, которое он счел необходимым немедленно оформить. Привычным движением руки снял он шляпу с головы и отрекомендовался мне:

— Трагик Ларский.

Фамилия была мне известна.

Не дав мне опомниться, он сжал мою руку, потом с те-

атральным жестом, не лишенным, впрочем, изящества и пластичности, стал поочередно представлять мне своих товарищей так торжественно и гордо, как будто все мы были не усталые, изнемогающие на проселочной дороге среди желтеющих нив пешеходы, а графы и знатные аристократы в блестящем великосветском салоне.

— Дальская, героиня и моя жена,— представил он мне женщину.— Вы не удивляйтесь, что моя фамилия одна, а ее — другая: это на сцене всегда так бывает, во-первых, потому что, vous comprenez *,— нравы испорчены, а во-вторых, потому, что при выборе фамилий для нас закон не писан... Комик Сиукин. Фамилия несколько несоответствующая его амплуа, но зато близкая к истине безусловно. Впрочем, дарование комическое есть только ничтожная ветвь его дарований, коих перечесть не станет человеческих сил: он и актер, и суфлер, и куафер, и магнетизер, и вообще, по-видимому, все оканчивающееся на «ер», исключая «bonjour» **, не чуждо ему.

Трагик, очевидно, старался сразу выказать себя во всем блеске своего остроумия, образованности и величия, но, несмотря на всю эту напускную развязность и дурной тон, чувствовалось, что он не глуп, а в манерах его проглядывало изящество и самоуверенность человека, привыкшего бывать в обществе.

Равнодушно выслушав своего товарища, комик привстал с трона, чтобы протянуть мне руку, и пренебрежительно заметил:

— Мели, Емеля,— твоя неделя. Удивляюсь только, как у тебя язык в такую жару ворочается. Точно тебе за это деньги платят!

— О сын несчастия! О жалкий материалист! — возопил трагик.— Никак ты не можешь постичь, что, помимо денежных интересов, у человека могут существовать другие.

— Думаешь, водкой угостят?

— Бол-л-ван!.. «Водкой угостят»... Вы уж его простите,— обратился ко мне Ларский, кивая на комика, по-прежнему важно восседавшего на троне,— он глуп от природы: в детстве мамка его ушибла, так с тех пор от него глупостью и отдает.

— Ну, будет вам, господа, изощряться в остроумии. Идти нужно,— говорила «героиня».

---

* вы понимаете *(фр.)*.

** здравствуйте *(фр.)*.

— Успеем,— ответил Скукин.

— Кстати,— обратился ко мне Ларский,— вы, вероятно, знакомы с Серебрянском; не можете ли вы дать нам некоторые сведения о нем применительно к нашему делу?

Я с полною готовностью сообщил все, что знал. Нечего говорить, что в Серебрянске, с его тремя тысячами жителей, не было и помина о театре, а любители драматического искусства (и где их только теперь нет!..) упражнялись зимою в зале съезда мировых судей, а летом — в балагане на Кладбищенской площади, куда пастухи в ненастную погоду загоняли свой скот.

— Пр-роклятие! — промычал Ларский.

Дальская тяжело вздохнула.

— Не место красит человека, а человек место,— ядовито заметил Скукин. — Шекспир еще при худших условиях играл.

— Шекспир! Шекспир! — передразнил его Ларский.— Ты уж лучше молчал бы о Шекспире-то, потому что ты похож на него так же, как я на Геркулеса.

— Да я не про себя,— ответил Скукин.

— То-то не про себя... А что касается до меня, так я не Серебрянски видывал! В С. четыре сезона подряд служил, публика цветами забрасывала, на руках носила!..

Теперь не было сомнения! Память моя сразу осветилась. Я сам был уроженец С., воспитывался в С — кой гимназии и был страстным поклонником театра. Действительно, некогда там был артист Ларский, любимец публики, который в героических ролях не имел себе соперников среди провинциальных артистов. Да, это он! Гамлет, Шейлок, Отелло!.. Но здесь, при такой обстановке!.. С тележкой, наполненной театральным хламом! Он, ради которого поклонники его таланта, в том числе и я, не раз выпрягали лошадей из его экипажа и везли домой... он сам теперь везет тележку, обливаясь потом, изнемогая от усталости, жажды, по пыльной, раскаленной дороге.

— Так это вы, вы Ларский, тот самый, который?! — волнуясь от нахлынувших воспоминаний, бессвязно говорил я, напоминая ему прошлое...

Он сразу смутился... Странное дело! Минуту назад он старался сам дать мне понять, что не ровня этому жалкому комедианту, а теперь, когда я сам оказался свидетелем его минувшей славы, он покраснел, неловко замялся.

— Да, это они самые! — вдруг проникнувшись необычайным уважением к своему собрату, которое даже не

позволяло ему продолжать разговор в прежней форме, ответил за него Скукин.— Вот если у вас есть в городе знакомые, вы бы и шепнули им о Евгении Львовиче — все бы сбор...

— Молчать! — крикнул на него Ларский.— Осел! Надоело мне это! Я вот возьму брошу тебя к черту да и уйду. Мне только до первого города, где есть театр, добраться...

Женщина испуганно взглянула на него.

— Мне, пожалуй, бросайте...— нахально заявил Скукин.— Я не навязываюсь... Еще вопрос, кто в ком больше нуждается-то.

Трагик стиснул зубы и сжал кулаки.

Дальская умоляюще глядела на него.

— Вы меня сами сманили из труппы... Пойдем да пойдем. Золотые горы сулили, а заместо этого...

— Да замолчишь ли ты, несчастный! — грозно крикнул на него Ларский, и, если бы не мое присутствие, комик, верно, был бы мгновенно свержен с трона, но, по счастию для него, дело окончилось только тем, что трагик до смерти напугал его.

— Женя! Ради бога...— уговаривала его Дальская.

— Уж это... не по-товарищески,— недовольно заметил комик.

— То-то не по-товарищески,— ответил Ларский и, обращаясь ко мне, сказал: — Мы были, знаете, с труппой в Н — ске. Все актеры сапожники, антрепренер — сволочь, лавочник! не умеют ценить артиста... Побил его, ну, и ушел. Черт с ним и с жалованьем... Взял с собою жену и этого... «бессчастного». Пускай теперь мерзавец эксплуататор антрепренер посвистит без нас в кулак. Ему теперь придется локти погрызть...

— Без нас — крышка! — вставил свое слово примирившийся комик.

— Ну вот, знаете, я и решил гастролировать... Провинция... Глушь. Не видела хороших артистов,— говорил он, стараясь улыбнуться снисходительною улыбкой.

— Мы ей покажем себя! — ввернул опять свое замечание Скукин.

Трагик метнул на него взор, много обещавший комику неприятностей в самом недалеком будущем.

Я ничего не ответил ему по поводу этого странного способа гастролировать, да и что тут можно было ответить? Ларский и сам, верно, отлично понимал это и если сказал так, то единственно потому, что ничего другого не

пришло ему в голову, а открыть истинную суть вещей — то есть что его гонит нужда — он не хотел из гордости.

— Евгений Львович ужасный оригинал,— ввернул в подтверждение его слов комик, но Ларский не обратил на это никакого внимания и продолжал:

— Нашему брату артисту, как и писателю, необходимо побродить по этим захолустным уголкам да понаблюдать народ. Нигде, знаете, не встречается столько цельных натур и типов, как в провинции, и особенно в глуши. Да оно и понятно: здесь не то что в столице, где каждый волей-неволей подпадает под колеса общественной жизни, которая только и оставляет одну оболочку неприкосновенной из всех наследственных, благоприобретенных черт. А тут как человек замкнется в свою раковину, так и живет до гроба. Никакие «течения» не врываются в его душу извне и не нарушают его цельности и самобытности.

— «Как говорит! и говорит, как пишет!» [3] — умиленно мигнул мне комик, одним глазом с деланным восторгом глядя на Ларского, а другим обращаясь ко мне за сочувствием.

— Вы совершенно правы! — поспешил согласиться я, поддерживая, таким образом, наивную комедию.

— Ну, а лето — самое подходящее время для этого,— продолжал Ларский.

— Моцион-с! — снова ввернул свое слово Скукин.

Трагик опять метнул на Скукина взор; тот ни с того ни с сего начал отдуваться и гладить себя по тому месту, где у всякого человека живот, а у сухопарого комика была впадина, как в блюдечке,— гладить, как гастроном после обильного ужина с устрицами и шампанским.

— Знаете, природа... луга, птички,— продолжал Ларский.

— Тенистый лес, ручейки,— в тон ему подхватил комик и, опять испугавшись своих слов, уже не глядя на трагика, прибавил: — А недурно было бы, в самом деле, отдохнуть в тенистом лесу и напиться из ручейка холодной водицы, а то солнце просто с ума сошло. Еще один градус — и я превращусь в сальное пятно.

Ну, это было довольно мудрено, хотя бы прибавилось еще не один, а тридцать градусов. Из сухопарого комика, по которому можно было изучать анатомию, самые сильные прессы не выжали бы и капельки жира.

— Ну, куда ты-то суешься толковать о природе? — прервал его тираду Ларский.— «Тенистый лес, ручейки!»

Для тебя дороже всякого леса — трактир. Ручейки и лес разве только тогда бы произвели на тебя впечатление, когда, вместо воды, струилось бы в них изделие вдовы Поповой, а на деревьях, вместо листьев, красовалась бы закуска...

Комик даже сплюнул от представления такой картины, однако нашел нужным возразить:

— Это еще вопрос, кто больше любит природу-то! Я, можно сказать, вырос в лесу.

— И впрямь ты дубина стоеросовая,— смеясь, сострил Ларский.

Комик обиделся.

— Вы откуда же теперь-то? — задал я Ларскому вопрос.

— Из Баулинска,— ответил он.

Баулинск отстоял от Серебрянска всего только в сорока верстах.

— Ужасная, знаете, публика там,— сказал Ларский.— Купцы больше. Приходят в театр, спрашивают в кассе: «Ломовая камедь-то али словесная?» — то есть акробаты или драматическая труппа? Как только услышат, что «словесная»,— назад. «Мы, говорят, тоже видали виды-то, нас на мякине не проведешь».

Девочка, до этого времени ловившая бабочек, проговорила:

— А один купец Скукину горчицей лицо вымазал и дал за это пятнадцать рублей. А папа отнял у Скукина деньги, а купца побил и деньги ему в лицо бросил.

Это откровенное разоблачение вызвало у Ларского и Дальской краску стыда и смущения, но «купеческий помазанник» смутился меньше всех.

— Глупо сделал, милочка,— ответил он,— отчего дураку не доставить удовольствие, меня не убыло оттого, что он мне горчицей рожу вымазал, а теперь вот и кайся. На пятнадцать рублей-то мы бы доехали, а тут изволь-ка драть пешком... «Идешь и себя презираешь»,— как говорил мой коллега Аркаша Счастливцев [4].

— Да замолчишь ли ты, несчастный!..— стиснув зубы, закричал на него Ларский.

Чтобы прервать эту неприятную сцену, я снова перевел разговор на их деятельность, вскользь упомянув о грубости провинциальных нравов.

— Что же вы, втроем даете спектакли? — спросил я.

— То есть вчетвером,— поправил меня Скукин.

Я одно мгновение находился в недоумении, но потом мой взгляд остановился на девочке.

— Она у нас тоже не последняя спица в колеснице,— с гордостью заявил Скукин,— некоторые рольки так разделывает, что мое почтение.

— Я и куплеты умею петь,— заявила девочка.— Мне в Горске коробку конфет поднесли.

— Да! будущая знаменитость,— заявил отец.— Опереточная звезда Звонская-Перезвонская как увидала ее в «Рип-Рип» [5] — «отдайте, говорит, мне; я из нее вторую Жюдик [6] сделаю».

Будущая «вторая Жюдик» жеманно пожимала плечами.

— И напрасно не отдали,— заявила она.— У Звонской-Перезвонской поклонников не оберешься... Она бы мне хорошие платья шила, а поклонники дарили бы цветы и конфеты.

— И тебе не жаль было бы покинуть маму? — покраснев, спросила ее мать.

— А я бы не покинула! — возразила девочка.— Ты бы к ней поступила швеей или горничной.

Предложение это, должно быть, было не особенно по душе Дальской; она смутилась и постаралась улыбнуться, но улыбка вышла натянутой и страдальческой.

— Дитя века,— сказал Ларский, и в этих словах слышалась горечь.

— Поедемте, господа! — опять взмолилась Дальская, чтобы прекратить свое унизительное положение, которое, как мне казалось, она чувствовала сильнее всех.

— Ну, ладно, поедемте,— согласился и Ларский.— Вы в какую сторону? — спросил он меня.

— В ту же, куда и вы.

— Ну, вот, значит, и двинемтесь вместе, если... не боитесь скомпрометировать себя,— не без горечи сказал трагик.

— Что вы, помилуйте! — поспешил возразить я.

— Вы что же, до города? — спросила меня Дальская.

— Нет, у меня верстах в трех отсюда — хутор.

— А ближе нет никаких благодетельных учреждений, где бы можно было подкрепить упавшие силы? — переспросил Скукин.

— Нет! Но, если вы не откажетесь, я буду очень рад служить вам, чем могу,— ответил я.

— Благодарим,— сказал Ларский,— мы как-нибудь доберемся уж до города.

— Нет, отчего же? — заявил Скукин.— Я с удовольствием.

— Ну, да! Конечно, ты рад! — заметил Ларский.

Но я видел, что Ларский сам не прочь согласиться на мое предложение, и я решился быть настойчивым.

— Послушайте, Евгений Львович,— начал я,— вы напрасно не хотите принять моего предложения. Я буду очень счастлив хотя в незначительной степени отблагодарить вас за то наслаждение, которое вы некогда доставляли мне своим талантом.

В глазах Ларского засветилась признательность, но, оглядывая свой убогий, наполовину театральный костюм и костюмы своих спутников, он все еще колебался.

— Видите ли,— слабо протестовал он,— я не одет... А мой гардероб прибудет не раньше завтрашнего дня... Со мною ничего нет, чтобы переодеться.

Впоследствии я узнал, что необходимые костюмы — исключая, конечно, «испанских» — брались напрокат у жида, торговца готовым платьем в Серебрянске. Жид этот не позволял даже отрывать от них ярлыков с обозначением цены, и Ларский со Скукиным так с этими ярлыками и гуляли по сцене. По окончании спектакля костюмы снимались и немедленно возвращались их владельцу.

Я старался успокоить его насчет его костюма.

— Я человек одинокий, так что вам некого будет стесняться... Ну, решайте же! В память прошлого мы разопьем с вами бутылочку шампанского, которой вряд ли без этого суждено будет дождаться такого торжественного случая. А потом отдохнете, и я прикажу вас довезти до города.

Скукин нетерпеливо вздыхал, недовольно глядя на молчавшего товарища, и досадливо качал головою.

— Черт знает, чего ломается! — не выдержал наконец он и чуть не испортил этим всего дела.

Готовый согласиться Ларский опять заупрямился.

— Помогите мне уговорить его,— обратился я к Дальской.

— В самом деле, Женя... Отчего бы и не согласиться? — нерешительно заявила она.

— Соглашайся, папка, а то я у тебя в бенефис играть не стану,— заявила и дочь.

— Ну, уж если и ты, Брут [7], так и быть: будь по-вашему,— согласился наконец трагик и крепко сжал мне руку.

Лицо Скукина мгновенно просияло, и он также протянул мне руку со словами:

— Как приятно встретить в глуши человека, умеющего ценить благородных артистов.

И, торжественно проговорив это, он ловко опрокинул на голову импровизированный шлем и запел «Марсельезу», беспощадно коверкая французские слова.

Трагик также старался улыбкою побороть неловкость, берясь за ручки тележки, и с какою-то не идущею к делу прибауткою двинулся вперед.

Шествие тронулось. Впереди шел Ларский, за ним — Скукин, а позади — я с Дальской, девочкой и Цербером.

— Послушайте,— шепнула мне вдруг Дальская.

Я остановился.

— Ради бога, извините, что я, будучи так мало знакома с вами, принуждена... решилась... Ну, словом, я хотела просить вас не угощать водкой ни Скукина, ни особенно мужа.

Я поспешил успокоить ее на этот счет. В это время Ларский, как будто чувствуя, о чем идет речь, обернулся назад и укоризненно посмотрел на Дальскую.

Та как ни в чем не бывало продолжала идти.

Солнце по-прежнему пекло с неба, и по-прежнему назойливо трещали кузнечики.

II

Часа через полтора мы уже входили в ворота моего хутора. Прислуга с изумлением глядела на моих спутников, но, видя мое внимание к ним, скрыла свое удивление. Я пригласил гостей в столовую, где было тихо и прохладно, и распорядился, чтобы накрывали на стол, а главное — подали чего-нибудь прохладительного. Скукин развалился на лонгшезе и, взяв со стола из ящика сигару, закурил ее. Дальская с девочкой молча разглядывали гравюры только что полученного журнала, а Ларский разговаривал со мною за столом. Он старался держать себя с достоинством, но его костюм и положение, очевидно, стесняли его до тех пор, пока в бокалах не заискрилось шампанское, а в стаканах и рюмках вино...

Водки на столе не было, несмотря на весьма прозрачные намеки Скукина; тем не менее к концу обеда мы все значительно охмелели, а Ларский и Скукин, почти не от-

рывавшие от губ стаканов с вином, и совсем опьянели. Разговор сделался оживленнее. Ларский и Скукин стали хвастаться своими успехами, и дело едва не кончилось поражением Скукина. Пришлось успокаивать того и другого, а чтобы положить конец дальнейшим «недоразумениям», я предложил своим гостям отдохнуть и указал всем отдельные комнаты. Последним повел я в свой кабинет Ларского. Он совершенно опьянел. Мускулы его лица ослабели, и нижняя челюсть опустилась, что придавало ему старчески-скорбное выражение. Он грузно сел на приготовленный ему диван и, сжав обеими руками голову, оперся ими о колени.

Я приказал подать содовой воды и дал ему выпить. Он выпил автоматически и как будто бы несколько освежился.

Мне пришло в голову, что он, может быть, стесняется меня лечь спать, и я уже хотел уйти, как вдруг он поднял голову и мутным взглядом посмотрел на меня.

— Садитесь,— проговорил наконец он и усадил меня рядом на диван.

Прошла минута молчания. Ларский сидел, погрузившись в глубокую задумчивость.

— Послушайте! — наконец заговорил он, положив мне руки на плечи,— я вижу, вы благородный человек, а я — скотина.

— Полноте!

— Нет, я скотина! — настойчиво повторял он.— «Но не лучше ли, прежде, чем бросим мы в нее приговор роковой,— подзовем-ка ее да расспросим: как дошла ты до жизни такой?» [8] А все-таки я скотина: в первый раз попал к человеку в дом и нализался вдрызг... Вы благородный человек... Выпьем на брудершафт...

Выпили... содовой воды, но Ларский не заметил этого невинного обмана.

— А когда-то и я был человеком,— продолжал он,— да погубили меня, погубили... «Люди добрые! Взгляните! Коршуны живого человека заклевали!» [9] — вдруг возопил он, потрясая руками, но, на мгновенье поднявшись с дивана, он снова упал на него, и обильные пьяные слезы покатились у него из глаз.

— Полно, Евгений Львович, ложитесь спать,— старался я его успокоить, но напрасно: Ларский не унимался.

— Человеком был... Мечтал о благородном искусстве... Работал. Ночи не спал... Сам рыдал над ролями, пре-

жде чем заставить рыдать публику... Вот когда я был человеком... А потом, когда достиг... падение... Со ступеньки на ступеньку... «*Братья актеры*, и в нашей судьбе что-то лежит роковое!» [10] — продекламировал он некрасовский стих.— Все эти овации, аплодисменты, цветы, лавры — все это гибель... все это развращает. Именным указом запретил бы их, потому что в них — погибель, если не таланта, так души... Где они — там зависть, интриги, мерзость!.. Много нужно сил, чтобы бороться с ними, а сил-то и не было... На женщин растратил их да на вино... Женщины стаями бегали за мной: графиня Н — ская, А — ва, Б — цкая... И им же несть числа... А оттого, что я — скотина!.. Любви просило сердце, а мне давали разврат. Очнулся поздно!.. Попадались, как вы, славные люди... Помню, мальчик один... на коленях стоял передо мною, умолял бросить пить... Славный мальчик... Он потом поступил на сцену и стал — скотиной... Да, «что-то лежит роковое»... Антрепренеры стали сторониться... Круто приходилось... Зиму кое-как кормился; там сыграешь... здесь... Ну, и сыт, и пьян... Главное — пьян. На что другое, а на водку публика щедра... За честь считают... Придет пост — ложусь в С — ую больницу. Доктор знакомый был... Из семинаристов... Тоже славный... Лечить меня хотел. Недавно слышу... в белой горячке сам умер... Кто по этой дорожке пошел, тот не вернется назад... Спасенья нет... А она... она хотела спасти... Проклятие!..

О демоны! Гоните прочь меня
От этого прекрасного созданья!
Крутите в вихре бурном! Жарьте в сере!
Купайте в глубочайших безднах, полных
Текучего огня!.. О Дездемона!.. О! О! О!.. [11] —

вопил Ларский, потрясая руками в сторону столовой, и зарыдал; сквозь эти рыдания порою вылетали слова: — На сцену пошла... Ребенком... Талант без денег хуже, чем деньги без таланта... Офелию со мною играла... «Офелия, ты честная девушка... Удались в монастырь...» [12] Да, в монастырь, а не в театр, не в трактир... А то... спасти! Себя погубила... А ребенок! Какая участь ждет его?! Бедная! Бедная! Погубил я тебя! Погубил!..

Ларский уткнул голову в подушки и зарыдал судорожно, мучительно... Я долго стоял как окаменелый. В этих бессвязных воплях, перепутанных с хвастовством, слышались стоны истерзанного сердца. Правда, он рассказал

мне довольно обычную повесть из жизни русского провинциального актера, но трагизм ее от этого нисколько не уменьшился... Наоборот...

Наконец рыдания мало-помалу стали утихать... Может быть, Ларский заснул, а может быть — притворился спящим. И в том, и в другом случае нужно было оставить его одного... Я на цыпочках подошел к двери и отворил ее.

Маленькая фигурка отскочила снаружи и скрылась.

Это девочка, дочь Ларского, подслушивала нас...

III

Часа через три после описанной сцены гости мои собрались на дворе. Ларский был мрачен и старался не глядеть ни на меня, ни на Дальскую. Скукин, наоборот, был весел и все приглашал меня на спектакль... Лошади тронулись...

«Орезервуар!» * — закончил свои приглашения Скукин шутовским словцом и послал мне воздушный поцелуй.

Он оставил мне афишу и билетов на 25 рублей, которые я обещал распродать.

Деньги, вырученные за билеты, я отослал Скукину, но сам в театр не пошел. Мне тяжело было бы увидеть прежний кумир развенчанным и поруганным... На память о них осталась у меня афиша, с которой, как выражался Скукин, «кровь текла ручьями». Афиша носила на себе отпечаток разнообразного гения Скукина. Вот она:

6 АВГУСТА

ГОРОДЕ СЕРЕБРЯНСКЕ

труппою гастролирующих столичных артистов

дан будет спектакль

с участием знаменитейшего трагика Ларского, соперника Росси и Сальвини [13]

I

«ГАМЛЕТ, ПРИНЦ ДАТСКИЙ»

Отрывок из всемирно известной трагедии гениальнейшего драматурга Вильяма Шекспира, удостоившегося читать это произведение перед взорами славной английской королевы Елизаветы и прочих монархов

---

* До свидания (искаж. *фр.* au revoir).

Роль Гамлета исполнит Е. Л. Ларский, Офелии — Н. Н. Дальская, Полония — П. В. Скукин.

Костюмы и обстановка безусловно верны эпохе

II

«СЦЕНА У ФОНТАНА»

Отрывок из знаменитейшей трагедии гениального русского поэта А. С. Пушкина... Роскошная обстановка и костюмы. Кроме того, на сцене будет изображен настоящий бахчисарайский фонтан по рисункам всемирно известного художника N.

Вода из настоящего Бахчисарайского фонтана, в чем публика может легко убедиться

Дмитрий Самозванец — г. Ларский

Марина, коварная полька — г-жа Дальская

В заключение

ВЕЧЕР СМЕХА И ЗАБАВЫ,

в котором между прочим будет совершено

ОТРУБЛЕНИЕ ГОЛОВЫ ЖИВОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Зрителей приглашают лично убедиться в действительной реальности этого факта

Кроме того

г. Скукиным,

дававшим свои представления перед взорами арабского, китайского, персидского, турецкого и прочих монархов и удостоившегося от них всевозможных лестных наград и отзывов, будут даны

лучшие №№ из мира волшебных явлений и черной магии: спиритизма, магнетизма, гипнотизма, а также ловкости рук, проверенных известным профессором Менделеевым

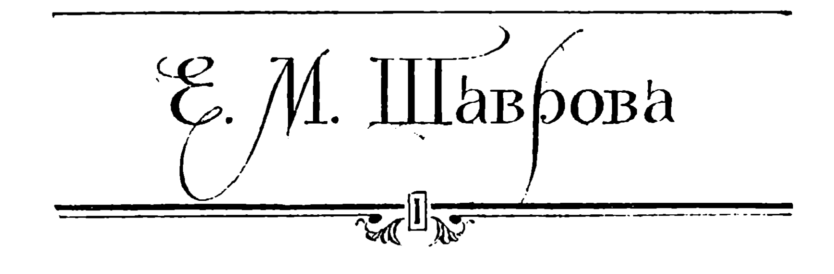
А в заключение всего

Г. СКУКИН ВЛЕЗЕТ В БУТЫЛКУ

и угадает оттуда мысли публики, которая, надеюсь, почтит спектакль своим лестным присутствием...

С почтением режиссер — Скукин.





Е. М. Шаврова

МАРКИЗА

> Le bonheur a deux lois:
> beaucoup — et pas longtemps *.

В лодке было шумно и весело.

Нелли гребла, и ее сухощавая фигурка в красной шелковой рубашке ярким пятном горела на солнце.

— Я не устала! — уверяла она своим высоким возбужденным голосом.— Право, маркиза, я не устала. Я ужасно люблю грести!

Лодка плыла все дальше между лесистыми берегами. Монастырь давно уже скрылся за поворотом реки. С обеих сторон громоздились сосны, цепляясь мохнатыми корнями за глинистую почву обрыва.

Вот одно дерево, снесенное вешнею водой, соскользнуло вниз, почти на самую середину реки, и, одинокое, жалкое, расправляет оттуда ветви, словно руки, молящие о помощи.

Маркиза взглянула на него и почему-то вспомнила иллюстрацию Доре, изображающую мучеников Дантова ада, обращенных в деревья [1].

Но почему ее, Катерину Ивановну Тимченко, помещицу одной из черноземных губерний, называли «маркизой»? Этого, должно быть, никто хорошенько не знал. Вероятнее всего, что название это дано было ей после какого-нибудь костюмированного вечера.

Ее называли маркизой, но из этого вовсе не следовало, чтобы она походила на грациозные и легкомысленные изображения Буше и Греза [2]. Она была высока ро-

* У счастья два закона: много — и недолго *(фр.)*.

стом, имела крупные черты лица, энергический голос и большие руки и ноги. Она была восемь лет замужем и без памяти любила своего мужа Ивана Аркадьевича. Теперь ей было жарко, она устала от ходьбы и от корсета, и ее неудержимо тянуло домой, к детям и хозяйству.

Возле же сидел Ильин, судебный следователь и товарищ Ивана Аркадьевича, гостивший у них в деревне.

Лицо Ильина было умиленно-грустно, близорукие глаза, щурясь, смотрели на воду, и он говорил взволнованным голосом:

— Маркиза, дорогая маркиза, как подумаешь, что прошло почти девять лет с тех пор, как мы с Ваней украли вас из пансиона madame Гаусман. А? Девять лет! Не правда ли, как удивительно быстро идет время? И вот я теперь опять с вами, вижу ваше семейное счастье,— я, старый холостяк, хочу немного погреться у вашего очага!

— Женитесь,— сказала маркиза.— Отчего вы не женитесь? — Но Ильин сделал недоумевающее лицо и замахал руками.

— Нет, стар! — сказал он.— Ведь мне уже под сорок! Видите, маркиза,— продолжал он,— я твердо верю, что все настоящее в жизни бывает всего один раз. Родятся и умирают ведь тоже только раз. Ну, и у меня, как у всякого, была передряга, не окончившаяся женитьбой, и больше ничего быть не может...

Но тут поднялся шум и крик кругом. Нелли незаметно раскачала лодку. Старшая сестра ее, Зизи, чуть не плакала, англичанка сердилась. Инженер успокаивал дам. Иван Аркадьевич хотел было помочь делу, но еще больше раскачал лодку, и ее сильно накренило вправо. Тут все закричали разом, что лодка опрокинется и что виновата Нелли.

Но она, не обращая на них внимания и почти такая же пунцовая, как ее рубашка, стояла опершись о плечо Ивана Аркадьевича и своим высоким, возбужденным голосом уверяла его, блестя глазами, что любит опасность!

— Ну, что за беда, если бы лодка и перевернулась бы в самом деле? Велика беда! Ça sort de l'ordinaire *,— говорила Нелли.— А то так скучно, все одно и то же каждый день! Я готова все перенести — только не однообразие. А опасность! всякая опасность, по-моему,— прелесть! Знаете, еще Доде говорит где-то: «Ce petit souffle du dan-

---

* Это необычно *(фр.)*.

ger» *. Вот я и люблю его, этот «petit souffle». Ужасно люблю.

— Нелли непременно где-нибудь сломает себе шею,— вставила старшая сестра с убеждением. Но Нелли только смеялась и опять взялась за весла.

Было все еще жарко и от заходящего солнца, и от испарений реки. Ивы и сосны с обеих сторон, казалось, еще больше сгущали воздух. Но вот солнце незаметно скользнуло за гору, и сразу потянуло свежестью. Река и лес мгновенно посерели и утратили яркость красок.

Зато на небе разыгрывался целый апофеоз. Там всплыли из-за горизонта золотые облака с голубыми, пурпурными и ярко-розовыми краями. Они искрились и сверкали как драгоценные каменья и медленно уплывали вдаль, где скоро делались темными и скучными. Сплотившись там, они залегли неподвижно темно-лиловою грядой, напоминавшей лежащую собаку с вытянутою на лапы мордой.

— Голубка моя! — запел Иван Аркадьевич,— умчимся в края... [4] — И маркизе показалось, что он смотрел на одну Нелли.

«Ну и что же,— тотчас же поймала себя маркиза.— И пускай смотрит! Я приглашу ее к нам в деревню — вот ничего и не будет».

Нелли бросила грести, и лодка тихо плыла обратно вниз по течению.

Золотые облака вверху теперь все потемнели и ушли за гору. Небо было нежно-лилового цвета, и зажигались первые звезды. Река стала темной и таинственной, а соскользнувшие в воду деревья, мимо которых теперь проходила лодка, еще более напоминали дантовских грешников.

И будем мы там
Делить пополам
И мир, и любовь, и блаженство,—

пел Иван Аркадьевич.

— Вот и скит,— сказала Зизи.

Монастырь был уже близко. Слышался благовест к вечерне.

— Пойдемте, господа, ужинать,— сказала маркиза.

Все пошли в монастырскую гостиницу — грязное двух-

---

* Это легкое дуновение опасности [3] *(фр.)*.

этажное здание, где в номерах стояла жесткая кожаная мебель и в углу под образами были полочки с духовными книгами.

Ильин помогал маркизе разливать суп по тарелкам и разносить вино и закуски.

Нелли, ее сестра и англичанка объявили, что никогда не ели ничего более вкусного, хотя суп был пересолен и в нем плавали перья сваренной там курицы.

В ожидании, пока запрягут лошадей и можно будет ехать обратно, пошли бродить по монастырю. Было темно, и река лениво шлепала под деревянным зыбким мостом.

Монахи, похожие на черные тени, попадались навстречу. По ту сторону реки горели костры. Это ловили раков на смолку.

— И мир, и любовь, и блаже-е-е-нство,— напевал Иван Аркадьевич, едва поспевая за Нелли, которая была неутомима и увлекала всех за собой. И все шли, хотя уже успели набегаться за целый день по монастырю и окрестностям, устали, вполне сознавали это, но все-таки шли.

Наконец Нелли попала ногою в болотце. Башмак завяз, и черный чулок был весь мокрый.

Она захохотала.

— С нею всегда что-нибудь в этом роде случается,— заметила сентенциозно старшая сестра. Но маркиза встревожилась: ведь барышни были на ее ответственности. И она стала торопить всех обратно.

— Это ничего,— смеялась Нелли.— Душечка, маркиза, ну, чего она беспокоится! Ну, замочила ногу,— да ведь она высохнет, непременно высохнет!

Однако идти ей было неудобно, и при всеобщем смехе Иван Аркадьевич взял ее на руки и так донес до монастыря.

Маркизу охватило досадливое, неприязненное чувство, но она поборола его и сказала ласковым голосом:

— Нелли, голубчик, вы непременно должны выпить вина, когда мы вернемся. Долго ли до простуды! Что тогда скажет ваша мама?

Лошади были готовы, и часть пути все сделали вместе.

Несмотря на неприязненное чувство, испытываемое к Нелли, маркиза все-таки увозила ее к себе в Ивановку на несколько дней.

Имение это было уже продано Иваном Аркадьевичем, но он выговорил себе право прожить там до осени.

Когда остальные экипажи свернули в сторону и старая дорожная коляска Ивана Аркадьевича осталась одна, то он сказал кучеру:

— Ну, брат, не зевай!

Четверка крупных серых лошадей взяла сразу, и коляска, как люлька, стала покачиваться по мягкой степной дороге.

Тогда только маркиза почувствовала, как сильно она устала и как ее клонит ко сну.

Впереди вытянулась серая, как длинная газовая вуаль, и ровная, как доска, степная дорога, сверху было темное небо, а рядом задорный голосок Нелли говорил:

— Ах, как я люблю быструю езду!

Потом все они что-то говорили о Швейцарии, Интерлакене и ослах. Сквозь сон маркиза слышала, как Иван Аркадьевич пел «Ночи безумные» [5], а Нелли напевала какую-то итальянскую песенку — не то «Faniculi» [6], не то «Penso» *.

А потом ничего нельзя было разобрать.

Когда маркиза открыла глаза, то уже светало, и было очень свежо. Роса тускло блестела на траве и даже на рельсах железнодорожного пути.

Кузов коляски и лошади тоже были мокры. Окрестность, и воздух, и небо — все еще было серо и туманно, но на востоке уже проступали робкие полоски зари. Над рекой и плесами курился туман.

Ильин спал как младенец с очень некрасиво открытым ртом. Лицо Ивана Аркадьевича было заспанно и сердито.

«Бедный тютик,— подумала маркиза,— как ему было неудобно сидеть всю дорогу спереди и как он устал!»

Право, если бы не было совестно перед другими, то она всегда сажала бы его на свое место, а сама садилась бы напротив.

Нелли куталась, как котенок, в белый оренбургский платок, и видно было, что ей совсем не хочется спать.

— Наша маркиза всю дорогу бай-бай,— сказала она.— А мы успели и с дороги сбиться, и в провалье чуть-чуть не попали. Уж Иван Аркадьевич спас, вел лошадей под уздцы, пока не выехали на дорогу!

Коляска остановилась перед большим каменным домом.

---

* «Думаю» *(ит.)*.

— Я помещу Нелли в голубой комнате,— сказала маркиза, занятая практическими соображениями,— там ей дети не будут мешать.

Иван Аркадьевич ничего не отвечал. Он был угрюм и зол. Он помог дамам выйти из коляски, разбудил Ильина и увел его с собою в кабинет.

Быстро светало.

Маркизе удалось заснуть на какие-нибудь три, четыре часа. Ее разбудили дети: три девочки с загорелыми рожицами и бритыми, как у рекрутов, белокурыми затылками.

Они только что выкупались и шли пить парное молоко со своею бонной-немкой, тоже розовой и белокурой. Нужно было узнать, что они делали весь вчерашний день, что ели и пили, как сготовил Федот, а также кто шалил и не слушался fräulein. Потом нужно было подумать об обеде, выдать провизию и вообще навести справки как об людях, так и об животных.

За всеми этими хлопотами маркиза едва успела умыться, завить волосы и сделать модную прическу, причем с горестью заметила, как редки становятся ее русые волосы. После рождения младшей девочки они стали сильно выпадать. Потом маркиза велела горничной Саше подать себе розовый батистовый капот, обшитый кружевами, и, несмотря на то что это был капот, туго стянула корсетом талию. Ах, эта полнота! Она старила маркизу по крайней мере лет на десять! Уж чего только не делала она, чтобы похудеть. Ничто не помогало.

Маркиза вздохнула, напудрила лицо, налила духов на руки и в платок и вышла в столовую. Там был один Ильин.

Он с чувством поцеловал руку маркизы и сказал:

— А барышня наша уже выпила молочка и с Иваном Аркадьевичем осматривает сад.

Маркиза села против него к столу и нервно налила себе чаю.

Ильин ничего не замечал. Он все еще чувствовал себя в сентиментально-размягченном состоянии духа. Целуя руки Катерины Ивановны, он говорил:

— Маркиза, милая маркиза, вы не поверите, как я счастлив, что вижу вас и могу полюбоваться вашим счастьем...

Но маркиза грустно и недоверчиво смотрела на него и прервала поток его красноречия, сказав:

— Вы знаете, что Ваня продал имение? Да, представьте, продал. И ему не жаль! Он построил этот дом, распланировал сад, положил столько труда и умения, он, который всегда хотел жить в деревне,— вдруг продал! Дети привыкли к деревне,— продолжала маркиза, ходя взволнованно взад и вперед по столовой.— Дети привыкли, да и я сама решительно не знаю, что буду делать в городе! Боже мой, как мы были счастливы здесь, хотя, конечно, бывали и трудные времена! Помните, как мама была против моего замужества. Первые годы она не давала ни копейки. Ваня занял денег и купил хутор. Тут только лес был да кое-какие постройки. Вот мы и стали хозяйничать. Сначала жили во флигеле. Тут и моя старшая девочка родилась. Наконец мама помирилась с нами и выделила мне мою часть. Мы стали строиться. Ваня был с рабочими и по хозяйству, а я записывала. Боже мой, мне здесь всякий уголок дорог, а он продал!

Тут маркиза почувствовала, что ей сдавило горло, но она мужественно не дала себе воли и удержала слезы.

— Ну что же делать,— храбро и почти весело сказала она,— раз уж это решено.

— Что же Иван Аркадьевич теперь думает предпринять? — спросил Ильин.— Ведь не на службу же поступить? А жаль, к хозяйству у него удивительные способности. В чиновники он не годится!

Ильин представил себе массивную, самую черноземную фигуру Ивана Аркадьевича и его апатичное лицо с красивыми карими глазами, в вицмундире и с портфелем и засмеялся.

— Нет, он не годится!

Маркиза тоже улыбнулась жалкою улыбкой и сказала печально:

— Он хочет идти на сцену.

Этого Ильин совершенно не ожидал.

— Да,— продолжала маркиза,— за последние два года это у него просто мания какая-то. В городе он знаком со всеми актерами, берет у них уроки декламации. Они, разумеется, рады. А он убежден, твердо уверен, что у него талант, призвание и что из него выйдет великий артист! Он теперь интересуется только театром и целыми часами, запершись в своем кабинете, громко читает роли и декламирует.

— Да играл ли он когда-нибудь? — недоумевающим голосом спросил Ильин, которому счастливая жизнь приятеля и его жены представлялась совсем в другом свете.

— Играл, как же...— отвечала маркиза, и по ее сконфуженному виду Ильин понял все.— Конечно,— продолжала она, точно оправдываясь,— у него все данные для сцены есть. У него чудный голос, и поет он великолепно, потом у него благодарная фигура и наружность... но я боюсь, что он ошибается и что большого таланта у него нет...

Маркиза не могла продолжать, потому что Саша делала знаки и вызывала ее в коридор. Там стоял скотник Андрей, объявивший мрачным голосом, что у коровы, купленной недавно в Харькове, распух язык и «дюже бежала слюна».

Нужно было распорядиться отделить ее от стада и послать в Смирновку за ветеринаром. Потом пришли бабы, половшие малину, за расчетом, а потом надо было давать урок музыки старшей девочке.

Так прошло время до обеда.

Ильин взял «Новое время», которое здесь приходилось читать на третьи сутки, и уселся на террасе, увитой диким виноградом, где стояли розово-красные олеандры в больших деревянных кадках.

Солнце грело вовсю. С реки доносились всплески воды — это купали лошадей, а из цветника пахло розами и левкоями.

Из дома долетали робкие звуки рояля и голос маркизы, считавшей: «Раз, два, раз, два». Но Ильин не читал.

Жизнь его друзей, этих здоровых, сильных, молодых людей, женившихся по любви и живших, как казалось, в самых благоприятных условиях, представлялась ему теперь вовсе не такою простою и счастливою.

А между тем у этих людей было все для счастья. Была молодость, здоровье, дети, труд и материальная обеспеченность.

Ильину также вспомнилась своя собственная скучная жизнь, неприятности по службе, уколы самолюбия, каждый день одно и то же, без женской ласки, без радости... Потом такая же скучная старость, болезни и одиночество, всегда одиночество...

И ему стало грустно.

Тень упала на газету. Перед ним стояла Нелли в се-

ром платье с распущенным желтым и круглым, как солнце, зонтиком.

— Вы спите? — крикнула она ему и бросила в него горстью розовых лепестков, причем глаза ее задорно смеялись.— Вы спите, как старичок, а мы исходили все окрестности, пили молоко, видели лошадей и даже играли в крокет.

Иван Аркадьевич стоял за нею, как исполин, в своей белой парусиновой блузе и высоких охотничьих сапогах. Лицо его было оживленно и весело, лоб красен и потен, и белая парусинная фуражка далеко отсажена на затылок. «Наверное, они целовались все утро»,— невольно подумал Ильин, но тотчас же устыдился этой мысли.

— Я ужасно хочу есть! — говорила Нелли, усаживаясь в кресло-качалку.— Я просто умираю от голода! Дорогой хозяин,— комически протянула она,— скажите, чтобы дали обедать!..

Обедали в прохладной, полутемной от закрытых ставен столовой. Нелли бросилась целовать маркизу, переодевшуюся к обеду в полосатое платье, отделанное прошивками и лентами.

— Душка, маркизочка,— воскликнула Нелли,— да какая же она нарядная! Прелесть моя! Право, ты счастливица, и я завидую тебе и нисколько не стыжусь этого! Подумай только, какой у тебя талантливый муж, какие чудные бэбиньки! Какой дом, какой сад, какие цветы! Да, ты счастливица, маркиза, не то что я, старая дева,— à la recherche d'un mari *.

И маркиза улыбнулась, целовала Нелли, и казалось, нет в мире женщины счастливее ее.

— Право, как хорошо жить в России,— говорила Нелли, с аппетитом кушая творожники со сметаной.— Я так рада, что мы в этом году не поедем за границу. И все это я устроила. Я сказала maman: довольно, больше я не поеду за границу. Мало мы разве колесили по всей Европе? А результат? И Зизи, и Долли до сих пор не замужем. А надо сознаться, что ведь все-таки назначение каждой девушки — это выйти замуж. А за кого можно выйти замуж за границей? За какого-нибудь «prince pas le sou» **,— правда, с титулом, но ведь это глупости! Русская дворянская фамилия лучше всего!

---

* ищущая мужа *(фр.)*.
** принца, но без гроша *(фр.)*.

Нелли говорила все это так мило и грациозно, что все за столом смеялись и сочувствовали ей. И маркиза, хотя и ужасалась внутренно той непринужденности и простоте, с которой Нелли трактовала о таком важном в жизни каждой женщины событии, тоже не могла не улыбнуться и не посочувствовать ей.

Обед был самый деревенский. Ильин удивлялся, как можно так много есть. Иван Аркадьевич за обедом почти не разговаривал, но ел изумительно много. После кофе он тотчас же ушел вздремнуть и увел с собой Ильина.

— Боже мой,— сказала Нелли,— как подумаешь, что и у меня тоже будет муж, который будет спать после обеда, а я стану полной и счастливой дамой, как ты, маркиза, и ничего-то мне не будет надо!

И Нелли нервно смеялась и крепко обнимала маркизу за талию и плечи.

Приехал на дрезине красивый инженер. Он нравился Нелли, и она мечтала выйти за него замуж.

Маркиза, инженер и Нелли стали ходить взад и вперед по аллее, от дома к беседке и обратно, и говорили о загранице, опере и вчерашней поездке в монастырь. Инженер был прекрасно воспитан, но еще лучше выкормлен и одет. Он так был поглощен сознанием этих совершенств, что глядел на все окружающее с высоты Олимпа и ничем, кроме своей особы, не интересовался. Нелли находила его très distinqué *, и все, что бы он ни сказал, казалось ей необыкновенно умно. Но маркиза знала, что он груб и ограничен, что обсчитывает рабочих, наживается на подрядах и любит выпить. Она знала также, что в большом селе, где жил инженер, он пользовался весьма неопрятной репутацией.

Маркиза знала все это и с сожалением смотрела на хорошенькую, свеженькую Нелли, говорившую своим возбужденным голосом: «Когда мы взбирались на Риги-Кульм [7], то было очень облачно, и мы так и не видали восхода солнца...» — или: «Доде и Коппе — мои любимые писатели, но я просто зачитываюсь Бурже. Ах, Бурже! Он такой глубокий психолог!», причем инженер, такой выхоленный и сдержанно-благовоспитанный, отвечал ей в тон, что «вообще традиционные восходы солнца редко удаются, что он тоже читает Доде и Коппе и что, разумеется, Бурже глубокий психолог!»

---

* весьма изысканным *(фр.)*.

А маркиза слушала эти разговоры и думала: «Ну чего она старается, эта девочка, ведь он на ней все равно не женится, так как за ней мало дают».

Иван Аркадьевич вышел в сад и стал просить инженера остаться повинтить. Но тот спешил и уехал на своей дрезине.

Быстро смеркалось.

Маркиза пошла в дом. Нужно было распорядиться насчет ужина, выдать столовое белье и белье для гостей, потом заглянуть в детскую. Маленькие ложились спать, а у старшей девочки болело горло. Маркиза приготовила ей полоскание из розовой воды и глицерину и долго уговаривала пополоскать горло. Девочка плакала и не хотела.

В гостиной Иван Аркадьевич пел.

Голос его, высокий баритон, немного хриплый от табаку, вина и простуды, раздавался по всему дому. Этот хороший, задушевный голос, который так любила маркиза, как она любила все в этом человеке — его грузную фигуру, сонное лицо, медленность движений и речи, его манеру ласкать детей и собак... все!

При первых звуках этого голоса у нее захолонуло сердце и она даже остановилась в темном коридорчике, ведущем из детской в спальню.

— Ах, дайте, дайте мне свободу!» [8] — пел Иван Аркадьевич, и маркиза чувствовала, как растет в ее сердце безграничная любовь и нежность...

Маркиза сидела в своей спальне, большой комнате с поблекнувшими розовыми кретоновыми занавесками, где она давно уже спала одна на широкой французской кровати, и слушала.

Теплый, южный ветер колыхал занавесками в углу, перед образом божией матери, в венке из померанцевых цветов, теплилась красная лампадка, а из сада сладко пахло никоцианой, ночными красавицами и розами.

«Боже мой,— думала маркиза,— отчего нельзя быть счастливой, когда все есть для счастья? Отчего нельзя прожить спокойно, чисто и честно, как подобает перед богом и совестью? Отчего счастье так коротко и непрочно?.. О, вечно лгать, улыбаться, когда хочется плакать, подлаживаться, притворяться и кокетничать! Да, кокетничать со своим собственным мужем». Иначе для кого и для чего было бы ей в деревне завиваться, пудриться и затягиваться в корсет и менять по два платья в день? Ей,

матери троих детей, утомленной хозяйством и любящей простоту во всем. Это было низко, гадко. Всегда найдутся красивее, интереснее,— моложе ее. Сегодня эта дурочка Нелли, завтра какая-нибудь любительница драматического искусства, которых так много развелось за последнее время, или хорошенькая актриска. Была бы охота! Разве уследишь! Иван Аркадьевич постоянно уезжает в город. Что он там делает, с кем проводит время? Ведь он сам рассказывал ей про ужины с актерами и приезжими знаменитостями, показывал и карточки актрис с надписями. И этим он обезоруживал ее. Ничего не поделаешь: любовь к искусству! Не могла же она запретить мужу любить искусство и ездить в город? Этим она бы только восстановила его против себя.

У нее была своя тактика.

Напротив, она старалась ближе сходиться с теми барышнями и дамами, которые, по-видимому, нравились Ивану Аркадьевичу, приглашала их к себе, думая этим удержать его дома.

Так, в прошлом году здесь жила целый месяц Марья Петровна Снежкова, ingénue * драматического товарищества, игравшего в городе зимою. Теперь маркиза позвала Нелли.

Пускай хоть на глазах, все-таки легче! Ну, что же делать, если она так глупо сотворена, что привязалась к человеку, с которым прожила восемь лет, имела детей, знала все его слабости и недостатки и все-таки любила его настолько сильно, что на все была готова, лишь бы удержать его возле себя. Теперь он продал имение, где они были счастливы, работали вместе, где родились ее дети и где она любила каждый угол в доме, каждое дерево в саду... Что будет дальше?.. Где и как они будут жить?.. Но об этом маркиза боялась и думать.

Иван Аркадьевич кончил петь, и няня пришла сказать, что ужин подан.

Маркиза размечталась.

Ей было сладко, несмотря на грустные мысли, сидеть в темноте и слушать пение.

Она вздохнула, напудрила лицо и вышла в столовую. За ужином мужчины дразнили Нелли инженером, а та защищалась. Маркиза, с веселым лицом, раскладывала по

---

* наивная *(фр.)* — актерское амплуа в дореволюционном русском театре: простодушная, обаятельная девушка.

тарелкам простоквашу, резала жаркое и брала сторону Нелли.

Но пришел приказчик, и маркиза должна была выйти к нему в прихожую. Иван Аркадьевич, с тех пор как имение было продано, выказывал такое решительное отвращение к хозяйству, что маркиза принуждена была взять на себя все распоряжения.

Когда она вернулась в столовую, то там никого не было, и Саша, убиравшая со стола, сказала ей, что господа ушли в сад.

В длинной аллее маркиза встретила одного Ильина.

— Трава совсем мокрая,— сказал он ей озабоченным тоном,— а с ревматизмом нельзя шутить; я иду в дом.

— Надо разыскать их, а то еще Нелли простудится,— звонко крикнула маркиза и, подобрав платье, быстро пошла по аллее.

Было темно и сыро.

Ветки били по лицу маркизы, а в густой траве между яблонями сверкали светляки. Запах никоцианы и роз слышался даже здесь, но он был нежнее и приятнее.

Маркиза пробежала весь сад, но, не найдя никого, свернула боковою дорожкой и пошла берегом реки.

Здесь рос молодняк белой акации, посаженный всего два года тому назад, а потому было гораздо светлее, чем в саду. Маркиза дошла до купальни, скрытой в густом тростнике, но и здесь никого не было. Тростник шумел и наклонялся медленно и плавно, а по реке и берегу стлался чуть заметный туман. Вдали за монастырским хутором мигал огонек в степи. Маркиза обогнула огороды и пошла по опушке сада, по аллее, ведшей к железнодорожному пути. Здесь сад был окопан глубокою канавой, за канавой был заливной луг, уже скошенный. Через канаву была переброшена доска, которую дети называли «мостиком».

Отсюда маркиза явственно услышала голоса и остановилась за большими деревьями.

Иван Аркадьевич и Нелли были в двух шагах от нее. Нелли взобралась на копну сена и сидела неподвижно, обхватив руками колени, причем ее худощавая фигурка с задорным пучком волос на затылке отчетливым силуэтом вырезывалась на звездном небе. Иван Аркадьевич растянулся у ног Нелли, как большой датский дог, и говорил:

— Птичка моя, простите меня, но вы все еще несмысленочек, хотя и побывали за границей и видели свет.

Впрочем, это-то именно мне в вас так и нравится. Ну, подумайте немного, рассудите, и вы увидите, что я прав. Я уважаю мою жену, меня связывает с нею наша совместная жизнь, дети, состояние, но я не люблю ее. К чему лгать?

Он сказал это так искренно и правдиво, что маркиза невольно подумала тоже: к чему лгать?

— Когда я женился,— продолжал Иван Аркадьевич своим задушевным голосом,— мне было всего восемнадцать лет, а ей было девятнадцать. Ну скажите, что мы знали о жизни? Недаром все родные были так против нашей свадьбы. Они были тысячу раз правы. Да, это была романическая история,— я увез ее, и мы женились наперекор всем. И что же? Прошло восемь лет, и я сознаю, что не люблю своей жены, ненавижу свою жизнь, хозяйство... я даже плохой отец, потому что равнодушен к своим детям. Бывают дни, когда я забываю об их существовании, и каждое напоминание об них мне тягостно, потому что я сознаю, что я скован... Ах, это ужасно, ужасно! — говорил Иван Аркадьевич, и в голосе его слышалось страдание.— Ни один человек не может дать более того, чем он располагает,— продолжал он.— Я не люблю своей жены, и мысли мои далеки от семьи. Но я сделал все, что мог, для их благосостояния. Имение продано, и капитал обеспечивает их. А себя я считаю теперь совершенно свободным!

Иван Аркадьевич вскочил с места и, взъерошив свои густые волосы, вскричал:

— Восемь лет! А? Восемь лет я был работником для жены и детей. А что я видел? Что испытал? Что взял от жизни? Я не жил, а прозябал, как червь! Чем другие заканчивают свою жизнь, тем я начал. И вся жизнь моя пошла навыворот, наизнанку. Я не был молод, я не жил! Я хочу жить!

Маркиза стояла бледная под высокими деревьями, и ей казалось, что что-то темное и безобразное свалилось на нее.

В это время по насыпи медленно и важно прошел, сверкая красными фонарями, товарный поезд.

Когда он скрылся за поворотом и шум утих, то маркиза снова услыхала голос Ивана Аркадьевича.

— Господи,— говорил он,— как подумаешь, ведь весь мир мне открыт! Стоит только пожелать — и все будет мое. Стоит только протянуть руку! Весь мир! Мир кра-

соты, искусства, наслаждений! Ведь мне всего двадцать шесть лет! От одной мысли быть свободным у меня, право, кружится голова! Я буду путешествовать, играть на сцене, сочинять стихи, сумасбродствовать, любить! Я увижу и узнаю все то, о чем читал в книгах и о чем знаю лишь понаслышке!..

Ивана Аркадьевича теперь нельзя было узнать. Сонный, неподвижный человек куда-то исчез, голос его звенел, он нервно жестикулировал, и маркиза жалела, что не видит его лица, которое, наверное, в эту минуту было красиво.

Нелли с недоумением смотрела на Ивана Аркадьевича и отказывалась понимать его.

В ее маленьком мозгу решительно не умещалось столько слов и страстных порывов.

— Ах, какие все мужчины безнравственные,— только все повторяла она.— И как подумаешь, что и я выйду замуж за такого же, как вы, а может быть и хуже... Бедная, милая маркиза! Зачем вы так несправедливы к ней? Она такая чудная, добрая!

— Голубчик мой,— заговорил Иван Аркадьевич своим задушевным голосом.— Конечно, она хорошая, она чудная, великолепная женщина — и вот это-то и мучает меня больше всего. Да не будь она такой, да разве, вы думаете, я бы минуту подумал и не удрал бы на край света? Взял бы вас, мою птичку колибри, и увез бы далеко, далеко отсюда, куда-нибудь в Америку, где мы бы стали жить новой жизнью! — Иван Аркадьевич говорил еще много, но суть была все та же, и слова его падали как тяжелые камни на бедную маркизу.

Нелли слушала его полулежа и закрыв глаза. Она воображала себе, что перед нею инженер и объясняется в любви. Потом они женятся, и он увезет ее подальше от домашней, пресной жизни, от скучной, взбалмошной матери и от завистливых, злых сестер. Тогда уже не надо будет в каждом знакомом и незнакомом мужчине видеть более или менее вероятного мужа, и жизнь обратится в поэму, где все будет «мир и любовь и блаженство», с присоединением, конечно, поездок на воды и хорошеньких туалетов...

Ночь стала темнее и звезды ярче. Из низины потянуло прохладой, а по крутой насыпи опять прополз поезд.

— Поздно,— сказала Нелли.— Вы дурной, очень дурной человек, и я ни за что не поехала бы с вами в Америку.

А теперь пойдем домой, а то становится сыро и мы оба схватим насморк.

Иван Аркадьевич снял Нелли с копны сена и крепко поцеловал ее в губы.

Он делал это, вероятно, не в первый раз, потому что Нелли нисколько не удивилась и не рассердилась. Напротив, она крепко обвила его шею руками и сказала своим возбужденным, страстным голосом:

— Какой вы гадкий и как я люблю вас...

За высокими темными деревьями что-то хрустнуло и зашумело. Это маркиза бежала домой через темный, росистый сад, охватив обеими руками свою бедную голову...

ЖЕНА ЦЕЗАРЯ

Le mariage est une chose,
Que pour être prudent,
Il ne faut pas voir
Ce qu'il y a dedans *.

I

Небольшая коляска только что сделала второй круг, и кучер, ожидая дальнейших приказаний, сдерживал лошадей, полуобернувшись к господам.

— Ступай в Разумовское,— приказала ему Вава и, обратясь к Сергею Павловичу, проговорила с досадой, понижая голос: — Нас рассматривают так, точно никогда не видали прежде. Это невыносимо! Вы не находите? Удивляюсь!

Ей очень шло, когда она сердилась. Лицо делалось энергичным и чуть-чуть бледнело, а серовато-голубые глаза становились ярче и больше. Она зябко приподняла воротник своей темно-синей касторовой кофточки и нервно поправила на светлых, пушистых волосах большую черную шляпу, очень шедшую к ней.

Сергей Павлович тихо засмеялся и, так чтобы не видели проезжавшие мимо, слегка пожал ее руку в узкой белой перчатке.

— Ну, положим, вы преувеличиваете,— сказал он, улыбаясь.— Не обращайте внимания. Не стоит, право.

* Быть осторожным в браке — значит видеть, что он в себе таит *(фр.)*.

Но она уже вся пылала. О, глупое, несносное положение! Жених! Невеста! Какая пошлость... Всюду появляться вместе, кататься вместе, делать визиты вместе, как будто потом на все это не будет еще довольно времени.

— Я не сержусь,— сказала Вава,— но не находите ли и вы, что нас показывают, точно ученых птиц? И как подумаешь, что нам предстоит еще тысяча и одна церемония по кодексу глупых приличий, до той минуты, когда нас наконец оставят в покое.

— Я желал бы, чтоб это было скорее,— очень серьезно и с чувством проговорил Сергей Павлович. Он был очень изящен, очень сдержан и очень худ.— Положим, отпуск мне дадут двухмесячный,— сказал он, раздумывая.— Но я не желал бы злоупотреблять. Теперь не такое время... и вы не можете себе представить, Варвара Александровна, сколько нам предстоит еще работы в будущем... Министр проводит новые реформы...

Вава сидела, откинувшись назад, в позе молодой дамы и слушала, полузакрыв глаза. Она очень любила, когда мужчины с нею или при ней говорили «об умном», то есть о политике, финансах, проектах, назначениях и карьерах. Поэтому и Сергей Павлович, приезжавший на праздники в Москву, где у него были родные, нравился ей именно этой своей молодой деловитостью, нервным спокойствием, энергией и выдержкой.

«Далеко до него нашим московским «тютькам»,— думала Вава и решила, что непременно выйдет за него замуж. Да, не кто другой, а именно он будет ее мужем.— Это ничего, что он так серьезен и солиден не по летам. Муж даже должен быть немного скучен,— решила она.— Это — качество».

Кроме того, надо же было когда-нибудь на что-нибудь решиться и выйти замуж. Ваве было ровно двадцать три года, хотя в свете, по календарю ее maman, ей значилось всего девятнадцать. Но это была поэтическая и вполне необходимая ложь, потому что за Вавой давно выросла и выровнялась Мэри, а за Мэри были еще две младшие сестры, которых, правда, еще никому не показывали, но которые тоже необыкновенно быстро росли и выравнивались. Итак, Ваве надо было на что-нибудь решаться.

«Пора,— думала она,— в августе мне будет двадцать четыре года. Хотя теперь и миновало время, когда выходили замуж шестнадцати и семнадцати лет и таким образом добровольно сокращали свою жизнь и убивали моло-

дость беременностями и всякими домашними дрязгами, какие уж непременно бывают в жизни каждой женщины, как бы богата и титулована она ни была. Но теперь — извините! — девушки стали умнее и не так рано выходят замуж. Но в двадцать четыре года надо же на что-нибудь решиться».

И теперь, в то время как Сергей Павлович своим ровным голосом сообщал ей, почему совершенно необходимы такие-то и такие-то реформы, а также какую записку он составил по этому поводу и как она была одобрена,— Вава слушала его серьезно и внимательно.

«Он далеко пойдет, без сомнения»,— думала она, рассеянно следя за тоненькими полосками серого тумана, поднимавшегося над молодой травой и зябкими деревьями, между тем как солнце закатывалось вдали огромным огненно-красным диском, совершенно лишенное лучей.

Коляска, плавно подпрыгивая по мягкой, влажной земле, быстро катилась по прямой и серой аллее. Дорога, туман и монотонные речи Сергея Павловича убаюкивали Ваву, и в то же время на душе ее было гордое сознание того, что она достигла чего желала и что он, а не кто другой, будет ее мужем. И хотя она ничего не чувствовала к этому сухому и совершенно чуждому ей человеку, она была все-таки довольна и почти счастлива. Он сидел немного сгорбившись, сутуловатый от сидячей жизни, со своим равнодушным, пергаментным лицом молодого старика петербургских канцелярий.

«Он очень изящный, очень...— думала Вава.— У него есть этот неуловимый петербургский отпечаток, какого совсем недостает, например, хотя бы Андрюше Ламскому, да и всем другим... Конечно, с ними веселее, но ведь это не главное в жизни».

И Вава живо представила себе, как она входит с Сергеем Павловичем в бальную залу или едет, вот так, как теперь, кататься. А вслух она сказала:

— Мамà обещала давать мне по двести пятьдесят рублей в месяц; это, конечно, не много, но впоследствии, после смерти папà, я буду получать больше... Вообще я нахожу, что лучше обо всем переговорить заранее. Не правда ли?

Сергей Павлович сделал изящный, немного брезгливый жест, точно что-то стряхивая со своих перчаток; жест этот он делал всегда, когда речь шла о деньгах. Тем не менее он очень внимательно слушал.

— Вы знаете, папа̀ говорит всегда: «В деньгах черти сидят». Это очень хорошо сказано, не правда ли? — болтала Вава.— Кстати, сколько вам лет?

Сергей Павлович снисходительно улыбнулся.

— Мне тридцать четыре года,— сказал он коротко.— Я родился в шестьдесят втором году... Боюсь, что я стар для вас...

— Да мне скоро будет двадцать четыре года,— весело подхватила Вава.— Мама̀ говорит всем, что мне девятнадцать, но не верьте; понимаете, это делается для сестер. Иначе нельзя.— Они помолчали немного.— Как это хорошо,— сказала вдруг Вава,— между нами почти десять лет разницы. Это самая лучшая разница лет между мужем и женой. Ведь женщины старятся раньше мужчин, и потому это хотя небольшая гарантия... Я об этом читала где-то — не помню.

Вава читала вообще очень много, а главное — много такого, чего бы ей вовсе не следовало читать. Едва бросив куклы, она стала читать, читать беспорядочно и без всякого разбора, что ни попадалось под руку, с тем чтобы поскорее *все* узнать. Книжные шкафы в кабинете отца не запирались, потому что, по московской распущенности, ключи давно куда-то пропали, да и вообще в доме мало заботились о книгах. В 18 лет Вава прочла почти всего Золя и почти *все* знала. Философские книги прельщали ее, и она принялась было за Канта и Шопенгауэра, но скоро бросила. Зато она зачитывалась Монтегацца, Фламмарионом [1] и верила в переселение душ. Как-то раз Вава взяла Поль де Кока, но быстро соскучилась и решила, что французская литература сделала большие успехи.

Но, несмотря на чтение, Вава многое понимала совершенно превратно, была наивна и жизнь совсем не знала, как не знает ее большинство девушек обеспеченного класса.

В обществе Вава очень нравилась, но пугала молодых людей своей оригинальностью, насмешливостью и злым языком. За ней много ухаживали, с ней любили разговаривать, но ее побаивались, и она уже начинала страдать от этого.

Когда коляска подъехала наконец к дворцу в Разумовском, то уже настолько стемнело, что Вава приказала ехать обратно. Стало еще холоднее, так что пришлось поднять верх коляски. Когда это было сделано, Вава уселась поудобнее в свой уголок и, подняв теплый плед чуть не до самых плеч и кутая в него свои руки, по-видимому, не чув-

ствовала никакого волнения от близости к жениху в темноте экипажа.

— Да, я думаю,— говорила она,— что мы с вами сойдемся во вкусах и сумеем сделать друг другу жизнь если не безумно счастливой, то спокойной и приятной. Уверяю вас, я немногого требую от жизни. Я даже очень скромна. Например, я выхожу за вас и, право, не чувствую той пылкой любви, о которой пишут в романах. Вы мне нравитесь, да... и мне кажется, этого довольно. Лучшего мужа мне не надо. Я даже не влюблена нисколько, но я надеюсь, что это придет потом, когда мы женимся... Видите, Серж, я откровенна с вами. Может быть, у меня холодная натура и нет темперамента, но ведь этого тоже нельзя решить заранее. Вообще теперь, когда нас так редко оставляют вдвоем, я хочу переговорить с вами откровенно обо всем. До дому еще далеко, и мы успеем.

Сергей Павлович хотел было поклониться, но вспомнил, что в экипаже с поднятым верхом это не совсем удобно, и только сказал:

— Варвара Александровна, я — весь внимание.

— Сергей Павлович,— начала Вава насмешливо-торжественным тоном,— я всегда была того мнения, что между мною и моим будущим мужем не должно быть ничего недоговоренного. Я не хочу недомолвок. Это непрактично и недостойно ни вас, ни меня. После свадьбы вы порасскажете мне, конечно, кое-что из вашей холостой жизни, а теперь я должна сообщить вам кое-что о себе, потому что с девятнадцати и до двадцати трех лет я, уверяю вас, не скучала. До этого времени я, к сожалению, была связана глупым воспитанием и слишком наивна.

Глаза Сергея Павловича блеснули в темноте, лицо его вытянулось, и ему стало немного не по себе. «Гм... что-то она еще скажет!» Но он тут же успокоил себя тем, что Вава, по-видимому, была одна из тех, что больше говорят, чем делают. «Тихони опаснее».

— Итак, я буду каяться! — начала Вава, и Сергею Павловичу даже показалось, что она слегка зевнула.— К сожалению,— продолжала она,— все, что я имею сказать вам, очень неинтересно, бесцветно и даже банально. В сущности, и рассказывать-то нечего. Кое-кто мне слегка нравился, кое с кем я кокетничала, а кое-кто шел даже до формального предложения руки и сердца. Ну, да это все больше мелочь. Все знают, что нас много и что каждая получит четвертую часть. Да, наконец, надо же и мама̀ с

папа̀ чем-нибудь жить. Что же еще сказать? — продолжала Вава, раздумывая.— За эти годы я много танцевала, ездила верхом, каталась на коньках, играла в любительских спектаклях, и у меня было несколько занимательных, но — увы! — совершенно платонических романов... На святках мы ездили ряжеными. Я знаю, в Петербурге это не принято, и очень жаль, потому что это очень весело и очень сближает. Говорю это по опыту. Ведь у нас, в Москве, вообще принято много такого, что не принято у вас, в Петербурге. Например, устраивают пикники с барышнями, ездят в загородные рестораны на тройках, танцуют и ужинают там. После шампанского,— продолжала Вава, увлекаясь все более и более,— я помню несколько поцелуев, украденных с моего ведома и доставивших мне, не скрою, большое удовольствие. Наконец, если уже все говорить, я однажды ужинала вдвоем, с кем — я, разумеется, вам не скажу. Пустите руки!.. Но это и все! Право, больше нечего вспомнить... Влюблена была два раза. Один раз воображением, другой раз сердцем. Не знаю, что опаснее. Но это скоро прошло. «Он» цитировал Спенсера[2] и носил резиновые калоши, и я быстро разочаровалась. В кого была влюблена сердцем, разумеется, тоже не скажу,— да и к чему?.. И, несмотря на мою бурную молодость, я с полным правом надену в великий день эти глупые восковые цветы, которые почему-то принято надевать в знак невинности. Ну-с, что вы на это скажете? — дразнила Вава, приближая свое хорошенькое, свежее лицо к его бледному, усталому лицу.— Предупреждаю вас, вы можете еще отказаться, это ваше священное право.

Вместо ответа послышалась легкая борьба и несколько поцелуев, причем элегантная шляпа потерпела крушение, и Вава сказала, немного задыхаясь и оправляя волосы:

— Вы испортили мою шляпу, но вы хорошо целуетесь, и я прощаю вам за это.

Теперь ехали бульварами. В городе стало теплее, и пошел мелкий, весенний дождик.

Коляска быстро катилась по мокрому асфальту, приближаясь к дому, когда Вава вдруг сказала очень торопливо:

— Сейчас мы приедем, и, кажется, я все сказала, что хотела. Ах, про главное-то я и позабыла. Пожалуйста, не надо детей,— шепнула она,— я не хочу, я боюсь!

Сергей Павлович улыбнулся в темноте.

— Я тоже об этом думал не раз,— сказал он просто.— Конечно, лучше на первое время избежать этого; я совсем с вами согласен. Вы знаете, что желания ваши — для меня закон.

Экипаж остановился, и лакей Дмитрий уже выбегал с раскрытым зонтиком навстречу господам.

Сергей Павлович высадил Ваву, и на губах его все еще блуждала загадочная улыбка забавно озадаченного, но все-таки очарованного человека.

«Ого, вот ты какая! — думал он.— И, несмотря на все это, я все-таки женюсь, и все будет по-моему».

II

На платформе было полутемно, когда поезд наконец двинулся, увозя Ваву и Сергея Павловича после свадьбы, бывшей в деревне, в Ялту. Позади осталась небольшая кучка провожающих в светлых, нарядных платьях; там слышался смех и веселые, возбужденные голоса.

Кто-то из посторонней публики, увидя Ваву в окне. крикнул из темноты:

— А вот и новобрачная! — но поезд, все прибавляя ходу, быстро убегал от платформы.

— Уф! кончились наконец все церемонии! — от глубины души вздохнула Вава.— Еще счастье, что мы сделали свадьбу в деревне,— воображаю, что бы это было в городе! Должно быть, я не создана для представительства. Я страшно устала! А ты?

Они уже давно были между собой на «ты», и в одну из жарких июльских ночей Вава, не то из любопытства, не то из каприза и оригинальности, отдалась ему.

— И ночь, и луна, и любовь! — продекламировала Вава насмешливо.— Я буду спать. Просто умираю от усталости. Дай мне подушку.

— Хочешь конфет?

И когда он, немного разочарованный, нервный и очень влюбленный, устраивал ей постель, она милостиво позволила уложить себя. Но ей не спалось. В купе, с нагревшейся за день железной крышей, было жарко, и от выпитого шампанского горели щеки и слегка кружилась голова.

В открытое окно виднелась темная степь, черное августовское небо с крупными осенними звездами, а на са-

мом горизонте любопытно выглядывал край яркого, молодого месяца.

Пахло гарью, и мимо окна по временам пролетали снопы блестящих искр.

Вава сидела с ногами на диване, ела конфеты и рассуждала о событиях дня.

— Какая была поистине тропическая жара! Жениться надо зимой или поздней осенью. Летом следовало бы запретить всякие браки. По-моему, брак — учреждение отжившее,— говорила Вава.— Право, пора придумать что-нибудь новое!.. А людям недостает для этого ни ума, ни смелости. Это все равно, как если бы вечно из самых различных материй стараться выкроить всегда один и тот же фасон. Материя не выдерживает, иногда расползается, не гнется — и ничего не выходит. Надо также сознаться, как много шаблонного и даже пошлого в каждой свадьбе! Даже если взять уже только одну обрядную сторону. Боже, сколько мучений! И обед, и соседи, и витиеватые приветствия, и наконец, когда тот лохматый мировой судья вдруг крикнул: «Горько!» Идиотский обычай!.. Ну, да слава богу, что все кончено.

Вава облокотилась на подушку в серой дорожной наволочке и с облегчением вздохнула.

— Мама̀ плакала,— продолжала она, широко открывая свои глаза,— и папа̀ был видимо тронут. Удивительное дело, всю-то жизнь готовят в брак, тратятся на приемы и выезды и даже ставят свечи и молятся, а потом, когда удастся,— плачут.

Сергей Павлович сидел напротив, слегка сгорбившись, и бледное лицо его казалось еще старше и утомленнее.

— Ну, положим, ты преувеличиваешь немного,— сказал он лениво,— все было очень хорошо и просто. Именно так, как я этого желал.

Вава потянулась к нему и передала атласную бонбоньерку, которая была слишком тяжела, и сказала с гримаской:

— Да, конечно. Но все-таки я довольна, что все кончено. И знаешь, давай теперь всем говорить, что мы уже женаты... ну, хоть... три месяца? Вот только букет может выдать нас, но мы, так и быть, забудем его в вагоне. Хорошо?

И Вава весело рассмеялась, распустила волосы и стала заплетать их на ночь.

Стройная, с тонким станом, изящной грудью и невин-

ным, девическим лицом, она тихо покачивалась в такт замедлившему ход перед станцией поезду и смотрела на Сергея Павловича холодными, насмешливыми глазами.

— Что же ты молчишь? — сказала она, и голос ее дрогнул.— Поцелуй меня. Ведь теперь все можно, я твоя законная жена, и на долгие, долгие годы,

И она вдруг нервно зарыдала.

III

Все свадебные путешествия как две капли воды похожи одно на другое, и почти все они очень однообразны, уже по тому одному, что от них всегда почему-то ждут очень многого — безразлично, едут ли молодые в Египет или в деревню Ивановку.

Собственно для Вавы и Сергея Павловича так называемый «медовый месяц» окончился еще до свадьбы, когда они постоянно искали случая быть вместе, ждали друг друга на условленном месте, целовались украдкой, бродили по вечерам по огромному старому саду и вдоль темной речки и когда Сергей Павлович незаметно выбирался под утро из комнаты Вавы на общую террасу, стараясь, чтобы не скрипнула дверь.

Теперь все вдруг окончилось свадьбой и сразу потеряло свою прелесть. Нечего было уже прятаться и бояться. Все было испытано, дозволено, и притом навсегда, на всю жизнь.

Постоянное безделье, еда, сон и это освященное обычаем одиночество вдвоем наводили скуку и скоро надоели.

В первое время некоторое разнообразие внесли, правда, рассказы Сергея Павловича о своей холостой жизни и анекдоты, которых Ваве никогда не приходилось слышать раньше. Теперь, к удивлению своему, она узнала, что существует целая литература этого рода, служащая источником развлечений и наслаждений для мужчин всех возрастов.

Но и это скоро наскучило. Одно из двух: или Сергей Павлович рассказывал о своем прошлом с большим выбором, или же он рассказывал слишком неинтересно и скучно. Может быть, и то, и другое.

Что же касается анекдотов, то Вава хотя и смеялась вначале коротким, отрывистым смехом, широко открывая свои невинные серые глаза, но и они очень скоро ей опро-

тивели. Все было так пошло, грязно и гадко. Неужели Сергей Павлович мог находить удовольствие в этих рассказах?

Синее море, южные краски и звездные ночи обещали так много и говорили своей красотой и гармонией, что на свете должна быть любовь, поэзия и безумное счастье, за миг которого можно отдать всю жизнь,— и сознание этого мучительно волновало Ваву.

«Рама слишком хороша для картины нашей любви»,— иронически думала она и первая заговорила об отъезде. Пробыв две недели в Крыму, молодые вернулись в Петербург, где на первое время поселились в гостинице. Надо было устраиваться и подыскивать квартиру. Этим, впрочем, занималась одна Вава. Утром ей приносили из конторы объявлений печатные списки с указаниями квартир, и она тотчас же после завтрака, когда Сергей Павлович отправлялся на службу, шла на поиски. Первое время это даже занимало ее, мысль свить свое гнездо приятна каждой женщине, но она скоро утомилась, особенно когда Сергей Павлович во всем старался ограничивать ее начинания и порывы.

Он очень серьезно объяснил Ваве, что при бюджете в 7—8 тысяч можно только очень скромно прожить в Петербурге. Что экипажа держать нельзя, что квартиру надо брать скромную и вообще во всем ограничивать свои желания, а главное — не выходить из бюджета.

Сергей Павлович был тягуч и нуден, и Вава с большим нетерпением выслушала его.

— До женитьбы,— сказал он, между прочим, своим вялым, бесстрастным голосом,— я жил на Офицерской улице во дворе, в пятом этаже, и держал одну прислугу. У меня была квартира из двух комнат с кухней, и я платил за нее двадцать пять рублей в месяц. Но тогда я не был женат, а это большая разница. Тем более,— прибавил он,— надо быть осмотрительнее теперь и не бросать денег зря. Твои три тысячи ведь не бог знает что!

Вава слушала и кусала губы. Ей казалось, что она с высоты воздушного шара попала прямо в мрачное, илистое болото. Она испуганно посмотрела на бледное и равнодушное лицо Сергея Павловича и не нашлась ничего ответить ему.

Ведь он был только логичен и совершенно прав.

Квартира отыскалась наконец в одной из тихих аристократических улиц, в громоздком доме самой новейшей архитектуры, со стрельчатыми, узкими окнами, похожи-

ми на бойницы, с ленными потолками и полутемными, неудобными комнатами. Зато подъезд, лестница и швейцар были великолепны. Вообще дом был самый современный. На каждой площадке стояло по велосипеду, а на лестнице целый день не умолкал грохот игры на фортепиано, несшийся изо всех квартир. Комнат было пять, и все они были темноваты и неуютны. Но делать было нечего. Все, что было лучше и правилось Ваве, стоило гораздо дороже. Надо было также скорее устраиваться, потому что Сергею Павловичу необходим был, при его занятиях, покой и строго регулярная жизнь.

При покупке мебели и отделке квартиры Ваве снова пришлось выслушивать наставления мужа и сдерживать свои художественные порывы и желания. Все было тесно, бедновато и мизерно.

И гостиная с поэтическим беспорядком мягкой мебели, роялем, зеркалами и ковром, и кретоновая спальня, и крытый кожей кабинет, и дубовая столовая — все было очень прилично, точная копия множества других квартир, в которых потом пришлось бывать Ваве. Во всех комнатах не было ничего лишнего, чего-нибудь такого, что бы говорило об оригинальности вкуса или наклонностей хозяев.

Сергей Павлович больше всего любил порядок и аккуратность и строго взыскивал за малейшее отступление с жены и прислуги. Поэтому все комнаты скоро приняли вид мертвенный и нежилой.

Когда, наконец, все было поставлено, повешено и готово, Вава почувствовала большое уныние и сказала:

— Всякий раз, когда я представляла себе, как я устрою свой home *,— это было совсем, совсем иначе!

Сергей Павлович вопросительно поднял брови и сказал своим спокойным голосом:

— А чего же ты хотела? Что за фантазии! К чему они? Эта квартира и обстановка как раз именно то, что нам нужно, и я не желаю пока ничего лучшего. И вообще, друг мой, ты настолько умна, что, надеюсь, поймешь, что живость речи, оригинальность и вообще многое из того, что ты могла позволить себе в Москве, надо будет пока совсем оставить здесь, так как это не согласуется с тем поведением, какого я желаю, чтобы держалась моя жена, заметь себе это. Я не настолько подвинут еще по службе,

* дом *(англ.)*.

чтобы жена моя могла позволить себе поступать так, как ей угодно.

В первый раз Сергей Павлович выразился так ясно и определенно, и Вава, всегда скорая на язык, не нашлась, что ему ответить, хотя душа ее была полна негодования. Но Сергей Павлович даже не взглянул на нее. Он спокойно проглотил последний кусок, методично сложил салфетку и, поцеловав руку жены, отправился на службу пешком, что делал ради моциона.

Вава пошла в гостиную и, взглянув на поэтическую тесноту, длинные зеркала и узкие окна, скупо пропускающие свет с улицы, подумала с горечью: «Готова моя тюрьма!»

Какая разница с Москвой! Там даже и название переулка происходило от их фамилии.

Просторный дом-особняк стоял между большим двором и хорошеньким садом, куда выходила терраса, обвитая диким виноградом. Зимой в саду устраивали каток и катанье с гор. Весною вокруг дома благоухала сирень, а в саду густо цвели яблочные и вишневые деревья, и Вава и ее сестры носили в волосах бледно-розовые цветы. Позже зацветал жасмин, розы и липовые деревья, так что можно было вообразить себя на даче. Комнат было много. Невысокие, уютные, с антресолями, со старинной мебелью и веселыми уголками, где росли, учились и выравнивались все четыре барышни Ламские. По вторникам были назначенные дни. В зале танцевали, пели, играли в фанты, гадали на святках и ухаживали. В угловой диванной и в кабинете играли в карты по четырехсотой в винте, и никто не считал такую игру недостойной внимания. В гостиной на стенах рядом со старинными, ценными картинами висели простые олеографии. И никто этим не смущался. Картина — и все тут. За ужином подавали удивительную, необыкновенно вкусную вишневую наливку и домашний квас, и это всем очень нравилось. А главное — всего было много, все было просто, но широко и «по душам», и главное — никто не хотел казаться выше того, чем он был. А в Петербурге все было натянуто, узко и часто очень неприятно задевало самолюбие.

Когда все в доме было налажено и устроено, то Вава сделала визиты некоторым родным, знакомым и сослуживцам своего мужа. Сергей Павлович строго проконтролировал ее туалет, а также сказал маленькую речь о тех лицах, к которым предстояло ехать. А именно, он рассказал их

краткие биографии (причем нисколько не щадил их), включив сюда их послужной список, а также сообщил, чем они могут быть полезны и каким влиянием пользуются. Кроме того, Сергей Павлович научил Ваву, где что говорить и в каком духе, а также как держать себя в том или другом доме.

Со стороны можно было подумать, что они как сообщники приготовляются идти в атаку, причем старший и более опытный обучает младшего и неопытного.

— Помни, мой друг,— сказал Сергей Павлович в заключение,— помни, что главное в жизни и светских отношениях — это выдержка и такт, они даже часто заменяют ум и дают возможность с честью выходить из самых трудных положений.

Вава лежала на кушетке, смотрела в потолок, слушала и зевала.

— Ну, нечего сказать,— произнесла она насмешливо,— весело у вас в Петербурге. Славное общество и хорошенькие у тебя знакомые!

Сергей Павлович снисходительно улыбнулся этой ребяческой выходке Вавы и, поцеловав ее руку, продолжал:

— Разве я виноват? Ничего не поделаешь. Но все-таки необходимо помнить, что все это люди нужные, с положением и влиянием. Такими связями следует дорожить, они могут пригодиться в будущем. А это не мешает помнить!

По-видимому, Сергей Павлович более всего боялся оригинальности, живости языка, а также независимости мнений своей жены.

— Мой друг,— говорил он,— обещай мне, что ты будешь поступать именно так, как я просил тебя, и не захочешь испортить мне отношений, которыми я дорожу.

И Вава обещала, насмешливо кивнув головой.

О, она не станет портить отношений! Да и к чему?

После визитов у Вавы разболелась голова и расстроились нервы. Спустя два дня, по желанию мужа, она засела дома, ожидая отдачи визитов. Погода была хорошая, ей хотелось гулять, а потом надеть блузу, передник и рисовать, но она должна была чинно сидеть в гостиной с книгой в руках и ожидать. Она сердилась, возмущалась, но все-таки сидела и ждала.

Когда все визиты были отданы, Ваву очень удивило странное любопытство Сергея Павловича и то значение, которое он придавал разным мелочам. Так, он желал не-

пременно узнать, кто был и когда именно, долго ли пробыл и о чем говорил и что отвечала Вава. Тут же Сергей Павлович указал жене на некоторые ошибки, сделанные ею в разговоре,— конечно, по незнанию и неопытности,— и строго осудил ее.

Но это было еще не все. Надо было дать два обеда тем лицам, с которыми обменялись визитами. И это тоже принесло с собой много хлопот и треволнений для Вавы и множество указаний и поучений со стороны Сергея Павловича.

Когда все было строго обдумано и обсуждено: и меню обеда, и вина, и закуски, и сервировка стола, а также самое главное — как, куда и с кем кого посадить и даже как одеться хозяйке,— Вава почувствовала головокружение. Придя к себе, она заперлась на ключ, приняла валериановых капель и фенацетину и, распустив волосы, стала читать Бодлера, чтобы дать мыслям другое направление.

Первый обед сошел не совсем благополучно, Вава сделала несколько промахов в разговоре, зато на втором все прошло превосходно, и Сергей Павлович получил много лестных отзывов о своей супруге от лиц, мнением которых он дорожил. Но этим дело не кончилось. Надо было ездить на скучные обеды, журфиксы и вечера, во время которых следовало поступать во всем по указаниям Сергея Павловича.

На этих обедах и вечерах говорилось о назначениях, наградах, рескриптах и повышениях, но теперь все эти разговоры, которые так нравились Ваве в Москве, уже не доставляли ей никакого удовольствия. И все время, особенно вначале, у нее было такое чувство, точно она ходит по туго натянутому канату, рискуя каждую минуту потерять равновесие.

И Вава везде имела успех, прочный и солидный, именно такой, какого желал Сергей Павлович. Ее находили в свете, даже в самых строгих домах, très gentille и даже très spirituelle *. Но от этого не было легче. Сергей Павлович был очень занят, и Вава почти все время была одна. Но она не унывала. В сущности же она продолжала вести как бы свою прежнюю, девичью жизнь.

Она пела и рисовала по утрам, много гуляла и писала письма к сестрам и подругам в Москву. Вечером, если не надо было ехать куда-нибудь, она читала или бывала

* очень милой... очень умной *(фр.)*.

в опере и посещала концерты с одной пожилой родственницей Сергея Павловича. Муж редко сопровождал ее. Вкусы его, несмотря на серьезную внешность, были самые легкомысленные. Так, он любил цирк, оперетку, фарсы Михайловского театра да изредка Александринский театр, когда играл Варламов[3]. Таким образом тихо и незаметно проползла зима. Со стороны можно было подумать, что Вава и Сергей Павлович женаты уже много лет — так все шло методично и скучно. Весной Вава вздумала учиться по-итальянски, и потому к ней два раза в неделю приходила некая девица, похожая на Дузе[4], и она с нею читала д'Аннунцио, Матильду Серао и Аду Негри[5] в подлиннике. Кроме того, чтобы занять время, Вава начала брать уроки пения у известного профессора. Она по-прежнему читала очень много и рисовала по утрам карандашом с гипса.

Но скоро ей этого показалось мало, и, кроме итальянки, в свободные дни к ней приходила miss Mabel, для практики английского языка, а также для того, чтобы гулять вместе.

Сергей Павлович был решительно против одиноких прогулок.

— Я не желаю,— говорил он,— чтобы жену мою видели одну на улице.

Вава подчинилась и этому требованию. Не все ли равно? Вдвоем гулять веселее, англичанка все-таки что-нибудь болтает.

Сестры писали веселые письма, и Ваве хотелось домой. Что-то они все там поделывают? Когда она жила с ними вместе, то и не воображала, сколько нежности испытывала к ним. Боже мой, сколько там у них смеха, веселья и самых разнообразных маленьких интересов, которые кажутся им очень важными и нужными. Мэри влюблена в Корицкого, это видно из писем; Катя была на своем первом балу, а Иннокентий, должно быть, вырос и воюет по-прежнему с своими гувернантками... Хоть бы взглянуть на их жизнь... Где-то теперь Андрюша? Любит ли он ее еще? Или забыл?.. Все мужчины на один лад... Негодяи, а без них скучно!

Время шло быстро, настал великий пост, и Ваву еще сильнее потянуло к своим. Неужели она не будет во время заутрени в университетской церкви, а потом в Кремле?

Она говела в Уделах, где встречала некоторых из нужных и высокопоставленных знакомых Сергея Павловича,

и там же была у заутрени в очень простом, серьезном белом платье, рядом с мужем, только что получившим новый знак отличия.

Летом у Сергея Павловича не было отпуска, пришлось жить на даче. И это была все та же тесная жизнь, особняком, как и в городе. Официальные знакомые все разъехались, а близких никого не было. Одним из житейских правил Сергея Павловича было никогда не иметь интимных знакомых. «Это только портит отношения»,— говорил он.

Каждое утро Сергей Павлович уезжал в город, недовольный тем, что его рано разбудили. Возвращался он также большей частью не в духе, обедал и тотчас же ложился отдыхать; и так было каждый день.

Вава вставала рано, ходила купаться и, распорядившись по хозяйству, гуляла в парке или сидела там с книгой. Она начала также гигантскую работу и, сидя в дождливые дни на балконе, вышивала птиц, бабочек и жучков шелками и золотом по атласу и радовалась, что работа эта притупляет мысли и утомляет глаза и руки.

Осенью у Сергея Павловича стало еще больше работы, а к Рождеству он надеялся снова получить повышение по службе. Его заботило теперь, впрочем, одно, а именно, что придворное звание, которое он носил, было несовместимо с ожидаемым повышением. Но он надеялся на свои связи и действительно получил то, чего желал. С переездом в город для Вавы началась та же прошлогодняя жизнь. Теперь она уже не делала никаких ошибок и держала себя с замечательным тактом и выдержкой. Она превосходно знала также, что от кого можно ожидать и на что надеяться, и держала себя сообразно этому.

Но ее взгляд на людей странно изменился. Прежде она разделяла людей на интересных и безразличных, как разделяла их на молодых и старых. Теперь люди были «нужные» и «не нужные». Нужных людей было меньшинство. Благодаря их связям и положению ими надо было дорожить и поддерживать с ними дружеские отношения. Остальное большинство — это были люди не нужные. С ними нечего было церемониться, и их можно было просто не узнавать при встречах. Вава называла их мелочью, а Сергей Павлович в откровенные минуты — просто мусором. Прежде Вава предпочитала одних людей перед другими за какое-нибудь нравственное или физическое преимущество, например: за ум, талант, красоту. Теперь нужными

и интересными оказывались люди, не обладавшие часто никакими личными достоинствами, очень часто тупые и отсталые по вкусам и понятиям.

Точно так же Вава изменила теперь свой взгляд на отношения людей к себе самой. Прежде, когда за ней ухаживали или влюблялись в нее, она верила, что нравится своими личными качествами — хорошеньким лицом, умом, голосом. Теперь она уже не могла быть уверена в этом и склонна была думать, что к ней относятся так, а не иначе благодаря служебному положению Сергея Павловича. И она смотрела на взаимные отношения людей предубежденными глазами.

В том скучном, замкнутом и высокопоставленном кругу, где бывала Вава, про нее иначе теперь и не говорили, как «c'est une femme charmante» *. А это что-нибудь да значило! И Сергей Павлович был горд и доволен.

Вообще он был рад, что не ошибся и что Вава оказалась именно такою женой, какая была ему нужна. Он радовался также и тому, что Вава так скоро «обошлась», оставила все свои девичьи фанаберии и позволила выдрессировать себя.

К Рождеству Вава окончила новую прелестную работу, которая была выставлена на выставке поощрения женского труда. Вава сделалась членом этого общества и даже дежурила раза три у колеса беспроигрышной лотереи в пользу Красного Креста. Дамы — членши этого общества были все чопорно-любезны с нею, потому что, вероятно, знали о блестящем положении, которого добивался и понемногу достигал Сергей Павлович, но Вава жестоко скучала и дала себе слово не записываться впредь в члены какого-либо общества.

Письма сестер развлекали ее, и ей сильно хотелось домой. Но уехать так, среди года, было неудобно, и она сама понимала это. Что скажут и что еще подумают!

Но так как все-таки было много свободного времени, то Вава по-прежнему старалась убивать каждую минуту и усерднее прежнего придумывала себе разные занятия. Она прекратила уроки пения, но зато серьезно занялась живописью. Заслуженный профессор академии, с громким именем, приезжал к ней два раза в неделю и одним взмахом кисти одухотворял ее этюды. А она думала, что делает успехи, и радовалась.

---

* эта очаровательная женщина *(фр.)*.

IV

На Пасху она поехала к своим и, пожив с неделю в прежней обстановке, почувствовала себя так, как будто у нее выросли крылья.

Неужели она замужем? Неужели живет в узком, темном и гадком Петербурге? Неужели должна принимать «нужных людей», а в остальное время выискивать и выдумывать, чем бы занять ум и руки?

Когда Вава приехала, ей очень обрадовались. Сестры наперерыв целовали, тормошили, ахали и жадно разглядывали ее, и все единодушно решили, что она очень похорошела. Стала совсем другая,— ну, одним словом, настоящая петербургская grande dame.

Мать Вавы, игравшая целый день в карты с постоянными партнерами, оглядела опытным взглядом изящную фигуру дочери и многозначительно сжала губы.

— А бэби? — необдуманно выпалила Инночка, самая младшая сестра, которую отец да и вся семья звали Иннокентием, потому что, когда она родилась, ждали сына.— Где у вас бэби? Эх вы, стоило жениться, нечего сказать!

Иннокентий еще держалась того мнения, что выходят замуж для того, чтоб иметь детей и заниматься с ними.

— Бэби не будет, должно быть,— сказала Вава, улыбаясь,— уж не сердись, Иннокентий! Я — пустоцвет, моя крошка.— И она, напевая, ушла в залу, чтобы показать Мэри привезенные с собою новые романсы.

Мать Вавы посмотрела ей вслед, покачала головой и ничего не сказала. Странные теперь настали времена. Детей почти ни у кого нет... Какая уж тут семья и семейное счастье!..

Ваве было хорошо. Знакомая, милая жизнь обняла ее со всех сторон как теплая, нежная ванна. Сестра Мэри была невестой того самого Корицкого, который раньше тщетно ухаживал за Вавой. И хотя Корицкий был просто помещик и, не обладая никакими выдающимися качествами, мог доставить своей жене только самую серенькую жизнь, Мэри так и сияла от счастья. Иннокентий уверяла даже, что видит «лучи».

В доме было шумно, весело и пахло счастьем. Весна была ранняя, так что к концу святой на березках в саду уже стали развертываться клейкие зеленые листики. Земля была влажная, солнце ярко светило и грело, и Вава чувствовала себя молодой, жизнерадостной и красивой. За ней

много ухаживали, но совсем иначе, чем в Петербурге, и это смешило и радовало ее. Она встретилась также с Андрюшей Ламским, дальним родственником и однофамильцем, в которого была «влюблена сердцем» до своего замужества.

Этот Андрюша был молодой человек, каких специально производит одна Москва. Он где-то служил, но ни от кого не скрывал, что дела его очень плохи. Огромное состояние было прокучено еще дедом и докончено отцом. Андрюше оставался заложенный дом с огромным гербом, но со ржавою крышей и тысяч тридцать денег, которые он и проживал, не мудрствуя лукаво, надеясь впоследствии поправить дела выгодною женитьбой. «Конечно, скверно жениться из-за денег,— рассуждал он,— но ведь жить без денег гораздо хуже». Вообще Андрюша был фаталист и дилетант. Он любил все искусства: музыку, живопись, театр и литературу. Если б у него были деньги, то из него непременно вышел бы грандиозный меценат, каким был дед его, знаменитый Илларион Ламской. Но так как денег не было и меценатствовать было нельзя, то Андрюша лично отдавал дань всем искусствам.

Он импровизировал очень недурно на фортепиано, и хотя ему, конечно, недоставало школы, но зато он был своим человеком в музыкальном мире. Лавры Мейсонье [6] не давали ему покоя, и он писал масляными красками микроскопические картинки и делал иногда довольно удачные копии. Андрюша дружил с артистами Малого театра, сам нередко участвовал в любительских спектаклях и даже пользовался известностью на этом поприще. Он писал недурные стихи, которые, правда, напоминали не то Апухтина, не то Мюссе [7], но печатались в некоторых московских изданиях. Таким образом, у Андрюши были связи и в литературном мире. Родных, приятелей и знакомых у него было пол-Москвы, и везде его любили, баловали и ласкали. И наружность у него была родовитого, избалованного барича. Говорил он лениво, постоянно щуря близорукие темно-карие глаза. Движения его были изнеженные и походка с развальцем, и Вава шутя называла его Обломовым. Он сильно нравился ей, но она ненавидела себя за эту слабость и потому изводила его насмешками. Раз не то из каприза, не то из желания пооригинальничать Вава согласилась ужинать с ним вдвоем в отдельном кабинете ресторана, где они оба все время вели себя так же сдержанно и примерно, как будто бы присутствовали на офи-

циальном приеме. Замужество Вавы глубоко оскорбило Андрюшу и доказало ему, как он ничтожен в ее глазах и чего она хочет от жизни.

Когда они случайно встретились теперь, его полное лицо слегка изменилось, но, быстро овладев собой, он подошел к Ваве. Целуя кончики ее пальцев, он проговорил:

— Ma cousine, я благоговею, теперь вы — «жена цезаря», и этим все сказано.

Вава рассмеялась, а потом задумалась.

Жена цезаря!

Да, жена маленького цезаря одного из петербургских министерств... Андрюша, сам того не понимая, попал очень метко. Но какая ирония в этом названии, какая насмешка!

Жена римского цезаря была выше подозрений [8] и могла делать все, что ей угодно. Зато жена современного цезаря обязана зорко следить за всеми своими поступками и чувствовать всю тяжесть своего высокого положения. Времена и взгляды переменились...

Во время этой единственной встречи с Вавой Андрюша был очень сдержан, холоден и ни слова не сказал о прошлом. Вава его больше не видала. Ей сказали, что он уехал в деревню, и она была недовольна и зла. «Какая глупость эта так называемая «мужская гордость»!» — думала она с досадой.

Вава пробыла еще две недели. Она осталась бы еще дольше, но отец и мать находили, что разлучаться с мужем на более долгий срок неудобно.

— Но уверяю вас, мамà,— говорила Вава взволнованным голосом,— уверяю вас, что я ему вовсе не нужна... Он так занят, что я ему только мешаю. Да, наконец, и вижу я его только за завтраком и в шесть часов, за обедом. Согласитесь, что это немного.

Мамà на минуту воззрилась с испугом в лицо Вавы. Она подозревала, что дочь не особенно счастлива с этим «сухарем», как она давно уже мысленно окрестила зятя. Но, как бывалая, осторожная женщина, она боялась расспрашивать и тем, может быть, раздуть едва намечавшееся несогласие.

— Ну, ты преувеличиваешь, Варенька,— сказала она, избегая смотреть в глаза дочери.— Все мужчины заняты, и это еще слава богу, а то бы они одурели совсем. А твой муж делает карьеру, и это надо ценить... Поверь матери, ты только ему повредить можешь, если станешь так разъез-

жать... Ты знаешь Москву... Надо и о сестрах подумать... Сейчас что-нибудь наплетут...

Вава немного побледнела. Лицо ее стало печально, но она гордо подняла голову и ничего не сказала.

Перед отъездом Вава очень просила отпустить с ней Иннокентия хоть на неделю погостить, но ей и этого не разрешили. «Иннокентию надо учиться,— сказал отец,— а у тебя она вконец избалуется». И Вава уехала одна.

Сергей Павлович явился встретить жену на вокзал такой величественный, спокойный — настоящий петербургский цезарь из молодых, да ранний. Он поцеловал руку Вавы и осведомился, как она провела ночь. Потом он отвез ее домой в карете, рассказывая дорогой, какие существенные перемены произошли во время ее отсутствия в канцелярии. Впрочем, он тотчас же должен был проститься с Вавой, так как торопился на службу.

Вава машинально обошла все комнаты, и ей пришли в голову все те же слова: «Вот она, моя тюрьма». Знакомые предметы: зеркала, картины, рояль и мебель стояли все на тех же местах, как она оставила их, и говорили о скучных днях и длинных, томительных вечерах. Все то же, то же, то же! Никакой перемены... И как все тускло, темно и скучно... Вава распорядилась по хозяйству и заказала обед. Потом она вернулась в спальню, легла на кровать и пролежала так весь день. Она не спала, но ее мучила неотступная, навязчивая мысль: «Неужели всегда, всегда так будет? Изо дня в день? Без жизни, без перемены, без счастья? Так до самой могилы?»

V

Снова потянулся ряд тусклых, однообразных дней, и все пошло по-старому, по раз навсегда отлитой форме, и так, как было всего удобнее для Сергея Павловича и его службы.

Вава старалась вставать позднее. День все-таки тогда казался покороче, но это ей не всегда удавалось. Иногда же вовсе не хотелось вставать и начинать все то же. А между тем жизнь била в ней ключом, и удовлетворить эту жажду жизни было нечем.

Сергей Павлович всегда вставал поздно. Первый раз его будили в одиннадцать часов, но окончательно просыпался он только к двенадцати. Тогда он вставал бледный, апа-

тичный, едва ворочая языком, совершал свой туалет, завтракал и отправлялся на службу. Возвращался он к шести часам, голодный и утомленный. Обедал и ложился отдыхать. Иногда, когда не было заседания или какой-нибудь комиссии, он так и спал весь вечер. И Вава все время была одна. А когда Сергей Павлович вставал, то Вава шла спать.

Ночью Сергей Павлович занимался. Тогда он жил лихорадочной жизнью, писал талантливые журналы, постановления и определения, читал книги и газеты, выкуривал множество папирос и засыпал часа в четыре или пять утра. Он так привык к этому режиму, что уже не мог жить иначе. Поэтому с первого же дня по устройстве в Петербурге Вава и Сергей Павлович нашли всего удобнее каждому иметь свою спальню, чтобы не стеснять друг друга.

— Мы с тобой как солнце и месяц,— сказала как-то Вава,— когда ты ложишься, я встаю!

Лето прошло так же скучно и уныло, как и предыдущее, и хотя жили не в Царском, а в Финляндии, разницы от этого не было никакой. А по возвращении в город снова потянулись те же однообразные дни, похожие друг на друга, как старые, стертые двугривенные.

Хорошо выдрессированная прислуга была исправна. Все делалось и подавалось по часам, и домашняя машина шла как по маслу, каждый день повторяя то же самое. Порядок был самый образцовый, такой, какого требовал Сергей Павлович во всем и ото всех. Снова были визиты нужным людям, званые обеды и скучные, натянутые вечера. Изредка ездили в театр, но Вава не любила этих выездов — они утомляли ее. К тому же Сергей Павлович бывал всегда слишком нервозен, так как лишался послеобеденного сна. Он начинал бранить игру актеров и сердиться на жену из-за всякого пустяка. А на другой день ему уже было гораздо труднее вставать утром.

Поэтому Вава старалась отклонять редкие предложения Сергея Павловича ехать в театр.

Одетая в свободное домашнее платье, она читала, запершись в своей комнате, или играла целыми часами на рояле.

Музыка и чтение для множества женщин — тот же гашиш. Это занимает время, будит и развивает мечтательность, успокаивает, развлекает, а также слегка расстраивает нервы. Иногда Вава думала о том, что бы она стала делать без книг и без музыки. Мало того, что стали бы

делать множество праздных, неудовлетворенных и неуравновешенных женщин, если б к их услугам не было романов и фортепиано.

Жизнь так скупа и удовлетворяет не многих.

Так протекали дни за днями — бесцветные и безвкусные, как вода.

Теперь художественные гигантские работы были заброшены — они слишком надоели. Уроки рисования, языков и пения были тоже оставлены. Чтобы работать и учиться, необходимо добиваться какой-нибудь цели — заниматься чем-нибудь без всякого стимула скучно и неинтересно. Петь было трудно, потому что горло сжималось очень часто безо всякой причины, и там стоял точно какой-то кусок, и дыхание точно останавливалось в груди. Хотя это было очень неприятно, но Вава сначала не обращала никакого внимания.

— Серж, знаешь, я страдаю, кажется, астмой,— сказала она как-то, смеясь, за обедом.— Право же, уверяю тебя. Дыхание останавливается вот здесь и ужасно тяжело!..

Сергей Павлович взглянул на нее рассеянно, очевидно, думая о другом, потом пожал плечами и сказал спокойно:

— Какие глупости, не выдумывай, пожалуйста! Астма бывает только у стариков.

Но маленькие недомогания все увеличивались; мало того, все рождались новые и новые. Сон стал очень капризен и неправилен, потом совсем исчез аппетит. Противно было не только есть, но даже думать о кушаньях, когда приходилось заказывать обед. Потом начались головокружения, невыносимая тоска по утрам, сердцебиения и несвязные мысли о том, что жить не стоит, и страх смерти.

Боязнь внезапно умереть была так велика, что Вава, выходя из дому, всегда брала с собою визитную карточку с самым точным, подробным адресом для того, чтобы знали, куда отвезти ее... Свои недомогания Вава тщательно скрывала ото всех, боролась с ними, сколько хватало сил, и старалась не поддаваться им. Сидя в своей комнате длинными вечерами, она иногда вспоминала свои смелые, девичьи мечты, свое полное незнание жизни и людей, а также многие свои неосторожные слова, значение которых она не всегда хорошо понимала, и на лице ее тогда бродила жалкая улыбка. Какая она была тогда живая, решительная и смелая! Как многого ждала от жизни и как горько раскаивалась теперь...

Вава ничего не сказала мужу, но отправилась в приемные часы к известному профессору по нервным болезням.

В большой, красивой гостиной было уже несколько человек, и почти на всех лицах было написано равнодушие и покорность судьбе. И все поглядывали друг на друга с недоверием, видимо подозревая в каждом из присутствующих душевнобольного, кто знает, может быть, и буйного? Шурша шелковыми юбками, вошли две красивые, молодые дамы, на вид такие цветущие и здоровые, что Вава невольно удивилась и не понимала, от чего бы они могли лечиться.

«Des détraquées, quoi *,— подумала она презрительно, но тут же спохватилась.— А я-то сама? А я зачем здесь?»

И ей стало обидно и досадно до слез.

Сидя потом в роскошном кабинете психиатра, Ваве казалось, что знаменитость видит ее насквозь. Мало того, даже подсказывает ей о тех болезненных симптомах, какие она ощущала, точно сразу поняв, чем и отчего она страдала.

И Вава не ошиблась. Профессор видел ее насквозь. Лицо его выражало утомление и сочувствие. Он делал короткие вопросы, определенные, как удары ножа, и что-то быстро записывал в памятную книгу, которую держал у себя на коленях, прислонив ее к письменному столу. Потом он заговорил, выражаясь сжато и определенно, точно отдавая короткие приказания. Да, он сразу понял, в чем дело. И то сказать, сколько ему пришлось уже видеть за свою долголетнюю практику современных женщин, у которых, казалось, все было для счастья, а между тем они искренно страдали. Не мог же он сказать им: «Надо в корень изменить вашу жизнь, которая уродлива и ненормальна. Надо изменить общество, людей, законы нравственности и справедливости. Все!» Точно так же, как он не мог сказать теперь Ваве: «Вы больны и несчастны, потому что ваша жизнь не удовлетворяет вас. Вы переутомлены одиночеством, обстановкой, мужем и вообще всем, что вас окружает. И потому оставьте эту жизнь, этого мужа, и чтобы все было новое. Любите, имейте детей, живите нормально, и все будет иначе. Вы выздоровеете».

Но так как профессор не мог сказать всего этого откровенно (да это ни к чему бы и не послужило), то он только прописал бром, холодные обтирания, про-

---

* От расстройства нервов, что ли *(фр.)*.

гулки и развлечения. Кроме того, он рекомендовал поездку за границу на продолжительное время. Эта поездка, без сомнения, могла тоже принести свою долю пользы,

VI

Весну и лето Вава провела за границей, в Франценсбаде, Виши и потом на морских купаньях. Она поправилась, окрепла и, благодаря приемам бромистых препаратов, испытывала какое-то спокойное, безразличное состояние, которое было довольно приятно.

Осенью прямо из-за границы она проехала в имение молодых Корицких, где все лето гостили отец с матерью и младшие сестры.

Мэри еще не совсем оправилась от родов, но была очень счастлива. Об этом не нужно было говорить, так как полнота счастья чувствовалась во всем — в воздухе, в мелочах, виднелась на лицах гостей и прислуги. Сидя в залитой осенним солнцем спальне и смотря, как Мэри, похожая на мадонну, томная и гордая, кормила своего бэби, Ваве приходили в голову мысли, никогда не приходившие ей прежде.

— Мама,— сказала она как-то матери,— вот теперь Мэри приготовила себе вторую жизнь, а для вас начнется третья. И вы обе будете все переживать сначала — и детство, и первые шаги, и первые зубки, и первые слова. Разве это не чудесно? А потом ученье, а потом ранняя юность, свежесть первых впечатлений, любовь, замужество... Как все мудро устроено, и как это я никогда не думала об этом. И ничего этого у меня нет, да, вероятно, и не будет...

«Теперь для Мэри жизнь полна интереса, у нее есть будущее, и ей не страшна утрата молодости и личной жизни,— думала Вава.— Да, надо стремиться исполнить в жизни все, что следует по рутине, иначе природа жестоко отомстит впоследствии». И Ваве казалось, что эта месть уже началась для нее.

Когда она вернулась в Петербург, то в первый же день она вошла в кабинет мужа и сказала просто:

— Я хочу ребенка! — И она пояснила: жизнь без цели утомила ее, она все одна и не особенно счастлива. А когда пройдет молодость... Что тогда? Чем жить и для чего?

Сергей Павлович слушал ее, с забавным изумлением приподняв брови. «Разве она одинока? Разве несчастлива?» — мысль эта никогда не приходила ему в голову.

— Но ведь ты же сама,— сказал он скептически, — ведь ты сама ставила еще невестой условием, чтобы не было детей... Конечно, я не послушался тебя, в этом ты можешь быть уверена... и, несмотря на это, детей у нас все-таки нет... À qui la faute? * Право, ты должна быть только довольна. А... впрочем, посоветуйся с доктором.

Сергей Павлович замолк, и Вава, взглянув на него, убедилась, что он очень устал и хочет спать. Она бесшумно выскользнула из кабинета и, притворив по дороге все двери и спустив драпировки, стала ходить взад и вперед по гостиной. Теперь она догадывалась, какой совет мог бы ей дать знаменитый психиатр. А так как она, подобно многим женщинам, любила искать примеров в литературе, по отношению к себе и своей жизни, то она вдруг вспомнила одно из остроумнейших предисловий к театру Александра Дюма [9].

Там, где он говорил, что для женщины, не нашедшей личного счастья в замужестве, существуют три исхода. А именно: ребенок, любовник и бог; то есть любовь материнская, любовь земная и любовь духовная... И Вава долго ходила по гостиной и думала, думала.

Потом она открыла фортепиано и заиграла Andante Лунной сонаты, которое так хорошо играл Андрюша Ламской и которое напоминало ей Москву.

VII

К Рождеству Сергей Павлович получил новое назначение и придворное звание, дававшее Ваве права приезда ко двору.

Все шло прекрасно, и Вава казалась вполне довольной. Муж ее блестящим образом оправдал все ее ожидания. Успех имеет магическое свойство гипнотизировать, и победителей не судят. Нередко Вава сама заглядывала теперь в «Правительственный вестник», интересуясь наградами и производствами.

Бюджет теперь настолько увеличился, что Сергей Павлович сам предложил жене переменить квартиру, обстановку и вообще весь строй жизни.

* Кто виноват? *(фр.)*

«Теперь ты, пожалуй, разрешил бы мне даже быть живой и оригинальной,— подумала Вава с горечью,— да жаль: это уже невозможно!»

Вообще многое изменилось к лучшему в смысле удобства и разнообразия жизни. Вава проводила время шумно и весело, и дом ее уже не казался ей тюрьмою.

Здоровье было хорошо, нервы, по-видимому, окрепли, и только в больших серовато-голубых глазах появилось уж слишком холодное, равнодушное выражение.

После своей заграничной поездки Вава даже похорошела — это было общее мнение.

Она сделалась еще изящнее, женственнее и обаятельнее и высматривала совсем молоденькой женщиной, со своей тонкой талией и хорошеньким, нежным лицом. Нередко в магазинах, где ее не знали, ее называли «барышней» и «mademoiselle», и это смешило ее.

Между тем Сергей Павлович, вследствие условий своей жизни и усиленных занятий, быстро старился, горбился и лишался волос и аппетита. Вава хорошела, чувствовала свою силу и ждала. Чего? Она сама хорошенько не знала. Но вместе с выздоровлением у нее явилась уверенность в том, что жизнь готовит ей еще кое-что впереди. И надежда эта теплилась в ее душе и давала ей желание жить.

VIII

В большой полутемной столовой с массивным резным буфетом и тяжелой бронзовой лампой кончали обедать.

Вава облокотилась руками на стол и внимательно следила за обоими мужчинами, точно сравнивая их.

Против нее сидел Сергей Павлович. Свет лампы обливал его сухую, немного сгорбленную фигуру и начинающую сильно лысеть голову. Он сосредоточенно и очень серьезно чистил мандарин, методично разделяя его на части.

— Он далеко пойдет,— говорил Сергей Павлович про кого-то из общих знакомых.— Я предсказываю, что он пойдет далеко,— такие люди нам нужны.

И Вава внутренно смеялась:

«Боже мой, как важно! Нам. Кому нам? России? Отечеству? Государству?.. Выражается, точно в манифесте...»

Но ей стало еще веселее, когда она взглянула на Андрюшу, на его открытое, жизнерадостное лицо с нежными, как у женщины, глазами. Какой контраст!

Вот кто просто разрешает задачу жизни, не вдаваясь в крайности и не мучая ни себя, ни других.

Приехал он обедать в смокинге и белом жилете на московский лад, и это очень шло к нему, между тем как Сергей Павлович даже у себя дома был в сюртуке. И Ваве казалось, что в темных зрачках Андрюши вспыхивали иронические искорки, когда он смотрел на Сергея Павловича.

После кофе Вава позволила курить, но уже десять минут спустя Сергей Павлович встал со своего места, извиняясь. Ему надо было ехать к военному министру, который в прошлом заседании остался при особом мнении, и показать ему для подписи свой журнал.

— Надеюсь, Андрей Петрович, вы простите меня,— сказал он,— к сожалению, мы не всегда принадлежим себе.

Потом, уже переодетый во фрак, со скромною брошью микроскопических орденов, он зашел еще раз в гостиную, поцеловал руку жены и сухо-любезно простился с Андрюшей, пустеньким московским дворянчиком, по его мнению, который вел себя недостаточно сдержанно и почтительно в его, цезаря, присутствии.

«Ну, да Вава, как умная женщина, сумеет его поставить на место,— думал Сергей Павлович уже сидя в карете.— Надо будет также непременно представить графине этого медведя, ведь он недавно получил большое наследство,— Вава что-то говорила об этом. Для благотворительных учреждений такие люди — клад. Графиня будет довольна». И в воображении цезаря Андрюша мгновенно превратился в «нужного» человека.

— Ma petite cousine *,— говорил между тем Андрюша Ламской,— неужели «он» у вас всегда такой?.. Я не женщина, но, ей-богу, мне стало тяжко и захотелось выпрыгнуть в окно.

Вава рассеянно кивнула головой и повела Андрюшу в свою комнату. Там горела большая лампа под светло-желтым абажуром, стоял рояль, было много цветов, книг и журналов, а на мольберте начатый этюд углем. Здесь было тепло, светло и уютно, а главное — не было того строгого мертвящего порядка, как во всех остальных комнатах. Вава устроила себе этот уголок, вернувшись из-за границы, и любила проводить здесь все свободное время. Прислуге было приказано никого не вводить сюда из посторонних и самой никогда без звонка не являться.

---

* Маленькая моя кузина *(фр.)*.

Вава уселась с ногами на широкий диван и прислонилась головой к подушкам, в позе усталого человека.

— Как здесь у вас хорошо, Вава,— говорил Андрюша, ходя большими шагами по комнате.— И вы здесь совсем другая, милая и прежняя, Вава до замужества... Знаете,— продолжал он,— все слова кажутся мне такими ничтожными, такими слабыми, чтобы выразить то, что я чувствую... Все эти годы я любил вас одну и не мог забыть, хотя знал, что вы для меня потеряны... Не отталкивайте же меня теперь, умоляю вас, я, право, очень несчастен.

И хотя жизнерадостная наружность Андрюши, его белый жилет, изящный смокинг и не совсем гармонировали с этим признанием, Вава чувствовала, что он был искренен.

Но она молчала. Лицо ее было бледно и равнодушно, и вся она походила на изящную парижскую куклу, без мысли и выражения застывшую в небрежной усталой позе.

«Рассердилась. Сейчас прогонит... Боже мой, что делать»,— думал Андрюша, чувствуя, как у него холодеют руки.

— Сыграйте что-нибудь,— сказала Вава,— я давно не слыхала, как вы играете... Сыграйте Andante той сонаты... Вы его недурно играли.

Андрюша послушно подошел к рояли и заиграл. А она лежала, закрыв глаза, и думала о том, как скупа и несправедлива была к ней судьба и как хорошо было бы умереть поскорее, с тем чтобы возродиться вновь в каком-нибудь сильном, здоровом и счастливом существе, для того чтобы узнать наконец, что такое настоящая, полная жизнь. Андрюша кончил сонату и заиграл «Consolation»* Листа, а потом что-то свое, очень грустное и мечтательное, все состоящее как бы из длинной цепи мучительных, ничем не разрешимых вопросов. И музыка эта волновала Ваву.

Вспомнились ей лунные вечера в Ялте и за границей, когда природа обещала так много, а жизнь оказывалась такой скудной и бедной... Вспомнились долгие годы, прожитые без радости, длинные дни, томительные вечера и бессонные ночи и та жажда жизни, которую она топила в никому не нужных занятиях и работах.

Руки Андрюши нежно скользили по клавишам и бередили ее усталую душу. Ей хотелось, сбросив с себя старый гнет, стать снова прежнею Вавой. Ей хотелось жаловаться, плакать и любить.

---

* «Утешение» *(фр.)*.

Андрюша кончил играть, с шумом отодвинул табурет и снова заговорил о своей любви. Говорил он горячо и увлекательно, но Вава слушала его равнодушно и молчала.

«Зачем он перестал играть?» — думала она с досадой.

Видя ее недовольство, Андрюша заговорил о другом.

— Сергей Павлович,— сказал он,— подал мне надежду, что я могу быть причислен к канцелярии... Что вы об этом думаете, Вава?

— Я думаю,— медленно проговорила она,— я думаю о совсем другом! Если б вы знали только, как пусто и уныло у меня сейчас на душе,— вы испугались бы и ушли бы поскорей. Вот вы говорите мне о любви, а я слушаю вас спокойно, как соловья или певца в опере. Между тем я еще не старуха, вы тоже молоды, вы интересны и когда-то очень нравились мне; мне кажется даже, что я любила вас... Если б вы также знали, как я одинока и как я устала... Я устала от недостатка жизни. Не правда ли, странно? Устать от недостатка жизни, от недостатка душевных и сердечных волнений! Устать от спокойствия... А между тем это так.

Вава оживилась. Щеки ее порозовели, а глаза стали темнее и больше.

— Выслушайте меня, Андрюша,— продолжала она,— я буду с вами откровенна, потому что всему виною ваша музыка... Если обстоятельства против нас, то надо бороться. Непременно бороться. Иначе легко погибнуть. А я не хочу, не хочу гибнуть... У меня нет будущего,— говорила Вава,— если не считать будущим тех степеней и орденов, которых, вероятно, достигнет еще Сергей Павлович. Передо мною постоянно точно глухая, высокая стена. Но я хочу бороться, я не хочу гибнуть... И вы, вы можете спасти меня вашей любовью...— Она положила обе руки на плечи Андрюши и первая поцеловала его в горячие губы. Но глаза ее были мрачны и полны слез.

IX

Через полчаса, сидя близко возле Вавы, обнимая и целуя ее ноги и руки и все тело сквозь тонкую ткань домашнего платья, Андрюша говорил счастливым, прерывающимся от волнения голосом:

— Вава, Вава, прелесть моя, любовь моя, ты моя теперь, моя навсегда... Господи, за что мне такое счастье?

И Андрюша с восторженным видом схватывался за го-

лову, бегал по комнате, улыбаясь себе самому и своим счастливым мыслям в зеркало, и снова принимался целовать Ваву. Она улыбалась, следила за ним глазами и позволяла целовать себя. Ей было хорошо.

Любовь Андрюши трогала ее, слегка волновала и точно нежно баюкала. Ничего подобного она никогда не испытывала. Но, боже, что бы это было, если бы и она любила так же сильно... Какие ощущения, какой восторг! Счастлив всегда тот, кто любит.

— Он даст развод,— говорил между тем Андрюша горячо и скоро.— Он обязан дать его, и мы женимся. Мы уедем отсюда навсегда. За границу, в деревню, в Москву,— куда хочешь... Нужно уйти от этой узкой, официальной, лживой жизни и зажить как-нибудь совсем по-новому... Мы оба еще молоды... жизнь, счастье — все это наше. Вава, Вава, ты теперь моя, моя!

Но лицо ее было немо, и она не отвечала на его страстные порывы, а только тихо покачала головой в ответ на его слова.

Развод? Новое замужество? Скандал? Потому что скандал будет непременно. Совещания с адвокатами, вся эта грязная процедура?.. Неужели же все это так необходимо? Неужели без этого нельзя? Ломать свою с таким трудом налаженную жизнь? Уезжать куда-то? Вести бродячую жизнь для чего-то? И находиться в двусмысленном положении разводки, хотя бы и короткое время? И зачем все это? Ради чего? Когда все может так прекрасно устроиться без треска, скандала и неприятностей.

Отчего бы, например, Андрюше и в самом деле не поступить на службу и не остаться совсем в Петербурге? Это так просто и легко сделать, с его связями и при его средствах. Да,.наконец, развод, да и вообще вся эта история может отразиться на служебном положении Сергея Павловича. А этого она уже не может допустить.

Каждому свое.

Не надо также забывать, что судьба жестоко мстит за всякое отступление от раз навсегда заведенного порядка вещей.

Разумеется, женщины когда сильно любят, то не рассуждают, а жертвуют всем ради своей любви,— но она, Вава, ведь даже не уверена в силе своего чувства к Андрюше.

И, точно проверяя себя, она обняла его за шею и сказала тихим голосом:

— Ты, конечно, вполне прав, и поступить следует именно так, как ты говоришь... Но, дорогой, поступить так я не в силах. Я говорила тебе, что душа моя больна. Все те хорошие, идеальные чувства, на которые я, может быть, и была способна прежде, давно уничтожены жизнью. А главное — то, что я страшно устала... Я уже не в состоянии ломать свою старую жизнь и начинать сызнова, для этого у меня нет ни энергии, ни силы, ни даже желания. Может быть также, я уже настолько обратилась в «жену цезаря» (как ты, помнишь, тогда назвал меня?) и настолько дорожу своим покоем, положением и связями, что лишиться всего этого было бы для меня слишком трудно. Лучше оставь меня и уйди, я только внесу разлад в твою жизнь и испорчу ее! — окончила Вава совсем тихо.— Мой совет,— прибавила она, чуть-чуть улыбаясь,— это жениться тебе поскорей на какой-нибудь невинной и глупенькой девочке и постараться быть с нею счастливым. Так, право, будет всего лучше.

Голос Вавы все слабел, последние слова она сказала почти шепотом и в изнеможении откинулась на подушки.

В комнате было очень тепло, пахло какими-то цветами, и ни звука не долетало из-за плотно спущенных портьер.

«На дворе холод, мороз,— думала Вава,— ветер задувает и колеблет пламя фонарей, а Сергей Павлович в заседании, изящно опершись кончиками пальцев о зеленое сукно огромного стола, говорит: «мы решили», «мы постановили», «мы соблюли», а я только что целовала Андрюшу».

И ей казалось, что она грезит, что счастье наконец слетело к ней, с надеждами, мечтами и сладким волнением, но что она добровольно отказывается от этого счастья, потому что уже недостойна его, так как слишком испорчена жизнью.

Но когда Андрюша со взрывом отчаяния, силы которого она испугалась, стал умолять ее только не гнать его от себя, потому что она все для него и жизнь без нее невозможна,— тогда на нежном лице Вавы промелькнула улыбка высшего торжества.

Жена цезаря нашла наконец свой исход.





ДОКТОР

Меня всегда интересовал наш земский врач Федор Петрович Орлов. Он нанимал квартиру в усадьбе моей матери. Приезжая на каникулы, я встречался с ним почти каждый день, но никак не мог составить себе определенного понятия о его внутреннем мире.

Ясно для меня было только, что это человек спокойный и уравновешенный, хотя ему едва ли было тридцать лет. Казалось, страсти им никогда не владели. Ничем он особенно не огорчался и ничему не радовался. Иногда на самую горячую тираду только погладит свою рыжую бороденку, скажет «да» или «нет» и пойдет к себе во флигель читать. Чаще же всего он отвечал на вопросы неопределенно: «хм», «значит», «н-ну», «возможно» и т. д.

Особенно меня интересовало отношение Федора Петровича к женщинам. Летом в нашем доме всегда кто-нибудь гостил, или тетушка приедет с тремя дочерьми, или у сестры подруга живет. Общество дам и барышень собиралось самое разнообразное. Бывали и подростки, и кисейные барышни, и курсистки, и молодые вдовы и писательницы, и ни на одну из них доктор никогда даже не взглянул внимательно. На разочарованного он похож не был, на больного — тоже нет.

Определив его как человека, совершенно равнодушного к женщинам, я сам почему-то не доверял своему диагнозу.

«Чем же нибудь да было вызвано это равнодушие,— часто думал я,— ведь нельзя же в тридцать лет не желать

душевной близости хорошей девушки и нельзя смотреть на красивое тело только как на анатомический препарат...»

Чтобы я лично был ему антипатичен и поэтому он был бы от меня особенно далек — этого я тоже не мог сказать. Федор Петрович видел во мне товарища, студента, который через два года станет таким же врачом. Со мной одним он только и говорил как следует, хотя тоже редко. Случалось, что мы разговаривали о медицине, о крестьянах, об университете, но никогда о женщинах. Говорить о них с Федором Петровичем я положительно стеснялся. Так стесняются напоминать людям о их недавно умерших близких родственниках или авторам о непринятых рукописях. Но для этого у меня не было никаких данных, одно только верхнее чутье мне подсказывало, что для Федора Петровича разговор о женщинах будет неприятен.

Правда, он был низкого роста, не ловок, не красив и не интересовался ни одним из искусств, а средней женщине такие люди редко нравятся. Но в то же время Федор Петрович был, несомненно, одним из самых образованных и самых сердечных мужчин в уезде.

Несмотря на множество работы, Федор Петрович, с тех пор как поселился в деревне, начал толстеть, и это его пугало. Чтобы не приобрести ожирения сердца, он перестал ужинать, рано вставал и сейчас же шел на пруд купаться, а потом скорым шагом обходил вокруг всей усадьбы, что составляло версты две. Бывало, проснешься у себя на мезонине часов в пять утра, закуришь папироску и, почесываясь, выйдешь в одном белье на балкон.

Над прудом туман повис, на деревне петухи голосят, коровы на выгоне ревут, и людей еще не видно, а по одной из самых дальних дорожек сада уже движется низенькая фигура Федора Петровича. В белой фуражке, в парусиновом костюме, с суковатой самодельной палочкой в руках и с перекинутым через плечо полотенцем, идет он, опустив голову и чуть подогнув колени, быстро, быстро, точно к больному спешит.

Двадцать пятого июля у нас всегда особенно торжественно праздновались именины моей матери. Еще дня за два, за три в усадьбу наезжали родные и знакомые чуть ли не со всего уезда. Почти каждая комната в доме обращалась во временную спальню. Выгоняли из моего мезонина и меня, и я обыкновенно переселялся во флигель к доктору.

Вероятно, ни один зоолог так не радовался возможности видеть близко жизнь редкого зверька, как радовался я случаю лишний раз понаблюдать Федора Петровича, когда он у себя в комнате. Помню, в субботу, еще с утра, я уступил свой мезонин двум хорошеньким кузинам, Тане и Наде. Вечером же, несмотря на то что за ужином собралось веселое общество и подавали холодных карасей в сметане, я, захватив с собою принадлежности туалета, бежал через двор к докторскому флигелю, а за мной летели не понимавшие, в чем дело, собаки — Трезор и Ласковый. У доктора еще светился огонь.

«Вот,— думал я, отдуваясь на бегу,— не будь меня, Федор Петрович уже давно бы спал, а я ему помешаю... — И сейчас же утешил себя: — Один раз в году можно, без вреда для здоровья, нарушить какой угодно режим».

Когда я вошел в комнату, доктор сидел на корточках перед чемоданом и перебирал белье. По студенческой привычке, несмотря на то что и шкапов и мебели всякой во флигеле было довольно, Федор Петрович все свои вещи, кроме медицинских инструментов и книг, хранил в огромном рыжем, с медными застежками чемодане.

— А вы еще не спите, доктор? — сказал я.

— Как видите.

— Ну, так, значит, сегодня почуем вместе.

— Значит. А вы вот что мне скажите — обязательно ли завтра нужно надевать накрахмаленную сорочку или не обязательно?

— Мне кажется, выражение «обязательно» в данном случае неуместно. Правда, завтра за утренним чаем будет много барыш...

— А все-таки скажите: как будет лучше, в крахмале или без крахмала? — перебил он меня.

— Думаю, что в крахмале.

— Хм... Значит, ничего не поделаешь. Кажется, с большим бы удовольствием приступил к самой трудной операции, чем к этому вдеванию запонок в манишку...

— Да это не так трудно.

— Какой черт не трудно, я в прошлом году шесть запонок потерял, пока вдел две. Выскочит из рук, проклятая, и закатится так, что о ее местопребывании и предположить нельзя. Потом лазишь, лазишь на четвереньках, точно мальчишка.

— Позвольте, я вам помогу.

— Нет, уж я сам.

Глядя в его чемодан, я невольно заметил, как среди белья промелькнула кожаная рамка, из которой выглядывало прехорошенькое женское личико с распущенными волосами.

Руки Федора Петровича, точно руки ловкого фокусника, сейчас же прикрыли ее какой-то наволокой.

— Однако, сегодня в большом доме рано поужинали,— сказал он, подымаясь с полу. По тону его голоса было слышно, что фразу он придумал только сейчас и без всякой надобности, на самом же деле ему хотелось сказать: «Если ты видел карточку в рамке, то, пожалуйста, не спрашивай меня о ней».

О карточке я ничего не спросил, но она меня ужасно заинтересовала, и я решил рано или поздно узнать, какое отношение имела к Федору Петровичу изображенная на ней женщина. Он еще раз посмотрел на меня и, должно быть, пришел к заключению, что карточки я не заметил. Но выражение его лица стало необычайно грустным. Потом, вероятно, желая как можно скорее остаться самому с собой, он отрывисто произнес:

— Ну что же, будем раздеваться,— и искусственно зевнул во весь рот.

— Будем.

Через две минуты оба мы уже лежим в своих кроватях.

— Можно тушить свечку? — спрашиваю я. Вместо обычного «как хотите» он отвечает:

— Да, пожалуйста.

Стало темно. Огненной точкой вспыхивает только папироса Федора Петровича. Время от времени он сдувает с нее пепел. Потом слышен плевок, а за ним тухнет и папироса.

За окном шумят тополя, где-то без умолку лают собаки.

Несколько минут назад доктор был разговорчив и даже шутил по поводу запонок и крахмала, а теперь я чувствую, что его настроение круто изменилось. Так ли это? Ужасно хочется проверить.

«Если он хандрит,— думаю я,— то будет отвечать односложно». Полежав минут пять, я спрашиваю:

— Слышите, как лают собаки?

— Слышу.

— Надо полагать, кто-нибудь из гостей, не совсем знакомый с расположением дома, вышел в сад, и на него напали Ласковый и компания.

— Возможно,— отвечает Федор Петрович и, вздохнув,

переворачивается на своей постели так, что в матраце гудят пружины.

Меня ужасно радует, что я угадал, как переменилось настроение Федора Петровича. Получается такое удовлетворение, точно на экзамене быстро решил трудную задачу. Теперь я глубоко убежден, что доктор думает о той барышне, фотографию которой я видел в его рыжем чемодане.

— Федор Петрович! — снова окликаю я.

— Что, голубчик?

— Если вы завтра утром пойдете купаться, возьмите с собою и меня.

— Да вы не встанете так рано.

— А вы разбудите.

— Ну, хорошо.

Опять молчание, и уже до утра. За этот очень короткий промежуток времени в разговорах с Федором Петровичем я, наверно, очень устал. Хотелось уже протянуться во весь рост и уснуть. Но сон не шел, я видел еще, как доктор два раза закуривал папиросу. Потом огонь его папиросы расплылся в большой красный круг, и мне стало что-то грезиться.

Казалось, не прошло и двух часов, как я почувствовал во сне легкий толчок в бок и, открыв глаза, увидел пред собою уже одетого в парусиновый костюм доктора.

— Ну, collega, как, будете спать или идем купаться? — спросил он, улыбаясь.

— Ох, знаете ли, спать действительно ужасно хочется, но я превозмогу себя и пойду.

— Что ж, сила воли дело хорошее, ее нужно развивать, иначе жить на свете будет очень тяжело,— сказал Федор Петрович и снова улыбнулся.

«Ого-го, да он сегодня не только разговорчивый, а еще и веселый, это очень приятно»,— думал я, натягивая на ноги носки.

Мы вышли... Было пять часов утра. Весь дом еще спал, только возле кухни сидела судомойка Настя и общипывала индюка с окровавленной безголовой шеей.

Мои глаза резало и я постоянно зевал, но на душе было весело и бодро, как в вагоне, когда подъезжаешь к родной станции.

В саду на траве еще кое-где белела роса. В липовой аллее, в самом ее конце, насвистывала свои трели иволга, и ее не могли перекричать рассевшиеся целой стаей на одинокой старой вишне воробьи. Облака длинными белесоватыми полосами протянулись по голубому небу и, не двигаясь,

замерли. Мы спустились по тропинке к пруду. Запахло аиром и сыростью. Меня передернуло, и я обмотал шею полотенцем. Холодно было и в ноги — ботинки промокли от росы.

Федор Петрович вошел в купальню первым и сейчас же стал раздеваться. Я медлил. После теплой постели было жутко окунуться сразу в не обогретую еще солнцем воду.

— Ну что же вы? — спросил доктор.

— Да, знаете ли, я еще обожду.

— Эх вы...

Федор Петрович похлопал себя по бокам, потом нагнулся, помочил водою под мышками и вдруг прыгнул на мертвую, дымившуюся еще поверхность пруда, обдав меня блестящими холодными каплями. Через полминуты он вынырнул возле противоположного берега, помотал головою с облипшими волосами, поковырял у себя в ушах и громко фыркнул.

Испуганная семья уток с криком и писком шарахнулась в сторону, утята, изо всех сил работая ножками и крылышками, силились догнать мать. Поглядев на довольную физиономию Федора Петровича, я тоже быстро разделся и поплыл к нему.

После купанья моя сонливость прошла, хотелось жить, думать и наблюдать.

Самым интересным и, так сказать, малоисследованным в моем кругозоре оставался все-таки доктор.

К утреннему чаю мы вышли, я — в белом кителе, а Федор Петрович — в «крахмале», который его ужасно мучил, в черном суконном сюртуке и полосатых брюках. Ему пришлось сидеть между Надей и Таней. Должно быть, желая обратить на себя внимание доктора, обе барышни постоянно просили его то пододвинуть молочник, то принести с другого конца стола сухарики, то долить кипятку... Федор Петрович молча исполнял все просимое, но сопел, как еж, до мордочки которого дотрагиваются кончиком сапога. Видно было, что он злится и даже страдает. Особенно сторонился он от Нади и постоянно отодвигался, точно боясь прикоснуться к ее шелковой кофточке.

Несмотря на усиленные просьбы моей сестры занимать барышень, мы с доктором, как только представилось возможным, ушли в сад.

— Это черт знает что,— заговорил Федор Петрович,— под предлогом любезности нужно почему-то изображать из себя лакея. Терпеть я этого не могу. И всегда эти госпожи

садятся почему-то особенно близко, и пахнет от них потом и духами... Возмутительно, просто-таки возмутительно...

Желая его немного подразнить, я сказал:

— А все-таки, доктор, вы напрасно мало обращали внимания на Надю. Она удивительно симпатична, и фигура у нее как у Венеры... Просто-таки красавица.

— Н-ну, красота — это понятие условное, хорошо развит слой подкожного жира — вот вам и все. Красота должна быть вечной, а таких Венер, я думаю, вы не раз видали в анатомическом театре на секционном столе полуразложившимися или в клинике во время родов, и тогда небось мысль о красоте вам и в голову не приходила.

— Да, пожалуй.

— Вот то-то же и есть. Красота такая — это пустяки, а вот как бы мне устроиться, чтобы за обедом сесть рядом с вами да подальше от этих принцесс? Ведь обед это не чай с пирогом да с закуской, часа на два затянется. Это же мученье будет.

Я не вытерпел и спросил:

— Скажите, Федор Петрович, неужели на вас никогда не производила сильного впечатления, попросту говоря — вам не правилась ни одна девушка или женщина?

Доктор даже остановился.

— На меня?

— Ну да, на вас.

— М-гм... Что же, разве я каменный? Конечно, да. Только все это в прошедшем времени и ни в коем случае не в настоящем и не в будущем... — Он покраснел и замолчал.

Разговора о женщинах и любви я больше не поднимал. Мы долго пресмыкались по дорожкам сада. На мое приглашение уйти к себе во флигель доктор ответил:

— Видите ли, как только я вступлю на порог собственного жилища, тогда уже меня никакие силы не остановят,— я сниму с себя все крахмалы и сюртук и уже к обеду не выйду, а это огорчит вашу мамашу, чего я вовсе не желаю...

С непривычки рано вставать я уже чувствовал себя усталым. Полуденное, высоко поднявшееся солнце грело, как раскаленная печка. От духоты не спасала и тень деревьев. В моем воображении замечательно отчетливо рисовалась огромная прохладная комната во флигеле, спущенные на окнах шторы, полное отсутствие мух, которых доктор выгонял каким-то порошком, и наши уже прибранные

постели со свежими, тонкого полотна наволоками на подушках.

— Слушайте, Федор Петрович,— сказал я,— вы вечно толкуете о силе воли и в то же время сами себя подозреваете в неспособности снова одеться в накрахмаленное белье, раз вы его снимете. До обеда осталось не меньше трех часов, мы за это время отлично отдохнем и, наконец (я пустил самый лучший аргумент), ни в коем случае уже не встретимся с барышнями.

Доктор улыбнулся.

— Хм. Сладко, сладко пел душа соловушко...

— Причем тут соловушко, я вам говорю чистейшую истину.

— Разве? Н-ну, пойдемте.

После жары во флигеле нам обоим показалось действительно великолепно.

— Мои предки были северяне, и, должно быть, я потому так плохо переношу ваше лето,— сказал Федор Петрович, расстегивая ворот сорочки.

Одна запонка выскочила и со звоном покатилась по полу.

— И не стану тебя подымать, проклятую, можешь хоть сквозь доски провалиться,— пробормотал ей вслед доктор.

Снимая с себя суконное платье, он одновременно приходил в хорошее расположение духа. Лицо его из сердитого превращалось в спокойное и задумчивое. Оставшись в одном белье, он похлопал себя по бедрам и сказал:

— Чу-удесно.

Мы легли каждый на свою кровать. Доктор, по обыкновению, закурил папиросу, а я просто подложил руки под голову. Некоторое время молчали. Слышно было только, как Федор Петрович сдувал пепел со своей папиросы.

— Скажите, доктор,— начал я,— отчего вы пошли служить в земство?

— Отчего я пошел служить в земство? Хм. Да видите ли, собственно говоря, мне хотелось остаться при клиниках,— но там чрезвычайно велика конкуренция,— хотелось еще поучиться. Заняться же сразу вольной практикой не хватало совести, да и очень уже мне было противно это получение гонораров. Собственно не самые гонорары, а именно способ втыкания их в руку. До сих пор не умею сделать в себе анализа этого чувства, но одним словом — органически противно. Вот там у Гоголя, у Глеба Успенского приходилось читать, как чиновники берут взятки, ну и мне

почему-то казалось, что в этот момент и я похож на такого чиновника. Может быть, это отвращение стало результатом моего первого дебюта на поприще врача. Был такой случай...

Федор Петрович замолчал и закурил новую папиросу. Не дождавшись продолжения рассказа, я спросил:

— Какой случай?

— Случай? хм... Помните, сегодня утром вы спросили: неужели на меня никогда не производила сильного впечатления ни одна женщина? Я, кажется, ответил, что я не каменный; так этот именно случай и относится к девушке, то есть теперь уже к женщине, которая когда-то производила на меня сильное впечатление...

Я весь притих. Меня всего охватило желание узнать, как и кого мог любить такой человек, как доктор. Обождав несколько моментов, я уже хотел было снова спросить его об этом случае, но какое-то чутье подсказало мне, что лучше молчать и ждать, пока Федор Петрович заговорит сам. Я как будто знал, что если он начнет рассказывать после моего вопроса, то это будет совсем не то сравнительно с рассказом, который польется у него оттого, что назрела потребность высказаться.

Я угадал. Федор Петрович молчал недолго, потом посопел носом, что было у него всегда признаком волнения, и наконец заговорил:

— На втором курсе у нас экзамены были не страшные, но выдержать по физике было очень трудно. Профессор Ш. не хотел признавать никаких доводов о том, что мы, дескать, медики и слишком обширное изучение физики только отнимает время для изучения предметов по нашей специальности. «Мне все равно, медик ли вы или естественник, не знаете — ну и кончено»,— говорил он.

Одному моему товарищу Ш. поставил единицу только за то, что тот не мог сказать, какая разница между ареометром Фаренгейта и ареометром Траллеса[1]. Словом, на физику нужно было приналечь. Вот я еще в марте обрил себе голову, чтобы не искушаться ходить по театрам да по концертам, обложился вдребезги изорванными лекциями профессора Ш. и всякими учебниками и засел в своей комнате зубрить. Жил я тогда у родных, которые тоже боялись за мою карьеру и потому старались меня охранять от всяких внешних впечатлений. Изредка войдет мать, принесет стакан молока и хлеба с маслом и уйдет, стараясь не скрипнуть дверью. И тем не менее эти впечатления тре-

вожили меня теперь больше, чем когда-либо. Сидя в своей комнате, точно в одиночной камере, я стал обращать внимание на то, что прежде меня интересовало очень мало.

Выше или ниже нашего дома (улица шла в гору), не помню, жила семья, в которой было четыре дочери, все удивительно красивые. Раза два в день которая-нибудь из них да проходила мимо моего окна.

Барышни эти стали все больше и больше меня интересовать. Особенно старшая, немного склонная к полноте блондинка с правильным профилем, с целой кучей золотистых волос на затылке и с таким выражением глаз, как вот у знаменитой Cléo de Merode[2], вот которую изображают на открытых письмах. Ну, въехало мне в голову, что блондинка эта должна быть одним из самых сердечных, умных и талантливых существ, и, главное, въехало без всякого основания... Она редко ходила одна — то с каким-то штатским с тараканьими усами, то со студентом-юристом, то с вольноопределяющимся артиллеристом с университетским значком на шинели и выразительными карими глазами, то с каким-то оборванным юношей с лицом идиота из психиатрической клиники. И ко всем этим господам я ее ужасно ревновал. Чаще же всего она гуляла со студентом-юристом.

Бывало, медленно подымаются они в гору. Студент о чем-то горячо говорит, трясет бородою, машет руками, захлебывается, а она только щурится да иногда ответит медленным кивком головы. Я выгляну в окно, увижу их и сейчас же почувствую этакие перебои сердца; а юрист уже кажется мне малоинтеллигентным, крепостником, кутилой, и такое мнение о нем составилось у меня опять-таки без малейшего основания.

Ее же я мысленно всегда оправдывал. Думаю, не может быть, чтобы она кем-нибудь из них увлекалась, просто они для нее объекты наблюдения, и больше ничего.

Доктор улыбнулся и добавил:

— Ну, все-таки физику я выдержал и на третий курс перешел, а вот моя психика тогда сильно страдала.

Стала мне эта самая барышня сниться, да раза два, а то и три в неделю. Чувствую, что заболел я. Едва экзамены выдержал. Летом она куда-то уехала, и мои нервы отдохнули.

В начале октября снова началась та же история. Иногда мне делалось стыдно: медик — и вдруг признает какую-то влюбленность, да еще на самом себе... Но в то же

время мне смертельно хотелось познакомиться с нею и бывать у них в доме. Я пустился на все нелегкие, познакомился с одним офицером, который у них бывал, тот сначала представил меня всем сестрам в театре, и тут же я был приглашен заходить.

Попал я туда в воскресенье вечером. Лиза — так звали эту блондинку — сейчас же меня под свою опеку взяла. Должно быть, чувствовала, что ради нее я и пришел; у всех женщин насчет этого нюх замечательный. Представила она меня своим отцу и матери. Ничего, люди хорошие. Он отставной военный, она эдакая наседка, в дочерях души не чает. Все у них в доме так обстоятельно, чисто и даже изящно. Дочери все симпатичные, приветливые, и из них Лиза самая образованная и развитая. Она массу прочла, понимала искусство и много думала о взаимных отношениях людей,— так, по крайней мере, говорила. Разговаривать с нею для меня всегда было огромным наслаждением, особенно один на один. Редко только это удавалось. У них всегда собиралось много народу, особенно в воскресенье, и всякий был чем-нибудь замечателен.

Юрист, с которым гуляла Лиза, пел, и довольно недурно. Любимыми его романсами были: «Под душистою веткой сирени» [3] и еще другой, производивший на меня сильное впечатление. Особенно нравился мне в нем куплет:

Нам блаженства с тобой
Не дадут, не дадут...
А тебя с красотой
Продадут, продадут... [4]

Лиза тоже слушала эти слова с особенным, задумчивым выражением лица.

Бывал у них еще другой юрист — тот артистически играл на балалайке и на мандолине. Потом приходил бухгалтер — штатский господин с тараканьими усами, которого я часто видел в окно, он замечательно рассказывал анекдоты и звукоподражал.

Офицеры — их бывало трое — все вели себя солидно, настоящими женихами, изредка только ревновали друг к другу которую-нибудь из сестер, да и то не сильно.

Особенно весело бывало за ужином: говор, смех, рассказы друг о друге, и все это просто, искренно.

После двух-трех посещений я полюбил эту семью больше, чем свою. Не нравился мне только Лизин юрист, не любил я и его пения. Мягко льется, бывало, его сильный

баритон под звуки рояля. В большой гостиной тишина. Лиза, подпершись рукой и положив ногу на ногу, сидит и с юриста глаз не сводит.

Прозвучат два-три последних аккорда, голос их покроет и потом, затихая, вдруг умолкнет. Я тоже присмирею, но вместо того, чтобы увлекаться пением, начинаю думать о том, что в животном мире гармонические звуки играют огромную роль и, несмотря на всю их поэзию, цель имеют самую прозаическую. Ведь не поет же соловей после того, как самка уже сидит на яйцах. Значит, ему своим пением нужно было только ее увлечь. И досадно мне всегда делалось от этих мыслей, и больно, и обидно за все живое, и в особенности за Лизу.

Ревность тогда меня не мучила, потому что Лиза, как мне казалось, особого внимания юристу не оказывала, а со мною была ласкова и часто ходила гулять. Месяца через два я успел себя уверить, что она рано или поздно будет моей женой.

Да, вот до каких нелепостей дошел... Повторяю, что ни тогда, ни теперь я не мог отдать себе отчета в том, что меня к ней влечет. Если бы я вздумал писать о Лизе роман, то я бы не сумел ее достаточно ясно охарактеризовать. Так вот близорукий человек: лежит перед ним книга, всего в полуаршине расстояния от глаз, а прочесть он в ней ничего не может.

Несомненно только, что Лиза была очень интересная девушка, ну, конечно, и красота ее тоже отшибала у меня мозги. Она подарила мне свою фотографию, на которой была изображена с распущенными волосами. До и после встречи с ней мне приходилось видеть много женщин, и более красивых, и более симпатичных, но такой ни одной. Нужно сказать, что среда вокруг нее во всю ее жизнь была в достаточной мере пустая. С самого детства Лизе никто не говорил о том, что такое добро и зло, никто ее не учил любить искусство, никто не читал ей лекций о психике человека, но она все это понимала. Я часто удивлялся ее способности с двух-трех встреч уже видеть человека насквозь. Безжалостная только она была, вроде вивисектора...

Объектом ее исследований в области человеческой души был, конечно, и я. Мне случалось испытывать замечательно острое наслаждение после того, как я совершенно откровенно рассказывал ей о всех своих тайных и явных поступках и помыслах. Но Лиза, как и вивисектор, выбрасывающий после своих исследований уже ненужный

ему труп, так же быстро обдавала холодом человека, в котором для нее уже ничего не оставалось непонятного. Все это я сообразил только потом, а тогда в своем неведении был необыкновенно счастлив, и только. Несомненно, что для нее я уже был вполне законченным препаратом, но я этого не подозревал и уже окончательно решил выбрать удобный момент и сделать ей предложение. Мне даже казалось, что и ее родные смотрят на меня как на жениха...

Но тут я совершенно неожиданно заболел. Сделался у меня на шее карбункул. Болезнь нелепая, мучительная и опасная. Нужно было лечь в клинику и поскорее сделать операцию.

Родители мои сильно струсили. Струсил и я, но, ей-богу, смерти как смерти не боялся, а боялся только одного: что если умру, то, конечно, Лизы больше не увижу. Пришел я с замотанным горлом в операционный зал. Профессор-хирург, ординаторы, студенты — все люди свои, шутят, подбадривают, но мне было не до шуток. Смотреть, как делают операции другим, это совсем не то, что испытывать хлороформированье и дальнейшие прелести буквально на своей шкуре.

Разделся я окончательно и влез на мраморный стол. Владею собою плохо, чувствую, что побледнел, как мертвец, холодно мне, зубы сами собой постукивают. Кругом пахнет карболкой, на полу кровь, перед глазами мелькают белые фартуки. Среди ординаторов был у меня приятель, Сережка Воронцов, мы с ним когда-то на брудершафт выпили. Спрашивает он меня:

— О чем ты теперь думаешь?

— О том,— говорю,— думаю, что вся эта история казалась бы мне пустяком, если бы здесь сейчас присутствовала одна женщина.

— Ну и дурак же ты, и больше ничего,— ответил Воронцов и по знаку профессора наложил мне на лицо маску. Стали капать на маску хлороформ. Воронцов считает, а я повторяю. Дошли до пятнадцати.

— Пятнадцать,— говорю я уже заплетающимся языком, а сам думаю: «Наверное, тот, кто пульс держит, зазевается, передадут они хлороформу, станет сердце, тут мне и конец. Прощай тогда отец с матерью, и Лиза, и врачебная деятельность...»

— Шестнадцать! — как будто в трубу кричит Воронцов.

— Шестнадцать,— едва повторяю я.

Наконец, слышу уже,— тридцать два, я не в силах повторить. Звенит у меня в ушах, мозги одурманились.

— Тридцать два! — снова кричит Воронцов.

Я молчу и только думаю: «Вот если бы Лиза была здесь».

— Ну, кажется, можно начинать,— говорит он.

Я собрал все силы и все-таки произнес:

— Тридцать два...

— Должно быть, водки много пил,— пробормотал профессор. И меня ужасно поразило это прошедшее время — *пил,* так оно прозвучало, что, дескать, когда-то этот человек существовал, а теперь его уже нет.

Неудержимо хочется сорваться со стола и удрать. Убеждение, что еще несколько секунд и... смерть,— не покидает, хотя обрывки рассудка говорят, что должно быть больше надежды на жизнь. Как сквозь глубокий сон слабо слышится над самым ухом:

— Тридцать девять...

Я уже ничего не могу повторить и знаю наверное, что умираю. Это чувство очень сладкое, точно потягиваешься, только в ушах шумит. Наконец, уже и в ушах не шумит и нет ничего, ни клиники, ни Лизы, ни света, ни темноты, ни шума, ни не шума. Где и как я очнулся, точно не помню. Потом меня отвели в ванную.

В клинике мне пришлось пробыть недели две, а казалось, что просидел я там месяца два.

Возненавидел я за это время и ординаторов, и товарищей и даже сердился на родных, которые меня слишком часто навещали. В глубине души я хотел, чтобы пришла Лиза, но она не пришла, и это обстоятельство мучило меня больше всего. О том, что завтра я могу выписаться, мне объявили с вечера.

Я долго не спал и мечтал, как найму саночки, буду быстро катить по улицам и дышать свежим морозным воздухом, как встречусь с Лизой и расскажу ей обо всем, что передумал и пережил за это время.

Но все вышло иначе. Не помню, благодаря чему (кажется, запропастилась куда-то моя одежда), но выехать из клиники я мог только перед вечером. Вместо зимы на дворе оказалась отвратительная погода. Была слякоть, и сырость носилась в воздухе, как в бане пар. Я нанял извозчика и поехал прямо к Лизе. С полчаса я трясся на старых дребезжащих дрожках, запряженных белою лошадью, с которой летела шерсть и обсыпала мое пальто вместе с

брызгами луж. Где-то звонили к вечерне, и звуки не плыли по воздуху, а обрывались, как будто самый колокол был обвязан мягкой материей. Кое-где зажглись электрические фонари, и свет их едва мерцал фиолетовыми пятнами.

Наконец извозчик стал у знакомого подъезда. Я ужасно волновался.

Обо всем этом чрезвычайно больно вспоминать... Начну с того, что Лиза встретила меня более чем холодно, даже не спросила, отчего я так долго не был.

В этот день у них собралось много народу, и я утешал себя тем, что теперь ей просто не до меня. Однако на душе было неспокойно. Инстинктом я чуял, что за эти две недели в жизни Лизы произошло какое-то важное событие. Природа удивительно предусмотрительна, она как будто знает, что мозги серьезно полюбившего человека функционируют не совсем правильно, и в это время посылает на помощь инстинкт, который подсказывает правду не хуже мозгов. Перед самым ужином младшая сестренка Лизы, Женя, как будто бы невзначай, сказала мне:

— А у нас новость...

— Какая?

— Это секрет.

— А мне его можно узнать?

— А вы никому не скажете?

— Никому.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Ну, слушайте... Лиза выходит замуж, свадьба будет перед масляной...

За кого — я не спросил. Это мне было все равно, да я и не сомневался, что за юриста. Помню, что в этот вечер я удивительно хорошо владел собою и только в ухе у меня долго звенело, как после оглушительного выстрела. Я даже остался ужинать и за ужином шутил и в комическом тоне рассказывал об операции, которую перенес. Потом я принимал участие в какой-то игре и, наконец, раскланявшись со всеми, вышел на улицу.

Психологически верно, что солдат, получивший в пылу боя смертельную рану, первое время (конечно, очень недолгое) может ее не почувствовать и сваливается только потом. Так было и со мною. Только на улице я вдруг почувствовал, что из глаз у меня, без всякого плача, покатились

крупные, горячие слезы... Валил мокрый снег. Я часто скользил и раз упал, какой-то прохожий обернулся и сказал:

— Ишь, студент насвистался...

На другой день я действительно «насвистался» и даже ночевал в участке... Да, нелепое было время.

Доктор глубоко вздохнул и закурил новую папиросу. Я не удержался и спросил его:

— Неужели, Федор Петрович, вы, такой враг алкоголя, когда-нибудь были способны напиться?

— Так, как следует, до потери сознания, я был пьян всего два раза в жизни, вот именно в этот день и потом, еще после получения диплома, но об этом речь будет впереди.

Итак, пережив острый период отчаяния, я успокоился довольно быстро. Только попросил перевести меня в комнату, которая выходила окнами во двор, и затем на время потерял всякую способность учиться. Пришлось остаться на второй год на курс и пробыть в университете, вместо двух, еще целых три года. Конечно, я мог перейти, но медицинский факультет — это не юридический, — самому потом было бы хуже.

Лиза венчалась в январе, а потом они переехали на другую квартиру, и я, к моему благополучию, ее больше не встречал. Летом мне говорили, что юрист выдержал государственные экзамены и назначен в провинцию земским начальником, куда отправился вместе с женой.

Следующие три года в моей жизни прошли удивительно однообразно. Клиники, аудитории, собственная комната, учебники, и больше ничего. Ни в театре я ни разу не был, ни одной книги беллетристического содержания не прочел — словом, для внешней жизни совсем умер. Наконец наступили и наши окончательные экзамены. Как и всегда на медицинском факультете, дело было осенью.

Помню, за два или за три дня до получения диплома кто-то мне сказал, что Лиза приехала погостить к родным. Известие это не произвело на меня ни малейшего впечатления. Так вот, если человек просидел долго в одиночной камере, то он даже теряет способность реагировать на такое важное для него слово, как — свобода.

Наконец получен диплом, да еще с отличием. Я немного ошалел. Очень уже странным мне показалось, что никогда не нужно будет волноваться и мучиться перед экзаменами. От радости я дошел до такого идиотства, что сейчас же прибил на парадной двери свою визитную карточ-

ку, а сверху огромными буквами, на манер печатных, сделал надпись: «Доктор». Вообще психические потрясения часто выражаются в очень странной форме, говорю это потому, что раньше я всегда был ярым противником всяких объявлений и официальных званий, тем более что на первую практику я еще и рассчитывать не мог, да и не было в ней надобности.

Вместе со мною окончили курс два приятеля — один грузин Ахабадзе, другой русский — Вязнов. Оба они еще во время экзаменов подговаривались к тому, что по случаю получения дипломов недурно было бы хорошенько выпить и повеселиться. Мы решили устроить это в моей квартире, так как отец и мать еще не возвращались из деревни, и, стало быть, мы никому не могли помешать. Вечером мы накупили нежинской рябиновой, коньяку, шпротов, пикулей, грибков и всего, что для самого здорового человека противопоказано. Втащили в комнату самовар, заперлись с улицы и орудуем. Запахло сургучом и алкоголем, и мне сразу стало противно. Выпил я две рюмки коньяку, а больше не могу — не лезет, да и кончено. Я предоставил приятелям действовать по их усмотрению, а сам отворил окно и лег на подоконник. На улице свежо, не пыльно, народу мало. Балалайка где-то тренькает.

Лежал я так, пока совсем стемнело, потом слез с окна и снова подсел к товарищам, они уже было какую-то песню затянули. Вдруг в квартире раздался отчаянный звонок. Слышно было, как пробежал отворять, тяжело шлепая босыми ногами, дворник Степан, живший в квартире. Стукнул болт на двери, и сейчас же заговорил женский визгливый голос. Я вышел посмотреть, в чем дело, и уже в дверях комнаты столкнулся со Степаном и с какой-то женщиной в платке.

— Который здесь доктор? — спрашивает она.

Ахабадзе уставился на нее и кричит:

— Усе, матушка, доктора...

Я спросил, что ей надо. Женщина так и засыпала горохом:

— А пожалуйста, пожалуйста, скорее идите, наш Святославчик, кажись, руку себе исломал, барыня очень беспокоятся...

— Какой такой Святославчик? — кричит Ахабадзе. Я махнул на него рукою — молчи, дескать, пьяная рожа, и спросил женщину, далеко ли живет барыня; оказалось, недалеко. Сильно волнуясь, я взялся за фуражку и потом,

из какого-то нового для меня чувства деликатности, спросил приятелей:

— Может быть, из вас, господа, кто-нибудь желает пойти? — А сам думаю: «Ну куда им идти,— войдет да еще на пороге и растянется...»

— Нет, нет,— орет кавказец,— ступай сам, ты хирургом хотел быть... ступай, пожалуйста, ступай.

Выбежали мы с этой бабой на улицу, не прошли и квартала, как вдруг она остановилась у знакомого подъезда. Меня так и дернуло за сердце. Нам сейчас же отворили. Подымаясь по лестнице, я делал огромные усилия, чтобы овладеть собою, и это мне удалось, как и всегда удавалось в трудные минуты.

Нас встретила Лиза в полурасстегнутом пеньюаре, раскрасневшаяся, пышная такая. Пряди золотых волос на лоб сползли. Она крепко пожала мою руку и, кажется, не узнала меня, потом сейчас же заговорила:

— Ах, доктор, я не заметила, как он влез на комод, и только прибежала на его крик, когда он уже упал. Теперь он только стонет, но я так боюсь, он так страшно кричал...

Вивисектора уже не было, а была мать, волнующаяся, любящая и потому прелестная. Я погладил рукою бороду и этаким солидным баском говорю:

— Будьте любезны, позвольте поглядеть на больного.

— Пожалуйте сюда.

Мы с Лизой вошли в ярко освещенную спальню. На одной из кроватей лежал с заплаканными глазами толстенький мальчик лет двух и слабо всхлипывал. Увидев меня, он сейчас же замолчал и широко раскрыл глаза.

Я осмотрел, а потом расправил сначала одну его руку, потом другую.

— Ни перелома, ни вывиха, во всяком случае, нет, иначе бы он поднял страшный крик,— сказал я.— Вероятно, он просто сильно ударился локтем, от таких ушибов болевые ощущения бывают чрезвычайно сильны. Теперь присутствие постороннего человека отвлекло его внимание, вот он и притих. Нужно посмотреть, нет ли у него на локте ссадины. Будьте добры, снимите с него рубашечку.

Лиза проворно начала раздевать сына. Я ей помогал. Наши руки часто встречались. Раза два она задела своим бюстом о мой локоть. У меня чуть сперло дыханье, но я сейчас же овладел собою.

На локте у мальчика действительно оказалась едва заметная ссадина.

— Можно положить компрессик, в сущности же это пустяки.

Я перевязал ему ручку и, делая эту, в сущности, ненужную операцию, ощущал огромную, почти отцовскую нежность. В это время уже не Лиза, а я сам наблюдал себя и сам над собою смеялся горьким смехом. «Ведь этот малыш мог бы быть с таким же успехом и моим сыном», — думал я.

Сделав перевязку, я вышел из спальни и взялся за фуражку. Лиза меня догнала.

— Простите, доктор, что я вас понапрасну потревожила. Папа и мама ушли в гости, мужа тоже нет, и я совсем растерялась...

Я улыбнулся и кивнул головою, дескать: «Что же делать, я вас понимаю, вы мать...»

— Куда же вы, может быть, хотите выпить стакан чаю?

Чаю мне не хотелось, но посмотреть на Лизу еще хотелось, и я остался. Так иногда хочется еще раз взглянуть на лицо дорогого мертвеца, хоть и знаешь, что для тебя он уже никогда не оживет.

Мы перешли в столовую. Лиза, шумя пеньюаром и улыбаясь глазами, принялась наливать чай. Я назвал ее по имени и отчеству и спросил:

— Вы меня не узнали?

— Ваша фамилия Орлов?

— Орлов.

Лиза закусила нижнюю губку и слегка покраснела.

— Теперь узнала, но как вас изменила борода и этот штатский костюм.

— И вы изменились.

— К лучшему или худшему?

— К лучшему.

О чем она говорила потом, я не помню, кажется, о своей фигуре, потом о своем счастье с мужем. Я сидел и только глядел на ее лицо, как на портрет давно умершей Лизы. Должно быть, я был рассеян, и это ей не понравилось. Когда я встал, она меня больше не удерживала.

На прощанье она снова подала мне руку, и я сейчас же ощутил в своей руке два серебряных рубля. До сих пор не умею точно определить то брезгливое волнение и злость, которые вдруг придавили меня. Женщина, на которую я молиться был готов, вдруг дает мне деньги, как лакею, как своему наемнику.

— Нет, уж вы это оставьте,— прохрипел я.

— Но, доктор, право, вы меня ставите в неловкое положение.

— Нет уж...— Я выдернул руку.

Два рубля упали на пол и покатились в разные стороны. Я не стал их подымать и, не оборачиваясь, побежал с лестницы. Стыдно, досадно, больно было. Конечно, оскорбительного в ее поступке не заключалось ничего, но, вероятно, такое же ощущение испытал бы всякий, получив от любимого человека по физиономии. Хотелось скорее уйти от самого себя. Я и ушел к давно ожидавшим меня приятелям. Увидев, как я вдруг накинулся на выпивку, они решили, что я от радости одурел.

— Поздравляем, с первой практикой поздравляем,— кричал Ахабадзе, наливая мне рюмку за рюмкой. Потом они кричали вместе и подбрасывали меня на «ура»...

Федор Петрович вдруг замолчал и далеко бросил окурок, а потом добавил:

— Вот эта... Наденька, что сегодня сидела возле меня за утренним чаем, о которой вы еще сказали, что она сложена вроде Венеры, так она очень напоминает Лизу. Тяжело это...

В ЛЕСУ

I

У городского судьи Листова умирала от чахотки жена. Болезнь тянулась уже два года и сначала незаметно.

Юлия Федоровна перестала выходить к общему столу только в конце февраля, а в начале апреля слегла совсем. Теперь дети, Володя и Таня, часто уходили в гимназию не напившись чаю, потому что прислуга вставала позже хозяев. Плюшевая мебель в гостиной покрылась пылью, и на ковре целую неделю валялся окурок. В доме ходили на цыпочках. Обедали не вовремя, часто на грязной, запачканной горчицей скатерти. Вертевшегося обыкновенно под столом белого пойнтера Руслана выселили в кухню.

По вечерам Володя учил латинские исключения не нараспев, а шепотом, так что его сестре Тане казалось, будто он читает какую-то очень длинную молитву.

Особенно жутко бывало по ночам, когда больная начинала кашлять, захлебываясь и делая передышки, чтобы

отпить из стакана воды. Потом она снова дремала и во сне невнятно бредила.

Слышно было, как на кухне сопел, стучал когтями по полу и чмокал Руслан, которому не давали уснуть жара и тараканы.

После одного из консилиумов доктора сказали Листову: «Дела очень плохи, нужно приготовиться ко всему. Если бы теперь ее увезти в сосновый лес, то, при полном покое, конец, пожалуй, может отдалиться...»

Листов выслушал это спокойно, только побледнел.

Съездить на первую станцию от города и нанять в лесу дачу можно было скоро, но у детей должны были начаться экзамены, хотелось также взять на лето отпуск и для себя, а главное — необходимо было достать рублей четыреста денег.

Вечером он писал в Москву двоюродной сестре Ольге:

«Хорошая моя, я совсем растерялся. Стыдно в этом сознаваться, но вижу, что один ничего не поделаю. Нужно сейчас же переехать на дачу, и нужно, чтобы кто-нибудь близкий был с детьми. Я знаю, у тебя самой теперь экзамены, но говорят, что на курсах их можно отложить до осени. Три года назад, когда мы летом гостили у вас, в Спасском, я все время любовался твоей энергией и уменьем владеть собою. Приезжай, голубчик, и помоги. Дети тебя тоже очень любят и помнят до сих пор. Тебе двадцать три года, а мне скоро сорок, но мне кажется, будто ты старше меня и опытнее. Уже больше года, как мне не с кем слова сказать, не с кем посоветоваться. Тревожить бедную Юлю, посвящая ее в разные денежные и вообще свои личные дела,— не хватает духу. Тяжко и физически и нравственно...

Вероятно, летом тетя снова будет звать всех нас к вам, в деревню, но Юля уже положительно не в состоянии перенести далекую дорогу.

Если только можешь, пожалуйста, приезжай».

Запечатав письмо, он почувствовал, как на душе у него стало светлее, потом откинулся на спинку кресла и думал:

«Чудная, необыкновенная девушка, как это я раньше не догадался ей написать. Наверное бросит все и приедет. Если письмо получится в среду, то Оля, вероятно, выедет в пятницу вечером со скорым и в воскресенье будет уже здесь».

Листов прошел в спальню к жене.

Больная, облокотившись спиной о подушки, пила моло-

ко. На маленьком столике горела свеча и слабо освещала желтое, худое лицо с обострившимся носом и сбившиеся белокурые волосы. В ее комнате было жарко, попахивало бельем и скипидаром. Листов взял стул, пододвинул его к кровати, сел и сказал:

— Ну-с, так, значит, недельки через полторы и на дачу! Ты довольна?

Юлия Федоровна опустила голову и едва заметно улыбнулась, точно хотела сказать: «Это решительно все равно...»

Чтобы не утешать жену и тем, как он думал, не раздражать, Листов притворился, что он не понял всей безнадежности ее кивка, и, насколько мог, веселым тоном рассказал, что выписал Ольгу, а потом солгал, будто бы уже сговорился относительно найма очень хорошей дачи в лесу.

И чем больше он говорил, тем яснее сознавал свое бессилие облегчить ее страдания.

Замолчав, он увидел, как по впалой щеке Юлии Федоровны медленно сползла и потом повисла возле уголка рта крупная, блестящая слеза.

— О чем ты, моя хорошая?

Листов любил это ласкательное слово и думал, что оно не банально и должно быть приятно той, которой говорилось.

— Так, ни о чем. От лежания, вероятно, развинтились нервы... Сама не знаю, может быть, о тебе и о детях. За себя мне почему-то не страшно, вот так, как не страшно опоздать на поезд, когда знаешь, что билет из кассы тебе уже выдали... Что у нас будет гостить Ольга — это хорошо. Она славная, и переезжать на дачу без нее я бы не хотела. Там, пока устроимся, я тебя совсем замучаю, а еще лучше обождать, пока у детей кончатся экзамены.

— Возможно, что их переведут без экзаменов, это на днях должно выясниться.

— Да? Во всяком случае, ехать всем вместе гораздо лучше.

Юлия Федоровна снова закашлялась и, передохнув, начала пить молоко, потом опять поперхнулась, покраснела, и молоко пошло у нее через нос.

Зная по опыту, что помочь ей ничем нельзя, Листов только поднялся со стула и ждал, пока жена успокоится, а потом сказал:

— Тебе вредно говорить, спи, моя хорошая, уже одиннадцатый час.— И вышел.

II

На другой день приходил содержатель конной почты Лейба Хик и, просидев довольно долго в кабинете Листова, ушел, а затем снова вернулся с вексельным бланком, завороченным в серую бумажку.

На прощанье Листов подал Лейбе руку, чего никогда не делал, потом снова еще долго говорил с ним в передней и затворил дверь только потому, что Руслан, почуяв из кухни чужого человека, начал громко лаять.

Получив деньги, Листов оживился.

Когда и каким образом он их отдаст — это его уже не беспокоило, радовала только возможность сейчас же поехать и нанять дачу.

Приостановившаяся было в начале апреля весна снова быстро двинулась вперед, словно нагоняя время. За несколько солнечных дней кусты покрылись молоденькими листьями, а на опушке леса рябили, волнуясь под легким ветром, белые и желтые головки цветов. Хвойные деревья пахли сильнее. На земле между прошлогодними сухими иглами суетились большие рыжие муравьи, а по ту сторону леса слышна была кукушка. Особенно поразила Листова тишина.

Мягко шумели одни сосны, покачивая золотыми от солнца ветвями.

Вспорхнула и сейчас же скрылась за просекой разноцветная, как попугай, сиворакша. И опять Листов слышит только свои собственные шаги. После города дышится как на улице после табачного и винного запаха ресторана.

«Все кругом молчит, но живет,— думал Листов.— Как хорош этот мир цветов и деревьев, которые мы почему-то называем неодушевленными. Вероятно, люди ошибаются, Душа — в каждом растении, может быть, даже сильно чувствующая, и оттого в их мире нет вражды и насилия. Живут и наслаждаются. Осенью как будто умирают, но каждый мальчик знает, что через семь месяцев всякая березка и всякий дубок — оживут. А когда наступает настоящая смерть, они отдаются ей безропотно.

А вот Юля верит в загробную жизнь, каждый день молится и все-таки страшно мучается.

Говорят, что на свете во всем гармония,— может быть, но контрастов больше...»

Вдали прокатился сначала один, а потом другой свисток отходившего поезда, и эхо также прокатилось два

раза через весь лес,— будто над верхушками деревьев кто-то махнул огромным хлыстом.

«Поезд ушел, а по расписанию он должен был стоять восемь минут,— промелькнуло в голове Листова.— Значит, я иду столько же времени, и скоро должны показаться дачи».

Просека, по которой он шел, понемногу расширилась.

Впереди, между оранжевыми стволами деревьев, завиднелись красные и серые пятна беструбных дачных крыш. Залаяла далеко собака, но ее не поддержали другие.

Тишина на улице поселка была такая же, как и в лесу.

В некоторых домах еще с зимы окна оставались заколоченными.

Казалось, что недавно здесь свирепствовала повальная болезнь и жители все разбежались.

«А придет конец мая — и подымется здесь суета,— думал Листов.— Полетят на велосипедах гимназисты и студенты, а по вечерам на балконах и возле ворот будут шептаться и смеяться барышни. Закричат на разные голоса разносчики, станет так же пыльно и противно, как в городе. Нужно искать дачу где-нибудь в глубине леса».

Он свернул налево, в узенький переулок, между двумя дощатыми заборами, и пошел по тропинке, сам не зная куда.

Тропинка кончилась у небольшого беленького каменного дома, не похожего на дачу.

Перед дверью на скамейке сидела старуха и чистила картофель, который потом бросала в стоявшее у ее ног ведро с водою.

Листов остановился и, посмотрев на старуху, сказал:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте,— ответила та.

— Что, у вас эта дача отдается?

Старуха поднялась со скамейки и вытерла о фартук руки.

— Да, хотим отдать, это верно. Многие уже спрашивали, только потом отказываются через то самое, что далеко от вокзала.

— А может быть, здесь сыро?

— Не. Какая сырость. Тут до марта месяца всю зиму объездчики жили. Это казенный дом был, а теперь его мой сын купил. В старших рабочих он служит на ремонте пути, так что летом больше на линии да по казармам ночует.

— А сколько комнат?

— Комнат четыре, а сдавать буду три, одна самой мне...

Чтобы не терять времени, Листов пошел прямо к двери. Старуха еще раз вытерла руки и, согнувшись, опередила его.

Комнатки были чистенькие, с вымазанными известью стенами и недавно вымытыми некрашеными полами. В самой большой два окна были отворены настежь и под потолком билась и гудела большая мохнатая бабочка.

«Может быть, в этой комнате умрет Юля»,— подумал Листов и, чтобы отогнать от себя вдруг нахлынувший ужас, спросил неестественно громким голосом:

— Ну, а цена?

Старуха поправила на голове платок.

— Да хотели за лето взять двести рубликов. Домик хороший.

Сошлись на полутораста.

Листов дал в задаток двадцатипятирублевую бумажку и сказал, что они переедут через неделю.

Дома он застал телеграмму от Ольги с известием, что она приедет в воскресенье скорым поездом.

— Значит, послезавтра,— сказал он сам себе.— Как бы там ни было, но жить станет много легче, не придется самому подводить счеты с прачкой и браниться с молочницей. Если Юле станет хуже, я так не растеряюсь. Уйду за доктором — Ольга дома останется. А на даче будет еще лучше.

Потребность делиться с кем-нибудь своими мыслями всегда была у него особенно сильна. Говорить с женой обо всем уже давно было невозможно.

Узнав однажды, что Володя получил двойку, Юлия Федоровна потом не спала целую ночь и представляла себе, как после ее смерти его выгонят из гимназии и он всю жизнь будет служить писцом в каком-нибудь страховом обществе.

Приходилось от нее скрывать и встречи, и разговоры с людьми, которых она не любила.

Листов чувствовал, как с каждым днем шла на убыль духовная близость, установившаяся между ним и женой сейчас же после свадьбы, и мучился этим еще больше.

«Жизнь провинциального судейского чиновника тяжелая штука,— думал он.— Двенадцать лет мы везли ее вместе, и каждый год на эту невидимую повозку судьба

прибавляла все больше тяжести. Теперь я остался один. Вот-вот споткнусь и упаду. Скоро будет легче. Если за лето соберусь с силами, то после отъезда Ольги, осенью, смогу потянуть все беды и один.

Главное — передохнуть и выговориться. Нужно также, чтобы третье лицо указало, когда и в чем я поступаю не так, как нужно. Самому не видно, точно зрение притупилось. Думаешь следующий день прожить известным образом, а когда наступает утро, то оказывается, что вместо разбора дела необходимо ехать в гимназию, вместо того, чтобы выдать на базар рубль двадцать копеек, следует еще уплатить молочнице девять рублей, да по окладному листу двенадцать, и сорок копеек сапожнику».

Когда во все это входила жена, так почему-то не случалось...

III

Ложась спать, Листов представлял себе, как он встретит на вокзале Ольгу и, еще по дороге, расскажет ей о всех своих переживаниях.

Он силился мысленно нарисовать себе выражение ее голубых смеющихся глаз, и это не удавалось, зато все ее здоровое лицо, белые зубы, смех и голос он будто сейчас видел и слышал.

Три года тому назад Листов с семьей гостил целое лето в имении у сестры своей покойной матери и тогда близко познакомился с Ольгой, которую раньше видал девочкой. И ему потом все три года это лето казалось самым интересным и счастливым в его жизни. Всем было хорошо.

Жена поправилась, поздоровели и загорели дети.

С двадцатилетнего возраста он считал себя человеком с вполне установившимися взглядами и понятиями, и притом самыми правильными.

Каждое явление, каждая отдельная личность у него легко укладывалась в известную форму.

Курсистка — значило: идейное существо, лишенное женственности и страсти. Крестьянин — дикий человек с врожденной неспособностью культивироваться умственно и нравственно, с обрядностью вместо религии, с вечным желанием мстить и убивать там, где нужно быть тактичным и благоразумным. Лошадь — низко одаренное животное, созданное для заработка извозчиков и удобства передвижения господ.

Эти и другие подобные взгляды его, человека, прожив-

шего на свете тридцать пять лет, вдруг опрокинулись и изменились, и не вследствие личного опыта или чтения каких-нибудь трактатов, а только от близости и разговоров с Ольгой.

Узнав, что она уже второй год на курсах, Листов сначала не хотел этому верить.

Всегда красивая, художественно причесанная, в изящном и удобном платье, в такой же изящной и удобной обуви, вечно веселая и со всеми приветливая, Ольга понравилась ему с первого же дня их знакомства.

Как-то вечером, когда они вдвоем сидели на балконе, Листов сказал:

— Ты вот и голодающих крестьян кормишь, и о моих детях и жене заботишься, словно они тебе самые близкие существа, и читаешь много, но на курсистку ты совсем не похожа.

— Почему?

— Да так. Манеры у тебя хорошие, ты ни на кого не шипишь, со вкусом одеваешься, и даже духами от тебя часто пахнет. Я видал курсисток, так те, словно цепные собаки, бросаются на человека за каждое несогласное с их верованиями слово; сами угловатые такие, всегда с искривленными каблуками, и пахнет от них скверно, так мне, по крайней мере, казалось.

Ольга засмеялась и начала говорить, а ее блестящие глаза все еще светились улыбкой.

— Ты не понимаешь, в чем дело. Это совсем не потому... Я лично, например, получаю от мамы сто рублей в месяц, а у большинства курсисток и половины таких денег нет. Да и типов вроде тех, которых ты описываешь, давным-давно не существует. Если и есть очень небольшая доля правды в твоих словах, то потому, что не только нравственные мещане, но даже доктора и образованные люди так их, бедных, «затюкали», что они в каждой пустой фразе ожидают нападения, но сами они ни на кого не бросаются, я в этом смею тебя уверить. Многие из них хотели быть женами и матерями, и это почему-нибудь не удалось, ну, им и трудно беспристрастно разобраться в таких вопросах, как любовь, личное счастье... А что касается каблуков, так это оттого, что приходится пропасть ходить — и на лекции, и по урокам. Многие принуждены жить в сырых квартирах, ну, и поэтому одежда часто пахнет плесенью. Рядовой курсистке быть всегда любезной и кокетливой тоже очень трудно, нет вре-

мени в этом упражняться, а без упражнения всякая техника портится. Так, брат...

— Ну, а почему же ты ни с кем не споришь и не чертыхаешься, когда сердишься?

— Потому что я еще не озлоблена и ленива. Мне лень навязывать людям свои убеждения, если я знаю, что эти убеждения к ним привиться не могут. Ну, а некоторые идеалистки все еще надеются кого-нибудь научить или исправить. Ведь не станешь же ты разубеждать раскольника в том, что стричь бороду значит изменять образ божий,— пропадет только время, которое пошло бы на что-нибудь другое, если не полезное, так приятное. Так?

— Безусловно, так. Хотя в этом отношении я вот был вроде раскольника, а ты мне объяснила то, чего я раньше не понимал, а может быть, не хотел понимать... Знаешь, вот я уже порядочно живу на свете и знаю, что русское общество, по взглядам, делится на много партий, но в которой из них в основу положена абсолютная истина, для меня и до сих пор непонятно. Так вот: я знаю, в чем суть магометанства, и знаю, в чем суть, скажем, закона Моисеева, но какая из этих двух религий симпатичнее или не симпатичнее — решить не могу.

— Но зато, наверное, знаешь, что как магометане, так и евреи могут быть людьми симпатичными и не симпатичными,— сказала Ольга.

— Это я знаю.

— Значит, нравственная физиономия человека далеко не всегда характеризуется тем, в какой рубрике общества он числится. Кто это помнит, тот всегда будет справедливым...

— Значит...

Случалось, что за чаем или в саду, до захода солнца, в этих разговорах принимала участие и Юлия Федоровна и потом вечером, ложась спать, говорила мужу: «Что-то хорошее, естественное и искреннее есть в Ольге. Знаешь, сегодня дети ни за что не хотели уснуть, пока она их не поцеловала».

Но Листову всегда было приятнее говорить с Ольгой один на один, и тогда он испытывал такое же удовольствие, как от чтения интересной книги, когда кругом ничто не шумит и никто не надоедает.

Для него стало потребностью погулять с Ольгой после ужина по темной аллее, когда все уже разошлись по своим комнатам.

Обыкновенно доходили до самого пруда, которым оканчивалась аллея, и потом медленно возвращались назад к балкону. Года через два после этого лета Листову случилось быть в другой, совсем чужой ему деревне. И, гуляя там вечером, возле пруда, он долго не мог сообразить, почему ему были так милы и запах водорослей, и тихая поверхность стоячей воды.

Однажды Ольга целый день казалась ему грустной, а после ужина особенно молчаливой, и он спросил:

— Что это с тобою сегодня случилось, ты точно пришибленная? Это к тебе не идет.

— Есть причина. Утром была неприятность.

— А ты поделись со мною, легче станет.

— Это правда,— сказала Ольга, садясь на ступеньку крыльца,— когда твое горе знает еще один человек, то кажется, будто и он несет частицу его. Я поделюсь с тобою, только ты сначала расскажи мне, как ты полюбил Юлю, как женился, как делал предложение, ну, как произошло все это?..

«Может быть, Юлия ревнует и сказала ей что-нибудь нелепое»,— мелькнуло у Листова в голове, и он почувствовал, как у него прилила кровь к вискам. Помолчав, он быстро овладел собою и спросил:

— Разве это имеет какое-нибудь отношение к тому, что ты переживаешь?

— Не совсем, но имеет,— коротко ответила Ольга, вздернула обоими плечами и сильнее закуталась в платок, который был на ней.

— Прошло уже десять лет, многие мелочи изгладились,— начал Листов.

— Я не о мелочах, а о сущности хочу знать: почему ты решил, что будешь счастлив именно с ней, и за что ее полюбил?

— Во-первых, потому, что она бесконечно добрый человек, всепонимающий человек. Во-вторых, она нравилась мне как женщина, и мне хотелось те поцелуи и ласки, которые я себе позволял, сделать вечными, во всяком случае, долгими. Ну... ну, вообще я думаю, что полюбил ее потому, что полюбило мое сердце. Хочешь, считай меня идиотом, но я всегда думал и буду думать, что в этих случаях решающее значение имеет не разум, а инстинктивное влечение к данному существу...

— Я с этим тоже согласна, и сегодня в особенности,— заговорила Ольга.— Видишь ли, утром, когда вы все еще

спали, я была по делу в нашей школе. Учителем в ней состоит некто Зарудный, славный малый, честный, трудолюбивый...

«Значит, Юля здесь ни при чем»,— подумал Листов, вздохнул свободнее и закурил папиросу.

—... Да, человек он, можно сказать, просто выдающийся,— продолжала Ольга.— Ему тридцать лет, у него есть сорок десятин земли, и учительствует он не из нужды, а по идее. Ну-с, так вот этот Зарудный уже два года при каждом удобном и даже неудобном случае объясняется мне в в любви, а сегодня сделал настоящее предложение и даже плакал. Тяжело смотреть, когда такой человек плачет.

— Что же ты ему ответила? — испуганным голосом спросил Листов.

— Отказала.

— Почему, может быть, боялась огорчить тетю?

— Нет, мама знает, что мои решения непреклонны, и я о ней тогда даже не думала. Просто насколько мне разум говорит, что Зарудный прекрасная личность, настолько же мое чувство мне ничего не говорит. Ты вот подумай, может ли женщина всю себя отдать тому, к кому ее не тянет.

— Да, такая, как ты, конечно, не может.

— Значит, я хорошо поступила?

— Мне кажется, хорошо,— ответил Листов, бросил папироску и стал смотреть на созвездие Большой Медведицы.

На деревне запели петухи, а потом слышно было, как защелкал перепел, висевший в решете над дверьми кухни.

— Поздно уже,— сказала Ольга,— идем.

— М-гм. Нужно идти спать.

Он встал и вслед за Ольгой начал подыматься по ступенькам балкона. Прежде чем отворить дверь, Листов снова спросил:

— Ну, а какого бы ты человека желала себе в мужья?

— Право, не знаю. Трудно это решить, ну... хоть такого, как ты.

Она засмеялась, потом снова вздернула обоими плечами и сказала:

— Ух, холодно, скоро рассвет,— и отворила дверь.

IV

Теперь с того времени прошло три года. Листов ходил по кабинету и волновался. От приезда Ольги он ожидал слишком многого.

Казалось ему даже, что и жена сейчас же начнет поправляться и потом выздоровеет совсем.

В воскресенье, в семь часов утра, он выпил кофе и был уже одет, хотя поезд приходил в начале одиннадцатого. Через полтора часа, надев пальто, Листов прошел к жене сказать ей, что едет на вокзал. Больная спала. Он поцеловал ее в желтый лоб и, вздохнув, вышел.

На улице накрапывал весенний прямой дождь и одновременно светило солнце, кое-где переливаясь радугой в прозрачных каплях.

«Разом плачет и смеется,— подумал Листов о природе и мысленно добавил: — Так и я сейчас».

Встречающих на вокзале было мало.

Жандармы и носильщики вышли на платформу только после того, как станционный колокол ударил один раз — это обозначало, что поезд миновал уже последнюю стрелку. Паровоз и багажный вагон точно вынырнули справа и пронеслись мимо, каждый следующий вагон уже проплывал медленнее.

Зашипели тормоза, поезд дрогнул и остановился. Побежали носильщики в белых фартуках.

В одном из окон виднелась серая фетровая шляпа с черной лентой и улыбавшееся из-под нее знакомое лицо.

Листов и Ольга встретились на площадке вагона и крепко расцеловались.

— Как я рад, как я рад, знаешь, вчера...— заговорил он.

— Хорошо, хорошо, только сначала нужно получить по квитанции багаж... У тебя даже руки дрожат...

Когда ехали на извозчике, Листов хотел как можно больше рассказать о жене, о детях и о своих переживаниях, но связного рассказа не выходило, и после каждой фразы он только повторял:

— Ужасно я рад...

— Ну, и отлично, а ты мало изменился,— сказала Ольга и подумала: «Как он пожелтел, и мешки под глазами появились, должно быть, спит мало или почки не в порядке».

Увидев ее в передней, дети завизжали от восторга, и Володя, вместо того чтобы шаркнуть ножкой, как его учили, повис у Ольги на шее. Руслан залаял на кухне, услыхав возню. Потом дворник внес корзину — и все успокоилось.

Юлия Федоровна тоже повеселела, но от разговоров

скоро утомилась и в восемь часов уже спала. Володя и Таня попеременно кричали на своих кроватках:

— Тетя Оля, а ты привезла тыквенных семечек?

— Тетя Оля, а ты помнишь, как в Спасском теленочек съел мой носовой платок?

К десяти часам утихли и они.

Листов и Ольга долго сидели в кабинете на диване, разговаривая и советуясь о здоровье Юлии Федоровны.

— Да, она сильно подалась,— говорила Ольга,— я даже не ожидала. Теперь самое главное не терять головы. Когда тебе станет очень тяжко, вспомни, что такая жизнь, какою живет Юлия, тяжелее и страшнее смерти; но пока эту жизнь нужно скрашивать насколько возможно. Прежде всего необходимо уверить Юлю, что до конца еще очень далеко. Если ей станет вдруг плохо, следует говорить, что она простудилась, и вообще отвлекать ее от мыслей о болезни. Будем попеременно читать ей вслух, сообщать всякие новости о близких ей людях... Скорее бы только на дачу, в лес.

— На той неделе непременно переедем. Я даже думаю, что уже во вторник можно будет перевезти часть вещей, а в среду и двинемся. Вот завтра должен окончательно решиться вопрос о Володином переводе без экзаменов. Относительно Тани я с начальницей уже дело уладил. Да и самому мне отдохнуть хочется. Каждый нервик болит. Иной раз страшные часы приходилось переживать: закашляется она, жилы на висках надуются, мученья, видимо, адские, а помочь ничем нельзя, не только помочь, а даже и просто облегчить...

— Да, это ужасно.

— Еще она страшно волнуется за будущее детей. А что же дети? Учатся хорошо, способные, послушные. Рано или поздно выйдут в люди. Ведь и я рос без матери... Невероятно тяжелый этот год. Векселей я выдал кучу, и все без толку. Служба моя трещит. Была ревизия, а у меня масса нерассмотренных дел...

Листов встал и заходил взад и вперед по ковру.

Ольга откинула голову на спинку дивана и, сделав строгое лицо, что-то обдумывала.

Часы пробили три.

— Ну, прости, я пойду спать, устала,— сказала она и поднялась.

Листов молча поцеловал ей руку и проводил до гостиной, где была приготовлена постель.

Вернувшись к себе, он встал на подоконник, отворил форточку и, высунув голову, несколько минут дышал свежим ночным воздухом. Потом он вспомнил, что не взял из гостиной деревянной коробки с папиросами, а в портсигаре их оставалось всего две, и пошел за ними.

Ольга стояла перед зеркалом уже без корсета и причесывалась.

— Фу, как ты меня испугал,— пробормотала она, закрываясь руками.

Листов сконфузился и затворил дверь.

— Там, в углу, на столике, есть деревянная коробочка с папиросами — в виде домика, дай мне ее... Прости, пожалуйста, что я не постучал, я никак не думал, что ты успела уже раздеться.

— Всегда нужно спрашивать,— недовольным голосом ответила Ольга и кистью руки просунула через дверь коробочку.

«Да, неловко вышло,— думал Листов, снимая в кабинете сапоги.— Какая она, однако, эффектная с распущенными волосами, а с ее взглядами на брак, чего доброго, останется старой девой».

Ночью ему приснилась Ольга с распущенными волосами и голыми руками, и будто он целует ее. Он разозлился на себя за этот сон и, закурив папиросу, долго лежал на спине. До самого утра уже не спалось.

V

На даче долго не могли устроиться, и портила настроение погода. Часто перепадали дожди, а по вечерам бывало сыро и казалось страшно в одиноком домике среди леса.

На дворе шумит и шумит, а что — дождь или деревья — не разберешь. Но уже в середине мая начались жаркие, почти летние дни.

Юлия Федоровна с утра и до вечера лежала в гамаке и говорила, что чувствует, как оживает вместе с природой.

Листов и Ольга и дети старались угадывать все, что она хочет, и делать ей только одно приятное. Ольга сама жарила для нее бифштексы, кипятила молоко и варила яйца. После города все повеселели. Даже Руслан как будто помолодел, делал стойки на птиц и гонялся за кошками, а ночью спал не в кухне, а на крыльце, как настоящий сторожевой пес.

Раза два в неделю заходил доктор, совсем молодой человек с козлиной бородкой. Он мало говорил, а на каждую фразу отвечал только кивком головы и, казалось, вечно куда-то спешил.

Уже все дачи заселились. По вечерам издалека слышалась военная музыка, а возле вокзала с шумом взлетали ракеты и потом лопались под самыми звездами. Но обитателям беленького домика не было дела ни до этого шума, ни до людей, производивших его.

Юлия Федоровна вставала рано и ложилась сейчас же после захода солнца вместе с детьми. Ложилась иногда с нею и Ольга, но, проворочавшись часа два, снова одевалась и выходила на крыльцо.

Услыхав знакомые шаги, Листов сначала глядел на Ольгу через открытое окно, а потом брал фуражку и шел к ней сам. Они садились рядом в гамак и долго разговаривали.

Случалось, что Листов уже не слушал ее слов, а только чувствовал возле своего плеча теплоту ее тела, отделенного одной легкой кофточкой, и думал: «Ведь я же не виноват, что мне с нею так хорошо, ведь я же не виноват...»

На совести было чисто.

В каждый данный момент он мог бы совершенно искренно себе ответить, что в нем не горит тайное желание рано или поздно овладеть Ольгой как женщиной, что любит он в ней больше человека, умного и отзывчивого.

И все-таки совесть его иногда болела до одурения. Было стыдно от сознания, что в то время, когда кончает свои дни жена, невыразимо страдая физически и нравственно, ему хорошо, он почти счастлив.

Простившись с Ольгой, Листов уходил в свою комнату и часто не ложился спать, а до самого рассвета сидел у окна и думал. Смотрел, как розовели при восходе солнца стволы сосен, слушал, как ворковала где-то далеко горлинка, и ему не хотелось двигаться с места.

Юлия Федоровна часто говорила с улыбкой Ольге: «Мне вот двигаться тяжело, а так я совсем чувствую себя лучше, могу даже подряд съесть три яйца. Вот только горло болит, это оттого, что после захода солнца было отворено окно».

Сам Листов желтел и стал молчаливее.

Однажды на дачу заехал навестить больную член суда Вяземцев. Оказалось, что Юлия Федоровна спит, а Ольга ушла с детьми в лес. Он прошел в комнату Листова и застал его плачущим. Листов даже не заметил, что вошел

посторонний человек, и, уткнувшись мокрым лицом в горячую подушку, продолжал судорожно вздрагивать.

Вяземцев сел возле него на кровать и спросил:

— Что с вами, голубчик?

Листов поднялся и испуганно поглядел на товарища.

— Что с вами, мой дорогой? — повторил тот.

— Да и сам... сам не знаю. Зашалили, должно быть, нервы,— ответил он, вытираясь платком, потом высморкался, сел на постели и потупился.

Вяземцев сделал грустную физиономию, погладил его по руке и целых полчаса рассказывал о случаях полного выздоровления чахоточных, и от слов человека, который совсем не понимал его настроения, на душе было еще мучительнее. Когда член суда ушел, Листову стало страшно, точно он собрался в далекую дорогу и скоро предстояло проститься навсегда с женой и детьми.

Только возле Ольги сразу делалось спокойно и мысли шли правильно.

Пятнадцатого июня после жаркого дня к вечеру поднялся ветер. Облака клочьями бежали по небу, светлели возле неполной луны, темнели и опять прятались за верхушками сосен. Тени рябили по земле, как волны, оставляя то синеватые, то фиолетовые пятна, и деревья шумели, как море.

Листов и Ольга сидели в гамаке, утомленные духотой и хлопотами возле Юлии Федоровны, которой в этот день было особенно худо. Ольга молчала, а Листов говорил:

— Самое вкусное в разговорах с тобой — возможность говорить правду о чем угодно. С другими женщинами этого положительно нельзя. Кстати, о женщинах. Сегодня ночью я долго о них думал и даже вывел известный закон, а именно: что полное обладание любимой женщиной оплачивается во всех случаях чрезвычайно дорого, умопомрачительно дорого. Никакой писатель или певец никогда не мечтал и не может мечтать о таких гонорарах. Ты думаешь, я так себе болтаю зря,— нет. Слушай, а потом критикуй. Вот три случая: первый, когда любимая женщина жена. Тогда мужчина за обладание ею часто платит всем своим здоровьем, всем своим денежным содержанием, служебной карьерой и будущим своих детей,— так бывает. Гонорар не маленький!.. Но в этом случае, как во всяком правиле, бывает исключение. Люди, профессию которых составляет искусство, иногда, но не всегда, не приносят в жертву только этого искусства.

Второй случай, когда любимая женщина — девушка или чужая жена; тогда плата за нее возвышается еще прибавлением ко всему перечисленному собственной совести. Тоже хороший гонорар. Правда?

Рассмотрим третий случай, когда любимая женщина — падшая или содержанка. Тогда платой бывает еще получение известной болезни, имея которую порядочный человек уже никогда себе не позволит жениться. Ну, и очень часто эти женщины берут все самолюбие мужчины и даже его жизнь. Так ведь?

— Может быть, это и так,— произнесла Ольга,— но женщина, раз она любит, то она готова заплатить за эту любовь всегда и *всем* тем, что ты перечислил в каждом из трех случаев, до жизни включительно.

— Согласен с этим и я. Значит, так или иначе,— любовь самое дорогое и для мужчины и для женщины.

— Да,— почти одними губами ответила Ольга.

VI

Когда было около двух часов ночи, Юлия Федоровна закашлялась и несколько секунд искала возле себя стакан с холодным чаем, потом зацепила его локтем и опрокинула. Стакан упал и зазвенел по полу.

Передохнув немного, больная встала с постели и, опустив свои худые, как кости, ноги в войлочные туфли, хотела дойти до стоявшего на подоконнике графина с водой, но после трех шагов у нее закружилась голова, и она села на холодный пол, поддерживая себя кулаком правой руки, а потом упала и вытянулась во всю длину изможденного тела. Зеленый луч луны, точно шнурок, тянулся сквозь щель ставни и скользил по белой кофточке Юлии Федоровны.

В комнате был тяжелый воздух. Пронзительно, не умолкая ни на одну секунду, пищал комар.

— Во-ло-я...— попробовала больная окликнуть спавшего в соседней комнате сына.

— Во-ло-и-чка...

Собравшись с силами, она доползла наконец до окна, а потом отворила ставню. Зеленоватый луч расплылся по полу в широкую ленту.

В окно был виден покачивавшийся между соснами гамак и в нем две белые фигуры.

«Если бы теперь воздуху,— думала Юлия Федоровна,— если бы я могла отворить и раму!.. Вдохнула бы — и

сейчас бы стало легче. Они там вдвоем, а я никогда, никогда ничего подобного не буду переживать. Нужно окликнуть их». Она оперлась телом о подоконник и изо всей силы дернула задвижку, но та не поддалась.

Больная заплакала и, медленно опустившись на колени, снова свалилась на бок, и щека ее прикоснулась к полу.

«Господи, пошли смерть, только смерть,— может быть, я не верю в тебя, как нужно, но послушай меня, исполни последнюю мою просьбу, пошли смерть»,— молилась мысленно Юлия Федоровна.

Зазвенело в ушах, и комната вместе с лунным светом медленно поплыла вокруг. Трудно было понять, какой это темный предмет лежит возле самого лица, и нет сил сообразить, почему во рту стало вдруг тепло и солоно, а в ногах и руках сладко...

— Послушай, кажется, Юлия в окно стучит,— сказала упавшим голосом Ольга Листову и соскочила с гамака.

— Нет, это тебе так показалось. Этого быть не может. Она спит.

— Смотри: окно стало темным, значит, ставня отворена.

Ужас сдавил голову Листову, и ему стало трудно дышать.

Через секунду оба они были в комнате. Юлия Федоровна не двигалась.

— Зажги спичку,— хрипло сказала Ольга, и этот голос Листов потом помнил всю жизнь.

Руки у него тряслись, и он долго не мог найти коробочку со спичками.

Наконец свеча, медленно разгораясь, осветила комнату, и лунный свет на полу пропал.

В двух шагах от окна лежала с полураскрытым ртом и мутными глазами Юлия Федоровна.

Возле лица чернела лужа крови; красноватая густая жидкость дотекла до валявшегося недалеко от покойной одеяла и расползлась в две стороны.

— Ну, за доктором скорее, может быть, это еще обморок от потери крови,— повелительным шепотом произнесла Ольга.

Рассудок подсказывал, что никакого доктора не нужно, но не было сил верить,что все уже кончилось так неожиданно и так просто.

«Теперь главное не растеряться и не разбудить детей»,— думала она и повторила:

— Иди же!

Листов побежал. Чтобы выиграть время, он пошел не по улице, а через лес, напрямик. Он не слыхал шума деревьев и не видел нырявшего впереди белым пятном Руслана.

Доктор жил возле станции. Листов задыхался, спотыкаясь о корни, и немного овладел собою, когда показались зеленые огоньки стрелок. Он помнил, что когда надавил кнопку звонка, то где-то недалеко военный оркестр грянул «Торсадора» [1], и особенно отчетливо были слышны удары палок маленького барабана. Доктор еще не спал, торопливо надел пальто и сейчас же пошел.

— Мы сидели... мы сидели...— начал ему рассказывать на ходу Листов и ничего не мог рассказать.

Дошли быстро. Ольга встретила их в дверях. Она уже уложила труп на постель и молча отодвинулась, чтобы дать пройти.

Доктор взял руку покойницы и, продержав ее с минуту, бережно положил обратно. Затем расстегнул кофточку и приложил ухо к теплому еще телу... Подняв голову, он подошел к невытертой луже крови, поглядел на нее и, сделав виноватое лицо, сказал:

— Я уже ничем не могу помочь...

Листов тихо плакал, облокотившись о комод обеими руками.

Доктор взял его за талию, как ребенка, и вывел на балкон. Вслед за ними вышла и Ольга.

— Я знаю, что утешать в таких случаях бесполезно,— говорил доктор.— Но конец был неизбежен. Теперь нужно думать о том, что она уже не страдает и не будет страдать. От кашля, вероятно, лопнул какой-нибудь сосуд. Если бы этого не случилось сегодня, то случилось бы через несколько дней, и никто в этом не виноват.

— А мне кажется, что я виноват! — глухо произнес Листов.

— Нет. Я следил за течением болезни полтора месяца. Вы образованный человек и не можете не понимать, что если свеча догорела — она должна потухнуть...

И Ольга и Листов в эту ночь не спали, но не разговаривали. Не говорили они между собой и на следующий день.

Ольга старалась утешить детей, но после своих же толковых и звучавших как будто спокойно фраз не выдерживала и начинала плакать вместе с Володей и Таней.

Несколько раз приходила старуха хозяйка. Она же и обмывала тело, и когда вышла из комнаты за водой, то по дороге спросила Листова, останется ли он на даче.

— Деньги заплачу все,— ответил он и отвернулся.

Целые сутки в беленьком домике была суета, слышались голоса чужих людей, пение и пахло ладаном.

Хоронили Юлию Федоровну рано утром. Гроб несли на сельское кладбище крестьяне с перевязанными платками руками.

Процессия медленно двигалась по лесной просеке.

Свя-тый бес-смерт-ны-ы-ый,—

заливался в хоре тенор, и мягко прикрыли его густые басы:

по-ми-луй... на-а-а-ас...

И пение привлекло мало-помалу целую толпу дачников.

Ольга уехала через неделю после похорон, когда Листов снова переселился в город.

— Не сердись, голубчик,— говорила она, стоя на площадке вагона,— не подумай, что из эгоизма бросаю тебя одного в такие тяжелые дни. Теперь тебе без меня будет легче. Не с кем будет говорить о ней и мучить себя. Гувернантка, которую рекомендовал Вяземцев, отличная женщина, и дети скоро привяжутся к ней так же, как и ко мне.

Когда ударил второй звонок, Листов сказал:

— Знаешь, вот этот... доктор сделал сравнение: «Если свеча догорела, так должна потухнуть». А мне кажется, что дунул на свечу я...

— Нет, нет, и не мучь себя. Тебе так кажется, потому что ты хороший человек и совесть у тебя болезненно чутка. Придут в порядок нервы — не будет казаться. Работай больше, о детях думай. Мне пиши пореже...

Ударил третий звонок.

Листов все же писал Ольге почти через день, хотя она отвечала редко и коротко. Только в конце сентября Ольга написала ему длинное письмо, и заканчивалось оно так: «Может быть, этим поступком я противоречу самой себе, но отказать Зарудному еще раз не хватило сил. Такой он здоровый душою, такой честный и нетронутый городской грязью человек. Вдвоем с ним можно сделать людям много добра...»



КОММЕНТАРИИ

А. А. ТИХОНОВ-ЛУГОВОЙ

Алексей Алексеевич Тихонов (псевдоним — Луговой) родился в 1853 году в Варнавине Костромской губернии в культурной купеческой семье. После окончания псковской гимназии поступил в Петербургский технологический институт, но на первом же курсе был вынужден оставить учебу и помогать заболевшему отцу в торговых делах. В конце 70-х годов он самостоятельно занялся экспортом хлеба и льна, часто и подолгу бывал в связи с этим за границей, жил некоторое время в Америке. Впоследствии дела его пришли в расстройство, и после ликвидации торгового предприятия он, поселившись в Петербурге, отдался давней своей страсти — литературе.

Еще в гимназии, под влиянием чтения, состоявшего преимущественно из русской литературы и зарубежной классики, в особенности античных авторов, он сочинял стихи и прозу. В 1884 году в журнале «Россия» было напечатано его первое стихотворение, а в 1886 году журнал «Вестник Европы» опубликовал первый рассказ — «Не судил бог». Литературное наследие Тихонова-Лугового разнообразно: стихи, романы, пьесы, рассказы, повести. Поэтическое творчество его, эпигона некрасовской школы, осталось совершенно незамеченным в тогдашней литературной жизни. Не имели успеха и его пьесы «Озимь» (1890) и «Безумная» (1902), поставленные в Александринском театре.

Известность принесла Тихонову повесть «Pollice verso!» («Добей его!», 1891), в которой четыре параллельных сюжета рисуют «психологию толпы». Затем были написаны романы «Грани жизни», «Тенета», «Возврат. Роман колеблющихся настроений», «Умер талант», повести «Между двух смутных идеалов», «Взятка». Традиционный герой Лугового — талантливый, но слабовольный интеллигент; он не умеет бороться с косной средой и гибнет при столкновении с нею. По контрасту ему противопоставляется образ человека «сильной воли», жизненные принципы которого сформированы якобы «самой природой». В книгах Тихонова избыток нравственных поучений, отвлеченно-философских рассуждений, проповедь опрощения, «естественного состояния» («Возврат», «Тенета»). Обладавший достаточно высокой общей эрудицией и свободно владевший литературной техникой, Тихонов в основе своего творчества ригорист, считавший себя хранителем старых «литературных заветов».

13 Заказ 827

Лучшее из написанного Тихоновым-Луговым принадлежит начальному периоду его творчества — 80-м годам, когда он опубликовал ряд произведений «из народного быта» — рассказы «Не судил бог», «Одним часом», «За грозой — ведро», «Швейцар» и др. К рассказам из народного быта примыкают и опубликованные в «Неделе» очерки «Из поездки к голодающим», «У голодающих», вошедшие в литературу «голодного года» (1892).

С Чеховым Тихонов познакомился в мае 1895 года, когда, будучи редактором журнала «Нива», он пригласил Антона Павловича сотрудничать. Началась переписка, связанная главным образом с публикацией в «Ежемесячных литературных приложениях к «Ниве» повести Чехова «Моя жизнь». Тихонов отличался неплохим редакторским чутьем. Чехов считал его «хорошим редактором» (письмо Тихонову от 25 апреля 1897 г.). Придерживаясь традиционных литературных форм в собственном творчестве, Тихонов-Луговой с пониманием и сочувствием отнесся к тому новому, что несли в себе произведения Чехова. Повесть «Моя жизнь» он назвал в письме к автору «вещью глубокой по содержанию» [1], а о повести «Мужики» писал Чехову 10 мая 1897 года: «Все это прекрасно, как все, что Вы пишете, с художественной точки зрения, и отвратительно как действительность, черт ее побери!.. Вас упрекают, что в «Мужиках» Вы *тенденциозно* берете только темные стороны, умалчивая о светлых. Вздор это. Точно художник *обязан*, чтобы быть объективным художником, подыскивать непременно и такие явления, которых у него в данную минуту не оказывается под руками...» [2]

В 1911 году Тихонов опубликовал воспоминания о постановке «Чайки» в Александринском театре («Ежегодник императорских театров», вып. VII).

Умер А. А. Тихонов-Луговой в 1914 году в Петербурге. В советское время вышла книга его рассказов «Два бунта» (Л., «Прибой», 1927).

ШВЕЙЦАР

Написано в 1887 г. Печатается по изданию: А. Луговой. Сочинения, т. III. СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1907.

[1] *Марино Фальери* (1274—1355) — венецианский дож, организатор заговора с целью создания в Венеции демократической республики. Был казнен: его живым замуровали в стене тюрьмы.

---

[1] «Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина», Вып. 8. М., Госполитиздат, 1941, с. 45.

[2] Там же, с. 47.

В. А. ТИХОНОВ

Владимир Алексеевич Тихонов, младший брат А. А. Тихонова-Лугового, родился в 1857 году в Казани. Окончил московскую частную гимназию Креймана. Офицером принимал участие в сражениях Кавказской армии во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов. К этому периоду относится и начало его литературного творчества. В 1878 году в тифлисской газете «Обзор» был напечатан его первый рассказ «Сутки на очереди», воспроизводивший сцены из военного быта. Впоследствии произведения на эту тему вошли в книгу Тихонова «Военные и путевые очерки и рассказы» (1892).

Сразу же по окончании войны Тихонов вышел в отставку. В течение пяти последующих лет он был актером, агентом русской торговой фирмы во Франции. В 1882 году поселился в Петербурге, где занялся профессиональной литературной деятельностью. Первый успех принесла ему поставленная в 1884 году в Александринском театре комедия «Через край», которую одобрил Д. В. Григорович. Затем появились пьесы «Байбак», «Козырь» (получила Грибоедовскую премию), «Суженый-ряженый», «Сполохи». Не глубокая по сути, но злободневная, насыщенная комическими ситуациями драматургия Тихонова дала Чехову повод называть его «российским Сарду».

Романы и повести Тихонова, рыхлые, нарочито «проблемные», не имели успеха. И, несомненно, самое интересное и значительное в его творчестве — военные очерки и рассказы из жизни купечества, мещанства, интеллигенции. Эти произведения отмечены хорошим знанием жизни, точностью психологических характеристик.

Тихонов был неплохим редактором. В 1891—1893 годы он редактировал журнал «Север», в котором напечатал рассказ Чехова «Попрыгунья» (1892, № 1 и 2), некоторое время редактировал журнал «Нива», «Иллюстрированное приложение» к газете «Россия». В «России» он одновременно подвизался и в качестве фельетониста, театрального и литературного рецензента. Фельетонистом работал он и в газете «Новое время», куда поступил при содействии А. П. Чехова. Рекомендуя его А. С. Суворину, Чехов писал 9 мая 1894 года: «Это немножко кутила и немножко Хлестаков, но честный, справедливый и добрый парень, а редактором он был очень недурным».

Личное знакомство Тихонова с Чеховым произошло в конце 1888 года, а переписка между ними началась немного раньше, весной того же года. Уже тогда для Тихонова была очевидной выдающаяся талантливость Чехова, выделявшая его из литератур-

ной среды, к которой они оба принадлежали. «Целым театральным событием» назвал он постановку «Иванова» в Александринском театре. По его мнению, Чехов использовал «возможность шире и свободнее развернуться на сцене, чем это в состоянии сделать наши присяжные драматурги» [1]. Об отношении Тихонова к Чехову свидетельствуют его письма и выдержки из дневника («Литературное наследство. Чехов», т. 68. М., Изд-во АН СССР, 1960, с. 493—498). Тихонов — автор воспоминаний о Чехове (сб. «О Чехове». М., 1910, с. 219—248).

Умер В. А. Тихонов в 1914 году в Петербурге. В 1914—1915 годах вышло его посмертное «Полное собрание сочинений» в десяти томах (приложение к журналу «Родина»).

ВЕСНОЮ

Написано в 1890 г. Печатается по изданию: Вл. А. Тихонов. В наши дни. Повести и рассказы. СПб., 1892.

[1] *«Молитва девы»* — популярная пьеса для фортепиано польского композитора Т. Падоржевской-Барановской (1838—1862).

НЕ ПАРА

Написано в 1890 г. Печатается по изданию: Вл. А. Тихонов. В наши дни. Повести и рассказы. СПб., 1892.

[1] Слова Фауста из одноименной оперы Ш. Гуно (1859).

ВЛ. И. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО

Крупнейший театральный деятель, который совместно с К. С. Станиславским создал Московский Художественный театр и долгие годы руководил им, народный артист СССР Владимир Иванович Немирович-Данченко начал свою творческую биографию как писатель. Он родился в 1858 году в селе Озургети (Грузия) в семье офицера. Учился в тифлисской гимназии и Московском университете, но курса в последнем не кончил: его целиком захватила журналистская работа. С 1877 года, главным образом в московских газетах и журналах, печатаются театральные рецензии, обзоры, фельетоны, судебные отчеты Немировича-Данченко.

Занимаясь журналистикой, Немирович-Данченко одновременно пробует свои силы и в художественном творчестве. В 1881 году

[1] (Без подписи). Заметки.— «Неделя», 1889, 5 февраля, № 6.

в «Русском курьере» был опубликован его первый рассказ «Драма на почтовой станции», а в следующем — была поставлена в петербургском Малом театре его первая пьеса «Шиповник». Серьезная литературная репутация укрепилась за Немировичем-Данченко в 90-е годы, когда были написаны наиболее значительные пьесы — «Новое дело», «Золото», «Цена жизни», повести «На литературных хлебах», «Старый дом», «Мгла», «Драма за сценой», «Губернаторская ревизия», «В степи», «Сны». Произведения Немировича-Данченко этого периода исполнены глубокого разочарования в тех жизненных принципах, которые принесла с собой буржуазная действительность, и подлинного демократизма, особенно заметного в произведениях о тяжелом положении крестьянства («Губернаторская ревизия», «В степи», «Мгла») и в незавершенном романе «Пекло» (печатался в газете «Одесские новости» в 1898 году), где показаны бесчеловечные условия труда и быта рабочих-металлургов, их первые стихийные выступления в защиту своих прав. Но основные творческие интересы Немировича-Данченко были связаны и с изображением русской интеллигенции, жизнь и заботы которой были ему наиболее близки и понятны. А. М. Скабичевский отмечал, что «главный интерес» произведений писателя — в «раскрытии современных умственных эпидемий» [1], которыми была поражена русская интеллигенция эпохи безвременья. Тонкая наблюдательность, выразительность бытовых красок, верность психологического рисунка выделяли прозу Немировича-Данченко на тогдашнем беллетристическом фоне. «Серьезным, вдумчивым и правдивым» писателем называл его Н. К. Михайловский [2].

Достоинства творчества Немировича-Данченко, как, впрочем, и личные его качества, привлекли к нему внимание Чехова, с удовлетворением отметившего, что его товарищ по литературным занятиям, «по-видимому, работает над собой» (А. Н. Плещееву, 27 ноября 1889 г.). Они познакомились в начале 80-х годов в период совместного сотрудничества в «Будильнике». Оценивая первые драматические опыты Немировича-Данченко, Чехов предсказал еще в 1889 году, «что со временем из него выработается настоящий драматург» (там же). О повести «Губернаторская ревизия» он писал в октябре 1895 года автору: «По тонкости, по чистоте отделки и во всех смыслах это лучшая из всех Ваших вещей, какие я знаю. Впечатление сильное... Знание жизни у Вас громадное...»

Как огромное духовное явление вошел в жизнь Немировича-

---

[1] А. Скабичевский. Соч., т. 2. СПб., изд. Ф. Павленкова, 1903, стб. 559.

[2] «Русское богатство», 1895, № 12, отд. II, с. 1.

Данченко Чехов. Владимир Иванович писал об этом в воспоминаниях: «Мои биографы находят, что я был влюблен в Чехова... Теперь, когда я обращаюсь к своим воспоминаниям, я готов этому поверить. Я вспоминаю о Чехове неотрывно от той или другой полосы моих личных, писательских или театральных переживаний. Мы жили одной эпохой, встречали одинаковых людей, одинаково воспринимали окружающую жизнь, тянулись к схожим мечтам...» [1] Поэтому не случайными были восхищенные отзывы Немировича-Данченко в «Новостях дня» о чеховских произведениях «Черный монах», «Бабье царство», «Дуэль». В рецензии на «Дуэль» он энергично полемизирует с критиками, начинавшими свои писания о Чехове с «ламентаций об обманутых надеждах», считавшими «долгом уронить слезу на талант Чехова, якобы остановившийся в развитии», а на самом деле проглядевшими «зарождение его успеха» [2]. Ощущение творческой близости продиктовало Немировичу-Данченко письмо к Чехову от 22 ноября 1896 года: «...у меня накопилось много мыслей, которые я еще не решаюсь высказывать печатно и которыми с особенным наслаждением поделился бы с тобой, именно с тобой» [3].

Та же творческая близость двух писателей привела Немировича-Данченко к тому, что сделало его имя всемирно известным. Как театральный режиссер он, вместе со Станиславским, дал сценическую жизнь новаторской чеховской драматургии. При его непосредственном участии в прославленном Художественном театре были поставлены пьесы Чехова «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад».

Вл. И. Немирович-Данченко умер в 1943 году в Москве. В 1958 году был выпущен его однотомник «Повести и пьесы».

С ДИПЛОМОМ!

Рассказ впервые опубликован в журнале «Артист» (1892, № 23—24). Печатается по изданию: Вл. И. Немирович-Данченко. Слезы (10 рассказов). М., 1894.

[1] *Микст* — пассажирский вагон, имевший места разных классов.

[2] Народный праздник, отмечавшийся 24 июня по старому стилю.

---

[1] Вл. Ив. Немирович-Данченко. Из прошлого. М., «Academia», 1936, с. 1—2.

[2] Цит. по кн.: Л. Фрейдкина. Дни и годы Вл. И. Немировича-Данченко. Летопись жизни и творчества. М., ВТО, 1962, с. 117.

[3] Вл. И. Немирович-Данченко. Театральное наследие, т. 2. М., «Искусство», 1954, с. 99.

[3] *Лимпачевый дом* — то есть построенный из лимпача — земляного кирпича.

[4] Цитата из стихотворения С. Я. Надсона «Завеса сброшена» (1882).

[5] Речь идет о книге В. Н. Жука «Мать и дитя. Гигиена в общедоступном изложении»; неоднократно издавалась в 80—90-е годы XIX столетия.

В. И. БИБИКОВ

Виктор Иванович Бибиков прожил недолгую жизнь — неполных двадцать девять лет. Творческая же деятельность его продолжалась менее десяти лет, за которые он успел написать три романа, четыре повести, ряд рассказов, очерков, статей,— почти все это составило семь вышедших при жизни книг. Бибиков родился в 1863 году в Киеве и был тем, кого на языке буржуазной морали называли «незаконнорожденным».

Жизнь Бибикова полна лишений, постоянной нужды, по причине которой он оказался вынужденным оставить учебу в пятом классе гимназии и начать зарабатывать себе на жизнь. Он был мелким банковским служащим, актером, жил впроголодь. В 1882 году в киевской газете «Заря» напечатаны его первые очерки — «Из жизни умалишенных» (они написаны после пребывания Бибикова, страдавшего нервным расстройством, в психиатрической лечебнице). С этого времени литературным опекуном и кумиром Бибикова становится И. И. Ясинский (псевдоним — Максим Белинский). Ясинскому восторженно посвящена первая большая вещь Бибикова — роман «Чистая любовь» (1887), настоящим обожествлением его личности проникнут автобиографический роман Бибикова «Друзья-приятели» (1890), где Ясинский изображен под именем высокоталантливого художественного деятеля Зарянского, преданного идеалам «чистого искусства» и пренебрегающего «злобой дня» — социальными, общественными проблемами.

Талант Бибикова ценили такие рецензенты его произведений, как Н. К. Михайловский, А. М. Скабичевский, автор очерка о нем С. А. Венгеров. Очевидными были его наблюдательность, выразительный язык, умение строить сюжет. Он досконально знал русскую и французскую литературу XIX века (интерес к последней подтверждает его книга «Три портрета. Стендаль, Флобер, Бодлер». СПб., 1890). Подчеркивая талантливость Бибикова, Венгеров одновременно с сожалением отмечал «растлевающее влияние» на его творчество «проповеди нравственного индифферентизма» [1].

[1] С. А. Венгеров. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, т. 3. СПб., 1892, с. 257.

Действительно, Бибиков стоял у истоков нарождавшейся тогда декадентской беллетристики. Критик Е. Гаршин справедливо писал о «Чистой любви»: «...Бибиков обладает симпатичным талантом. В своем романе он проявляет стремление быть истинным натуралистом и с заманчивой щепетильностью описывает каждую вещицу в комнате, каждую шпильку в головке своей героини, но чувствуется, что это напускное, за которым скрывается поэтическая душа, способная к порыву, к пафосу в том благородном смысле этого слова, какой утвердил за ним на языке критики незабвенный В. Г. Белинский» [1] (великий критик, безусловно, упомянут в противовес учителю Бибикова Максиму Белинскому). Но способность «к порыву, к пафосу» гасла под воздействием усвоенной необходимости борьбы со всяческой «тенденцией». Однако в творчестве Бибикова есть и вполне реалистические страницы, правдиво запечатлевшие, например, духовное взросление молодого героя 80-х годов, его нравственные поиски. Этой теме посвящены два включенных в сборник рассказа, тесно связанные между собою действующими в них героями, самой атмосферой, в которой жила молодежь.

В конце 80-х годов Бибиков приехал в Петербург, вошел в литературные кружки, стал печататься в журналах «Наблюдатель», «Северный вестник» и др. К этому времени и относится его знакомство с Чеховым. Видя в Бибикове сложившегося профессионального литератора, Чехов вместе с тем иронически относился к «его апломбу и наивному самомнению... его обожанию, доходящему до дизентерии, перед полубогом Ясинским» (И. Л. Леонтьеву-Щеглову, 18 апреля 1888 г.), но о его смерти сочувственно сообщал Н. М. Линтваревой 6 апреля 1892 года: «Умер от чахотки молодой писатель Бибиков, которого не любили и которому не поверили, когда он написал из Киева, что у него чахотка».

Бибиков умер в киевской больнице в 1892 году.

НА ЛОДКЕ

Эпизод из романа «Наш кружок»

Печатается по изданию: Виктор Бибиков. Рассказы. СПб., изд. А. Я. Панафидина, 1888. «Наш кружок» — первоначальное, рабочее название романа «Друзья-приятели», который был опубликован в «Ежемесячных приложениях» к журналу «Живописное обозрение» (1890, № 4). Текст рассказа составил пятую главу романа, написанную в сентябре 1884 г.

---

[1] Евгений Гаршин. Критические опыты. СПб., 1888, с. 227.

[1] *Коклен* Бенуа Констан (Коклен-старший, 1841—1909) — французский актер.

[2] *«Галька»* (1847) — опера польского композитора С. Монюшко.

[3] Характеристики, которые далее дает Хвостов-Трясилин известным литераторам того времени,— вымысел, самая настоящая «хлестаковщина».

[4] *Немирович-Данченко* Василий Иванович (1848—1936) — писатель и журналист, много путешествовавший по России и странам Европы.

[5] *«Отечественные записки»* — журнал демократического направления, выходивший в Петербурге в 1839—1884 гг.

[6] *Каронин С.* (псевдоним Петропавловского Николая Елпидифоровича, 1853—1892) — писатель-народник. *Михайловский* Николай Константинович (1842—1904) — публицист и литературный критик, теоретик народничества. *Златовратский* Николай Николаевич (1845—1911) — писатель-народник.

[7] *Шапир* Ольга Андреевна (1856—1916) — писательница, сторонница женской эмансипации. *Цебрикова* Мария Константиновна (1835—1917) — писательница, публицистка, народоволка.

ВСТРЕЧА

Написано в июле 1886 г. Печатается по изданию: Виктор Бибиков. Рассказы. СПб., изд. А. Я. Панафидина, 1888. М. А. Галунковский — лицо неустановленное. Вероятнее всего, это один из киевских друзей Бибикова.

[1] Неточная цитата из стихотворения С. Я. Надсона «В глуши» (1884).

[2] *Черняев* Михаил Григорьевич (1828—1898), генерал-лейтенант, командовал сербской армией во время войны Сербии и Черногории против Турции в 1876 г.

[3] *Минский* (псевдоним Виленкина) Николай Максимович (1855 — 1937) — поэт и критик.

А. С. ЛАЗАРЕВ-ГРУЗИНСКИЙ

Александр Семенович Лазарев (псевдоним — Грузинский) родился в 1861 году в Москве, там же окончил Строгановское художественное училище. Некоторое время был преподавателем рисования и черчения в учительской семинарии г. Киржача Владимирской губернии. В 80-х годах Лазарев активно сотрудничал в юмористических журналах «Осколки», «Будильник», «Развлечение»,

«Стрекоза», где печатались его стихи, сценки, рассказы, заметки. Нередко он выступал в соавторстве с Н. М. Ежовым.

В конце 1886 года Лазарев познакомился с Чеховым, между ними быстро и на долгие годы установились дружеские отношения. Значительным было влияние на Лазарева и личности Чехова и его творчества. В письмах 1887 года к Ежову он называет Чехова «большим реалистом не только по писанию, но и вообще по убеждениям», «мастером слога и сравнений» [1]. С первых дней знакомства Чехов «шефствовал» над Лазаревым, интересовался его литературными делами, помогал практическими советами, правил некоторые его рассказы; в 1888 году рекомендовал как сотрудника в «Петербургскую газету» и «Новое время». В письмах 1888 года к Лейкину (21 июня) и А. С. Суворину (27 октября) Чехов подчеркивал, что Лазарев более талантлив и умен по сравнению с Ежовым. Самому Лазареву Чехов писал 20 октября 1888 года: «Мне Ваши рассказы нравятся; с каждым годом Вы пишете все лучше и лучше, т. е. талантливее и умнее... Ваш недостаток: в своих рассказах Вы боитесь дать волю своему темпераменту, боитесь порывов и ошибок, т. е. того самого, по чему узнается талант. Вы излишне вылизываете и шлифуете, все же, что кажется Вам смелым и резким, Вы спешите заключить в скобки и в кавычки... Описания природы у Вас недурны; Вы хорошо делаете, что боитесь мелочности и казенщины. Но опять-таки Вы не даете воли своему темпераменту. У Вас нет поэтому оригинальности в приемах... Дайте себе свободы». В письме от 1 ноября 1889 года: «Читаю Ваши рассказы. Прогресс замечаю огромный. Только бросьте Кузю, имя Семен и обывательски-мещански-титулярный тон Ваших героев. Побольше кружев, опопанакса, сирени, побольше оркестровой музыки, звонких речей... Сиречь, пишите колоритней. Физиономия Ваша уже выработалась, с чем я Вас и поздравляю». Однако в начале 90-х годов у Чехова появились первые сомнения относительно литературной будущности своих подопечных — Ежова и Лазарева. 20 июня 1891 года он пишет Е. М. Шавровой: «Грузинский, он же Лазарев, подавал большие надежды, но мне кажется, он не из таких писателей, которым следовало бы подражать,— очень уж рассудителен. Он, надо заметить, прошел мою цензуру, так же как и Вы...» И 30 ноября того же года А. С. Суворину: «Ежов мало видит и мало знает, но погодите произносить над ним приговор. Авось у него с Лазаревым и выйдет что-нибудь». Но талант Лазарева все же не развился. Первая его книга «Нескучные рассказы» вышла

[1] «Чехов в неизданной переписке современников». Публикация Н. И. Гитович.— «Вопросы литературы», 1960, № 1, с. 98—99.

в Москве в 1891 году, в 1911 году появилась вторая книга рассказов — «Женщины». Темы «Нескучных рассказов» шире, разнообразнее нарисованные в них типы, среди которых — гимназисты, помещики, крестьяне-бедняки, рабочие железной дороги. Критика отмечала подражание Чехову у Лазарева-Грузинского. Он и сам по этому поводу писал Чехову: «Мне очень лестно иметь Вас учителем, боюсь, что Вам придутся не по сердцу такие ученики... Рецензент «Труда», говоря, что я Ваш подражатель, конечно, прав. Но я не подражал Вам намеренно, избегал брать те же сюжеты, типы и т. д. Штука в том, что Ваши рассказы я всегда считал образцовыми, Вашу манеру образцовой и т. д.» [1].

Лазарев — автор многочисленных мемуарных публикаций о Чехове, проникнутых чувством благодарности к писателю и запечатлевших важные подробности его жизни и творчества. Глава из его неизданной книги «Антон Чехов и литературная Москва 80-х и 90-х годов» входит в сборник «А. П. Чехов в воспоминаниях современников» (М., Гослитиздат, 1960).

Умер А. С. Лазарев-Грузинский в 1927 году в Москве.

ПОБЕГ

Печатается по изданию: А. Грузинский. Нескучные рассказы. СПб., типолитография Р. Голике, 1891.

Чехов, правивший рассказ в рукописи, писал Лазареву 13 марта 1890 г. после его публикации в газете «Новое время» (№ 5032, 3 марта): «Ваш «Побег» неплох, но сделан больше чем небрежно. Аникой и Прохором называется у Вас одно лицо. Я исправлял, исправлял и все-таки прозевал одного Прохора, и он удержался-таки и, вероятно, породил недоумение не у одного внимательного читателя (при подготовке рассказа для сборника Лазарев исправил ошибку.— *С. Б.*). Засим стройте фразу, делайте ее сочней, жирней, а то она у Вас похожа на ту палку, которая просунута сквозь закопченного сига. Надо рассказ писать 5—6 дней и думать о нем все время, пока пишешь, иначе фразы никогда себе не выработаете. Надо, чтоб каждая фраза, прежде чем лечь на бумагу, пролежала в мозгу дня два и обмаслилась».

ДИПЛОМАТ

РЕПЕТИТОР

Рассказы печатаются по изданию: А. Грузинский. Нескучные рассказы. СПб., типолитография Р. Голике, 1891.

---

[1] А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 5. М., «Наука», 1977, с. 389.

ЗАВТРА

Печатается по изданию: А. Грузинский. Нескучные рассказы. СПб., типолитография Р. Голике, 1891.

[1] *Пастер* Луи (1822—1895) — французский биолог и химик, основатель микробиологии. Разрабатывал метод прививок против возбудителя бешенства. *Гамалея* Николай Федорович (1859—1949) — микробиолог, один из основателей эпидемиологии и вирусологии. Первым в России применил пастеровский метод прививок, предложил также вакцину против холеры.

НА РАБОТУ

Печатается по изданию: А. Грузинский. Нескучные рассказы. СПб., типолитография Р. Голике, 1891.

Н. М. ЕЖОВ

Николай Михайлович Ежов (1862—1941) — литератор, автор юмористических сценок, рассказов, фельетонов и очерков. Ежов окончил московское Строгановское училище. Некоторое время работал учителем в провинции, одновременно сотрудничая (под псевдонимами Г. Ежини, Д.-К. Ламанчский) в юмористических журналах, главным образом в «Осколках». Пробовал он свои силы и в драматургии («Енотовый мопс. Шутка в 1-м действии», 1889; «Спортсмен и сваха. Комедия в 1-м действии», 1889).

С Чеховым, который принимал большое участие в его литературных делах — ходатайствовал за него в редакциях, правил его рукописи, давал советы творческого характера,— познакомился в 1887 году. При его содействии с конца 80-х годов рассказы Ежова стали появляться в газете «Новое время», издателю которой, А. С. Суворину, Чехов писал 27 октября 1888 года: «Определить его (Ежова.— *С. Б.)* породу и способности пока затрудняюсь. В пользу его сильно говорят молодость, порядочность и неиспорченность в московско-газетном смысле». Через год в письме к Лейкину от 7 ноября 1889 года Чехов отмечал, что «Ежов тоже выписывается; таланта у него, пожалуй, больше, чем у Грузинского, но не хватает его ума... Журю их обоих за мещанистый тон их разговорного языка и за однообразно-бурый колорит описаний». Чехов указывал Ежову на необходимость для писателя развивать свою общую культуру. Так, 28 января 1890 года он писал: «Вообще Вы заметно прогрессируете, чему я, искренне говоря, очень рад. Читайте побольше; Вам нужно поработать над своим языком, который грешит у Вас грубоватостью и вычурностью,—

другими словами, Вам надо воспитать в себе вкус к хорошему языку, как воспитывают в себе вкус к гравюрам, хорошей музыке и т. п. Читайте побольше серьезных книг, где язык строже и дисциплинированнее, чем в беллетристике». Ежов пытался воспользоваться советами Чехова, но сбивался на подражание ему, что было замечено критикой, откликнувшейся на его книгу «Облака» и другие рассказы» (1893), изданию которой тоже содействовал Чехов.

Темы рассказов Ежова довольно разнообразны: быт московских окраин, нравы литературно-журналистской среды, семейная жизнь, колорит западноукраинского пограничного местечка... Он делал уже, как заметил Чехов в письме к автору от 25 декабря 1892 года, «поразительные успехи», но вдруг интерес его к беллетристике стал пропадать. Уже в 1894 году Чехов «досадовал» на спад в его литературной деятельности (письмо Ежову от 28 ноября 1894 г.). В 1896 году Ежов стал постоянным московским фельетонистом газеты «Новое время» (псевдоним — «Не фельетонист»), и с этого времени, несмотря на призыв Чехова не «уходить от беллетристики» (в письме от 2 января 1897 г.), он окончательно отдается газетной работе. Вышедшая в 1899 году в Москве его книга «Живые цветы. Очерки и рассказы» осталась незамеченной. Сближение с «Новым временем» (в тот период, когда Чехов порывал с ним) сделало Ежова членом «литературно-газетного клана» А. С. Суворина. Возможно, отчасти и в этом факте, и в личных качествах мнительного, болезненно самолюбивого Ежова, со всей очевидностью ощутившего свое литературное неудачничество, нужно видеть причину появления в 1909 году его статьи о Чехове, в которой так много сделавший для него писатель обвинялся в зазнайстве и скупости, а талант его характеризовался как «небольшой и часто подражательный»[1]. Публикация эта вызвала общественное возмущение, и Ежов вынужден был оправдываться в печати[2]. Наряду с этим у Ежова есть весьма положительные отзывы и воспоминания о Чехове, которые соседствуют с резко отрицательными (например, в газете «Московские ведомости», 1914, 2 и 3 июля, № 152 и 153). Подобная разноречивость тоже подтверждает неустойчивость характера Ежова.

После революции Ежов отошел от литературы и журналистики. Незадолго до своей смерти он принес в Центральный государственный архив литературы и искусства письма Чехова к нему, считавшиеся уже утраченными. Умер Ежов в Москве.

---

[1] «Исторический вестник», 1909, № 8, с. 499—519.
[2] См.: «Исторический вестник», 1909, № 11, с. 595—607.

БЕЗ АДРЕСА

(Письма неизвестного)

Печатается по изданию: Николай Ежов. «Облака» и другие рассказы. СПб., изд. А. С. Суворина, 1893.

Рассказ прошел чеховскую редактуру перед публикацией в журнале «Северный вестник» (1892, № 3). Чехов писал 2 января 1892 г. Ежову: «Альбов (редактор журнала.— *С. Б.*) Ваш рассказ очень хвалит; напечатает его в марте».

[1] *Шейлок* — ростовщик, персонаж комедии У. Шекспира «Венецианский купец» (1596).

[2] Согласно греческому мифу, у фригийского царя Мидаса были ослиные уши, которые он скрывал. Цирюльник Мидаса, увидев его уши и мучимый тайной, которую никому не мог рассказать, вырыл ямку в земле и шепнул туда: «У царя Мидаса длинные уши!» На этом месте вырос тростник, который поведал тайну всему свету.

А. В. ЖИРКЕВИЧ

Биографические сведения об Александре Владимировиче Жиркевиче (1857—1927; литературный псевдоним — А. Нивин) очень скудны. Он закончил Военно-юридическую академию в Петербурге. В 90-е годы был помощником прокурора военно-окружного суда в Вильно, где его, помимо службы, знали как человека, проявлявшего глубокий интерес к археологии, истории, культуре Северо-Западного края. Анализу источников, популяризации и уточнению сведений из этой области посвящены многие отдельно изданные работы Жиркевича, а также многочисленные публикации в периодической печати. Собранную им коллекцию рукописей, автографов, памятников старины Жиркевич подарил Виленской публичной библиотеке и музею. В коллекции этой было немало автографов русских писателей, с которыми Жиркевич переписывался и встречался (А. П. Чехов, Н. С. Лесков, Вс. В. Крестовский, А. М. Жемчужников, В. Г. Короленко). Некоторые письма были им опубликованы, так же как и воспоминания, например, об А. Н. Апухтине. Советскому читателю известны его воспоминания о Льве Толстом.

В декабре 1894 года Жиркевич прислал Чехову свою книгу «Картинки детства. Поэма» (СПб., 1890) и вскоре попросил высказать свое мнение о ней. Чехов ответил: «Ваша поэма мне понравилась» (10 марта 1895 г.). Подробному разбору Чехов подверг рассказ «Против убеждения» (см. коммент. к рассказу «Розги»), в котором, как и в других произведениях, составивших две книги

прозы Жиркевича — «Рассказы. 1892—1899 гг.» (СПб., 1900) и «Пасынки военной службы» (Вильно, 1912),— нашло выражение сочувственное отношение к «нижним чинам», их попранному человеческому достоинству.

В 1899 году в Петербурге вышла в двух частях книга Жиркевича «Друзьям. Стихотворения». Помещенное во второй части стихотворение «Ялта» посвящено Чехову. В 1914 г. Жиркевич переехал из Вильно в Симбирск, в музей которого в 1922 г. передал свое собрание картин (Брюллова, Тропинина, Репина и др.). Умер в Ульяновске

РОЗГИ

Опубликовано в журнале «Вестник Европы» (1892, № 3) под заглавием «Против убеждения». Печатается по изданию: А. В. Жиркевич. Рассказы (1892—1899 гг.). СПб., 1900.

Получив от автора номер журнала с рассказом, Чехов писал Жиркевичу 2 апреля 1895 г.: «Ваш рассказ мне очень понравился. Это хорошая, вполне интеллигентная, литературная вещь. Критиковать по существу положительно нечего, разве только по мелочам можно сделать несколько неважных замечаний...

1) Название рассказа «Против убеждения...» — неудачно. В нем нет простоты. В этих кавычках и трех точках в конце чувствуется изысканная претенциозность, и я подозреваю, что это заглавие дал сам г. Стасюлевич (редактор-издатель журнала «Вестник Европы».— *С. Б.)*. Я бы назвал рассказ каким-нибудь одним словом: «Розги», «Поручик».

2) Рутинны приемы в описаниях природы. Рассказ должен начинаться с фразы: «Сомов, видимо, волновался», все же, что раньше говорится о туче, которая улеглась, и о воробьях, о поле, которое тянулось,— все это дань рутине. Вы природу чувствуете, но изображаете ее не так, как чувствуете. Описание природы должно быть прежде всего картинно, чтобы читатель, прочитав и закрыв глаза, сразу мог бы вообразить себе изображаемый пейзаж, набор же таких моментов, как сумерки, цвет свинца, лужа, сырость, серебристость тополей, горизонт с тучей, воробьи, далекие луга,— это не картина, ибо при всем моем желании я никак не могу вообразить в стройном целом всего этого. В таких рассказах, как Ваш, по-моему, описания природы тогда лишь уместны и не портят дела, когда они кстати, когда они помогают Вам сообщить читателю то или другое настроение, как музыка в мелодекламации. Вот когда бьют зорю и солдаты поют «Отче наш», когда возвращается ночью командир полка и затем утром ведут солдата наказывать, пейзаж вполне кстати, и тут Вы мастер,

Вспыхивающие зарницы — эффект сильный; о них достаточно было бы упомянуть только один раз, как бы случайно, не подчеркивая, иначе ослабляется впечатление, и настроение у читателя расплывается.

3) Рутинность приемов вообще в описаниях: «Этажерка у стены пестрела книгами». Почему не сказать просто: «этажерка с книгами»? Томы Пушкина у Вас «разъединяются», издание «Дешевой библиотеки» «прижато»... И чего ради все это? Вы задерживаете внимание читателя и утомляете его, так как заставляете его остановиться, чтобы вообразить пеструю этажерку или прижатого «Гамлета»,— это раз; во-вторых, все это не просто, манерно и как прием старовато. Теперь уж только одни дамы пишут «афиша гласила», «лицо, обрамленное волосами»...

4) Провинциализмы, как «подборы», «хата»; в небольшом рассказе кажутся шероховатыми не только провинциализмы, но даже редко употребляемые слова, вроде «разнокалиберный».

5) Детство и страсти господни изображены мило, но в том самом тоне, в каком они изображались уже очень много раз.

Вот и все. Но это все такая мелочь! По поводу каждого пункта в отдельности Вы можете сказать: «Это дело вкуса» — и будете правы.

Ваш Сомов, несмотря на воспоминание о страстях господних, несмотря на борьбу, все-таки наказывает солдата. Это художественная правда. В общем рассказ производит то впечатление, какое нужно. «И талантливо, и умно, и благородно»... Это из одной моей повести. Когда меня ругают, то обыкновенно цитируют эту фразу с «но».

В ответном письме Жиркевич благодарил Чехова за «товарищеский разбор рассказа». «Конечно, Вы правы,— писал он,— и благодаря Вам многие недостатки, которые бы прошли для меня бесследно, теперь мне ясны... Письмо Ваше окрыляет меня, указывая, что у меня есть-таки если не литературный талант, то хоть небольшое дарование, которое стоит разрабатывать». При выпуске книги рассказов в 1900 г. Жиркевич сделал небольшую стилистическую правку и по совету Чехова дал рассказу название «Розги».

[1] В мещанской среде были популярны «Письмовники» — сборники, содержавшие различные «правила житейской мудрости», а также образцы любовных посланий, записок и т. д.

[2] Жозеф *Капуль* (1839—1924) — французский тенор, пел в Петербургской опере; пользовался большим успехом и как певец, и как законодатель мод.

[3] *«Страсти господни»* — отрывки из всех четырех книг Евангелия, рассказывающие о «страстях» — страданиях Христа.

Л. А. АВИЛОВА

Лидия Алексеевна Авилова (урожденная Страхова) родилась в 1865 году в селе Клекотки Епифанского уезда Тульской губернии в небогатой дворянской семье. После окончания московской гимназии занималась некоторое время педагогической работой, пробовала свои силы в беллетристике. В 1887 году Авилова переехала в Петербург. В 1890 году напечатан рассказ «Две красоты» — первая заметная публикация Авиловой, которой содействовал редактор журнала «Живописное обозрение» писатель А. К. Шеллер-Михайлов.

В последующие годы рассказы Авиловой публикуются в «Севере», «Детском чтении», «Ниве», «Русских ведомостях», «Сыне отечества», «Новом слове» и др. Она автор двух повестей — «Наследники» («Русское богатство», 1898, № 9) и «Обман» («Вестник Европы», 1901, № 7). В 1896 году вышла ее первая книга «Счастливец» и другие рассказы». Большинство произведений Авиловой посвящено детям, проникновению в мир детской психологии; они отличались от тогдашних примитивно-назидательных писаний выразительным рисунком характеров, правдивым изображением социального фона. Есть у Авиловой и рассказы о любви, и произведения, герои которых — крестьяне, бедняки, переселенцы. Для манеры писательницы характерен жанр короткого рассказа — здесь ощутимо влияние Чехова.

С Чеховым Авилова познакомилась в 1889 году в Петербурге. История их взаимоотношений изложена в известных ее воспоминаниях «А. П. Чехов в моей жизни». Рассказывая «о том, что так празднично осветило и так мучительно осложнило» ее жизнь, Авилова в предисловии к воспоминаниям подчеркнула: «Антон Павлович имел на меня громадное влияние...»[1] Это было влияние нравственное и, безусловно, творческое. Авилова посылала на суд Чехова и свои рукописи, и опубликованные рассказы. Чехов писал ей 21 февраля 1892 года: «Что касается языка, манеры — то Вы мастер». Одновременно он указывал на излишнюю авторскую сентиментальность в некоторых произведениях. Призывая Авилову к упорному труду, к отделке рассказов, к работе над языком, Чехов неоднократно правил ее рукописи, отмечал недостатки опубликованных вещей. 15 февраля 1895 года он писал ей: «...оба Ваши рассказа я прочел с большим вниманием. «Власть» милый рассказ, но будет лучше, если Вы изобразите не земско-

---

[1] «Литературное наследство. Чехов», т. 68. М., Изд-во АН СССР, 1960, с. 260—261.

го начальника, а просто помещика. Что же касается «Ко дню ангела», то это не рассказ, а вещь, и притом громоздкая вещь. Вы нагромоздили целую гору подробностей, и эта гора заслонила солнце. Надо сделать или большую повесть, этак в листа четыре, или же маленький рассказ... Резюме: Вы талантливый человек, но Вы отяжелели, или, выражаясь вульгарно, отсырели и принадлежите уже к разряду сырых литераторов. Язык у Вас изысканный, как у стариков... Вы мало отделываете, писательница же должна не писать, а вышивать на бумаге, чтобы труд был кропотливым, медлительным». Некоторые рассказы, с которыми Чехов знакомился в рукописи или по публикациям в периодике, вошли в две позднейшие книги Авиловой: «Власть» и другие рассказы» (М., 1906) и «Образ человеческий. Рассказы» (М., 1914).

Сборник «Первое горе» был переиздан после Октябрьской революции. Л. А. Авилова умерла в 1943 году в Москве.

КОСТРЫ

НА ЧУЖБИНУ

БЕЗ ПРИВЫЧКИ

Рассказы печатаются по изданию: Л. А. Авилова. «Счастливец» и другие рассказы. СПб., типография М. М. Стасюлевича, 1896.

В ДОРОГЕ

Опубликовано в «Петербургской газете» (1892, 15 марта, № 73). Печатается по изданию: Л. А. Авилова. «Счастливец» и другие рассказы. СПб., типография М. М. Стасюлевича, 1896.

Познакомившись с рассказом в «Петербургской газете», Чехов писал 19 марта автору: «Ваш рассказ «В дороге» читал. Если бы я был издателем иллюстрированного журнала, то напечатал бы у себя этот рассказ с большим удовольствием. Только вот Вам мой читательский совет: когда изображаете горемык и бесталанных и хотите разжалобить читателя, то старайтесь быть холоднее — это дает чужому горю как бы фон, на котором оно вырисуется рельефнее. А то у вас и герои плачут, и Вы вздыхаете. Да, будьте холодны». Включая рассказ в сборник, Авилова учла замечание Чехова и сняла в конце две фразы.

ЗАБЫТЫЕ ПИСЬМА

Печатается по публикации в «Петербургской газете» (1897, 9 июня, № 155).

Чехов писал Авиловой из Ниццы 3 ноября 1897 г.: «Ах, Лидия Алексеевна, с каким удовольствием я прочитал Ваши «Забытые письма». Это хорошая, умная, изящная вещь. Это маленькая, куцая вещь, но в ней пропасть искусства и таланта, и я не понимаю, почему Вы не продолжаете именно в этом роде. Письма — это неудачная, скучная форма, и притом легкая, но я говорю про тон, искреннее, почти страстное чувство, изящную фразу... Гольцев был прав, когда говорил, что у Вас симпатичный талант, и если Вы до сих пор не верите этому, то потому, что сами виноваты».

В рассказе в какой-то степени воплотились истинные чувства Авиловой к Чехову. В своих воспоминаниях она так пишет об этом периоде ее отношений с Антоном Павловичем: «...зачем мне надо было писать ему в Ниццу, послать «Забытые письма», полные страсти, любви и тоски? Разве мог он не понять, что это к нему взывали все эти чувства? Зачем я это сделала, тогда как уже твердо знала, что ничего, ничего я ему дать не могу?» [1]

В. Л. КИГН-ДЕДЛОВ

Владимир Людвигович Кигн (псевдоним — Дедлов) родился в 1856 году в Тамбове в дворянской семье. Его отец, юрист по профессии, потомок переселившихся в Польшу в начале XVIII века немцев, был женат на белоруске, уроженке Могилевской губернии, где прошли детские годы писателя. Мать Кигна Елизавета Ивановна, в юности занимавшаяся собиранием фольклора и издавшая в 1853 году в Петербурге сборник «Народные белорусские песни», оказала значительное влияние на развитие его литературных склонностей. Первые «пробы пера» юного Кигна относятся к периоду учебы в московской гимназии, где он издавал рукописный журнал и откуда был исключен за увлечение революционными идеями 60—70-х годов. Ему с трудом удалось добиться разрешения сдать выпускной экзамен в одном из частных учебных заведений и поступить на юридический факультет Петербургского университета, который он окончил в 1880 году. Служил в министерстве внутренних дел, занимался переселенческим делом, в связи с последним жил некоторое время в Оренбурге.

[1] «А. П. Чехов в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1960, с. 271.

В 1876 году в газете «Неделя» был опубликован первый рассказ Кигна «Экзамен зрелости». Тогда же молодой литератор, будучи неуверенным в своем таланте, обратился с письмом к И. С. Тургеневу, который поддержал его, посоветовав «учиться беспрестанно, вникать во все окружающее»[1]. Кигн активно сотрудничает, помимо «Недели», в журнале «Пчела», а с начала 80-х годов в журналах «Русское богатство», «Вестник Европы», «Наблюдатель», «Дело», «Нива». Здесь появляются его рассказы, очерки, статьи, значительная часть которых посвящена изображению школьных и студенческих нравов, нравственным поискам молодого героя 70-х — начала 80-х годов; деревенские, провинциальные впечатления отразились в цикле очерков «Белорусские силуэты». В эти и последующие годы Кигн много путешествует по России и за границей. Выходят многочисленные книги его путевых очерков, в которых он выступает не только как наблюдательный бытописатель, но и как публицист, напряженно размышляющий о путях развития России, о ее будущем, творцом которого Кигн считал народ.

В конце 80-х — начале 90-х годов писатель переживает духовную драму: идейный нигилизм и неверие эпохи безвременья сказываются в его творчестве. В наиболее крупном своем беллетристическом произведении — повести «Сашенька» (1892) Кигн попытался, как ему казалось, объективно изобразить конфликт двух поколений — шестидесятников, представленных нелепыми и претенциозными личностями, и восьмидесятников, склонных к индифферентизму и компромиссам. М. Горький видел в «Сашеньке» свидетельство духовного кризиса восьмидесятничества.

Кигн был известен и как художественный и литературный критик. Его близкими друзьями были В. М. и А. М. Васнецовы, М. А. Врубель, их работам посвящена книга «Киевский Владимирский собор и его художественные творцы» (М., 1901). С конца 80-х годов Кигн выступает в «Неделе» с литературными рецензиями и обзорами. Предметом его пристального внимания становится творчество Чехова. В одном из обзоров 1891 года он называет Чехова «выдающимся талантом», «предвестником новой, быть может, очень отдаленной эпохи в русской литературе»[2]. В статье, опубликованной журналом «Север», он, в противовес тогдашним оценкам, утверждал, что «Чехов занимает бесспорно первое место среди своих сверстников... Его слог сжат и обра-

---

[1] И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 11, М.—Л., «Наука», 1966, с. 279—280.

[2] «Книжки «Недели», 1891, № 5, с. 199, 217.

вен, идеи ясны, настроение цельно. Чехов не только художник и наблюдатель, но и мыслитель» [1].

Чехов ценил отзывы Кигна и проявлял интерес к его творчеству. В письме к А. С. Суворину от 10 мая 1891 года он называет его «беллетристом и интересным путешественником». Писатели познакомились в 1892 году заочно, по переписке, которая продолжалась до смерти Чехова. Личная их встреча произошла в начале 1893 года в Петербурге. По просьбе Кигна Чехов сделал разбор его рассказа «Варвар», отметив при этом «великолепный разговорный язык» (5 сентября 1894 г.). Позднее, посылая Чехову сборники «Лирические рассказы» (СПб., 1902) и «Просто рассказы» (СПб., 1903), автор сообщил ему в письме от 3 октября 1903 года: «То, что я Вам посылаю,— мои старые и очень старые грехи. Поселившись в деревне, я начал их пересматривать и ужаснулся их невозможной дилетантщины... сел за нелегкую работу, за перепеканье старого хлеба. Эти «бисквиты» вышли хоть по форме приличными» [2]. Чехов отвечал 10 ноября 1903 года автору: «Я взялся за «Просто рассказы» и прочел почти в один присест все рассказы; в них много былого, старого, но есть и что-то новое, какая-то свежая струйка, очень хорошая. «Лирические рассказы» буду читать сегодня». После смерти Чехова Кигн опубликовал статью, в которой попытался показать значение Чехова в истории русской литературы, новизну его творчества — «огромного, умного и художественного труда» [3].

В. Л. Кигн погиб от несчастного случая в 1908 году в Рогачеве Могилевской губернии.

ЛЕС

Впервые — в журнале «Вестник Европы» (1888, № 7, под названием «Чудаки»). Печатается по изданию: В. Л. Дедлов. Просто рассказы. СПб., типография М. Меркушева, 1904.

[1] *Сигизмунд, Август* — имена польских королей.

[2] Согласно древнегреческой легенде, оракул предсказал, что тот, кто распутает хитроумный узел, который из тележной упряжи завязал фригиец Гордий, станет властелином всей Азии. Александр Македонский рассек узел мечом.

[3] Слова из «Серенады» (1880) П. И. Чайковского.

[4] *Пенелопа* — верная жена героя древнегреческой мифологии *Одиссея*, проведшего долгие годы в странствиях.

---

[1] «Север», 1892, 12 апреля, № 15, стб. 791.

[2] Отдел рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина, фонд А. П. Чехова.

[3] «Русский вестник», 1904, № 9, отд. II, с. 86—91.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ

Печатается по изданию: В. Л. Дедлов. Лирические рассказы. СПб., типография М. Меркушева, 1902.

[1] *Сцевола* Гай Муций — легендарный герой Древнего Рима, проявивший мужество и презрение к пыткам.

А. М. ФЕДОРОВ

Александр Митрофанович Федоров родился в 1868 году в Саратове в семье переселившегося в город крестьянина-бедняка. Он рано остался сиротой. Незадолго до окончания саратовского реального училища был исключен из-за столкновения с директором. Несколько лет он вел кочевую жизнь провинциального актера; с 1896 года работал в одесских газетах, преимущественно как фельетонист.

Свою литературную деятельность Федоров начал еще школьником публикацией стихов в газете «Саратовский дневник». В 1894 году в Москве вышла его первая книга — «Стихотворения». На протяжении последующих лет появилось еще несколько его стихотворных сборников, многое из которых включено в собрание сочинений (тт. I—VII. М., 1911—1913). Несмотря на относительно широкую известность, поэтическое творчество Федорова было вторично, подражательно. На это указывал П. Ф. Якубович, признавая вместе с тем, что «Федоров поэт талантливый... посвящающий свое дарование идеям добра и человечности» [1].

Более значительным выглядело творчество Федорова — романиста и драматурга. В его реалистической, бытописательской прозе заметно влияние Чехова и Бунина, их произведений о русской деревне. Уже в первом своем романе, «Степь сказалась» (1898), Федоров предстал перед читателем внимательным исследователем жизни, чутким к бедам и нуждам обездоленных людей. Под впечатлением поездки 1901 года на голод в Поволжье им был написан роман «Земля» (опубликован в 1903 г. в «Русском богатстве»). Федорову принадлежат романы из жизни художников — «Природа», «Его глаза», романы, в которых сделана попытка запечатлеть своеобразный «социологический портрет» различных сторон российской действительности,— «Камни», «Бумажное царство», «Заря жизни», книги путевых очерков — «На восток», «За океан», а также многочисленные сборники рассказов. Рецензируя вышедшее в

[1] П. Ф. Гриневич (П. Ф. Якубович). Очерки русской поэзии. СПб., 1911, с. 348.

1903 году двухтомное собрание рассказов писателя, журнал «Русское богатство» писал: «Наблюдение у него если не глубоко, то разнообразно; он многое видел, интересуется разнообразными сферами жизни и душевными положениями и умеет привлечь к ним интерес. Такими рассказами, как «Нерв прогресса»... он может гордиться» [1].

Ведущее место в творчестве Федорова заняла драматургия, которой он стал заниматься в начале 900-х годов. В 1901 году в Александринском театре в Петербурге была поставлена его первая комедия — «Бурелом», которую критика назвала «пьесой настроения». Федорова привлекал и, несомненно, влиял на него драматургический опыт Чехова. После знакомства писателей в 1900 году в Одессе Федоров присылал Чехову на отзыв свои пьесы, прислушивался к его мнению. О пьесе «Старый дом» Чехов писал Федорову 25 марта 1901 года: «...она мне очень понравилась и, по-моему, будет иметь солидный успех. Вы талантливый человек, и это уже не должно подлежать ни малейшему сомнению». В октябре 1902 года Чехов сообщил Федорову свое мнение о другой его пьесе: «Стихия» произвела на меня сильное впечатление. Это интересная, совсем новая, живая вещь, делающая честь Вашему таланту. Пожалуй, это лучшая Ваша пьеса». Об отношениях, связывавших писателей, рассказывают воспоминания жены Федорова, Л. К. Федоровой («Литературное наследство. Чехов», т. 68. М., Изд-во АН СССР, 1960, с. 629—638), а также воспоминания о Чехове самого Федорова (сб. «Памяти Чехова». М., 1906).

После Октябрьской революции вышел роман Федорова «Моя весна» (М., 1918). С 1920 года писатель жил в эмиграции в Болгарии, где опубликовал «Антологию болгарской поэзии» (1924). Умер А. М. Федоров в 1949 году в Софии.

«НЕРВ ПРОГРЕССА»

Печатается по изданию: А. М. Федоров. Рассказы, кн. I. СПб., изд. О. Н. Поповой, 1903. Автор предполагал подарить Чехову эту книгу, и Антон Павлович ждал ее. «Обещанную книжку жду»,— писал он автору 23 февраля 1903 г. Книга Чехову была подарена.

[1] Слова Мельника из оперы А. С. Даргомыжского «Русалка» (1855), написанной по одноименной поэме А. С. Пушкина.

[2] Перефразированная цитата из студенческой песни «Наша жизнь коротка...» (1850-е годы).

---

[1] «Русское богатство», 1903, № 6, отд. II, с. 8.

ГАСТРОЛЕРЫ

Печатается по изданию: А. М. Федоров. Рассказы, кн. I. СПб., изд. О. Н. Поповой, 1903.

[1] Цитата из трагедии У. Шекспира «Король Ричард III» (1593).

[2] Произвольная цитата из пьесы У. Шекспира «Буря» (1611).

[3] Неточная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824).

[4] Слова героя пьесы А. Н. Островского «Лес» (1870).

[5] Речь идет об оперетте французского композитора Р. Планкета «Рип ван Винкль» (1882).

[6] *Жюдик* (Анна Дамьен, 1850—1911) — французская актриса оперетты, с 1875 г. гастролировала в Петербурге.

[7] *...и ты, Брут...* — слова из трагедии У. Шекспира «Юлий Цезарь» (1599). Историки считают эту фразу легендарной.

[8] Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Убогая и нарядная» (1859).

[9] Произвольная вариация монолога Любима Торцова, героя комедии А. Н. Островского «Бедность не порок» (1853).

[10] Перефразированная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «В больнице» (1855).

[11] Цитата из трагедии У. Шекспира «Отелло» (1604).

[12] Цитата из трагедии У. Шекспира «Гамлет» (1601).

[13] *Росси* Эрнесто (1827—1896) — итальянский актер, с 1878 г. гастролировал в России; *Сальвини* Томмазо (1829—1915) — итальянский актер, с 1880 г. гастролировал в России.

Е. М. ШАВРОВА

Имя Елены Михайловны Шавровой (в замужестве Юст) дошло до нас только потому, что она близко стояла к Чехову. Будучи материально обеспеченной, она никогда не писала ради заработка, не издавала своих книг, ограничиваясь публикацией в периодике (под псевдонимами Е. Шастунов, Е. Шавров). Между тем это была разносторонне одаренная личность, в том числе — одаренная литературным талантом. Шаврова родилась в 1874 году в семье профессора словесности Петербургской духовной семинарии, в прошлом сотрудника журнала «Отечественные записки». Она обладала хорошим голосом камерной певицы, занималась в Московском музыкально-драматическом училище под руководством известной артистки Е. А. Лавровской. Вместе со своей сестрой Ольгой, профессиональной актрисой, она принимала участие в любительских спектаклях, в том числе и в тех, которые ставились при содействии Чехова в пользу земских школ.

С Чеховым Шаврова познакомилась совсем юной, в 1889 году, в Ялте, передав при этом на просмотр свой рассказ. Знакомство это переросло в многолетние дружеские отношения. Чехов симпатизировал человеческим качествам Шавровой, любил слушать в ее исполнении романсы русских композиторов. Он ценил и ее литературные способности. На протяжении почти десяти лет Чехов читал и правил рукописи Шавровой, рекомендовал ее произведения в журналы и газеты. Первый же переданный Чехову рассказ «Софка» был отредактирован писателем и по его рекомендации опубликован в газете «Новое время» (1889, № 4846, 26 августа). Подлинник этого рассказа с правкой Чехова воспроизведен в «Литературном наследстве» (т. 68. М., Изд-во АН СССР, 1960, с. 836—844).

Два года спустя после дебюта Чехов писал Шавровой по поводу ее рассказа «Замуж» (11 января 1891 г.): «Только что прочел Ваш рассказ в корректуре, Елена Михайловна, и паки нахожу, что он очень хорош. Прогресс большущий. Еще год-два, и я не буду сметь прикасаться к Вашим рассказам и давать Вам советы». Основные темы произведений Шавровой — любовь, семейные отношения, жизнь актерской среды. Ее рассказы печатались в журналах «Артист», «Русская мысль», «Аргус», «Столица и усадьба», в газетах «Новое время», «Вечернее время», в «Московской иллюстрированной газете». Отдавая должное таланту молодой писательницы, Чехов в то же время некоторые ее рассказы сурово критиковал. Он с одобрением отнесся к позднейшим произведениям Шавровой — рассказам «Бабье лето», «Маркиза», «Жена цезаря» и другим. Вместе с тем он по-прежнему считал, что писательница недостаточно уделяет внимания композиции, тому, что он называл «отделкой». В связи с этим он писал ей 17 мая 1897 года: «Вы заметно мужаете и крепнете и с каждым разом пишете все лучше и лучше... Недостаток у Вас один, крупный, по-моему, недостаток,— это то, что Вы не отделываете, отчего Ваши вещи местами кажутся растянутыми, загроможденными, в них нет той компактности, которая делает живыми короткие вещи. В Ваших повестях есть ум, есть талант, есть беллетристика, но недостаточно искусства. Вы правильно лепите фигуру, но не пластично, Вы не хотите или ленитесь удалить резцом все лишнее. Ведь сделать из мрамора лицо,— это значит удалить из этого куска то, что не есть лицо». В 1924 году, работая над воспоминаниями о своем знакомстве и взаимоотношениях с Чеховым, Шаврова писала: «Я тогда многому научилась у Антона Павловича. Он не щадил моего самолюбия, резал мне чистую правду в глаза» (воспоминания частично опубликованы в кн.: «Литературный музей А. П. Чехова. Таганрог. Сборник статей и материалов». Вып. 3. Ростов-на-Дону, 1963, с. 267—308).

Шаврова много занималась и переводами. Ею переведено несколько английских романов. Известно, что свои переводы пьес А. Стриндберга «Отец» и «Фрекен Юлия» она посылала на просмотр А. П. Чехову.

Умерла Е. М. Шаврова в 1937 году в Ленинграде.

МАРКИЗА

Печатается по публикации в журнале «Артист» (1894, № 6).

По просьбе Шавровой Чехов ознакомился с журнальной публикацией, о чем писал ей 22 ноября 1894 г.: «Рассказ мне очень понравился, в нем кроме таланта, который и ранее не подлежал сомнению, чувствуется также еще зрелость. Только заглавие показалось мне несколько изысканным. Фигура героини сделана так просто, что прозвище «маркиза» является какой-то лишней прицепкой, все равно как если бы Вы мужику продели сквозь губу золотое кольцо. Если бы не было этого прозвища и если бы Нелли звали Дашей или Наташей, то финал рассказа вышел бы сочнее, а герой пухлее... Видите, это не критика, а очень субъективное рассуждение, которым Вы имеете полное право пренебречь, хотя я, по-Вашему, очень важная особа: Ваш учитель. Если хотите недостатков, то извольте, могу указать Вам на один, который Вы повторяете во всех Ваших рассказах: на первом плане картины много подробностей. Вы наблюдательный человек, Вам жаль было бы расстаться с этими частностями, но что делать? Ими надо жертвовать ради целого. Таковы физические условия: надо писать и помнить, что подробности, даже очень интересные, утомляют внимание».

[1] *Доре* Гюстав (1832—1883) — французский художник, автор иллюстраций к произведениям мировой литературной классики, в том числе к «Божественной комедии» Данте.

[2] *Буше* Франсуа (1703—1770), *Грез* Жан Батист (1725—1805) — французские живописцы-романтики.

[3] Слова о «легком дуновении опасности» принадлежат главному герою трилогии французского писателя А. Доде «Тартарен из Тараскона» (1872—1890).

[4] Один из популярных романсов на тему Миньоны (см. коммент. 4 в т. 1, с. 459—460).

[5] Романс П. И. Чайковского на стихи (1876) А. Н. Апухтина.

[6] Песенка на неаполитанском диалекте, посвященная строительству фуникулера на Везувий.

[7] Горный массив в Швейцарии.

[8] Слова из арии Игоря, героя оперы А. П. Бородина «Князь Игорь» (1888).

ЖЕНА ЦЕЗАРЯ

(Рассказ)

Печатается по публикации в журнале «Русская мысль» (1897, № 12).

Чехов после прочтения рассказа в рукописи писал Шавровой 20 ноября 1896 г.: «...рассказ очень, очень понравился. Это хорошая, милая, умная вещь. Но, по своему обыкновению, действие Вы ведете несколько вяло, оттого рассказ местами кажется тоже вялым. Представьте себе большой пруд, из которого вода вытекает очень тонкой струйкой, так что движение воды не заметно для глаза; представьте на поверхности пруда разные подробности — щепки, доски, пустые бочки, листья,— все это, благодаря слабому движению воды, кажется неподвижным и нагромоздилось у устья ручья. То же самое и в Вашем рассказе: мало движения и масса подробностей... позвольте мне изложить мою критику по пунктам:

1) Первую главу я начал бы со слов: «Небольшая коляска только что...» Этак проще.

2) Рассуждения о деньгах (300 р.) в первой главе могут быть выпущены.

3) «во всех своих проявлениях» — это не нужно.

4) Молодые супруги устраивают обстановку «как у всех» — это напоминает Бергов в «Войне и мире».

5) Рассуждение о детях, начиная со слов: «вот, хоть бы племянница» и кончая «пасс», мило, но в рассказе оно мешает.

6) Обе сестры и Корицкий — нужны ли они? О них только упомянуть — и только. Они ведь тоже мешают. Если нужно, чтобы Вава увидела ребенка, то нет надобности посылать ее в Москву. Она ездит в Москву так часто, что за ней трудно угоняться.

7) Зачем Вава — княжна? Это только громоздит.

8) «такой корректной distinquée» [1] — это пора уже в тираж погашения, как и слово «флирт».

9) Поездка на свадьбу не нужна.

10) У профессора — это очень хорошо.

11) Я бы кончил седьмой главой, не упоминая об Андрюше, ибо Andante Лунной сонаты поясняет все, что нужно. Но если уж Вам нужен Андрюша во что бы то ни стало, то расстаньтесь все-таки с IX главой. Она громоздит.

12) Не заставляйте Андрюшу играть. Это слащаво. Зачем у него богатырские плечи? — Это слишком... как бы это выразиться — шапирно?! (образовано от фамилии писательницы О. А. Шапир.— *С. Б.).*

---

[1] изысканной *(фр.).*

13) Цезаря и жену цезаря сохраните в тексте, но как заглавие: «Жена цезаря» не-по-д-хо-дит... Да-с... И не цензурно, и не подходит...

Помните, что цезарь и его жена фигуры центральные,— и не позволяйте Андрюше и сестрам заслонять их. Долой и Смарагдова. Лишние фамилии только громоздят.

Повторяю, очень хороший рассказ. Муж удался Вам как нельзя лучше».

В ответном письме Шавровой от 21 ноября говорится: «Огромное спасибо за критику... Но заглавие? Что мне делать с заглавием? Неужели «цезарь» нецензурное слово? Ведь есть же «Короли в изгнании» и «За скипетры и короны», и даже «Арап Петра Великого». Мне так жаль расставаться с «Женой цезаря», это было оригинальное и чертовски пикантное заглавие... Над рукописью я еще поработаю». В письме от 28 ноября она сообщила новое название — «Замужество Вавы», но в «Русской мысли» рассказ был напечатан под заглавием «Жена цезаря». При подготовке рукописи к печати Шаврова учла многие замечания Чехова. Рассказ начат со слов: «Небольшая коляска только что...», оставлена только одна поездка Вавы в Москву, сокращено «рассуждение о детях» и т. д. Можно предположить, что снята IX глава, так как за VIII в журнале сразу следует X глава.

[1] *Монтегацца* Паоло (1831—1910) — итальянский физиолог и антрополог, автор популярных книг. *Фламмарион* Камиль (1842—1925) — французский астроном.

[2] *Спенсер* Герберт (1820—1903) — английский философ-позитивист.

[3] *Варламов* Константин Александрович (1848—1915) — известный комедийный актер.

[4] *Дузе* Элеонора (1858—1924) — итальянская актриса.

[5] *Д'Аннунцио* Габриеле (1863—1938) — итальянский писатель. *Серао Матильда* (1856—1927) — итальянская писательница и журналистка. *Негри Ада* (1870—1945) — итальянская поэтесса.

[6] *Месонье* (Мейсонье) Эрнест (1815—1891) — французский живописец.

[7] *Мюсве* Альфред (1810—1857) — французский писатель-романтик.

[8] Имеется в виду выражение государственного деятеля Древнего Рима Гая Юлия Цезаря: «Жена Цезаря должна быть выше подозрений».

[9] Имеется в виду Théatre complet («Полное собрание пьес») французского драматурга Александра Дюма-сына, вышедший в 8-ми томах в Париже (1893—1899).

Б. А. ЛАЗАРЕВСКИЙ

Борис Александрович Лазаревский родился в 1871 году в Полтаве в семье украинского историка А. М. Лазаревского. В молодости работал помощником машиниста на железной дороге. Окончил юридический факультет Киевского университета (1897), после чего служил в севастопольском военно-морском суде. Был прокурором Порт-Артура в период русско-японской войны. В 1905 году вышел в отставку и переехал в Петербург, где занялся литературной деятельностью.

Первый рассказ Лазаревского, «Последняя услуга», напечатан в 1894 году в газете «Киевлянин». В 1899 году в Одессе вышла его книга рассказов «Забытые люди» — из жизни рабочих-железнодорожников. Впоследствии рассказы и повести Лазаревского появляются в журналах «Русское богатство», «Нива», в «Журнале для всех» и других изданиях. В основе его творчества — темы любви, женской психологии. Есть у Лазаревского и произведения на украинском языке, запечатлевшие разные стороны народного быта (повесть «Святой город», рассказы «Земляки», «Ульяна», «Начало жизни»).

Лазаревский был горячим поклонником и усердным подражателем Чехова, с которым он познакомился в 1899 году в Ялте. Подражание Чехову отмечалось почти в каждом критическом отклике на его книги. Рецензируя том «Повестей и рассказов», соратник молодого М. Горького Ник. Ашешов писал: «У г-на Лазаревского несомненный талант и прекрасная писательская техника. Он хорошо и жизненно рисует типы, сжато анализирует, умеет вложить чувство в те незаметные драмы, которые он изображает. За всею явною ученическою подражательностью Чехову видно и чувствуется авторское *свое*, индивидуальное и талантливое» [1].

Чехов призывал Лазаревского к творческой самостоятельности, читал и правил рукописи некоторых его рассказов, рекомендовал его произведения в редакции журналов. Лазаревский — автор ряда мемуарных публикаций о Чехове: «Журнал для всех», 1905, № 7; «Биржевые ведомости», 1906, 17 января; в кн.: «Повести и рассказы», т. 2. (М., 1906); «Русская мысль», 1906, № 11; газета «Свободные мысли», 1907, 2 июля; «Новый журнал для всех», 1909, № 9; «Ежемесячный журнал науки и общественной жизни», 1914, № 7. Представляют ценность его дневниковые записи о Чехове и о разговорах с ним (см. «Записи о Чехове в дневниках Б. А. Лазаревского». Предисловие и публикация Н. И. Гитович.— «Литературное наследство. Из истории русской

---

[1] «Образование», 1903, № 10, отд. III, с. 112.

литературы и общественной мысли 1860—1890-х годов», т. 87. М., «Наука», 1977, с. 319—356). Известны также воспоминания Лазаревского о его встрече со Львом Толстым, во время которой шел разговор о Чехове («Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников». В 2-х томах. Т. 2. М., «Художественная литература», 1978, с. 306—314).

С 1920 года Лазаревский жил в эмиграции. Умер в 1936 году в Париже.

ДОКТОР

Печатается по изданию: Б. А. Лазаревский. Собрание сочинений, т. 1. СПб., «Просвещение», 1911. Ранее был опубликован в «Повестях и рассказах» (М., 1903). Познакомившись с этой присланной автором книгой, Чехов писал Лазаревскому 28 июля 1903 г.: «Дорогой Борис Александрович, «Повести и рассказы» получил, большое Вам спасибо за книгу. Я прочел ее всю и могу теперь сказать, что Вы сделали громадный шаг вперед и что Вы молодец. Рассказы однотонные, трудно сказать, какой из них лучше, но если долго выбирать, как выбирают, например, папу (римского), то я остановился бы на «Докторе». Книга издана хорошо. Язык местами изыскан, местами провинциален: «Офицеры ревновали друг друга» (в рассказе «Доктор».— *С. Б.)*, между тем офицеры могут ревновать женщину друг к другу... Книгу прочел я с удовольствием». Включая рассказ в собрание сочинений, Лазаревский учел замечание Чехова и исправил фразу.

[1] *Фаренгейт* Габриель-Даниель (1686—1736), *Траллес* Иоганн-Георг (1763—1822) — немецкие физики; ареометр Траллеса служил для измерения концентрации раствора, ареометр Фаренгейта — для измерения плотности жидкости.

[2] Французская балерина, выступавшая в начале XX века в парижском театре «Гранд-Опера». Была известна главным образом как модная красавица.

[3] Романс (1857) на стихи В. В. Крестовского.

[4] Неточная цитата из стихотворения А. Бешенцова «Романс» (1858).

В ЛЕСУ

Печатается по изданию: Б. А. Лазаревский. Собрание сочинений, т. 1. СПб., «Просвещение», 1911.

[1] *«Тореадор»* — музыка из оперы французского композитора Ж. Бизе «Кармен» (1874).

СОДЕРЖАНИЕ

А. А. Тихонов-Луговой

Швейцар 5

В. А. Тихонов

Весною 26
Не пара 39

Вл. И. Немирович-Данченко

С дипломом! 52

В. И. Бибиков

На лодке. *Эпизод из романа «Наш кружок»* 119
Встреча 129

А. С. Лазарев-Грузинский

Побег 137
Дипломат 144
Репетитор 146
Завтра 152
На работу 155

Н. М. Ежов

Без адреса *(Письма неизвестного)* 159

А. В. Жиркевич

Розги 173

Л. А. Авилова

Костры 203
На чужбину 210
Без привычки 214
В дороге 218
Забытые письма 222

В. Л. Кигн-Дедлов

Лес 229
Двадцать пять тысяч 258

А. М. Федоров

«Нерв прогресса» 271
Гастролеры 282

Е. М. Шаврова

Маркиза 299
Жена цезаря *(Рассказ)* 314

Б. А. Лазаревский

Доктор 346
В лесу 365

Комментарии 385

П34 **Писатели чеховской поры: Избранные произведения писателей 80—90-х годов: В 2-х т. Т. 2. Сост. и коммент. С. В. Букчина.— М.: Худож. лит., 1982. 415 с.**

Во второй том сборника вошли произведения А. А. Тихонова-Лугового, Вл. И. Немировича-Данченко, А. С. Лазарева-Грузинского, Л. А. Авиловой, В. И. Бибикова, Е. М. Шавровой и др.

$П \frac{4702010100\text{-}111}{028(01)\text{-}82} 38\text{-}82$ Р1

СБОРНИК
«ПИСАТЕЛИ ЧЕХОВСКОЙ ПОРЫ
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ
80—90-х ГОДОВ»

Том 2

Составитель
Семен Владимирович Букчин

Редактор
В. Пересыпкина

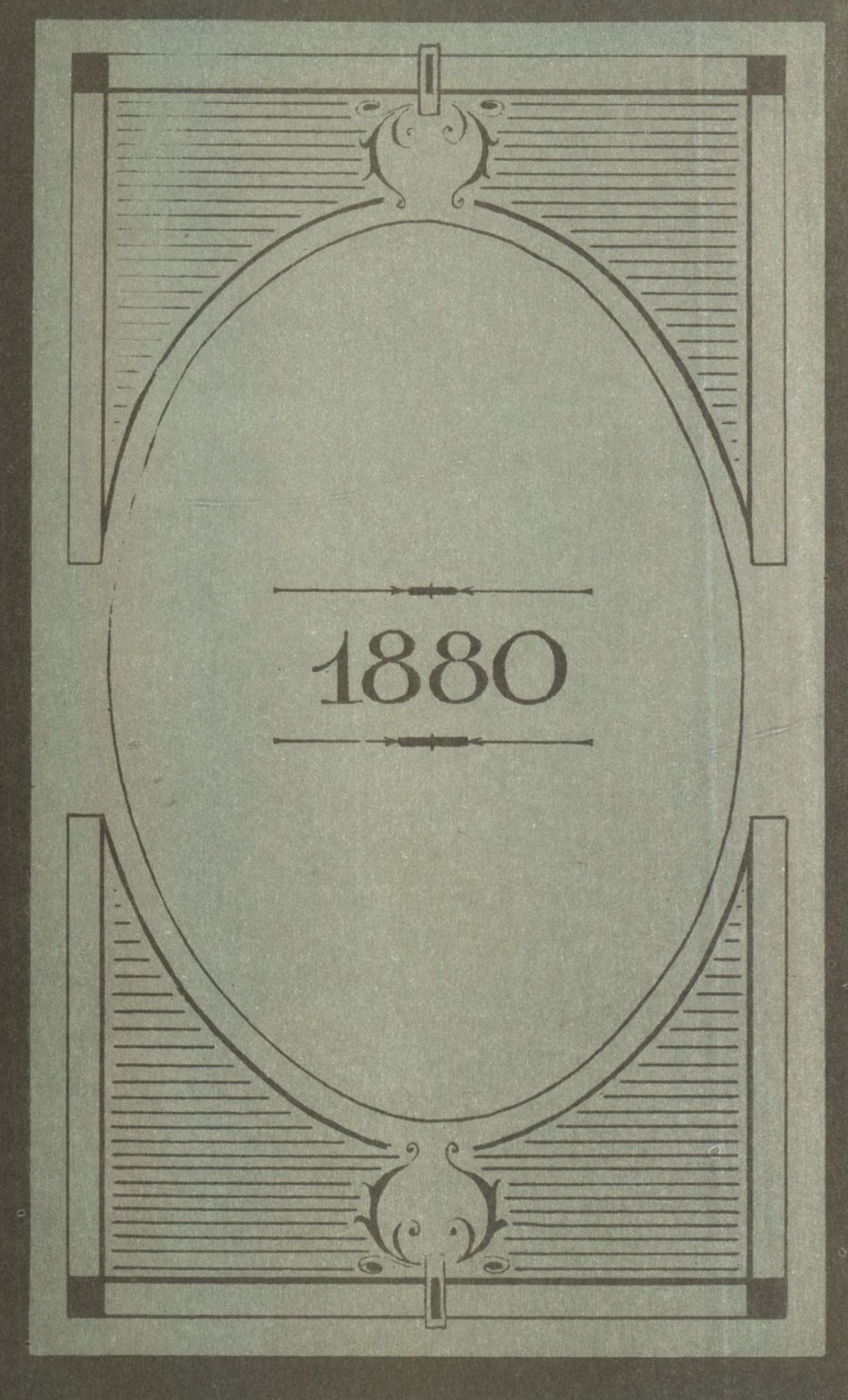
Художественный редактор
В. Серебряков

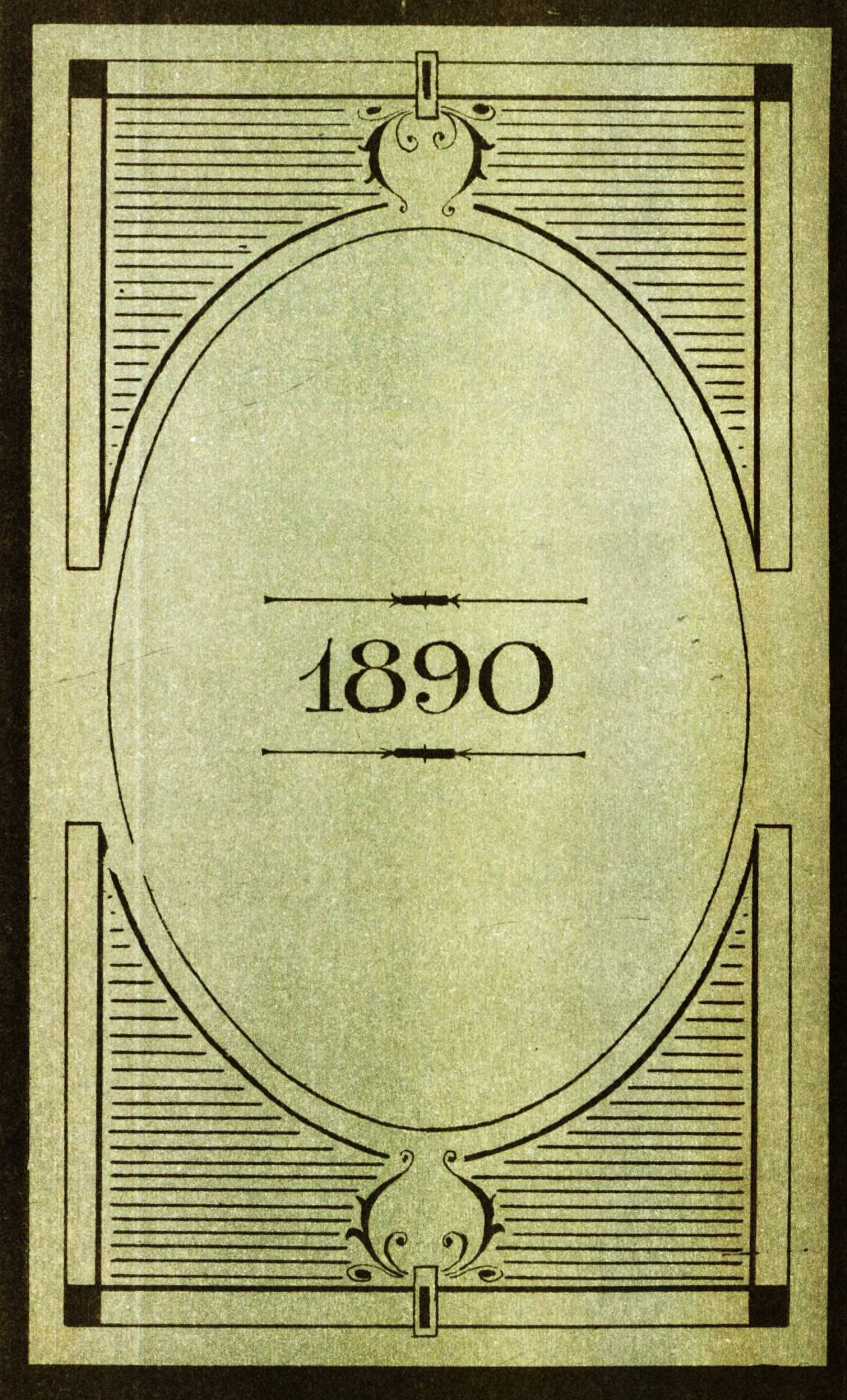
Технический редактор
Л. Синицына

Корректоры
Н. Усольцева, Т. Сидоров

ИБ № 2512

Сдано в набор 21.05.81. Подписано к печати 05.01.82. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 21,84. Усл. кр.-отт. 22,26. Уч.-изд. л. 23,53. Тираж 100 000 экз. Изд. № II—842. Заказ № 1235. Цена 2 р. 10 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Набрано и сматрицировано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16. Отпечатано на ордена Трудового Красного Знамени Чеховском полиграфическом комбинате ВО «Союзполиграфпром» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли г. Чехов, Московской области.


1880


1890

